

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2002

7

2002

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**В 2002 И В 2003 ГОДАХ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Глаша (повесть);
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Орфография (роман);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Присяга (рассказ);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Новая повесть;
ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ. Друг Утят (сценарий);
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);
ВИКТОР КУЛЛЭ. Чистый лист (стихи);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новые рассказы;
ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);
ГАЛИНА МУРАВНИК. Прах ты и в прах обратишься (о философии смерти);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман); Алексия: десять лет спустя (эссе);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ВИКТОР ПАНОВ. И там жили (рассказы; из наследия);
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);

(См. на обороте)

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. **Перед вторым пришествием** (роман);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Новые рассказы**;
МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ. **Не остыв от плача** (стихи);
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. **Горизонт событий** (роман);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Третье дыхание** (повесть);
АЛЕКСЕЙ ПУРИН. **Ледяной улов** (стихи);
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. **Филологические новеллы**;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман); **Призрак среди руин** (повествование в рассказах);
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. **Несколько торопливых слов любви** (новеллы);
РОМАН СЕНЧИН. **Нубук** (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. **Игры на свежем воздухе** (рассказы);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания**;
ИРИНА СУРАТ. **Пушкин и Мандельштам** (параллели);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. **«Отдай мое»** (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. **Своя правда** (повесть);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Сансаныч** (повесть);
АНТОН УТКИН. **Новый роман**;
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. **Силовики** (эссе);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. **Питомник** (рассказы);
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ. **Домашние люди** (современная история);

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЛАРИСЫ МИЛЛЕР, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА; статьи, очерки, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ИРИНЫ СУРАТ, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2002 году: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

*(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)*

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2002». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2002 года — 330 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулочек, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулочек, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулочек, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОБЫТИ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 7 (927)

Июль, 2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| МАКСИМ АМЕЛИН — В огонь из омута, стихи | 7 |
| ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — Ангел Мертвого озера. Истории про живых, полуживых и уже совсем... | 13 |
| СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ — Свет чернозема, стихи | 80 |
| МАРИЯ ЛОСЕВА — Садовое товарищество, рассказы | 84 |
| ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ — Яблоки Гесперид, стихи | 105 |
| МИХАИЛ БУТОВ — В карьере, рассказ | 110 |
| КОНСТАНТИН МОЗГАЛОВ — На медовой оси, стихи. Вступительное слово Юрия Кублановского | 120 |

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

| | |
|--|-----|
| ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — Жизнь окнами в сад. Памяти хранителя | 123 |
|--|-----|

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

| | |
|--|-----|
| РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА — Тяжба о России. На рубеже столетий | 133 |
|--|-----|

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

| | |
|---|-----|
| ВЛАДИМИР БОРЕЙКО — Дикая природа: любите или не приближайтесь. Охрана природы как культурное делание и религиозный опыт | 148 |
|---|-----|

ОПЫТЫ

| | |
|---|-----|
| АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Поэтическая непреложность | 167 |
|---|-----|

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

| | |
|--|-----|
| Сергей Боровиков. «Над головой толклись комарики...» | 170 |
| Юрий Кублановский. В советском поэтическом зоопарке | 176 |
| Андрей Василевский. Попутные соображения | 180 |
| Елена Меньшикова. Заложник | 184 |

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

| | |
|--|-----|
| Сергей Бочаров. Узкий путь | 187 |
| Михаил Эдельштейн. Немецкий русофил и русский западник: опыт диалога | 190 |
| <hr/> | |
| КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВА | 193 |
| ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО | 201 |
| КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ | 208 |
| WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО | 213 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

| | |
|--|-----|
| Книги (составитель Сергей Костырко) | 217 |
| Периодика (составители А. Василевский, П. Крючков) | 220 |
| SUMMARY | 240 |

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

**КАКИЕ НАШИ ПУБЛИКАЦИИ 2002 ГОДА
КАЖУТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫМИ?
МЫ ПОСТАРАЕМСЯ УЧЕСТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ
ПРИ НАГРАЖДЕНИИ НАШИХ АВТОРОВ
ЕЖЕГОДНЫМИ РЕДАКЦИОННЫМИ ПРЕМИЯМИ.**

**ОТКРЫТЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
«РОССИЙСКИЙ СЮЖЕТ»
<http://konkurs.palmira.ru>**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-радиовещания и средств массовых коммуникаций.

МАКСИМ АМЕЛИН

*

В ОГОНЬ ИЗ ОМУТА

* *
*

Мне тридцать лет, а кажется, что триста, —
испытанного за десятерых
не выразит отчетливо, речисто
и ловко мой шероховатый стих.

Косноязычен и тяжеловесен,
ветвями свет, корнями роя тьму, —
для разудалых не хватает песен
то ясности, то плавности ему.

На части я враждебные расколот, —
нет выбора, где обе хороши:
рассудка ли мертвящий душу холод,
рассудок ли мертвящий жар души?

Единство полуптицы-полузмея,
то снизу вверх мечусь, то сверху вниз,
летая плохо, ползать не умея,
не зная, что на воздухе повис.

Меня пригрела мачеха-столица,
а в Курске, точно в дантовском раю,
знакомые еще встречая лица,
я никого уже не узнаю.

Никто — меня. Глаза мои ослабли,
мир запечатлевая неземной, —
встаю в который раз на те же грабли,
не убранные в прошлой жизни мной.

**Опыт о Неаполе,
сочиненный через полгода
по благополучном из него возвращении**

Будто бы трем поколениям русских
этого южного города в узких
улочках запрещено

Амелин Максим Альбертович родился в 1970 году в Курске. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Автор двух книг стихов. Лауреат премии «Антибукер». Живет в Москве, занимается книгоиздательской деятельностью.

было блуждать без особого дела,
 зрению не полагая предела,
 непринужденно глазеть
 по сторонам с расторопностью бычьей,
 не как орел или лев за добычей,
 взор кровожадный остря.

Нынче не те времена и порядки, —
 глупая на догонялки да прятки
 мода пока что прошла,
 поднадоели шпионские страсти
 прямоходящим, не скалящим пасти,
 не волочащим хвосты, —
 шастай где хочешь и чувствуй как дома
 всюду, в любом — от Помпей до Содома —
 городе рады тебе.

Всюду не всюду и рады не рады,
 но, например, безо всякой досады,
 без отвращения, без
 предубеждения тайного против
 принял Неаполь меня, приохотив,
 не повернулся спиной,
 между могилой лежащий Марона
 и причинителем бед и урона
 к небу воздетым жерлом.

Ты, заплывающий неторопливо
 вглубь от извилистой кромки залива,
 словно туман, по земле
 распростилаясь где шире, где выше,
 солнцу подставя цветущие крыши,
 мимо живых мертвецов,
 сказано в прошлой строфе о которых,
 под небесами всезрящими порох
 преобращаешь во прах.

Это — с Везувия вид, изнутри же —
 как-то родней, и понятней, и ближе,
 только в родстве таковом
 есть и враждебное нечто — не шутка:
 Батюшков тихо лишился рассудка
 и в кипарисовый гроб
 лег Баратынский не здесь ли когда-то? —
 Да, твоего — чур не я — панибрата
 слишком опасен удел.

Лучше бы — во избежание риска —
 не принимать, обольстительный, близко
 к сердцу твою теплоту,
 дабы избавиться от неминучей,
 праздным зевакой, которого случай
 бросил сюда, притворясь, —
 глядь, королевского замка ворота
 клонами пары увенчаны Клодта
 недокентавров гнедых.

Надо же! — Сладко встречать на чужбине
старых внезапно знакомых, отныне
ставших дороже вдвойне,
самодержавной царя Николая
Первого воле покорных, пылая
Севером Юг обуздать, —
здравствуй, смирения гордого идол!
Как ни таился, но все-таки выдал
сам с потрохами себя.

* *
*

В ночи, то страша раскатами,
то молниями глаза
высвечивая пернатыми
до самого дна, гроза,

небесного гнева яркая
возвестница наперед,
шары швыряя ли, шаркая
подошвами ли, грядет,

неведомому какому-то
верна приказу, плашмя
бросаясь в огонь из омута,
в пучину из полымя,

над мертвыми, над живущими
в оградах и без оград,
уча за райскими кущами
отверстый провидеть ад.

* *
*

Языком эзоповым не владея,
потому что поздно учить язык,
нечестивца, вора или злодея
власть имущих — собственными привык
называть именами без оговорок,
невзирая на звания и чины,
сопричастности не деля на сорок,
не преувеличивая вины.

Обходи меня стороной, прохожий!
ибо только ноги тебя спасут, —
нет, не человечесий на них, но Божий
постоянно я призываю суд,
где защитник и обвинитель слиты
воедино, свидетель — и тот один,
пламенеют гневом Его ланиты,
свет сияет истины от седин.

Я со древа страха земного зерен
не вкушал и не пил боязни вод
кесарю назло, как бы ни был черен
или бел, — иным наполнял живот,
посему, дрожащий, как можно притче
от меня беги, не жалея пят,
а не то, напялив личины притчи,
за спиною хищники засопят.

Тяжелые строфы

1

Год от года хор голосов нездешний
все слышней и ближе мне, чем земной,
жизнь и вещи внутренней, а не внешней
поворачиваются стороной
ко вполоча зрящему и вполуха
внемлющему, — возраст особый духа
подоспел и вызрел, оборвалась
будущего с прошлым двойная связь.

2

Знать не знаю, добрый ли соглядатай,
или злой, до времени, до поры
притаясь в углу, в темноте мохнатой,
на мои торжественные пиры
зыркал и облизывался, завистлив,
но, незванным гостем на свет измыслив
заявиться вдруг по вино и хлеб,
он споткнулся, вкус потерял, ослеп.

3

Кем бы ни был сей из немого мрака
выходец, ни жажда его, ни глад
да не утолятся вовек, однако
в месте светлом, злачном, покойном клад
золотой ему созревает, чтобы
для ненасытимой своей утробы
негде приобрести вожделенный плод,
а меня б оставить в покое, вот.

4

Вот уже четвертой строфе начало
твердое положено наобум,
но еще ни слова не прозвучало
в простоте, и мной из насущных дум
ни одна не выставлена наружу, —
пусть и за горами конец, нарушу
естество, реки равномерный ток
превратя в клокочущий кипяток.

5

Мне ли мироздания да неведом
постоянно действующий закон,
что и поражениям, и победам,
малой кровью купленным, испокон
века мало памяти, чести мало? —
Шей не шей лоскутное одеяло,
хоть лебяжьим пухом его набей,
воробьем останется воробей.

6

Только переплавившему в горниле
собственного сердца страстей руду
грубую, лишь мысли от черной гнили
вымывшему, с плесенью наряды,
под струей рассудка студеной влаги,
о всеобщем ратуящему благе
достается в руки литая медь —
мертвым, нерожденным во слух греметь.

7

Ни к чему морочить, пища стишата,
голову, набитую лебедой,
и до ног окатывать из ушата
незачем, — красивой и молодой
ветхий и юродливый ненавистен:
вымыслов тщету от высоких истин,
плевелы от зерен предельно прост
способ отличить, — отдавая в рост.

8

То, что проговорено смутно ныне,
очевидным сделается, когда
превратятся снова моря в пустыни,
толщу распластает свою вода
над песчаной почвой и каменистой, —
ты, мой стих, минутного чуждый, выстой
и под новым небом сквозь прах взойди,
несмотря на засухи, на дожди.

9

Та земля, которая станет мною,
от нее же взятым, но в свой черед
наделенным тяжестью неземною,
пресоставясь вся, из меня вберет
зелень, синеву, желтизну впитую,
точку переправит на запятую,
одного на множество раздробя, —
отраженный свет отразит себя.

* *
*

Из дому грустно брести на работу,
мчаться вприпрыжку с работы домой,
плыть по течению к водовороту,
осенью, летом, весной и зимой

просто гулять по бульварам, усвоив:
свет не догнать, не дожидаться творца
новых — взамен обветшалых — устоев,
не оживить ни умы, ни сердца,

жадные лишь до подножного корма,
что бы ни делать — не сделать, и я —
только неопределенная форма
существования и бытия.



ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА



АНГЕЛ МЕРТВОГО ОЗЕРА

Истории про живых, полуживых и уже совсем...

- Вы продаете аспирин?
— Нет.
— Жаль, жаль. У отца кончился аспирин. Может, у вас есть чудодейственные зелья? Папаша любит делать чудеса.
— Нет, я никакими зельями не торгую. Я писатель.
— А почему вы думаете, что писатели не торгуют зельем?

К. Воннегут.

МОЗГ

...**(0)** ткуда-то из черного огня, легкая, как андерсеновская балеринка, возникла мысль: «Я не дочитала Воннегута. В книге остались очки». И сам автор, кудрявый, с высунутым языком, почти лизнул ее в нос. Но тут же другая мысль: «С языком — это Эйнштейн. Я их всегда путала». И снова ничего, хотя в черной стене появились сероватые мешки просветов. Одним словом, из небытия ее все-таки вытаскивал Воннегут. Она тогда, перед тем как заложить очки в книгу, замерла на его фразе, что свободу воли надо брать за жабры, только так наступает преодоление. Она решила, что с этим ей надо долго разбираться, и положила в книжку очки. Ведь у нее нет жабр? То, что у нее нет свободы воли, это безусловно. Если бы это был не Воннегут, она отложила бы книгу — и все. Но она уже много лет живет, держась за какую-нибудь чужую мысль. Это ее костыли. И вот доказательство: из небытия ее рванул худенький еврей, чем-то похожий на Эйнштейна, нашел у нее жабры и потянул вверх. Теперь она перед серым окном-мешком. Думает про свободу воли. Самое время! Ей хочется засмеяться над собой, но она забыла, как это делается, с той минуты, когда осталась одна, как...

Как что? Есть такое выражение: одна, как... *что?* «Перстами легкими, как сон...» — зазвенело в ухе. «Пальцами», — смеется Воннегут. «Пальцами», — хихикает языкастый физик. «Какая глупость, — думает она. — Один, как палец? Но пальцев — пять. Две руки — десять!» Она хмурит брови, которых у нее уже нет. «Надо вдуматься. Почему-то же так говорится...»

И исчезает. Она не знает ни куда, ни зачем, ни на сколько.

Возвращается, чтоб взять упавшие в снег очки. Нет, совсем не те, что оставила в Воннегута. Настолько другие, что она удивляется: разве они еще есть? Металлическая, привязанная ниткой дужка едва видна, через минуту ее занесет снегом.

Снег...

...Она стоит на корточках и «заносится» крупным сырым и серым снегом. Уже тяжелы валенки, портфель, но она все сильнее гнет голову, чтоб стало тяжело спине. Ей это очень важно. Холмики снега уже выросли на плечах, но со спиной что-то не получается, и она готова стать на четвереньки, чтобы достичь результата, тут-то и падают с носа очки. Чтоб их взять, она и становится на четвереньки. Пока пальцы копошатся в снегу, ища дужку, на спине вырастает та самая замечательная куча снега, которой ей не хватало.

Найдя и надев очки, она видит идущий к ней сугробик. «Образец», — думает она уже сейчас это слово, ей всегда было важно все назвать. «Все имеет имя» — кто это сказал? «Что в имени тебе моем?» У меня тоже должно быть имя... Эйнштейн-Воннегут показывает ей язык. Естественно, откуда им знать ее имя? «Одной звезды я повторяю имя...» Луиза. Это не ее имя. Это имя сугробика, который она ждала. Снега на спине у него целая гора, выше капора, сшитого сугробиковой мамой из куска голубого бархата старой юбки. Ее же капор из коричневого сукна — просто кашка по сравнению с голубым красавцем. Но она лишена зависти. Она хочет, чтобы у сугробика было все самое лучшее. Самое, самое... Потому что сугробик — девочка-горбунья.

И она снова легко исчезает.

Но возвращается быстро. Очень важная мысль тащит ее за жабры, тревожа додумывания.

Да. Очень важная. Тогда лицо в голубом капоре было для нее самым прекрасным в мире. Все другие — прыщеватые, угреватые, с ямками ветрянки и следами золотухи, крапленные неизвестно еще какой хворью, но все, как один, прямоспинные, сопливо-желтые, не согбенные — прямые как палки — были, на ее взгляд, не просто некрасивы, они все были уроды. А Луиза-горбунья была куколка. Жаль, что никто так не считал, только мама, но она готова была разделить любые ее мысли и ощущения. Она говорила, что Господь Бог милостив ко всем. Красивое лицо он дал поносить горбунье для уравнивания горя горба, чтоб бедняжке было легче жить, чтоб не пугала людей. «Попробуй пожить с такой бедой».

Вот она и села в валом валяющий снег, чтобы вырастить на спине горб и пройтись рядом с Луизой. Конечно, какое там сравнение. Но горкой снега на спине ей хотелось приблизиться к непонятности чужой жизни; как она узнала много позже, это называлось «побыть в чужой шкуре».

Она сидела с Луизой за одной партой, она подвигала к ней невыливайку, а однажды пришла раньше всех в школу и переставила все парты, чтобы Луизе досталась та, где спинка отстояла дальше от крышки. За этой партой сидел в самом углу злобный мальчишка, и он, придя, стал тащить свою парту назад, но она села, упершись ногами в пол, а в лицо мальчишке бросила ту самую невыливайку, которая попала ему прямо в глаз.

...Мысль была очень тяжела, неподъемна. И они покинули друг друга. Мысль исчезла, как исчезает след капли на стекле, как звук в тишине, и сама исчезла так же... Была — не стало.

Она возвращается с выражением «межумочное пространство». В ее обиходе этих слов не было точно. Пространство этих слов было крохотным, не освоенным никакой даже маломальской жизнью. Это были просто слова, висящие в воздухе. Но если висящие, то на чем? Она хочет это понять. И понимает. Слов как таковых нет вообще, их нет нигде: ни на веревочках, ни на бумаге, ни даже в голове. Их нет — и они есть. Они сразу и время, и имя, и пространство, они земля и небо и даже мизинец на ее ноге. Он у нее крохотный, и на нем узкая полосочка ногтя в розовой мякоти. Охватывает стыд за собственное несовершенство. Да о чем это она? Какое там совершенство? Она...

Она хочет вспомнить себя. Надо же случиться, что начала она с этого мизинца. С «межумочного пространства», — поправляет ее кто-то. Она отмахивается от голоса рукой, которой у нее нет, как нет и ноги с бракованным ногтем мизинца, у нее, собственно, уже нет ничего. Но она этого не знает. Ей отвели полсуток вот такой, на подкормке мозга, жизни. Она одиночка, и некому вытягивать из врачей душу, чтоб узнать о ней правду. Вся надежда врачей на то, что мозг устанет. Устанет без импульсов тела, без ощущений живой жизни. А главное, без сердца, которое дышит на ладан. Дано ли им знать, лекарям, что мозг постиг свое межумочное существование и сейчас делает все возможное, чтобы эта женщина, в теле которой он просуществовал больше пятидесяти лет, ушла насовсем с ощущением полноты жизни?

В конце концов, мозг ведь уйдет с нею же. Значит, это нужно и ему. У него снимут все импульсы и биотоки те, кому это надлежит сделать, в другой системе координат, а сам он — прежде живой, пульсирующий, перламутрово-серый, с огромным неиспользованным потенциалом — будет сожжен, как какая-нибудь берцовая кость!

...Она снова вспоминает себя. Перед выпускным вечером она увидела платье, которое сшила ей мама. Вот когда ей захотелось умереть по-настоящему. Умереть ей хотелось часто. Когда умерла Луиза, когда умерла бабушка.

На воспоминании о бабушке случается водоворот мыслей. Они насканивают друг на друга, так всегда, потому что бабушка ей не бабушка. Ее бабушка — акация в огороде. А та, от которой водоворот, как раз акацию и посадила. Но не важно... Какая есть, такая есть — она их объединяет, акацию и ту, что приходила и объясняла, как надо надевать галоши при помощи ложки. У галош слабое место — задник. И если делать абы-абы, то галоша будет спадать и останется где-нибудь в грязи. Еще надо мыть шею и за ушами. Умываешься — прихватывай и эти места. Раз забудешь, два — и уже полная затрепа, чумичка.

А потом она увидела ее уже на столе, где бабушка не была бабушкой, а была — вот ужас! — торжественным блюдом, утыканным цветами и свечами.

Она не хочет лежать на столе.

— И не будешь! — смеется Воннегут.

«Да!» — кричит она и танцует, танцует на выпускном в мамином крепдешиновом в мелкий цветочек платье. «Но этого не было», — спохватывается она, хотя танцует именно в нем. Ей снова хочется закричать: «Этого не было!» — она ведь так свято воспитана на правде, но что-то ей мешает, и она продолжает танцевать, краем глаза следя за летящим подолом в цветочках. Потом она ощущает прохладу крепдешина на коленях и воздух. Что дует не с завода лакокрасок, а со стороны долины, где сладко пахнет клевером. На косогоре хорошо лежать на спине, глядя прямо в глаз Полярной звезде.

Но она никогда, никогда, никогда не позволила бы себе лежать спиной на холодной земле долины. «Из земли так прохватит, что потом никакими лекарствами не возьмешь!» — говорит мама. Она же в таком красивом платье лежит-полеживает. Ну какой надо иметь ум...

На этом слове она исчезает.

Мозг в смятении. Он ведь хочет как лучше. Он ведь ничего не врет, он просто достает из глубины ее же желания, но она почему-то не узнает их в лицо.

...Она возвращается в странное место, где не была никогда. Или была? Домик-развалюха, а дом должен быть прям и тверд, и его должен окружать забор, не в редкую доску, а чтоб одна в одну влипала.

Однажды мама подвела ее к дому, где жил секретарь райкома, и сказала: «Запомни! Я хочу, чтобы ты жила в таком доме». Огромная собака ста-

ла прыгать на забор, норовя их достать, и мама добавила: «И чтоб собака у тебя была еще злее». Мечты у мамы одноэтажные, крепкие. Мама ни разу не была в большом городе, хотя до него всего шестьдесят километров. «Мне туда не надо», — гордо отвечала она. Но был уже телевизор, плохонький, но все-таки. Из него узнавали про очень высокие дома. «Люди не вороны, чтоб жить на высоте. Ты никогда так не живи».

...Так вот, домик-развалюха. Все вкривь-вкось. Можно отодвинуть доску стены и заглянуть внутрь. Можно отодвинуть две — и войти.

Она не хочет об этом думать. Еще чего! Она уводит себя из этого стыдного дома и исчезает.

Видимо, мозг ее трепещет от отчаяния, от невозможности справиться с нею.

...Я там не была. У меня не могло быть в таком месте дел.

Дела. Хорошее слово. Прочное, как мамин намечтанный дом. Дела, дом. «Д» — вообще основательная буква. «Дурак, дубина, дьявол», — говорит ей Воннегут. Или Эйнштейн, она запуталась. Но кто-то взял и снова мягко перенес ее в кривую избушку. Ну ужас, как в нее можно войти? И действительно, раздвигаются две доски в стене, и оттуда торчит голова, которую она ненавидит всю свою жизнь, она так ненавидит ее, что обрушивает домишко-кривишко и исчезает вместе с ним.

...Она не знает, что из реанимации выносят умирающих, их много, такой был взрыв, и ее уже подвигают ближе к выходу. В коридоре ждут люди, которым еще могут помочь ее трубочки. В сущности, она уже раздражает своей живучестью.

Каким-то непостижимым образом она это улавливает: она никогда в жизни ничьего места не занимала. Вынесите меня, пожалуйста! Она не знает, что ее внутренний крик услышан стрелками аппаратов и к ней подошли.

— Все идет к концу, — сказал врач, который поспорил на бутылку виски, что она не задержится на белом свете и пятнадцати минут. Шла четвертая... Другой (оптимист) говорил о запасе прочности советского тела, которое живет, будучи мертвым по сути, и так может держаться до бесконечности. Во всяком случае, часов пять она пролежит. Он от души желал этого больной, тем более что у него не было денег на виски, а выигранная бутылка хорошо бы стояла в его шкафчике, имея очень глубокое назначение. На нее могла бы клонуть врач-анестезиолог, дама красивая, пьющая, гуляющая, но не со всеми и не всегда. Самое же смешное, что бутылка виски пессимисту была нужна для той же самой половой цели. Живой мир жил живыми желаниями плоти, столь сильными, что один доктор норовил сделать укол для поддержания сердца, а другой криком кричал, что это «почти хулиганство» так истязать умирающего человека.

...Она же стоит у проема в стене, и ее зовут войти в эту хибару. Она просовывает голову. Оглушительно (глупо сказано по отношению к запаху) пахнет мышами. У противоположной от нее стены стоит широкая с шишечками кровать с панцирной сеткой. На сетку брошено старенькое стеганое одеяло, на нем сидит, раскачиваясь, Он. Его зовут Глеб. Она южанка, она называет его Хлеб, и ей стыдно перед другими, но еще стыднее переходить на звонкость, рождающуюся где-то в глубине гортани, и этим придать живущее прямо во рту, теплое и мягкое «Х». Ее произношение демонстрируют:

— Скажи-ка, ты! Голубь!

Многие смеются. Больше всех Хлеб.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Карл у Клары украл кораллы. При чем тут это? Тут другое!

...Она исчезает.

Мозг устал. Нет, он сам по себе еще сильный, его могло бы хватить на сотню лет. Он устал преодолевать ее сопротивление. Она не хочет идти за

мыслью. Она ее боится. Вот от страха выскочивший из других пределов памяти книжный Карл... Там, на панцирной сетке, сидит живой полнокровный молодой человек, это он пренебрег взламыванием замка, а вошел в дом сквозь стену и теперь зовет ее. Так было! Было! И пахло мышами. А никакого идиотического Карла не было сроду. Но она держится за Карла и не входит в избу с мышами и Глебом.

Войди, просит мозг. Войди, прошу тебя.

Она входит в домишко на курьих ножках.

Шишечки на железной кровати. Такие были у бабушки. Они легко отвинчивались. И бабушка потом их искала по всей квартире. Одна так и не была найдена. И бабушка привязала на это место бант. Бант был красивой шишечек. И она вынула ленты из косичек, чтобы заменить все шишечки. Но бабушка, бабушка! Как она могла так поступить. Она посадила шишечки на клей. Один бант и много шишечек.

Она исчезает.

Доктора-дуэлянты склоняются над ней. Уже идет десятая минута. «Межумочное пространство», — говорит тот, у которого нет бутылки виски.

Она вздрагивает на живущие в ней слова.

...Оказывается, она уже сидит на кровати. Глеб держит ее за талию. Она почти теряет сознание от мышиноного духа, от легкого покачивания на сетке, конечно, она теряет над собой контроль, если уже не сидит, а лежит на спине, а Глеб подсовывает ей под голову собственную рубашку, и теперь он над ней голый по пояс, такой весь загорело пахнувший. Это какой-то особый запах. Он ей нравится, его хочется жадно втягивать ноздрями все время, но еще чего! И она вскакивает, и бежит в проем в стене, и выскакивает во двор, давно оставленный жизнью. Он так горек, этот двор, с тележной осью с одним колесом, с рассыпавшейся на планки бочкой, какой-то стыдной в упавших обручах, с заржавелой тяпкой, прислонившейся к осыпающемуся ржавчиной рукомоЙнику, с заросшей собачьей конурой... «Так выглядит смерть», — подумала она, но через всю эту смерть уходит Глеб с мятой рубашкой, на плече. Он не смотрит в ее сторону. И она понимает, что он подлец. Он пришел только за этим. В ней было столько гнева, обиды и боли... Но где-то у бывшего забора он остановился и сказал равнодушно:

— Пошли, что ли...

Значит, ей надо пройти через этот мертвый брошенный двор, принадлежавший когда-то егерю, потом через лес, который сторожит этот егерь. Она держится за это красивое слово, ласкает языком, сглатывает горьковатую сладость.

И — вот фантастика! — возвращается в домишко. Она ложится на кровать, железный край панцирной сетки давит ей затылок, она подкладывает косы, у нее они толстые, деревенские. Так говорят тутошние девчонки с пухом на темечке вместо волос. Она лежит и ждет с закрытыми глазами. Она слышит, как скрипит гвоздь, когда отодвигается доска, она слышит шаги и то, как он останавливается и смотрит на нее. Она принимает его тяжесть, его торопливость. Она не помогает ему ни в чем, потому что тогда он увидит, как нетерпеливо дрожат у нее руки, как она вся горит. Он справляется сам, и она принимает боль и восторг освобождения от тела, которое летит, легкое и счастливое, неизвестно куда, чтоб уже никуда не вернуться...

— Егерь, — говорит она громко.

— Что она сказала? — спросил тот, что выиграл пари.

— Егерь, — ответил проигравший. — Из охотниц, что ли?

Мозг устало оседает на дно головы, в уютную ямку затылка. Он умрет через две минуты. Это достаточно много, чтобы испытать удовлетворение от проделанной работы. Он, мозг, отправил в небытие женщину, в которой жил, на самом лучшем транспорте из возможных — наслаждении. Как

же глубоко она запрятала это свое неосуществленное счастье; не вспомни она слово «егерь», так бы и не нашел мозг среди миллионов клеток ту, что была единственной, несостоявшейся любовью.

КИТЕЖ НА ВАШУ ГОЛОВУ

Звонок был хамский.

— Вы тетя Зина?

— Куда вы звоните?

— Тете Зине. Это вы? Ну шо вы в Москве все такие запуганные?

Я никому в этой жизни не тетя Зина. У меня нет племянников. И вообще я сто лет уже Зинаида Николаевна, к которой обращаются на «вы». Муж зовет меня Идой, а тех, которые могли бы меня назвать Зиной, я давно, давно утратила.

Но это «шо»... От него мне не деться никуда. Пряный вкус и острый запах слов-паразитов родины ворвался ко мне в дом, даже не переступив его порога. Он меня душит, но одновременно я им наслаждаюсь. Только *оттуда* меня могут назвать как угодно. Мои земляки никогда не были озабочены поисками слов. «Ты жопа, Зина, — это при покупке неудачного укропа. — На шо ты его купила?» «Тю на тебя!» — говорили мои школьные подружки во всех случаях жизни — радости и горя. «Чего это грубо? Грубо за грубкой (печкой) хватать за грудки». Слова на моей родине — птицы вольные, никакими правилами не окольцованные.

— Да, — отвечаю я. — Я тетя Зина. С кем имею честь?

— Та ну вас, тетя, с вашей честью. Я Тосина дочка. Лидка. Я стою возле вашего дома, но не знаю, на шо нажать, чтоб дверь открылась. Говорите, я записываю.

Какая Тося? Имеется в виду, что я ее знаю? Но я такой не знаю!

— Та говорите же! Я не наводчица. Я Тосина дочка. Чаусовы мы, от вас с краю.

Так, наверное, должен подыматься град Китеж для тех, кто в него верит и ждет его всплытия. Сначала купола в морской тине, с ошметками парусов, потом все ниже и страшней до самых что ни есть косточек, косточек русских. На меня же надвигается хатка, бедная-пребедная. Там живет Тося, она шьет на продажу стеганые валенки, которые носят те, что еще беднее ее. Тося погорела на обмене денег в шестидесятом. Мой народ всегда бывает застигнут врасплох жизнью. «Тока-тока» перестали забирать людей, как стали отымать деньги и вещи. Какие красивые костюмы были у шахтеров, лучше летчицких. Отменили. И все подземные доплаты отменили тоже. А огороды? Сколько раз ходили и вымеряли, и ни разу, чтоб добавить, всегда, чтоб урезать. Про животных уже и говорить нечего. Когда запретили коров, это, честно говоря, было хуже начала войны.

О моя улица, я впадаю в твой стиль, я вижу эти шитые валенки тети Тоси, я их уже надела, как моя бабушка. Я училась со способным хулиганом Витькой Чаусовым, но я не помню в их доме никакой Лидки. Родина падает мне на голову, как снег с крыши, у нее такие шутки. Заваленная, я могу что-то и забыть. Но я помню, а потому называю код. Я идиотка. Так делать нельзя, хотя какой с меня спрос: меня накрыло с головой «шо», «тю», я сама «надела валенки» и уже не знаю, кто я такая есть.

Она входит с полиэтиленовым пакетом, из которого торчат желтые цветочки. Она смотрит на меня, и в ее лице начинает что-то меняться, переключаются какие-то внутренние тумблеры, мысль наскакивает на мысль, и одна из них гибнет.

— Чего это я решила, шо вы моложе? — говорит она. — Это из-за Витьки. Он у нас все еще холостяк, и девки вокруг него молодые. А вы уже дама в возрасте. А Витька не хочет жениться, таскает домой баб, соседи в стенку стучают.

— А где он работает? — спрашиваю я.

— Как всегда, электриком, — отвечает она даже с некоторой обидой, что я не знаю, где и чем занимается мой бывший одноклассник.

Я просто чувствую, как она меня в этот момент отвергает. О, это чертovo гоголевское племя Солох и Одарок! Потом ведьминское уходит с ее лица, и она тарачит глазки, одновременно доставая из пакета бутылку с подсолнечным маслом. Я вынимаю бумажную пробку и вдыхаю этот удивительный смачный дух. Я нюхаю его долго, чтобы отбить острый дезодорант, которым пышет моя гостья.

На ней коротенькая, по самое «то», не больше, джинсовая юбочка, которая была укорочена ею самой грубыми стежками и нитками не в цвет.

— Маслице мы всегда берем у тети Поли, вы вспомните, у нее была горбатая доча, с вами и Витькой в одном классе училась.

Она все путает, моя гостья. Горбунья Луиза старше меня лет на пять, а может, семь. Я пошла в школу, а она уже была то ли в седьмом, а может, и восьмом классе.

Но я не спору. Ей лет двадцать — двадцать два (значит, тетя Тося родила ее поздно, когда меня там и близко не было, я уже кончала институт). Она сидит на кухне на ломкой табуреточке, у нее длинные с мощными бедрами ноги, они растягивают юбку, делая ее еще короче, и я вижу трусики в цветочек и натертые следы от них, чувствую неудобство, которое доставляют они в ходьбе, ну, в общем, я ее по-женски жалею.

— Шо вы смотрите мне в пипку? — говорит гостья. — Вы шо, читаете ее мысли? Да, я хочу в уборную, где это у вас?

На обратной дороге она внимательно заглядывает во все комнаты.

— И сколько вас тут прописано? — спрашивает она.

— Мы с мужем, — отвечаю я.

— Кучеряво живете, — вдруг очень зло говорит моя гостья. — Три комнаты на двоих. А между прочим, беженец с Украины прет и прет. Сдадите комнату?

— С какой стати? — это уже я говорю зло.

— Вы толкаете людей в проституцию, — отвечает она.

— Ну и с Богом! Откуда я знаю? Может, это именно то, что им нужно? Может, только об этом они и думали, собираясь в Москву?

— Может, и так, — отвечает она. — Ну и что такого? Я запросто пойду в проститутки. Говорят, только надо найти хорошую мамку. У вас нет хорошей мамки, чтоб не обижала, чтоб медицина там и все такое?

Я — соляной столб. Я несчастная жена Лота, что оглянулась сдуру.

— Да не пугайтесь так. Я еще до этого не дошла. Иду, но не дошла. А квартира ваша подходит для другого. Мы у вас будем делать поминки. Больше не у кого... Я обошла всех. Никто не пустил даже на порог. Отшили по телефону. Хорошо, что я знала ваш адрес. И пришла ногами. По телефону вы бы тоже отшили.

Я ее не слышу. Я перебираю всех родных и близких, которые могли умереть без моего ведома. Даже подумать страшно, сколько знакомых и не очень я схоронила в эти несколько секунд. Бред идеи поминок был отодвинут, я истерически искала покойника.

— Верку Разину помните? — спрашивает гостья, и теперь я знаю, как попадает пуля в цель, как разлетаешься на куски, и последняя мысль — не ужас, а наивное и детское «надо же!». За капельку до того, как была названа фамилия, я подумала: а где, интересно, сейчас Вера Разина?

Странный прилепок нашей семьи.

...Мама рассказывала, что мать с дочерью бежали от немцев буквально с двадцать второго июня сорок первого года. Мать была еврейка, девочка-десятилетка — полукровка, вся белесая, бесцветная, белоруска, одним маминым словом. Целую ночь беженка говорила о чем-то с бабушкой, которую знала в детстве. А потом отлучилась вроде по-маленькому — и все нет

и нет, нет и нет, пошли в уборную, а она висит. Мама объясняла так, что другого способа оставить ребенка, у которого ноги были сбиты до костей, еврейка придумать не могла. Бабушка упиралась, предлагала деньги на продолжение пути побега, но женщина выбрала путь в уборную. Жанна осталась у нас как племянница из Полесья. Она жила у бабушки, а потом была пристроена в семью, где нужна была нянька. Чем-то эта семья была обязана бабушке за какие-то другие времена, то ли коллективизацию, то ли Гражданскую. Поэтому Жанна войну прожила спокойно, тайна ее явления в наших краях осталась тайной. Мать же Жанны была похоронена на нашем огороде. На могиле бабушка высадила акацию.

После войны, рассказывают, в нашем полугороде стали работать пленные немцы. Это были фальшивые немцы — румыны, итальянцы. Они были худы, чернявы, но, как говорила моя мама, не нашим мужикам чета. Ласковые, как телята, и красивые, как жеребята. Ну вот все и случилось. Где-то «чи пид стрехоу, чи билия криници», то бишь под крышей или возле воды, случился грех у белавой полуевреечки и чернявого жеребенка из Италии. Жанна скрывала беременность от моей бабушки, от семьи, где она была приживалкой-домработницей, и от итальяшки тоже, потому как боялась, что его тогда могут заслать невесть куда. Тайное оставалось тайным месяцев до шести, а потом стало таким скандалом, что Жанна бежала куда глаза глядят. Вернулась через три года с дитем, девочкой Джульеттой, вот уж бабушка моя насмеялась властью. Откуда ей было знать — Жанна ведь не призналась, — что девочка — итальяночка и Джульеттой названа по любовной сущности имени. Но итальянцев и румын уже куда-то отправили, и только бабушка продолжала смеяться над несчастным дитем, что все-таки несравненно лучше плача над ним же.

Опять и снова бабушка взялась устраивать мать и дочь. Тогда как раз удачно цыгане покинули данный им в оседлость после войны саманный поселок. Вынули рамы, сняли двери, сложили все это на подводы — и только их и видели. По дороге посрезали веревки с мокрым бельем, собрали ведра и сохнущие на заборах глечики (горшки), пихали в мешки задумавшихся кур и утей, в общем, прошел Мамаем приготовленный к новой жизни народ. Бабушка взяла Жанну за руку и привела в один из оставленных домиков, где сохранилась рама, а дверь бабушка принесла из собственного сарая.

— Ты теперь будешь цыганка, — сказала она белесой Жанне, — все уши, а ты не смогла, у твоего дитя родимчик. — Бабушка объяснила, как выглядит родимчик, оставила Жанне еду и сказала: — Живи, как Бог послал.

Через улицу стояли новенькие, выстроенные фальшивыми немцами дома. В одном из них жила женщина с маленькой больной позвоночником девочкой. У той тоже было странное имя — Луиза, данное ей в честь бабушки-немки. Вот и нарисуйте себе эту картину. В доме, построенном фальшивым немцем, живет девочка Луиза, названная в память о немке настоящей. А напротив, через грязь дороги, — саманный дом, где живет дочь фальшивого немца — итальянца — и носит имя любви Джульетта.

«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», — много, много раньше описываемого времени сказал один англичанин.

Как я знаю из истории нашей семьи, окончание войны совпало с дружбой моей бабушки с попом вновь открытой церкви. Были они оба когда-то учениками церковно-приходской школы, потом жизнь ударила по темечку России, и растеклась она людьми во все стороны. Бабушка, правда, с места не стронулась, а несчастный, уже семинарист, хлебнул лиха полной мерой во всех сторонах света, пока не сподобился осесть в церквушке со снесенной колокольней.

Бабушка помогала богоугодному делу, одновременно вводя попа в курс жизни паствы. Рассказала про еврейку, на которой растет акация. Про Жанну, что принесла в подоле Джульетту.

— Что ж это за имя? — сокрушился поп. — Имя ж — оно судьба...

Бабушка широко зашагала в саманный домик, взяла в руки ребенка и, не говоря ничего Жанне, понесла девочку крестить. Следом бежала Жанна, которая не имела никакого образования из-за войны, но была уверена откуда-то (от жизни, наверное) в мысли отсутствия Бога, признаков присутствия его она не встречала сроду. Бабушку, которая приносила ей еду и одежду, она не любила, ибо та была грубой в словах, и мама ее умерла после одного разговора с бабушкой. И с ней, Жанной, бабушка не особенно церемонилась, хотя какие церемонии могли быть с нагулявшей дитя девицей. Но за ребенком, уносимым куда-то, Жанна бросилась с криком. Так с криком они и прибежали в церковь без колокольни. У попа была попадья, вот у нее хватило нужных слов для Жанны, а в самой церкви висела вырезанная из какого-то журнала литография. Там милая женщина нежно держала дитя, и было вокруг нее нежно и ласково.

Одним словом, окрестили девочку Верой. Но до самой своей смерти мать называла дочь Джулей, хотя в школе девочка утвердилась Верой Разиной. Фамилия случилась у нее по всем правилам жизни. Жанна вышла замуж за вернувшегося после плена и тюрьмы Василия Разина, семья которого жила тут же, неподалеку, но от Василия жена отреклась ради блага его же сыновей, пока он был в лагере. И тот это понял и принял. Хотел было уйти в другие края, но на базаре увидел Жанну.

Она торговала молодым луком, петрушкой и укропом. И почему-то Василию стало жалко белесую, испуганную торговку с дрожащими руками. Был тут еще один, скажем, живописный момент. Василий немножко рисовал. Цвет волос, ресниц, кожи, усыпанной редкими веснушками, и самая что ни на есть зеленая зелень были очень красивы в сочетании и, несмотря на дрожание пальцев торговки, являли собой странные радость и свет, о которых бедолага за последние десять с хвостиком лет своей тридцатилетней жизни подзабыл совсем и напрочь. А тут вдруг вспомнил. Он купил у Жанны лук. Походил, походил и купил укроп с петрушкой. Жанна сложила деньги в носовой платочек и ушла с фанеркой, на которой до того лежал товар, домой. Василию все равно некуда было идти, и он побрел следом.

Конечно, она не пустила его во двор, где в земле копошилась маленькая беленькая девочка.

— Этого раньше тут не было, — сказал Василий, глядя на осевший и обмякший без людей саманоград. И только один домишко жил духом живущих, женщины и девочки, хотя, если честно, тоже дышал на ладан.

— И этого тоже не было.

Это Василий сказал уже о домах, поставленных через дорогу фальшивыми немцами. Они как раз выглядели хорошо и молодо, зацветая вьюнком и красноголовыми мальвами. И тут его окликнули. Василий был рад любому человеческому участию к себе, но город, видимо, забыл его, как забыла семья. Вот ходил по базару, и, что называется, ни одна собака в его сторону не гавкнула. А тут: «Васек! Васек? Ты чи не ты?»

И он пошел к красивенькому узковерхому дому, а из калитки вышла Поля, с которой он учился в школе, но не успел закончить, так как пошел воевать на финскую.

Поля его накормила, нагрела воды, чтоб помыться как человеку, в корыте. Городская баня еще даже в голове проектантов не возникала, так как ее сроду тут не было. Народ не считал в тех краях правильным мыться на виду у других, равно как не хотел видеть чужую голость, считая это большим неприличием. Вот корыто — славное дело. Еще славней — цинковые ванны, но их далеко не каждый мог себе позволить. Начальники строили

себе дома, где ванны и уборные уже были предусмотрены. Но в тот период, период Василия в корыте, даже начальники из ванной комнаты делали кладовку, из уборной — другую. И простые копальщики рыли им глубокий, на долгое время, сортир во дворе. И это было милее и лучше, чем какать в доме. «Фу! — говорили первые дамы города. — Запах же все равно остается. Куда ж ему идти?»

Вымытый Василий был оставлен Полей ужинать, а когда пришел с работы ее муж, они выпили чекушку водки, как и полагается людям чистым и честным. За столом узнал Василий горе этой семьи — дочку-горбунью с удивительно красивым личиком и огромной сгорбленной спиной. Сердце Василия разорвалось на части, и он стал думать, что можно сделать для Поли и девочки, чтобы снизить вес несчастья. В голову лезли разные глупости — заработать тыщу рублей и найти врача, который знает, как исправить горб. А то еще и совсем фантастичное: дать девочке другое тело.

Он бы свое отдал без всякого. Но тут же Василий устыдился, вспомнив свое недавнее тело в корыте. Но все равно! Что-то где-то должно быть! Должно! И Василий решил, что пусть Поля с мужем и девочкой станут его семьей. Он поселится где-то рядом и будет отдавать им свои деньги или будет сам копить до того момента, когда нужные врачи получат знания, как исправлять природу.

Перед сном он вышел подышать. Горело окошко в саманном доме. Он вспомнил желто-зеленый цвет радости и спросил у Поли, а кто хозяин в домишке, тот ведь совсем закривел боком.

Поля ему рассказала, что знала. Она не знала про акацию в огороде моей бабушки, но бабушку боялась, считала, что у нее «черный глаз». Поэтому боялась и Жанну, не сильно, но немножко. Взясась, мол, ниоткуда, а бабка эта (моя бабушка) все к ней ходит и ходит. Девчонку крестила, а чья девчонка — неизвестно. Может, вообще другой веры? Может, от немца? Слух такой был. Живут, как птицы. То мать кому подрубит простыни за хлеб и молоко, то полы помоеет за это же. Сейчас пошла зелень. У нее две грядки. Торгует за копейки. «Но я с ней не знакоюсь из-за бабки. Боюсь. У меня своего горя повна скрыня (целый сундук)». «А я не боюсь», — подумал Василий.

Моя мама, обожая вникать во все семейные и любовные истории, про роман Жанны и Василия рассказывала каждый раз по-разному. Был в истории скандал, который якобы устроила Жанне Поля как бы из ревности, было поджигание саманного домика, была подброшенная бабушке на крыльцо дохлая кошка. Была даже милиция, которая пришла выселять Жанну за самозахват жилого фонда без документов. Были в рассказах и совсем уж мелочи типа крика Поли: «Сучка! Сучка! Немецкая подстилка!» Что уж так гневило Полю, объяснить было нетрудно. Несчастливая в дитяти и не обласканная мужем, Поля подглядела в дырочку (это моя мама знала почему-то доподлинно) моющего Василия, хорошо сбитого мужика с добрым лицом. А когда он стал вытираться, Поля обомлела, увидев предмет потрясающей длины и красоты.

«Поля пала», — почему-то торжественно говорила мама.

Моя мама любила художественную литературу, понимала толк в мужчинах, и история со словом «пала» сложилась у нее зараз. Она бы, мама, «пала» точно.

Но я думаю, правдой их романа было то, что не попало в художественное описание мамы. Сиротство и жалость — вот что было главным. Окошечко так тепленько и одиноко светилось, и так хотелось всю оставшуюся жизнь помогать девочке-горбунье. Опять же красота зеленого лука и слегка дрожащих пальцев с красивыми ногтями и высокими белоснежными лунками на них. Идеалистом был мужик Василий. Он про то, что у него висело промеж ног, и думать не думал. Оно всегда висело, а счастья не было! И Василий пошел другой дорогой. Дорогой духа, а не тела.

Именно с русскими сильнорукими мужиками случается какая-то дитячья нежность, от которой они слабнут, и уж курицу им нипочем не зарезать, и тогда ловкие, сильные теткы делают из них тягловую силу днем, а ночью уж что захотят. Но бывает, что попадают сильнорукие к слабым женщинам — тогда толку от них никакого и сила канет втуне.

Я училась в первом классе, а Луиза и Вера в седьмом, хотя Луиза была старше Веры на три года. Но Поля боялась отдавать убогонькую в школу, чтоб не заобидели. А с Верой отдала. После семилетки Поля мечтала устроить Луизу в аптеку. Я помню то время, когда все видимые мною горбуны работали, как правило, в аптеках. Но для этого требовалось медицинское образование. Хотя бы среднее. Луиза поехала в соседний город, где только-только открыли медучилище. Автобус врезался на переезде в поезд, а может, наоборот, поезд в автобус, никаких светофоров у нас тогда в заводе не было. Поезду хоть бы что, а от автобуса не осталось ничего, только Луизины туфли-обновки на венском каблучке. Чтоб казаться выше.

Веру Василий повез в то лето на Азовское море для повышения гемоглобина крови. Так что она ничего не знала. Приехала загорелая, похорошевшая, побежала через дорогу к подружке, а во дворе ходит тетя Поля с завернутыми в одеяло туфлями и поет им колыбельную.

— Вот маленькая засранка, все не спит и не спит, — сказала она Вере.

— А Луиза где?

— Так я же тебе и говорю, ношу целый день, а у этой чертовки ни в одном глазу. Я прямо с ног валюсь.

И она правда повалилась с ног, но сверток удержала, прижимая к груди.

Вера же год отлежала в больнице в нервном отделении. В школу уже не вернулась. Бабушка мечтала выдать ее замуж за хорошего человека. Поиски хорошего человека для сироты — не фраза, про это раньше писатели романов написали тьму. Бабушкиной жизни найти мужа для Веры не хватило. Последний раз я ее видела, навсегда покидая родной город. Впереди у меня была вся жизнь, и она, безусловно, была прекрасной.

— Как я тебе завидую! — сказала мне Вера.

Я очень запомнила эти ее слова. В них было что-то большее, чем обычный треп девчонок из одной школы, покидающих дома родителей. Я и сейчас помню эти слова: «Как я тебе завидую!»

Потом они все уехали куда-то по вербовке. С тех пор я ничего о ней не слыхала. Семья наша (это я уже знаю от мамы) была на них обижена: уехали — не попрощались, снялись в одночасье с нехитрым скарбом, только их и видели.

И кто ж это будет держать в голове девчонку, с которой ни дружбы, ни любви не было, а было — однажды вырвавшееся «Как я тебе завидую».

И вот через столько лет молодая женщина в минимальной юбке считает мою квартиру подходящей для поминок по ней. И я готовлю ей отпор, но она произносит то, против чего мой отпор не годится ни с какого боку.

— Ее убило в переходе, — говорит она. — От нее почти ничего не осталось — туловище и голова. И чисто случайно, чисто... Обнаружилась ее фамилия в сумочке.

— А вы ей кто? — спрашиваю я.

— Никто, — радостно сообщает мне это дитя природы. — Землячка. Как и вы. — И она сыплет на меня фамилии и адреса, о которых я слыхом не слыхивала.

«...Там, где наша хата, автобус, что идет на шахту-бис, останавливался, ну, еще рядом салон-парикмахерская, там живет ваша учительница Марья Антоновна, ей уже лет сто, а смерти нет. Ну?!»

Как ей объяснить, что в мое время автобусы не ходили и не было никаких салонов. И только-только открыли баню. Правда, учительницу я помню, потому что очень старалась ее забыть.

— Мы с Верой работали в больнице в Мытищах. Она у нас была старшей медицинской сестрой. На тот день договорились встретиться в центре, поездить по ярмаркам. Сапоги зимние и у нее, и у меня ни к черту. Я опоздала, я всегда опаздываю, у меня нет понятия времени. Пришла, а там уже тарарам. И какие-то голые горелые люди бегают. Я сразу поняла, что она погибла. Ну, есть такие люди, шо на них сразу думаешь плохое. А тут мужик с цветами бегаёт, кричит: «Вера! Разина! Вера!» Я подошла и говорю: «Не кричите! Если ее нет среди голых, значит, она сгорела». А он меня цветами по морде хлысь! Я поняла, что он не в себе, но не могла сообразить, что ж это она и мне место назначила, и ему. Странно как-то... Ну, потом я опознала, уже в больнице, ее, но брать и везти хоронить в Мытищи отказалась, там никого у нее нет. Мужик же чудной, он из Ярославля, тоже ей никто, но кричит: «Я не согласен так, чтоб хоронить в общей куче». — «Другие в этой куче ничуть ее не хуже, — сказала я, — но помянуть надо, на девять или там сорок дней». Я поняла, что он старый Верин знакомый, зовут его Хлеб Иванович. Но это я так говорю «Хлеб», я ваше «г» не умею выговаривать. Мы обменялись с ним адресами и телефонами. Но на девять дней не вышло, а сорок — завтра. С работы нас придет трое плюс Хлеб. Плюс вы. Понятно я объясняю?

— Как вы меня нашли? У нас с Верой с молодости никаких контактов не было.

— Она про вашу семью много рассказывала. Бабушка там у вас была — ведьма? Так или не так? А вы стали ученой. Она за вами следила. У нее была ваша книжка про Чехова. Она нас всех им достала. В домик его водила. Срам, а не домик, но не важно. Ей почему-то было приятно, что Чехов был небогатый и не очень счастливый. А главное, как мы все, лимитчик. И вы вроде про это писали. Я честно скажу — не читала. Я у него только «Муму» и знаю.

— Это Тургенев, — говорю я.

— Не сбивайте меня с толку, — говорит моя гостья. — Я читала мало, но то, что читала, помню хорошо.

Мне неловко участвовать в разговоре-анекдоте, и я замолкаю, хотя потрясает меня даже не несчастная Муму, а слова, что «Чехов был лимитчиком». У меня горчит во рту от отвращения. «Домик — срам», «сам бедный» и к тому же лимитчик. Господи, спаси и сохрани мертвых от живых, спаси Антона Павловича от этой барышни с пипкой! Но стоило мне взять эту высокую ноту защиты, как я поняла, что она отвратительно фальшива, что Чехову было бы смешно, узнай он это слово «лимитчик», что он написал бы о нем Суворину: «Мелиховские бабы встречают меня приветливо и ласково, как юродивого. Каждая наперерыв старается проводить, предостеречь насчет канавы, посетовать на грязь или отогнать собаку, а в Москве я лимитчик. Слышали словечко? Хотелось бы посмотреть на фрукта, который его пустил».

Моя гостья ничуть бы его не удивила, он ли их не знал, южных нахло. И я слезаю с котурнов. Чехов в который раз вправляет мне мозги. И я уже думаю, что писатели не поспорятся из-за имени собачки. Важно, что нашли меня по ней.

— Я вам помогу, — говорит Лида, — кутью там, узвар. И тесто я умею делать быстрое. «Утопленник» называется. На спиртное скинемся. По сколько, как вы думаете?

— Сделайте кутью и узвар, — говорю я, — остальное я приготовлю. И водку куплю. Говорите мне точное время.

— Завтра вечером, — говорит Лида. — Придем часов в семь, годится?

— В шесть, — уточняю я.

— Бойтесь, что засидимся, — смеется Лида. И думает абсолютно правильно. Боюсь именно этого.

Мой муж, он не выносит чужих в доме. Я быстро соображаю, кого мне позвать для него, чтобы он отвел душу. Но мне не везет, у всех свои дела. Надо сказать, что это меня беспокоит больше, чем все остальные хлопоты. Я знаю, как муж уходит, обнаружив у меня спонтанный девичник или прибывшую без объявления войны родню. Не говоря худого слова, он надевает обычно никогда не надеваемый берет, темные очки, а в руки берет палку, оставшуюся у него после тяжелого растяжения связок. Этот уход в облике полуслеплого — очки и палка — сотрясает меня всю, я начинаю фальшиво говорить, фальшиво смеяться, а он является уже после последнего поезда метро, звонит робко и тихо спрашивает: «Теперь я могу войти?» Я бы его убила, если бы не была безумно счастлива, что он жив и здоров, и никуда не пропал, и не побит, и все такое прочее.

Тем не менее концы с концами у меня не сходились. Брошюрка про Чехова была написана очень давно, когда я носила фамилию первого мужа, мы с ним давно разошлись, я уже много лет существую как мадам Сироткина, под этой фамилией у меня тоже вышли какие-никакие книжонки, но про Чехова я больше не писала. Романтический период моей филологии кончился, я вступила в месиво соцреализма, штука оказалась заразной, мне даже пришлось оставить на пару лет институт, чтобы вернуться к себе самой. Но уже не к Чехову, а к Бунину, с которым меня связала некая любовь-ненависть, я преподаю его излишне страстно, как бы назло всем, что не значит хорошо, мне сплошь и рядом отказывают и здравый смысл, и элементарная справедливость, я мучаюсь и мучаюсь с ним до сих пор, и хотя мне опять предлагают семинар по Чехову, я не могу уйти от этого поработившего меня мужчины, совсем как его жена. Так к чему я все это? К тому, что мама моя болтлива и все перемены моих — их у меня три — фамилий становились народным достоянием. Поэтому Лида, перепутавшая двух собачек, тем не менее искала меня грамотно по последней фамилии. Но какое это имело значение, если завтра у меня скорбное мероприятие. И это будет моя акация над братской могилой Веры, а где-то растет или уже засохла первая акация, высаженная моей бабушкой.

Зачем космическим линиям, разойдясь как бы навсегда, взять и развернуться и опять сплестись в абсолютно бессмысленный узел? Но он сплетен и бьется в твоих руках, живой и верткий, — с какой, спрашивается, стати? И я ищу, ищу во всем этом промысел, хотя сказано, что нельзя «знать дело Бога, который делает все!»

Нельзя, но как хочется, Боже! И я буду ломать головушку над этими свалившимися на меня чужими сороковинами.

Идеален был бы в этом случае Коля. Коля — странник. Так он определен в моей системе человеческих пород. При нем мог бы и муж остаться, но даже если бы ушел, на Колю я могла бы опереться. Он взял бы на себя разговоры разговаривать, и я чувствовала бы себя спокойней. Но где он и как его найти, тайна сия велика есть. Странники объявляются сами, когда хотят, у них нет правила предупреждать по телефону. Во всех других случаях это меня гневало, но Коля — сейчас скажу пошлость в духе ситуации, — Коля всегда был как подарок.

Коля, милый, где ты?

КОЛЯ

Он же просто шел — никуда и ниоткуда. Раньше он любил ходить по улицам, где нет транспорта, но разве сейчас найдешь такую? Машины выползают из немислимых пространств закоулков и идут на тебя широко поставленными фарами без законов и правил. Ты им никто. Ты помеха на дороге. Коля чувствовал их ненависть. Но разве может ненавидеть колесо

или руль? Или та же фара? Это человеческая ненависть наполняет резину и железки. Коля улыбался и подымал руку, он как бы извинялся за свое существование на дороге. И машина скрипела, тормозя, и Коля в который раз думал, что смирение — единственный способ выживания в этом мире.

Хотя почему единственный? Побеждающей силой обладают вещи как бы уходящие — обезоруживающая улыбка в лицо хама, вежливость на грубость, нежность там, где о ней сроду не слышали. Все это, конечно, тоже вид смирения, но в смиренной слабости куда больше силы, чем в натуральной силе. Философия подставленной щеки не так проста, как кажется дуракам. Может, она одна и есть сила — слабость открытой груди. Кто-то же сказал: «Смирись, гордый человек».

Хотя есть и другая присказка по поводу силы и слабости, она уж точно народная: «Не пидай против ветра». Ну, писать, конечно, сложно. Кроме машин еще враг — милиция. За десять лет незаконного существования надо было найти способ никогда не раздражать ни постового, ни идущего по улице или стоящего во вратах служивого. Коля был вежлив, приветлив, он умел отвлекать от себя внимание ментов литературным приемом, позаимствованным у Чехова: резко подымет голову и смотрит вверх с открытым от удивления ртом, глядишь, еще человек десять туда же смотрят. А можно для силы впечатления сказать что-нибудь типа «Ё-мое!» или «Мать честная!». И тихонько раствориться в пространстве удивления. И еще Коля — исходя из существования машин и милиции — научился не думать о завтрашнем дне. Его ведь могло и не быть. Дня.

Русские вообще тысячелетиями живут на авось, без гарантий. То их войной накроет, то начальником страны станет безумец — Иван Грозный там или Сталин. А когда-то под этой русской чудью обязательно колыхнется измученная земля и поглотит всех. Коля помнил, как старательно, по правилам, вычерчивал свою жизнь его старый отец. Как отрекся от всей посаженной и расстрелянной родни, как взял другую фамилию, как он воевал и строил на ура, вытаптывая следы предков-неудачников. Как стал в конце концов третьим секретарем райкома партии, но боялся других повышений, ибо на тех уровнях проверки другие. Могли дознаться про истинную фамилию. А у себя, в сельском районе, он был посланец центра, и ни одна собака не порылась в его жизни.

Боже, как он умер! Умер в самый расцвет перестройки потому ли, что понял наконец свой стыд отречения, или потому, что уже не мог придумать новых правил выживания. Все расписал до смерти и до его, Колиной, взрослой жизни: вот тот институт кончит, вот назначение хорошее получит (папа ведь партийный работник), вступит в партию, внуки-пионеры пойдут. Они с бабушкой будут петь им песни про «заветный камень». Коля не сочинил эти планы, он их слышал от отца в десять лет и в пятнадцать. А в шестнадцать его схоронил. В райкоме накануне побили стекла и с фронта пытались стащить портрет Ленина. Удалось частично, портрет повис на одном гвозде эдаким ромбом. Ленин был смешон в этом ракурсе. Он как бы лежал на затылке, пляясь в небо, и вся его кривоватость вызывала здоровый детский смех, а папа — перекинулся. А за ним и мама, абсолютно крепкая, на двадцать лет моложе отца мама, раз — и нету. И ни тебе флагов на похоронах, ни впередсмотрящей подушечки с орденами. Ни-че-го!

Он остался один в трехкомнатной квартире, и никаких родных и близких, которые могли бы сказать какие-нибудь слова. Все было в апреле. Это было существенно. Ленин был вывешен ко дню рождения и одновременно к майским. Но на май Коля уже был круглым сиротой, а впереди маячили выпускные экзамены. Фа-фа, ля-ля. Сдал легко. Учителя «пожалели». Сделали ему троечный аттестат, хотя учился он на крепкую четверку. Видимо, это была их месть советской власти. После родителей не осталось никаких сбережений. Отец стеснялся (как бы) сберкнижек. Вот тогда

Коля первый раз подумал: а как они и с чем собирались отправить его в университет, в Москву? На какие шиши? И может, деньги все-таки где-то были? Он искал тщательно, ящик за ящиком, книжка за книжкой, банка за банкой.

Плохо искал. Не умел мальчишка. Именно для Москвы, для поступления деньги были отложены. Конверт лежал в старых стенных часах, которые отбивали каждые пятнадцать минут. Коля не открыл дверцу, ключа не нашел, а ломать было жалко. Так никуда и не поехал. Пошел работать на фабрику игрушек. Другой просто не было.

Зарабатывал на еду, но на оплату квартиры уже не хватало. Стал потихоньку продавать вещи: ковер, финскую горку, часы с боем без ключа, но с конвертом. Потом в квартире стало гулко и даже как бы ветрено. В семьдесят седьмом ему сказали, что ему эта квартира не положена, что она ведомственная (чистое вранье), и ему дали комнату в семейном общежитии. Он принял это как должное — не станут же его обманывать? — и переселился в коммунальный ад. Там ему многое объяснили. И кто его папа, и кто он сам, и что так им (всем им!) и надо, и что рвал бы он отсюда когти подальше. Время таких, как он, кончается.

Туповат он был, туповат. Но деньги на дорогу в Москву уже скопил. Да провалился на первом же экзамене. Стыдно провалился, как полный идиот. Школу забыл, а новых знаний «в игрушках» не было.

Он вернулся назад. На его комнатке висел замок. Комендант сказал, что там живет рабочая семья, а ты, парень, тут вообще не прописан. И это было так. Москва его не приняла, а свой город выталкивала. Ему не к кому было пойти, потому что у него не было в школе друзей. В дом родители не звали взрослых и не поощряли в этом сына. Он рос одиноким домашним мальчиком, которого сторонились, а так как он больше всего любил читать, то ему не нужны были плохо говорящие собеседники, он приятельствовал, не больше. Пора влюбиться тоже его не коснулась, он отмечал глазами некоторых девчонок, но они были так безнадежно глупы!

И вот, стоя у общежития, Коля вдруг понял, каким может быть одиночество, не то домашнее, на диване, с книжкой в руках, а вот это осеннее, холодное, поддувающее в рукава и штанины, не одиночество — нищенство.

Он шел по городу, в котором родился, и тот был ошетинен, озлоблен настолько, что Коля мог и заплакать, если бы его не догнал некто, не спросил фамилию и не сунул ему повестку в военкомат. «Скрываешься? — спросил некто. — Другие воюют, а ты будешь прохладяться? Достанем из-под земли!»

«Значит, войне я нужен», — подумал Коля. Вечером он сел в электричку. И так вот, с одной на другую, зайцем вернулся в Москву. Там, естественно, как из дня ночь, ухоженный мальчик из семьи коммунык стал бомжом в законе.

Это было смутное время демонстраций, гнева, разоблачений. Это было время рождения новых, неведомых эмоций свободы, воли, радости перемен. Одним словом, все смешалось, бульон закипал, Коля ходил к университету, слушал, какие велись разговоры, завидовал, мучился, что чужой в их мире. Скоро его стали примечать и даже принимать в споры, кто-то считал, что он с другого факультета, кто-то видел в нем брата из «пролов», кто-то просто своего, который живет в это время и в этом месте.

Выяснилось, что жить нигде вполне можно. Зарабатывал продажей книг и газет, очень это любил. Мыл посуду в столовой, ему на месте выписывали справку, что здоров. Вот это его смущало. Не то что он не любил обман, конечно, не любил, но как без него? Смущала сама система бесконтроля там, где она опасна. Отказался от теплого и сытного места, хотя знал, что здоров. Мама за ним следила будь спок и приучила его к чистоте души и тела.

Время шло стремительно. Вот и университет мог быть закончен, поступи он в него. Но он уже не ходил к Ломоносову, не втесывался в болтливый круг.

Он все про себя понял, кто он и зачем. Он даже придумал себе фамилию — Последних. Паспорт давно утратил силу. Но там, среди детей подземелья, его никто и не спрашивал. А от милиции Бог миловал. Когда случалась какая-нибудь работа, он предьявлял удостоверение, купленное в метро. Он в нем написал — Николай Последних. Это честно, думал он. Отец носил не свою фамилию. Стал когда-то Сергеевым. Павел Сергеевич Сергеев. Хотя был Казаковым. Коля думал, что и убиенные предки Казаковы тоже могли ими не быть, что сход с фамильных дорожек заложен в их роду. В каждом поколении происходил слом, и люди брали себе для спасения новое имя. Конечно, хорошо бы знать. Но ведь суть изменений в том и состояла, чтобы не знать. Коля понимал, что таил отец, становясь Сергеевым, а что таили Казаковы? Какую шкуру сбрасывали они?

Он как-то говорил об этом со своей пожилой подругой Энзе, на самом деле — Ниной Захаровной. Их свели митинги девяносто первого.

Он увидел стоящую по щиколотку в воде хрупкую маленькую женщину вечером девятнадцатого августа. Он поднял ее на бетонный обрубок, который был его бастионом. Просто взял под мышки и втащил, водкой растер ей ноги, а какие-то ребята дали ей сухие носки.

Потом они несли длинное, длинное знамя России, а после Ваганькова она позвала его к себе пить чай. Ей с ходу он рассказал про свои мысли, как сбрасывали фамилии, как изношенные доспехи, его предки, и вот теперь он Последних в роду. Она сказала, что надо ему вернуться к фамилии отца. Надо войти в свою реку. И очистить ее собственной жизнью. «Разве отец тебя не любил?» — «Вроде любил». — «Вроде! — возмутилась Энзе. — Ты чё, парень? Продолжаешь его стыд? Останови его на себе».

«В этом что-то есть, — подумал он. — Остановить стыд на себе». С тех пор они дружат. В Афганистане у нее погиб единственный сын. Муж канул где-то в поисках другого счастья. Энзе, добрая и наивная, сказала Коле: «Живи у меня. Скажу, что племянник. Выправим тебе бумаги». Он пожил три дня. Больше не смог. Душа уже не принимала оседлости, раз, а главное, не принимала такой степени опеки.

Он ушел тихо, но время от времени возникал обязательно. Энзе плакала и кричала, что умрет, если не сможет его найти. И он дал ей слово отмечаться каждый месяц. Его всегда ждал нормальный обед, чистые вещи, соответствующие сезону, он понимал, что в этих вещах он доживает жизнь убитого мальчика.

Он не мог обидеть Энзе. Он помнил косточки невероятной величины на ее ступнях, и как она стеснялась их, когда он растирал ей ноги, и как рассказывала, что всю жизнь ходила в неудобной обуви, нося сумку почтальона. Теперь кости на ногах крутит так, что только что не кричишь. Но ничего... У других вон рак бывает или слепота. А ноги у русского человека болят всегда, потому как такая у него жизнь, все ногами, ногами. Обходили полмира, как полудурки, счастья искали. И все дальше и дальше от себя самих.

«Ногами захватили земли много, — додумал тогда Коля, — но в руки ее так и не взяли. А уж чтоб мозги присобачить...»

Последние годы Энзе очень сдала, хотя сумку все еще носит. Грозится отписать Коле квартиру и умоляет его восстановить паспорт, «чтоб известно было, кто ты есть». Не по-божески, мол, это — быть никем. Коля подумал и признался себе, что боится как раз другого — легализации. Боится и не хочет быть прописан и приписан. Он прижился именно так. И Бог у него был свой, по-еврейски — невидимый, по-японски — солнечный, по-буддистски — безбожный хитрован, по-мусульмански — верный до гроба, по-христиански — жалостливый и слабый. Колин Бог был всегда

рядом, и ради него не надо было идти в храм. Где-нибудь у теплой трубы Коля спрашивал: «Ты здесь?» И он отвечал: «Я пришел раньше тебя». Он всегда приходил раньше и ждал Колю. Именно его Коля просил, чтобы Энзе жила еще долго и чтоб кости ее не так ломили.

Бог оказался на секунду раньше, когда упала в гололед с каблучков Ульяна. При мысли о ней у Коли стонет сердце.

Что знает о любви любовь? Эта юная филологиня с высоким интеллектом и крошечным ростом могла бы сподвигнуть его на все. Но ей не нужна была ни вся, ни половина, ни четвертушка Колиной жизни. Она им гребовала. И это ее презрение он чувствовал каждую минуту и каждую минуту сознавал безнадежность попыток что-либо изменить. С таким же успехом он мог влюбиться в инопланетянку или, как раньше, в Марию Болконскую, которая проходила двумя строчками в учебнике, а для него была главной, доводила до слез счастья. Но это ж когда было? Когда? Когда он жил как человек и у него была фамилия.

Вот тогда Энзе, как чувствовала, сказала: «Кто ж тебя, кроме меня, полюбит, бесхозного?» Коля смеялся: «У меня будет двойная фамилия — Последних-Бесхозных».

Дошутился. Если бы Ульяна сказала: «Осядь. Стань как все», он — видимо — возможно — скорее всего — скорее да, чем нет, — и осел. И стал. Но... Она не только не сказала ничего подобного, она дала ему понять, что, если он исчезнет с лица земли, для нее это не будет значить ничего. Исчез так исчез.

А вот ее пожилая мама, совсем как Энзе, и накормит, и теплое кашне даст, а главное, и в этом Коля видел Божье провидение, дает читать книжки. И у них с Зеен (Зинаида Николаевна) книжный роман по гроб жизни. Вот сейчас он идет никуда, а на обратной дороге из никуда он к ней зайдет. Наверняка она припасла для него что-нибудь чудесенькое. И Коля зашагал веселее.

ЛАВКА. НОЧЬ. ВОКЗАЛ

Глеб бомжом не был, хотя и ночевал на вокзале. Больше было негде. Лежали в кармане какие-то адресушки, но как спастись от возможного разговора о взрыве, о том, что он был близко, а главное — «а кто она тебе? баба или сродница?». Это все он уже имел в тот самый день, когда побил одну девчонку букетом, а она потом окликнула его в сквере, и листочек от букета прилепился у нее к виску, а она про это не знала, и он все смотрел на листок и смотрел и не знал, как быть, сказать ей или не сказать. Не сказал. Так они бродили туда-сюда, туда-сюда, а листочек как влип, будто стал частью девчонки. У нее был выговор, как у молодой Веры. Оказалось — землячки.

— Вера взяла надо мной шефство, — объясняла девчонка. — Я в медучилище провалилась. Первый же экзамен — пара. Все правильно, я ничего из школьного не знала. Я гуляющая была — туши свет! Но зато есть что вспомнить, поэтому не жалею. Науки не знаю, но жизнь будь здоров какая пройдена. Три аборта. Две отсидки. Мужиков сто было, не меньше. Вере как начну рассказывать про вашего брата, она в ор. Так смиренная, но на эту тему — сразу скандал. Я была уверена: старая дева, пушкой не пробитая. Но вы на телка не похожи. Вы ее любовник?

Ему снова захотелось ее ударить, он развернулся даже, а на виске — листочек, присохший, увялый... Сдержал его листок.

Теперь вот он, Глеб, присох на вокзальной лавке, аккуратно присох, чтоб не очень измяться. Прямо над ним высоченный потолок, в потолочных окнах небо. Лег — было еще светлое, сейчас уже черное. Быстрое какое время. Когда заходил в вокзал, солнце еще не село. Торчало красным полукружьем над домами. Большое такое, сильное солнце. Говорят, очень

гневное в этом году. Все время стреляет в землю. Он понимает это так, что больше не в кого. Нигде нет живых разумных существ, которые разделили бы с ним ответственность за мироздание, за огромный космический дом. А земляне оказались негодными помощниками ни в чем. Ни в труде, ни в мысли, ни в бережении. Шайка пиратов под названием «люди». Грабители, убийцы, насильники.

Глеб в свои пятьдесят девять был потрясен статьей в каком-то популярном журнале, что земля, оказывается, живая и ей больно. Он испытал потрясение не от сообщения, а от мысли, как он, дурак, не понял этого раньше. Ведь как прекрасна земля там, где ее любят, и как она страшна в воронках, и взрывах, и грязи. Ежу же понятно, думал он. Он вспомнил, сколько лично ископал земли — то на БАМе, то на других котлованах и стройках, как он ее долбил ломом и вскрывал экскаватором, сколько он вылил в нее гадости и сколько выдрал из нее живых корней. Производитель всяческих работ. Прораб.

А мертвое озеро его юности, куда можно было пройти через перевал? Запретная зона манила, завораживала, все знали про взрыв, но разве один раз бухало, если разобратся? Он пробовал ту воду с ладони — никакая. Он куснул травинку — без вкуса и запаха. Он был рискованный парень, тот молодой Глеб. Он верил тогда, что взять у природы все — дело самое важнейшее. Озер на земле не сосчитать, их, может быть, столько, сколько людей. Но человек имеет смысл, а озеро — вода и ничего больше. Ну что взять с идиота, думает сейчас Глеб, уже старый Глеб, у которого вылезли брови и волосы, а костям было больно на твердости вокзальной лавки.

После той статьи тяжелые мысли о живой земле переворачивали его всего, от висков до кончиков ногтей. Не помогала водка, не помогали женщины, он чувствовал себя деревом, которое изнутри разрушено, хотя с виду еще о-го-го. Вот тогда он ушел из семьи. Боялся рухнуть в ней, лечь обломками на жену, детей. Те, естественно, ничего не поняли, стали искать причину, доступную их пониманию, Варьку-табельщицу, например, но, проколовшись на женской причине, жена, будучи мудрой и прозорливой, поняла, что у мужа наступил его, мужской, климакс, который не в пот и озноб бросает, а в философию, и от такого озабоченного мыслью мужика толку чуть. Дети стояли уже на своих ногах, жена была классным поваром в очень престижном санатории, ее готовы были перекупить за любые доллары. Ну и что? Тетешкаться на старости лет с впавшим в старческие размышления мужем? Искать с ним ответы, которых нет, потому что все вопросы поставлены по изначальной дури? Глеб был не только отпущен с миром. Ему были выданы командировочные на оставшуюся жизнь в зеленых бумажках и куплена комната в бараке, идущем на слом, что сулило в перспективе какое-никакое, но более устойчивое жилье.

Глеб был потрясен щедростью жены, которая самолично прибила на сырую стенку барака залежавшийся в чулане коврик, купленный еще по талонам времени дефицита; коврик был вполне сохранен и барачному жилью придал некий стиль. Глебу, занятому проблемами Солнца и Земли, в голову не могло вспрыгнуть, что это новое время снова исхитрилось повязать мужикам руки, но уже не водкой и стройкой коммунизма, а кажимостью размышлений, скорбью и жалостью без адреса, что исподволь их становится все больше, идущих по земле странников, которые легко сбросили бремя дурной работы, заменив ее бездельеммыслеобразов. Докатится ли это колесо до Казани или все-таки нет?

Он был хороший человек, этот Глеб. Но он был русский, то есть изначально неправильно собранный человек, как если бы добротный шевиот был скроен халтурщиком и уже не мог быть костюмом. Мысль же о себе он нес высокую, ибо не знал о себе правды. Имея возможность не работать под талонным ковриком, Глеб перебирал камушки своей жизни, грубоватые, надо сказать, и на взгляд и на ошупь, а однажды один в руках

развалился, и в глубине его, как в колыбельке, лежала на стареньком одеяле девушка с таким светлым и теплым лицом, что у Глеба закололо в сердце и он вспомнил: «Вера Разина». Когда же это было? Когда?

Тогда и было, когда, не победив народ кукурузой, решили вожди победить его химией. И стали строить там и сям химические заводы, и повалили вековые леса, и всплыла брюхом кверху большая рыба. Естественно, что молодой и сильный Глеб был бригадиром коммунистической бригады по всеобщему уничтожению природы. А у него в бригаде работал молчун Василий Разин, который приехал в зауральские края с югов и сильно мерз со своей семьей в новом климате. Жену его звали Жанна, и именно это очень привлекало к ней внимание. Странное, на непростую букву имя. Глеб сам имел имя редкое, на нем люди всегда запинаясь и начинали приглядываться попристальнее, потому как Иван там или Петр были как бы понятны заранее и не могли ничем удивить, а тут на тебе — Глеб. На имени жены Василия и родился к семье южан интерес.

А однажды, когда сидели на поваленной сосне, что служила рабочему бараку лавочкой, из-за кустов вышла девушка, такая вся светленькая, будто не из тела сделана, а из чего другого — слюды там или хрусталя. Он тогда был холостяком, хотя уже ездил за сорок километров в городок, где ухаживал за молодой поварихой в рабочей столовой. Была у него и другая женщина — из деревни, что удобно располагалась по дороге в город, у нее он останавливался, едуци в город. Поэтому ухаживать за поварихой ему было легко, плоть, облегченная по дороге, не тяготила. А тут возьми и выйди из кустов слюдяная барышня.

В жизненном раскладе Глеба она была абсолютно лишней. Не бабник — две женщины, какое ж это бабство? — строгий по правилам жизни мужик, он не понял, что там внутри сжалось, а потом разжалось, после чего сердце стало биться как-то иначе, чем всегда. И пошли в голове роиться не те мысли. Хорошо бы, к примеру, чтобы вместо деревенской женщины была бы Вера, он просто спятил, думая про это, не заметив, что Вера как бы заслоняет собой и повариху. Очень сильные страдания плоти добрались-таки до головы, и Глеб понял, что больше всего на свете он хочет жениться на этой светленькой барышне. И надо ему это сейчас и сразу. Он тут же, на стволе, сказал Василию, что хочет жениться на его дочери. Тот не удивился, но сказал, что это ее дело и у нее надо спрашивать. «А что тут спрашивать?» — удивился Глеб. И не то что был он тупой дурак, просто до этого в его жизни все шло без усилий и не надо было ни о чем спрашивать.

Василий же сказал как бы между делом, что сохранился егерский домик, к нему чуть-чуть приложить руки — и можно жить отдельно, все-таки не барак. Глеб не понимал, чем барак хуже. Он всю жизнь жил в бараках. И родители его, и дедушка с бабушкой. И все строители так жили, как одна семья. Но все-таки он пошел посмотреть трухлявый домик. За поварихой родители отдавали такого же качества флигелек во дворе. Ее отец уже латал на нем крышу. У этого, что стоял в пока еще не тронутым лесу, крыша была цела. Но доски в стенках расходились.

Однажды он повел туда Веру.

Идя за ней по тропинке, он снова был потрясен слюдяной слабостью ее тела и не понимал, откуда же идет к нему такая сила возбуждения. От узеньких щиколоток? Остреньких локотков, детской невыразительной попки? Он думал о том, что ей будет больно в первый раз, но это еще больше кружило ему голову. Ему до смерти нужна была эта девушка-паутинка, нужна навсегда, на всю жизнь. Он первый влез в дом и раздвинул доски стены, у него там все было готово, стареньким венником он смел мусор в угол, а кровать с шпешечками выдвинул на середину.

У них ничего не получилось. «Я не был наглым», — думал он сейчас, глядя в черное окно вокзала. А она уехала на Украину, где жила раньше,

на курсы медсестер для хирургии. Василий же сказал, что вряд ли у Глеба что-то выйдет... Дочка хочет учиться, а он, Глеб, человек гулевой, ему одной женщины мало. Он думал, что спятит, так его это обидело. Ведь он не успел сказать Вере, что если будет она — то одна на всю жизнь, а если другие, то может быть сколько угодно.

Нет, однажды он даже попробовал ей это сказать, когда она приехала на каникулы. «Я через людей не переступаю», — ответила она. «Каких людей?» — закричал он. Но она на крик так испуганно раскрыла глаза, что он растерялся и ляпнул: «Нашла тоже людей». А она повернулась и уйди, узенькая спинка ее аж дрожала от гнева. И ему стало стыдно, потому что ни девушка с домом, ни деревенская подруга ничего ему плохого не сделали. Они были вполне хорошие женщины, и обижать их не стоило, даже если тебя отпихнули в грудь.

Он женился на поварихе и прожил с ней больше тридцати лет. Нормально прожил. И ушел нормально. Та же, которая лечила его от нетерпеха, претензий к нему вообще никогда не имела, поэтому он сколько строил химию, столько к ней захаживал, потом были другие места географии, другие поваленные деревья, другие женщины по дороге, пока однажды не разломил камушек жизни, а в нем — Вера Разина.

Он искал ее лет пять-семь, если не больше.

Конечно, найти на нашем пространстве человека все равно, что ту самую иголку в стоге сена. С другой же стороны, тонкие нити цивилизации каким-то неведомым образом в нашу страну все-таки проникали и делали свое дело. И то было время еще не изничтоженных до основания справочных бюро, и можно было по фамилии идти по следу и где-нибудь да найти нужного человека. Конечно, сначала он стал искать Василия Разина, 1921 года рождения. Так как Глеб во время той химии был бригадиром, то когда-то держал в руках паспорт Василия. И почему-то запомнил и место рождения — ст. Магдалиновка. Он еще тогда неправильно прочел: что, мол, за станция Мандалиновка? От какого, ха-ха, слова? Василий сказал, что, во-первых, не станция, а станция, никакая по нынешним временам, но до войны на ней останавливались даже поезда с голубыми вагонами. И не от м... слово, обиженно пояснял Василий, а от Магдалины. Имя такое есть в Библии.

Глеба всего от этого прямо скрючило. Он Библию не признавал, потому как Бога нет и не могло быть никогда. Он даже свирепел почему-то, когда при нем говорили — церковь, крест, Рождество. За всю жизнь он принципиально не съел ни одного крашеного яичка, а однажды, еще в начале семейной жизни, когда увидел, что жена облупливает оранжевое яйцо для салата, отказался и от салата. И тогда жена при гостях сказала: «Ну что с идиота взять?» И все громко стали смеяться. А он вышел на крыльцо большого своего дома — уже четвертой или пятой его географии — и стал курить, и у него почему-то дрожали пальцы. Но не от «идиота». Слово, оно и есть слово. Сказал — исчезло. Но вот он стоял, выдувая дым в небо, и думал, что тыщу, а может, и больше лет огромное количество людей красят яички на Пасху и почему-то в этот день целуются. Вспомнил какое-то кино, где негры, взявшись за руки, пели красивую песню в церкви то ли в Рождество, то ли на Пасху. И ощутил острое одиночество в мире.

Вон небо со звездами — оно и без него будет, двор с курами — тоже абсолютно самостоятелен, люди тоже обойдутся, если он завтра откинёт копыта. Вон гости остались в его дому, с купленной на его деньги водкой, но он все равно один как перст. Оглушительность одиночества была так велика, так всемогуща, что он вбежал в дом и стал разливать водку, а горлышко бряцало о рюмки, проливая драгоценную влагу на стол, чего не мог выдержать народ, и у него отняли бутылку, все смеялись, смех доходил до него, как доходит звук тяжело груженного поезда, — через ноги, чувствующие подрагивание платформы, издаека принимающей тяжесть товарняка. Потом все сильнее, громче, оглушительнее, а потом уже ничего...

Вот так и смех людей над ним. Они как бы доказывали свое мощное наличие супротив слабости одиночества и бились за него насмерть в комнате, где тонко пахло куличом и резко — нарезанными в салате яичками. Он был им тогда благодарен, гостям.

Потом через время имя из Библии помогло найти Василия Разина. И Глеб сел писать ему письмо. Он писал, что живет хорошо, хотя и один, без семьи, и заработок у него приличный. И что скоро он переедет в однокомнатную квартиру, уже знает ее номер, а бараку его «секир башка», но уже и время его пришло: стоит ведь с самого тридцать третьего года. Что разошелся с женой по-хорошему, но с детьми роднится. Они у него серьезные. Сын возит директора банка, по-старому — сберкассы. А дочь — учительница младших классов, дети ее любят. Внуков пока нет, но «дурное дело нехитрое». В конце письма Глеб спрашивал, где и как живет Вера, он, мол, помнит ее хорошо и думает, что «обошел свою дорогу».

Фраза эта была хитромудрая. Она как бы говорила, с одной стороны, о некоем завершении пути, но могла быть понята как и то, что не там ходил мужик, не там. Глеб гордился фразой, потому как если Верина жизнь сложилась, то нечего и соваться носом. А если почему-либо нет, как у него, например, то со слов этих можно и начинать песню.

Никакого ответа не было незнамо сколько времени. Потом пришло письмо: детским почерком написано, что дедушка давно умер и похоронен на кладбище. Дитё есть дитё. Пишет как понимает. Похоронен — значит, на кладбище, а не просто в землю зарыт. Дитё это, думал Глеб, от Вериних детей. А чье же еще? Про первую семью Василия Глеб не знал. А внучка, которая писала, была как раз от сына Вовки из первой семьи. Василий давно схоронил Жанну, у которой был рак всех женских причиндалов. Вера жила далеко. Вдового отца забрал старший сын, который с детства носил в душе боль ухода отца из семьи.

Мальчик помнил: высокий и сильный папка с котомкой закрыл калитку, как побироча какой, а мама держала их за дверью и причитала: «Бог нас простит». Младшему уход отца был без разницы, а Вовке все запало в душу так, что в этом месте западания выросло плохое: нелюбовь и к матери, и к Богу, который может такое простить. Они тайком встречались с отцом, пока тот жил в саманном домике, потом Василий, где бы ни жил, оставлял сыну свой адрес. Когда остался один, переехал к нему и дожил свою жизнь со взрослым, в сущности, чужим мрачным мужиком, который старательно замаливал какой-то свой непонятный Василию грех, отчего у Василия рождались совсем плохие мысли: не порешил ли Вовка кого по молодости лет, старика какого-нибудь, и теперь вот отцом прикрывает содеянное. Он даже спросил как-то: «На тебе крови нет, сынок?» — «Я ж, батя, на мясокомбинате работал после школы. В крови был по самую маковку». — «Я не про такую кровь», — ответил отец. Сын посмотрел на него и сказал: «Есть и другая. Я ж, батя, и в Афгане был».

Василий представлял себе черного старика в чалме. У него каменный двор, барашки, и Вовкина автоматная очередь от живота — где теперь старик, где барашки? Вот он, грех. Мысли о грехе детей куда тяжелее мыслей о собственной вине. Не выдержал Василий мысленного вида старика в чалме, который так и застрял в глазу, стал даже промывать глаз чаем, за этим мирным делом и помер, правда, успев подумать, что лучше бы это он убил в войну старого немца. Но он тогда не смог, немец же тот и взял его в плен, как недоумка. Мысль о немце перебила мечту, умирая, думать о Жанне, и только о ней, чтоб — если то, что есть после жизни, — мыслью его соединило бы их вместе. А получалось, что думал о чужом немце, который прикинулся старым и слабым, чтоб победить его. Ах ты, Боже мой! Живем неведомо как и помираем без правил, с тряпочкой, намоченной чаем.

Глеб долго собирался с духом, чтобы написать еще одно письмо. Написал, выразил сожаление семье. Все так, все правильно, но обращался он

к Вере Васильевне, которой в доме и близко не было. И опять мы упираемся в ситуацию идиотии жизни, не тех адресов и не тех обращений, ну как бы стоит голый человек в чистом поле и кричит в белый свет как в копеечку. Такая нескладуха жизни, что не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться, и расчет весь ничтожно малый: на кого попадешь? Кто услышит твой комариный писк отчаяния?

В семье Вовки такой человек нашелся — его жена. Она бабьим нутром сразу поняла, кого ищет этот чужой человек и что у него в голове перепутана жизнь. Она нашла давнюю открытку тоже с соболезнованием, полученную от Веры, не разобрала уже затертый адрес и отправила в конверте открытку вместе с вежливым двусмыслием: «Вы не на тех напали».

И стал Глеб посылать письма по нечеткому адресу, одно, другое, третье... Уже переехал в однокомнатную квартирку величиной с карман, а ответа так и нету. Ну и поставил на этом деле крест, потому что смешно думать... Смешно думать, что тебя тридцать с лишним лет должен кто-то помнить. Сообрази головой, дурак.

И ему стало покойно. Коврик, что висел на стене в бараче, положил в прихожую, для пола он еще годился. Купил ящик для обуви, чтоб организовывал ее съем. Календарь на стену повесил, самый большой, какой нашел. С мордой собачьей, глаз не оторвать, какая лепая морда. Такую бы взять живую и любить, но Глеб еще работал в ремонтно-строительной конторе, а там всяко бывало: то вечером позовут полки навесить, то с утра пораньше двери выпрямить, усадка домов идет круглогодично, и вечен труд там, где все сделано абы как и абы чем, так что собаке может времени и не достаться.

Этажом ниже в таком же кармане поселилась женщина, с которой как-то с первого чая и пирога с капустой пошло дело. Удобная вещь — наличие женщины близко, но не рядом.

Однажды, когда женщина ушла, оставив теплоту и запах тела, и Глеб нырнул во все это, у него ни с того ни с сего остро закололо в сердце, и одновременно он услышал голос Веры. Она говорила странное. Что вот он ее ищет, а все это напрасно. Они встретятся потом — все нестыдные люди. Она еще что-то бормотала, но у него застряло в ухе слово «нестыдные», и ему стало неловко, что постель все еще пахла другой женщиной, а слушал он Веру. И он тогда придумал странную мысль: стыд может прийти незванно, и что с ним тогда делать? И можно ли вообще жить без стыда? Без расплоха? Как у него случилось с духом одной женщины и голосом другой?

Одним словом, первым сигналом от Веры пришло не письмо, а ее голос во сне и мысль о стыде.

А тут возьми и приди письмо. Он минут пять не мог сообразить, кто это ему пишет, если у него даже почтового ящика нет. Оказалось, Вера.

Тут надо сказать, что она получила все письма Глеба и не знала, что с ними делать. Она хорошо его помнила, помнила неловкое его ухаживание и бурную обиду, что не сдалась сразу. Она даже испытала облегчение, когда он женился. Ей еще тогда не хотелось замуж, что-то невнятное кружило в ее голове, она пыталась понять что, а не получалось. Однажды — Господи, это когда еще было — ей в руки попала книжка, трепаная-растрепаная, с оборванными уголками. Первое чувство было — отвращение от захватанности чужими руками, слюнявыми пальцами. Но одновременно и любопытство: что ж так могло умучить книжку, какое такое содержание?

СЧАСТЬЕ БУКВ И СЛОВ

Это были «Три товарища» Ремарка. Ощущение легкого помешательства от слиянности с совсем чужими ей людьми. Сопереживания до боли в солнечном сплетении, до рвоты. Потом ужас, что книгу надо отдавать, и поток слез, как от смерти. Она не вернула книжку. Сказала, что ее украли.

Она склеила все странички, разгладила кусочки уголков, обернула в плотную бумагу. Она с ней спала, ходила с ней на работу, она разговаривала с Пат, и та ей отвечала всегда правильно и умно.

Было ощущение: в природе есть одна-единственная книга, написанная для нее. Это был род недуга, который она преодолевала как медик, сознательно и с усилием. А потом она стала нормально ненормальной чтицей. Чтение заполняло всю жизнь, кроме часов работы, оно не оставляло пустот ни для чего. Оно не оставляло времени для живой жизни.

Письмо она получила от малограмотного рабочего, не умеющего составлять слова и пишущего их так, что требовалась изрядная доля сообразительности, чтоб их понять. Она их лечила, работяг, ставила им капельницы, делала внутривенные вливания, она их перевязывала, стараясь делать не особенно больно. Но никогда за все эти долгие годы ей не хотелось ни с кем поговорить, как говорила она с любимыми героями книжек. К почти пенсионным годам Вера в чем-то оставалась шестнадцатилетней девчонкой, впервые прочитавшей Мопассана.

Но никто не знал, может, и она сама, ту спрессованность сведений, которые хранил ее мозг. Иногда случайно на каком-нибудь сабантуйчике она произносила слова, от которых столбенели санитарки, но делали стойку врачи-интеллектуалы. Ей тут же становилось неловко, как будто она кого-то обманула, выдав товар по чужому чеку. Ей было хорошо только с литературными героями, а все остальные значения не имели.

Она ответила Глебу правильно, осторожно подбирая слова простые и неказистые.

Он ответил бурно-безграмотно, напрашиваясь в гости.

«Боже! — думала она. — Зачем мне это?»

Раньше, лет двадцать тому, ее еще можно было приметить в компании идущих в кино. Были случаи предложения руки и сердца. Как правило, от вылеченных тяжелобольных. К моменту же письма Глеба Вера была природой, совершенно закрытой от мира. Человеческим раком-отшельником. Она выходила из панциря в мир крови, ран, бинтов и мазей, а возвращалась в крепость, где ее ждали потерявшиеся люди Стейнбека, изящные английские аристократы, их дворецкие, к которым она испытывала особую, страшно сказать, классовую нежность, да мало ли кто? Она была неразборчивая чтица и могла одинаково плакать над погибающей Матерой и смеяться над чудаковатыми хогбенами. Она была абсолютно счастлива, не имея лишних туфель и донашивая до нищенской бедности нижнее белье. Ее еда состояла из крепкого чая и вариаций картошки, что не мешало ей замирать над описаниями супниц, в которых подавали консоме или суп из перепелиных шеек.

Боже мой! Ну и что? Жизнь воображения была столь же вкусна и ароматна, и дворецкий, следящий из-за мраморных колонн за правильностью хода обеда, бросал на нее вполне мужские взгляды. И ее живое тело млело в уголочке продавленной диван-кровати. Но никогда — никогда! — ни один живой, «мясной» человек не мог и близко вызвать чувства, подобные тем, что давали ей книги.

Ну и зачем, скажите, нужен ей был этот Глеб из глупого детства, когда она нюхала цветы и траву и ей казалось, что она живет? С ним связаны совсем не радостные воспоминания каких-то других живших в ней тогда токов. Но та жизнь ушла, вернее, даже не так, она от нее ушла сама, она создала, нет, у нее случилось нечто совсем другое: счастье с миром нетелесным, ирреальным, с миром образов и слов. Что бы кто ни говорил, но ей ничего другого не надо.

Ну откуда ты взялся, Глеб? Был бы ты подраненный или с воспаленным аппендиксом, застрял бы у тебя в выходах камень, отросла бы киста — как бы я была счастлива помочь тебе и выходить тебя. Ты же здоровый, и ты мне никто, и звать тебя никак.

Но книжное воспитание требовало хорошего отношения к человеку, если он к тебе со всей душой. Она с ним встретится, к примеру, у памятника Пушкину или где еще, посидят на лавочке, а потом она соврет, что у нее смена и он, если захочет, может проводить ее до электрички.

«Мне ужасно жаль, но больше я никак не могу. Если хочешь, позавтракаем вместе в пятницу». (Господи! Какие завтраки?) «До свидания, милый».

Конечно, так ей не сказать. «Милый». Какой он ей милый? С другой же стороны, и милый, если через столько лет нашел. Но она всегда помнила, сколько ей самой, она родилась в сорок восьмом, и ей соответственно... И думать, а тем более держать во рту это слово «милый» негоже и стыдно. Но пока это только переписка и больше ничего, и совсем не факт, что он когда-нибудь объявится в Москве. Сейчас цены на билеты выросли в нечеловеческий рост, даже на электричке — подумаешь лишний раз, ехать или не ехать.

КОМПЛЕКСЫ

Когда я злюсь, у меня саялятся волосы, даже если я их вчера вымыла. После ухода «гости из прошлого» я просто зашлась оттого, что, как всегда, попала на эту дурью удочку — не могу отказать. Кто она мне, эта Вера Разина, я ее не видела тридцать лет. С какой стати мне отвечать за ее сороковины? Ах, ах, шо, шо... Моя родина — уже другая республика. Практически для меня — «железный занавес». Я на батькивщине последний раз была проездом из Лазаревской, в поезде меня прихватил приступ, пришлось ссаживаться. И в Константиновке мне вырезали готовый лопнуть к чертовой матери аппендикс. Там я напилась ридной мовы по самую маковку.

Тут нет дурного подтекста. Лежа в палате и слушая перепевы забытой речи с этими «хэ», «шо», «та», «хиба», «дывись», я ловила кайф от всего этого. Я призналась, что местная, и народ стал искать родственные связи, общую кровь в жилах. И я была поражена: она на самом деле, наша кровь, говорит своим национальным голосом? Независимая от группы, количества лейкоцитов, реакции оседания и прочего, прочего. Есть в ней нечто, не пропущенное через реактивы. И я не знаю, как к этому относиться. Во-первых, бурлит кровь чеченцев, и басков, и ирландцев, и добром это не кончается, особенно, не дай Бог, если забурлит русская. Это уж хоть святых выноси. А я по воспитанию, по культуре — интернационалистка. Человеческое в человеке едино, оно где-то на кончиках ветвей разнообразится цветом кожи и разрезом глаз, а в остальном мы единый сплав разумного млекопитающего. Но почему же так сильны те кончики, которые выпевают мелодию крови так, что одни хватаются за ножи, а другие вытирают умильные слезы? Что это есть? Может, и не кровь вовсе? А некий другой субстрат?

Я была потрясена взрывом. То, что внутри его оказалась когда-то знакомая мне Вера Разина, обострило все до шока. Я просто видела эту карту горя: тянущиеся во все стороны капли крови к близким и дальним родственникам, знакомым, сослуживцам. Получилась карта-сюр в красный горошек, ну а если представить еще другие диверсии, Чечню и положить весь красный крап на Россию, то и не увидишь лесов, полей и рек, а одно только кровавое озеро. И я шкурой, доставшейся мне по закону эволюции, чую, не чувствую, не мыслю, а чую именно, как зверь, страхом и нюхом своим безысходность жизни.

И еще я думаю о том человеке (человеках), который нес с собой бомбу. Всплывают в образовании романтические бомбисты Вера Засулич, Кибальчич, улицы их имени как бы утверждали право на убийство. А вдруг и эти, сегодняшние, возникнут через сто лет в рамочке, ах, как они хотели

хорошего! Чудовищная мысль, но что делать, мысль пришла, и «я ее думаю». Конечно, легче сказать, что это был Чикатило, безумец, маньяк. А если нет? Если это тихий серый человек с идеей? Незаметный в толпе, достойный служащий и семьянин? Встал и пошел. Но какой же идеей надо вдохновиться, чтобы убить медсестру Веру Разину? Легче, конечно, думать, что это «чеченский след», еще легче, что это потрошитель крупного разлива. А вдруг это женщина с той мерой отчаяния, после которой уже можно все?

Нет, это все-таки мужчина, не бандит, не маньяк, очень идейный бомбист нашего времени. Он хочет «рамочки» и «улицы» через сто лет. Я рисую его себе. Он носит светлые костюмы с искрой. У него носки всегда в цвет галстука. Он вежлив, худ и подтянут и состоит только из ненависти, из нее одной, что не мешает ему иметь детей, мальчика и девочку, кудрявых, как Женя Кисин.

Великая спасительница — домашняя работа. Ко мне придут люди, и мне надлежит накрыть стол. Я не вовлекаю в этот процесс мужа, не зову на помощь дочь. Они у меня вне быта, а мероприятие, которое грядет, может их повергнуть только в недоумение. И мне придется перед ними оправдываться, лишней раз демонстрируя свою несвободу от них. Хотя можно ли быть свободным от тех, кого любишь? И нужно ли? Комплексов выше головы. Ну что ж... Поперебираю их, любезных... Ком-компле-ком-плексу-комлексушечки мои родненькие. Их как родинок на моем теле. Родинки — это, говорят, к счастью... Ну-ну...

Ночью во сне ко мне пришла Вера. Та, молодая, что сказала мне когда-то, как завидует моему отъезду. Она была в прошлом времени, я в своем, в котором ее уже не было. Мы с ней стояли у лифта, я приглашала ее зайти, одновременно беспокоясь, правильно ли звать в дом мертвую. Но Вера сказала — нет, она торопится, просто хотела спросить, помню ли я акацию на могиле ее бабушки. «Еще бы!» — сказала я. «Дело в том, что дерева уже нет, там теперь гаражи». — «Я так давно не была в тех местах», — ответила я. «Я до сих пор тоже», — сказала она.

Она вошла в лифт, и он сразу стал спускаться с открытыми дверями, и я видела уходящую вниз выстриженную светлую макушку со следами от кровавых бинтов.

— Вера! — крикнула я ей вниз.

Но дверь с клацаньем сомкнулась, и я проснулась. Во рту был вкус акации — мы в детстве любили ее есть, но никогда она не была соленой, поедание акации было сладким весельем, а сейчас я солоно плакала, уткнувшись в подушку.

БОМБА

Плоть не беспокоила Ивана Ивановича уже с сорока лет. Вернее, с тридцати девяти с половиной. Он январский, а на майские праздники, те, что до января, а не после, плоть себя не оказала. Гуляли у соседей, тогда жили в коммуналке на Каляевской, потом пошли спать. Дочка уже сопела за гардеробом, стоящим поперек комнаты, но в комнатах старых квартир случалось по два окна, так что нельзя сказать, что дочь спала за гардеробом, как какая-нибудь домработница, нет, у нее было окно и как бы своя комната. Жена разделась и легла на спину, чуть приподняв ночнушку, чтобы он видел ее кучерявость, хотя лампа в ночнике на сорок ватт, но расстояние совсем близкое, в протянутую руку.

Он спал у стены и, пока перешагивал телом жену, увидел этот ее трюк с рубашкой и, странное дело, он ее возненавидел. Сразу вот так, на секунду зависнув над лежащей, он испытал острое негодование против женщины с тонкими синими после родов ниточками на бедрах, с этим черным подлеском в середине. Он плюхнулся на свою половину и резко повернул-

ся спиной к жене. Та засопела — обиделась, он же на всякий случай сверила рукой состояние гнева в голове с тем, что у него жило внутри его кучерявости. Плоть как бы спала, такая родная и целомудренная мягкостью своей плоть. А за спиной ворочалась женщина, тыкалась в его спину грудями, и это было уже сверх. Он почти влип в стенку, стал плоским и холдным, и, конечно, она отстала. Ну а так, чтоб сказать или спросить, это у них не было заведено.

Сношение всегда было молчаливым, ни до него, ни во время, ни после слов не существовало. Поэтому к утру все забылось, вспомнилось вечером. Жена тогда учудила переодеть ночнушку, когда он уже лежал. И торчала незнамо сколько голой, разворачивая перед ним то один бок, то другой, зачем-то приподнимала груди, и они мощно смотрели на него, спокойно и смиренно лежащего, выставленными из глубины сосками. «Фу!» — подумал он и резко повернулся на бок к стене, а эта дура жена осталась голяком на виду окна; ну покрутись, покрутись еще, думал он, самка. Жена легла и снова горячо прижалась к его плоской спине, а рука ее заскользила куда-то не туда, где ей положено быть, и он так перехватил запястье, так его сжал, что она пискнула, как мышь, придавленная кошкой, быстро скрыла руки и развернулась к нему спиной.

Вот, собственно, с тех лет «мягкий мальчик» не возникал со своими требованиями у Ивана Ивановича. Но это было то раннее время, когда секса как такового в стране не существовало, виагру в дурном сне не видели, а о местах тайских и других массажей слыхом не слыхивали.

Ах, что за дивное по-своему было время! В школе, где Иван Иванович преподавал химию, конечно же не было мужской компании, в которой в самые строгие времена могли возникнуть разговоры про «баб-с» и где, естественно, выплывали Стеньки Разина челны разговоров, кто, как и с кем. В школе было всего три мужика: завхоз, учитель физкультуры и Иван Иванович. Завхоз из бывших военных военных любил затаскивать в свою каптерку физкультурника «на стопец» и Ивана Ивановича в дни безусловно выпивальные по правилам: День учителя, День ВВС, день взятия Берлина отцом завхоза, ныне уже много лет покойным, но чтимым сыном до красных глаз, а также 21 декабря, поскольку этот день забыть — себя не помнить.

Конечно, компания еще та. Физкультурник на половину святых дней давно «положил с привесом», но за взятие Берлина пил охотно. До каких-то там споров или разногласий, тем более потасовки, дело не доходило благодаря культурной манере общаться Ивана Ивановича, у которого тоже был свой взгляд на мир; он, например, не любил Бога, то есть он был атеист и как бы не верил в него, но одновременно Иван Иванович был верующим. Верующим в Бога атеистом. Он доподлинно знал, что Бог есть, как есть и другие объективные вещи, жена, например, или тот же завхоз. Вот так же для Ивана Ивановича существовал Бог, но он его не любил, видимо, за то, что тот был вопреки материализму и усложнял картину понимания жизни Иваном Ивановичем. Он читал лекции от дома политпросвещения, где, добравшись до мельчайших нейтронов, задавал вопрос: «И где тут Бог?» А Бог смеялся ему в лицо, что было оскорбительно и унижительно для просвещающего лектора.

В этой компании троих иногда, может, раз в год, может, раз в два, говорилось о мужских проблемах. О простате. О том, что «не стоит, сволочь, хоть тресни». Завхоз называл член «начальником жизни». Физкультурник — «зайбойщиком». А Иван Иванович нежно — «писюльник». Когда в разговоре закипало, Иван Иванович говорил задумчиво так, как себе: «Да бросьте вы! Нельзя подчиняться нижнему этажу. Мы с вами выше». — «Ну, — говорил физкультурник, — когда облегчен, конечно, выше. А когда нагружен? И давит тогда аж в печень». — «Это давит печень, — строго говорил Иван Иванович. — Вот с этим не шутите. Печень — это мозг живота, с ней шутки шутить нельзя». Он пугал, и все съезжали с темы «мальчика, отдыхающего в роще».

Это так исподволь, через его слабости, мы подкрадываемся к Ивану Ивановичу сегодняшнему, который исхитрился выйти на пенсию по учительской выслуге лет и жил с женой и дочкой в отдельной квартире, которую дали жене. Жена продолжала работать на фабрике. Приносила деньги. Не систематически, не крупно, но все-таки. Работала дочь, ей было уже за тридцать, но замуж ее никто не взял. Она работала в частной фирме главбухом и деньги приносила систематически и в купюрах радостного зеленого цвета. Получалось, что еще отнюдь не старого, чуть за шестьдесят лет, господина кормили женщины.

Они все были похожи друг на друга — высокие, широкоплечие, плоские. Широкость верхней части смягчали плотные жировые наросты в области чресл. И Иван Иванович, когда бывал не в пальто, а в костюме, обнаруживал больший, нежели плечи, диаметр бедер. «Он у тебя жопастый», — говорила лифтерша жене Ивана Ивановича. Она была жуткая хамка, эта лифтерша. Она говорила все, что сползало на кончик языка. Все это было обидно, в каждой квартире мечтали ее отравить, но подъезд она сторожила, как ротвейлер, а это было важнее нанесенных обид. Стерпим, слюбим, если дом охранен, думали люди. И кто этого не поймет. Она сказала Ивану Ивановичу: «Ты, мужик, мне не улыбайся ртом без зубов. Хотя кто теперь с зубами? Но когда ты улыбаешься, я знаю точно, что ты гад. Извини, конечно, ты не виноват, ты таким родился. Как я родилась прямоговорящей, отчего и сдохну. Но ты держи свои губы бантиком. Даю совет специалиста и даром». Он перестал улыбаться, хотя был оскорблен до глубины души.

Как всякий, бери хоть Гитлера, хоть Сталина, хоть Жирика, он конечно же считал себя человеком хорошим и думал о себе как о подарке детям. Так искривленно устроен человек. И тут ты хоть «стенку о горох, хоть горох об стенку» — изменить людскую природу не сможешь. Внутри каждый себе хорошо.

Итак, жила семья на деньги серо-голубые, копила зеленые. Считалась хорошей семьей. Не пили, не буйнили, не заливали соседей снизу.

Женщины уходили утром. И Иван Иванович оставался один для раздумий, чтения прессы и мелких починок по дому типа замены перегоревших лампочек и подкручивания ручек в дверях. Надо сказать, что Иван Иванович всякой хозяйственной работой гребовал как оскорбительной для его высшего образования (заочный пединститут, химфак).

Трое плоских квадратноплечих людей гуляли вместе по улице, по которой нескончаемо тек ручей из выщербленного люка. Иван Иванович любил говорить о времени, когда за такое могли расстрелять кого-нибудь из горисполкома. Он был сторонник острастки, чтоб знали... Жена молчала и думала, что ее знакомый водопроводчик, с которым она уже лет пятнадцать жила в дни протечки труб, засорения унитазов и прочих порух высшего порядка, никогда никаких смежников своего дела не хаял, а говорил, что над каждым мелким халтурщиком есть халтурщик поболее, а над тем еще, а над еще — еще еще, потому что мы страна такая: работаем хорошо, если надо кому-то это сунуть в глаз, как Левше блоху королю, а по жизни мы обходимся абы как и абы чем, потому как в стране людей за людей не держали никогда. И плохая работа — нормальный ответ Чемберлену, то бишь власти.

Вот почему Россия — большая вытекающая труба. Это водопроводчик знал точно, и по жизни, и по уму. Они перепихивались с ним нехитро, но с хорошим для обоих завершением, в любом месте, как с удобствами для тела, так и без оных. Жена думала, что, может, это и есть любовь, чинщик вот бы развеселился, он-то считал просто: ему подфартило иметь чистую бабу по месту работы. Это немало и поболее чевых.

Он подозревал, что женщина специально распатронивает водопроводные прокладки, но вот это он думал зря. Жена Ивана Ивановича ничего

подобного не делала. Ей хватало естественного износа труб и кранов, чтоб тело долго помнило и было сыто. Она говорила себе: «А жены моряков? А полярников? А космонавтов?» Вот и она. Иван Иванович иссяк смолоду, это все равно, что подорвать член на mine. Разве б она его бросила? В момент этой благородной мысли она даже прижималась к нему боком и сильнее висла на его локте, отчего Иван Иванович костенел телом от гнева, а мозг его выбрызгивал бурунчики мыслей про низость женской природы вообще и идущей рядом в частности, ну что за прижимы в их возрасте, когда рядом идет дочь тридцати двух лет, рост 185 см., размер обуви 42, которой ничего такого не надо. Она у него аскет, у нее отцовская природа. Ни разу ни один мужик на нее не посягал, потому как повода не давала.

И Иван Иванович подтягивал к себе дочь другой, свободной от жены рукой, и они занимали весь тротуар, эдакая семья-стенка, вышедшая на прогулку.

Могло ли прийти в голову Ивану Ивановичу, что дочь в ванной разглядывала свое тело, не белое, не загорелое, а слегка сероватое, с пупырышками, с плоскими, вытянутыми до подмышек грудями без сосков, а двумя рыжими пятнами вместо них. Дочь понимала, что несексуальна. Однажды один парень, у которого язык никогда не сдерживал никаких слов, сказал ей: «Такие бабы, как ты, хороши для быстрин рек, тебя никакой волной не сбить. Еще и меня на себе перенесешь. А как тебя приспособить в жизни простой, я, ей-Богу, не знаю. Тебе надо в Чечню. Носить раненых». Странно, но сначала она приняла это за комплимент. В ней взыграла гордость. Она сказала про эти слова матери. Та разоралась: «Как ты позволяешь с собой разговаривать в таком тоне! Ты же девушка. А не солдат запаса». Но тут же мать как-то увяла, а потом даже тихонько плакала и стала придумывать дочке новую прическу и вообще другой вид.

Но не тут-то было. Никакими увещеваниями ту нельзя было убедить нацепить на слабый серый хвост волос бантик в крапинку. Или заколку с растопыренными крыльями. Нет и нет! Мать сажала дочь в кухне на стул и, велев закрыть глаза, тихонечко вырисовывала ей брови и веки, темнила скулы, но как только доходила до длинного и узковатого рта, который мать пыталась очертить, прихватив карандашом чуть лишку пространства лица, дочь с воем бежала в ванную и терла лицо щеткой, чтобы ничего, ну ни капелюшечки из материнских художеств не оставалось. Та ничего не могла понять в своем дитяти. Ведь садилась же на табуретку, раздвинув ноги и пропуская мать с косметикой в их раствор, но пока та двигалась со лба книзу, происходило что-то в дочери, какая-то непонятная ей метаморфоза, доводящая ее до крика.

Откуда ей было знать, что дочери были приятны касания матери, мягкие толчки ее больших грудей, твердость коленки, и она просто боялась до ужаса касания губ, ибо тогда было совсем ясно, какая она сучка, тварь, и ей мало расцарапать себе лицо, ее надо убить. Вот и вся тайная тайна дочери с большими мужичьими ногами.

Мать же мучилась сердцем, боялась, что у дочери на почве воздержания будет рак, такие случаи сплошь и рядом. Она имела глупость сказать об этом мужу. И увидела его открытый до самого горла рот, где болтается бесполезный по жизни язычок гортани. Она увидела его пломбы и дыры, и застрявшую в межзубьях пищу, и через все это остро пахнувшие слова о том, что она, грязная баба, не смеет касаться того, что ей неизвестно, — чистоты и целомудренности, и дальше сквозь брызги — какой-то лепет о чем-то божественном. «Ты что, веришь в Бога? — оторопело спросила жена. — Ты же всегда был против». Муж вышел, хлопнув дверью, и у бедной женщины что-то сдвинулось в голове.

Она поняла, что она какая-то не такая, что у нее, видимо, не хватает ума ни для мужа, ни для дочери. Это они у нее особые, а она простая, как три рубля. Спит с водопроводчиком, ей это нравится, а было и похуже,

почти пятьдесят стукнуло, зашла как-то к начальнику цеха, они на фабрике делают фальшивые сковородки «под тефаль». Она отвечает за яркую наклейку, которая придает сковородке вид дорогого товара. Она пришла сказать, что этикетки кончатся, а поставщик их динамит, и надо перезаключить договор. «Ну! Перезаключай!» — ответил начальник. «Так там же другие теперь деньги. Значит, и цена подыметса». — «Подыметса, — ответил начальник. — Рыночная экономика». — «Ладно», — сказала она. Но он успел дойти до двери и замкнуть ее до того, как она ушла. Потом перегнул ее на стол и так в нее всандалился, что она даже вскрикнула, но тут же улетела на облако и уже хотела, чтобы это никогда не кончалось.

Начальник цеха сказал: «Дашь и смежнику! Может, он найдет бумажки по старой цене. Ты баба хоть и старая, но вкусная. Мало этим пользуешься». На самом деле начальник до ужаса боялся молодых женщин. От них шла некая непонятная ему сила, а он, как Маркс, ценил в женщине слабость, которая осталась теперь только у пожилых дам.

И сейчас женщина ощущала себя на припеке ада, где ей и место, раз она во столько миллионов раз плоше мужа, который никогда бы не стал переламявать ее пополам на столе, и дочери, которая не позволила бы даже приблизиться к себе с подобными мыслями. Она бы начальника кинула через себя, как Путин бросает подставных противников в показательном дзюдо. Очень красиво, но все это «тефаль», которую они производят.

Вот такая была это семья, а совсем не какая-нибудь другая. Другая нам сейчас и неинтересна, потому что именно в этой живет Иван Иванович. Он шагает среди своих женщин, с чувством глубокого презрения озирая человеческий товар, идущий мимо и навстречу. Он окучивает в своей голове мысль о том, насколько же он лучше других. Он не побежит, как этот вот малахольный, за уходящим троллейбусом, чтоб успеть закинуть на ступеньку ногу. Он не будет тащить до спадания штанов уродливые клетчатые сумки килограммов на двадцать, не меньше, он не будет обхватывать за плечи барышень, разворачивая их лицом к себе для откровенного засоса при всех других, отвратительных, но по другому признаку, людях.

Улица питала уже хорошо наполненное озерцо гнева и ненависти к человеку как таковому, который мало того что испражнялся, вонял и потел, но еще как бы и воображал о себе нечто большее. Иван Иванович не додумал всю мысль до конца, окончательный диагноз жил вне его построений, и он пока не торопил познание. Оно само по себе было радостно, ибо возвеличивало его над улицей, и он как бы шел со своими мыслями по головам этих перепрыгивающих через лужи людей, и их — сверху хорошо видимых — так, оказывается, было много, что никаких проблем с перешагиванием не было. Стоишь на чьей-то кепке, а тут уже подана тебе лсына, ступишь на нее, а фетровая шляпа уже поспела, и так славно, так славно. Как в детской песне: «По улице шагает веселое звено, никто кругом не знает, куда идет оно». Иван Иванович знает. И он широко улыбается своим дамам, которые, конечно, рядом с ним, на земле. Они у него крепкие. Наступить на них — самое то.

Иван Иванович, отвлекаясь от высоких мыслей и присматриваясь к жизни своего тела среди других тел, был очень (очень!) счастлив бобыльством своей дочери. Ну что бы он делал с любым мужчиной, окажись тот с ним на одной территории? Это было бы отвратительно. Он смотрел передачу про львов, про то, как они охраняют свой участок земли от других самцов. Естественное чувство, хотя зверей Иван Иванович не любил еще больше, чем людей. Человек хотя бы носит одежды, и не видна вся гнусь его тела, зверь же весь наружу, он даже любит явить свой срам и даже воспользоваться им на виду, к примеру, маленьких зверят. Ужас! Иван Иванович считал, что всех зверей, если они не дают пищу человеку, надлежит уничтожать. Это все глупости — охрана и исчезновение видов. Ну вот взяли бы и исчезли все собаки — кому хуже? Разве что пограничникам. Но

надо придумать робота-ищейку. Делов-то! Уничтожить кошек всех, от мурок до лютых тигров. Кому хуже, если сразу придумать пестицид какой от мышей и крыс? Потому что никто в государстве не считал пользу отлова мышей котами. Возможно, это какая-нибудь ноль-ноль-ноль сотая процента по сравнению с борьбой, которую проводят соответствующие службы. Иван Иванович мысленно уничтожал все тварные виды, и, когда ему удавалось с пользой и без хлопот освободить землю от волков и медведей, он испытывал ослепительный восторг и даже на какое-то время смирялся с наличием людей.

Люди все-таки, что там ни говори, были нужны. Для армии. Для хлеборобства и хлебопечения. Для прокладывания рельсов, для работы на компьютере (хотя вот это баловство, раньше люди обходились без него, и ничего). Но пусть! Тут ведь один народ зависит от другого. Один придумал, другой догоняет. Народы все завистники, как и отдельный человек. Иван Иванович давно вычленил лишние народы, от которых особенно много вреда. Конечно, первым номером шли евреи, тут и говорить нечего. Нет ведь евреев-шахтеров, нет евреев-сталеваров. А все больше их у скрипочек и зубных мостов. Иван Иванович — все-таки высшее образование — даже как бы понимал, что скрипки тоже нужны какой-то, пусть малой, части человечества не меньше, чем уголь, но даже понимая — не прощал упорства этого народа жить по-своему, тогда как другой народ, русский например, мог бы кинуться всем миром в шахту и копать, копать до дна. Вторым и уже почти догоняющим народом по лишности шли за евреями американцы. Гады и говнюки. Заматерели в богатстве и жирности и поставили себя на первое место. А других спросили? Африканцев, к примеру? Нас, русских? Которые ничем, кроме богатства, не вторее. Иван Иванович доподлинно знал, кто за кем лишний, и будь он похитрее и поумнее, он бы сказал: «Мне голос был» — или что-нибудь еще убеждающе-неопределенное, но он ведь никому ничего не говорил. Он обладал, так сказать, личным, собственным знанием, как знал, например, что у него на левом бедре росла шишечка, раньше была с пшеничку, сейчас — с чечевичку, он показывал ее доктору, так как знал коварство всяких там подрастаний. Врач шупнул и сказал: «Жировик. Будет мешать — срежем. Но он в таком месте, что не будет».

Его знание о природе людей, об иерархии плохости было сугубо личным, но — в отличие от жировика — знание это мешало Ивану Ивановичу. Это же надо! Всякий любой американец ездит на машине. Тварь! И не то чтоб Ивану Ивановичу нужна была машина. Он боялся техники. Но было что-то для него оскорбительное, что где-нибудь в какой-то задрипанной Атланте учитель химии ездит в школу на своем автомобиле, не испытывая при этом никаких сверхъестественных чувств. У них в школе машины нет и не было сроду ни у кого. И на фабрике у жены машин раз, два — и обчелся. Правда, там, где зеленые получала дочь, все, как один, внедрялись задницами в кожу личных сидений. И тут в мозгу Ивана Ивановича возникала загогулина. Хорошее слово придумал бывший президент. Единственный его вклад в историю России, между прочим. Так вот, Ивану Ивановичу с какого-то боку было приятно, что его дочь продвинулась по линии жизни и заработка. Но куда большую приятность доставляла мысль, что она оставалась прежней. Она не оскорбляла Ивана Ивановича видом всяких брызгалок и кремов, она была естественна и пахла естественной природой и никогда — Боже мой! — не приносила в дом запахи мужчины. Так что получалось: в случае с дочерью растреления машины и долларами не произошло.

Иногда на него накатывало. Что-то сильное, косматое, пахнущее вскопанной землей. (В детстве у бабушки в деревне сажал картошку. Маленький, он был ближе к лунке, к духу ее перегнившей травы и перерезанных

острой лопатой червяков. Он клал в лунки картофелины, это был его вклад в сельское хозяйство.) Оттого, что он помнил запах лунки, он не удивлялся накатыванию чувств. Нормальное дело — воспоминание. Но крутило все крепче, разворачивало плечи, и хотелось даже как-то рыкнуть, не на кого-нибудь — вообще.

Однажды его очень прижало в автобусе, набилось в два, если не в три раза больше людей. В него вжалась чужие тела, в него ударили чужие запахи. И были они в основном женские, пряные, плотские. Он выскочил на первой же остановке, а выпрыгивая, рычал, даже не заметив этого. Заметил глаза мужика, на которого выпрыгивал и который норовил занять его пространство в автобусе. Мужик смотрел удивленно, а когда уже закрывалась дверь, крикнул: «А гавкать умеешь?» Значит, он рычал. Ему понравилось, что мужик решился сказать ему это только в створку дверей, — значит, боялся? А ведь Иван Иванович по определению всей предыдущей жизни числился в «смирных». Учителяствуя, голоса не подымал, а когда чуял в душе лютую ненависть к ученику до желания вывинчивания его головы из туловища, закрывал глаза и шевелил губами, и дети замирали, хотя ни разу ни одного ученика он не то что пальцем, словом не тронул, пошевелит-пошевелит губами, потом откроет глаза, а они у него ясные-ясные, до голубизны неба, и говорит: «Ну что ж! Не все люди на свете умные». И все. Даже двойку не всегда ставил. Смирял гнев.

Он воображал идеальный мир для себя. В нем не было людей. В него (мир) иногда приходила дочь, и они играли в «дурачка». После того, как дочь три раза проигрывала, он ее «исчезал». В его мире был телевизор. Он показывал фильмы про войну. Любил те места, где маршалы склонялись над картами, водили по ним пальцами, а потом из люков самолетов горохом сыпались бомбы (теория и практика). Ловил себя на мысли, что само высыпание бомб было важнее вопроса, на чью голову. Потому что к этому времени Иван Иванович уже твердо знал — по автобусу: людей больше, чем надо, и для него лично, и для тех, кто смотрит на карты. И он стал понимать правильность смерти. Ах, как жаль, что он не был маршалом, а еще бы лучше президентом (любой страны). Он бы не чикался с миролюбцами (лишние люди), он бы развязывал и завязывал войны, развязывал и завязывал. Его мудрый пример очистительных для земли смертей стал бы другим наукой. И лет через сто на земле жило бы небольшое количество людей, отобранных естественно — войной. Он не Гитлер, он бы не стал действовать по симпатии — к примеру, убивать не любимых им евреев. У него бы был чистый эксперимент: кто выживет под горохом бомб, того и счастье. Все приобретут в выживании новые качества. Главное из которых — не дышать в сторону другого.

В мире Ивана Ивановича были и негры, и китайцы, и хохлы, и чеченцы. Однажды во сне он позволил себе соитие с негритянкой. Она была мягкой, как подушка, а изнутри горячее и долго держала его в себе. Случившееся повергло в смущение. Но он посмотрел на спящую рядом жену. И прошло смущение. Он был для жизни сух, безусловно, а за сон и видения в ночи человек не отвечает. Это другое.

Трусы он выстирал сам и тайком высушил на батарее, чтоб не заметила жена. Но та заметила, удивилась, но дальше исследований не пошла. Он был забыт ее телом, не нужен, она даже удивлялась, что когда-то что-то было. Зря, видимо, было, если родилась дочь без судьбы. Бобылка, дева. Женщина от мыслей о дочери плакала. Слеза бежала мелкая-мелкая, как пшено. Таких и слез нету, но вот на тебе — есть. На сериалах она плачет крупно, на дочь — мелко. Спросить бы кого... Но кого? Конечно, сейчас время не то, что раньше. Сейчас про все пишут, про все спрашивают.

Но она не такая. Она постарается забыть свойство своих слез. Она так умела: «Это надо забыть». И забывала. Счастливое, в сущности, свойство,

люди ведь на восемьдесят процентов страдают от памяти горя или обиды. Или еще каких обстоятельств. Их уже нет, а память-гадина саднит.

Но это мы все такие, а жена Ивана Ивановича была другой. Она забыла мелкость своих слез и, надо сказать, была абсолютно права. Потому что то, что случилось с дочерью, ни мелкостью, ни крупностью слез определить было невозможно. Нужна была некоторая другая мера, но где ж ее взять? Теперь столько всего накидано в жизнь, что и меру надо новую, эдакую! В фирму, где работала дочь, пришла новая рассыльная, по статусу — курьер по письмам в черте города. Бегучая такая девчонка. Подранилась она, прыгая через какие-то новострой. И дочери Ивана Ивановича пришлось перевязывать ей ногу в высоком месте, царапину, ерунду. Джинсы приняли удар на себя. Но чуть-чуть покровило. И в туалете, на топчане, который там стоял на случай принятия валокордина или закапывания глаз (фирма берегла свой контингент), дочь раздела рассыльную снизу до пояса. Она увидела другое женское тело близко-близко, оно было нежным, розовым, его хотелось съесть. Именно так. Ей хотелось попробовать его зубами и губами. А девчонка лежала, растопырив колени. И невозможно было удержаться. Девчонка выгнулась спиной и простонала: «Исчѐ, тетя, исчѐ!» Так пришло к дочери счастье, о котором она и не подозревала. Но тем же макарком пришло и горе стыда, от которого даже пятки горели. Девчонка шестнадцати лет, недоучка-детдомовка, оказалась таким опытным проводником в незнаемое прекрасное. И что теперь было делать с легким, бегучим телом, с новым дыханием без скрытых стонов и охов, дыханием радости? Оно слилось в один клубок со стыдом и позором; сытое, довольное тело не принимал слабый разум.

Она обожала и ненавидела девчонку, она хотела ее убить и покупала ей вещи, каких сроду не носила сама. Она боялась огласки и умирала от гордости, когда девчонка висела у нее на руке. Ах, куда-нибудь бы на остров, чтоб нигде никого. Она сама бы выстроила для них дом, выдолбила бы лодку для ловли рыбы, они ходили бы голыми, и тело-пирожное можно было бы есть с утра до вечера и с вечера до утра, не стыдись ни людей, ни чувств. Так они и стали ходить, как шерочка с машерочкой. А дома возник разговор, что деньги настоящие должны пойти на однокомнатную квартиру, хватит ей теснить папу с мамой. Те возмутились: какое теснение, эта квартира ей достанется, если что...

— А пока я буду снимать, — отчеканила дочь. — У меня своя жизнь.

«Любовник!» — радостно вскрикнуло сердце матери, а отец, наоборот, весь позеленел. Но смолчал. Мысль убить, не абстрактная, а вполне конкретная — убить посредством вывинчивания головы из туловища, — вошла трехгранным напильником в сердце и повернулась два раза. А все дело в том, что Иван Иванович забыл, что на плохую мысль надо закрывать глаза, и тогда она уходит. Он же сидел вытаращенно и видел хорошо уработанный рот дочери, простым накусыванием губ такого эффекта не добьешься. «Уничтожу», — сказал он себе. Имелся в виду некий, безусловно, красавчик с хвостом из волос, с которым его чистая дочь, Боже мой, чем занимается. Иван Иванович стал мечтать о способе убийства.

И тогда ему приснился Ленин, а может, его двойник. Но скорее все-таки он. Будто Иван Иванович стоял за ним в очереди в булочной и сказал Ленину, что ни разу не сумел взять батон, чтобы перед ним не стояло сколько-то людей. «Так и не научились торговать», — пожаловался Ленину Иван Иванович. А тот хитро так ухмыльнулся и, встав на цыпочки — Иван Иванович оказался на голову его выше, — шепнул ему в правое ухо: «Много нас». Взяв батон и половинку черного, он исчез, и получилось, что никто на него, маленького, внимания не обратил. «Вы ослепли? — спросил во сне Иван Иванович очередь. — Не видели, кто стоял?» — «А кто?» — спросила вялая очередь. И Иван Иванович понял, как они ему все противны. Эти тетki с мятыми пакетами, дети с тупо двигающимися че-

люстями. «Орбит — сладкая мята». Невытертые носы, неостриженные черные ногти. Мужчины в пиджаках с чужого плеча и стоптанных вкось ботинках. И эта, что в кассе, в цигейковой безрукавке, с огромным, вытекающим из проема рукавов мясом рук, которые кончаются щупальцами коротких, унизанных перстнями пальцев. Ни одного лица человека. Боковым зрением он увидел свое отражение в стекле и не узнал сразу. Подумал: «Вот еще и этот конь с яйцами».

Тут он и проснулся, на месте неузнавания себя в зеркале.

— А к чему снится видеть себя в зеркале? — спросил Иван Иванович жену.

— К обману, — ответила жена.

— Но я себя не узнал, — сказал Иван Иванович.

— Купи сонник. На каждом углу продают.

Так она от него отвязывалась. А ему хотелось рассказать про Ленина, как тот на цыпочках тянулся к его уху. Но раз она отвязывается, ничего он ей не скажет. Его сон, личный.

Как-то смотрели вечером телевизор. Вообще-то смотреть стало нечего. Неинтересно было все. Кино, политика, игры, дискуссии, скандалы. Ничто не могло ответить на вопрос, почему так неприятны люди и даже дочь. Тут недавно она так высказалась по поводу мужчин, что Иван Иванович даже оскорбился. Человечество, конечно, было неважным, но образцовые мужчины существовали. Бесспорно. Суворов, Ломоносов, Жуков, Петр Первый, Ленин. На это дочь сказала, что, мол, ты еще Добрыню вспомни, кореша своего, или этого, как его там, Ослябю... И засмеялась так противно. Как мать. Он не знал, кто такой Ослябю. Первый раз слышал, но именно этим и уел дочь. «Я, к примеру, Ослябю не знаю, а ты знаешь... Значит, фигура был!»

— Ну, историю мог бы и знать, — резко сказала дочь. — На уровне школы. Но я не хочу спорить, потому что для меня ничтожество мужчин — вещь бесспорная. Козлы и недоумки. Так вот и идет из-за них все через пень-колоду.

Он ей хотел ответить, но на экране появился Ленин. Он слушал каких-то военных и был к Ивану Ивановичу вполоборота. И вдруг повернул к нему голову и четко так сказал: «Много нас». И снова стал слушать военных. Не было никаких сомнений, что слова предназначались Ивану Ивановичу, только ему, потому что ни жена, ни дочь как бы и не заметили, а это же было так очевидно. Вполоборота — и сразу анфас. И четкое произношение: «Много нас». И еще показалось Ивану Ивановичу, что слова эти были не просто сообщением — просьбой.

Его бросило в жар. Это заметила жена.

— Ты красный, у тебя, наверное, подскочило давление.

— Ты лучше смотри и слушай, — сказал Иван Иванович, хотя ни на секунду не сомневался, что она ничего не видела и не слышала. В том его сне Ленина тоже никто не видел.

— Делать мне не хрена — слушать, — ответила жена. — Я эти ля-ля уже столько лет слышу, что уши увяли.

— Иногда говорят важные слова, — печально сказал Иван Иванович, — но не всем понять...

— И что же? — спросила жена.

— Много нас, — тихо сказал Иван Иванович.

— Да русских почти не осталось! — закричала жена. — Мы же не рождем. Вот нас двое, а ребенок у нас один. Это правильно? А у нее вообще ни одного...

Ивана Ивановича просто скрутила изнутри сама мысль о рождении, о том действии, которое предшествует ему. Он вспомнил, как выглядела жена, когда лежала под ним, вспомнил себя и свое желание пополам с отращиванием. Вспомнил нынешний рот дочери, который сказал ему, что

надо убить ее мужчину. Ибо... На этом трехбуквенном «ибо» он застрял и потерял его смысл. Буквы рассыпались и складывались в несурязицу со смыслом. Бои. Это понятно абсолютно. Это карта, а над ней военачальники. И они ставят флажки. Био. Это масса. Это толпа. Это то, чего много. Иоб. Слово как бы не несло смысла. Но если подумать, если призадуматься... Если к первой букве присобачить сверху беретик и произнести — йо! То получается и третье слово. Которое замечательно соединяет биомассу с боями победным русским кличем...

Такая мудрость простых слов, рожденная поворотом головы Ленина исключительно для него, Ивана Ивановича, вернула вспять к простой мысли: если нас много, значит, надо, чтобы было меньше. Надо помочь вождю.

...Иван Иванович сначала хотел сделать бомбу сам и опробовать ее на мужчине дочери. Он стал вспоминать химию, которую изучал. Но дальше пиротехнически малого взрыва на столе у него не было опыта. Ну, в крайнем случае обожжешь руки и морду, а чтоб вырвать человека с корнем из живой жизни, для этого школьные препараты не годились. Ивану Ивановичу для страсти дела не хватало вдохновения. Ленин разбудил его ум, но все еще недоставало энтузиазма ненависти, и его мог дать только избранник дочери.

Иван Иванович стал искать «этого мужчину». Хорошо бы заманить их в дом, сделать возможным его приход, будто их с женой там нету, а потом тихонечко вернуться, чтобы застать.

Но игру вела дочь. Она пришла и сказала, что нашла однокомнатную квартиру близко от работы, будет жить одна на свои деньги, так что пусть и они сообразят жить на свои, никто никому не должен.

— Как это «одна»? — спросил Иван Иванович. — Ты и тут одна на целую комнату.

— Господи, папа! Сообрази наконец, сколько мне лет, мне уже давно пристало жить самостоятельно.

Вот чертов язык! Эта фраза «пристало жить» как-то подавила в Иване Ивановиче активность мысли, будто на здоровый росток гнева взяли и брызнули ядом. Ишь — «пристало жить». Кто так говорит вообще?

— Я тебя не понял, — вяло сказал он, — что это значит... ну, отделение... На каком таком основании? Мы тебе кто?

— Вы мне папа с мамой. А я взрослая женщина, которая хочет жить отдельно. Да девять из десяти родителей перекрестились бы... Если у вас возникнут материальные затруднения, это выяснится скоро, я буду помогать.

— Обойдемся! — сказал Иван Иванович.

— Подожди! — вмешалась мать. — Доча! Тут и смотреть нечего. Перекрутись перекрутимся в питании, а оплатить квартиру, телефон и все эти мыла и порошки — вряд ли...

— Я буду давать сто долларов, — сказала дочь. — Или отдавайте мне все ваши платежи.

И не то чтобы Иван Иванович не понимал разумность дочкиного решения, и не то чтобы он не отдавал себе отчета в скудости собственной пенсии и заработка жены, параллельно с разумом в нем напрягалась некая сила, которая на раз опрокидывала разум и, топчась на нем, изгалялась и искривлялась.

— Нет уж, нет уж... Уходя — уходи... И нам, — он хихикнул тоненько и довольно, — не пристало жить на американскую подачку. Ишь! Доллары у нее! А у меня есть мой рубль, и он меня прокормит... Он у меня заработанный, а не подачка.

Женщины открыли рот. Уже давно родители принимали зарплату дочери естественно и радостно. Иван Иванович рассматривал на свет лица чужих президентов и нашел, что они, лица, не хуже, не лучше наших царей и генералов, такие же грубоватые мужицкие морды, без очков и шляп.

Откуда ж было им знать, что перед ними был совсем другой отец и муж? Перед ними был человек, отягощенный бомбой, и все, что было вокруг, или годилось для ее изготовления, или нет. Дочь с ее отделением, с этой несовместимой с Иваном Ивановичем фразой «пристало жить», с подлым намерением оскорбить их зеленой подачкой — все это шло в топку, где варилась идея бомбы. Не хватало только имени того «козла», того «козя с яйцами», которое завершило бы ее формирование в окончательном виде.

— И с кем ты собираешься жить отдельно? — фальцетом спросил Иван Иванович.

— Я буду жить одна, — резко ответила дочь.

— Ну и правильно, — сказала мать. — У тебя свои интересы. Видак будешь смотреть, а мы не будем твякать про электричество. Друзья придут, похочете без оглядки на папу. Правильно ведь, отец, согласись.

«Врет, — думал Иван Иванович. — Не видак она будет смотреть, дура ты старая, и не друзья ей нужны. Ей захотелось скотства. Именно! Скотства!»

Дочь переехала быстро, оставила свой адрес, телефон, честь по чести. Сказала, чтобы не являлись без звонка, она хочет, чтобы они застали у нее порядок. Ну, нормально же!

Но Иван Иванович не прост, ох как не прост! Он понимает, что дочь скрывает свой секрет, своего наездника. А почему? Да потому, заранее знает Иван Иванович, что она выбрала худшее из всего, что могло быть. Ведь она не спросила отца! Он ей не враг и объяснил бы, что у людей в определенный период жизни случается тяга, он сам грешен был, этому надо уступить, но потом ногой, ударом с носка, как в футболе, отринуть это как дурь, скотство и лишность.

Он решил застать их врасплох. Он сходил посмотрел дом, высмотрел окна, вечером приехал и отследил зажигание света, сначала, видимо, на кухне, а потом в комнате. Он не видел, как пришла дочь, все-таки смотрел с другой стороны улицы, а это было время возвращения людей с работы. Ивану Ивановичу давно надо было бы носить очки для дали, он не видел вывесок магазинов, номеров автобусов, но он считал: все, что надо, он видит. Вот, к примеру, увидел свет в окнах.

Теперь надо было вычислить время, когда подняться. Не то что он мечтал увидеть грех воочию — постель и полураздетость, но что-то близкое к тому, чтобы убедиться в блуде. Где-то в глубине души он даже чувствовал момент неправоты — ну, не твое это дело, отец. Но он бил по этому слабому чувству главной мыслью: не в том возрасте дочь, чтоб таскаться. Ведь не исключено, что женатик. Совсем же срам! Разве этому они ее учили?

Он поднялся, когда в кухне свет погас. Позвонил в дверь коротко, три раза, как дома. Просто другой у него не было привычки, он ведь никуда и никому не звонил в дверь, кроме собственного дома.

В квартире было тихо. Бог весть что виделось в этот момент бедному Ивану Ивановичу. Была даже мысль уйти, потому что свидетельства как бы получены. Вот они — в тишости, в замершести. Но он позвонил в другой раз и услышал шаги дочери босыми ногами. Тяжелые, грузноватые шлепки.

— Кто там? — спросила она.

— Это я. Папа. Открой.

Она открыла, у нее было испуганное лицо, а халатик висел на плечах так никак, и рубашка из-под него топорщилась снизу.

— Что-то случилось? — высоким голосом испуга спросила она.

— Нет, — задрезжал смехом Иван Иванович. — Мимо шел. Дай, ду-маю...

— Договаривались же. — Дочь отпустил испуг, и она говорила, как давно говорила с ними — равнодушно, скучно. — Я только что с работы,

отдыхаю. — Она не пускала его через порог, он его переступил сам, ища в прихожей мужские штiblеты, на крючке плащ там или куртку. На полу стояли маленькие, почти детские ботиночки, а на месте воображаемого плаща висела детская же курточка с опушкой.

А тут она и сама выглянула из комнаты, почти голенькая, с полненькими детскими ножками, девчоночка.

— Иди, — сказала нежно дочь. — Я сейчас.

Девчонка скрылась.

— Это кто у тебя? — спросил Иван Иванович. — Не соображу.

— Не надо тебе соображать, — ответила дочь, — подружка моя.

— Ну! — не согласился Иван Иванович. — А то я не знаю твоих подружек. Бабы!

Дочь выталкивала его за порог, а на него напал смех. Надо же, вообразил блуд, а у дочери девчонка-соплюха. Мало ли чья... Сказала ли ему дочь до свидания, он не понял. Он понял, что дверь заперта и тяжелые босые ноги дочери понесли ее в комнату, где была эта ничья барышня, почему-то голая. «Мало ли что, — думал Иван Иванович. — Может, с работы, зашла помыться. У нас ведь отключают воду без ума и разума».

Он был спокоен и умиротворен.

Целых три дня. Хорошие три дня. Он починил кухонную табуретку, в которой расшатались ножки. Прибил на туфли жены набойки, он со времени дефицита и малых денег делал это сам, хихикая над странным удовольствием, с каким он — учитель! химик! — вырезал резиновые полукружья для тонких каблучков и лопастые пластины для грубых ботинок.

За этой работой его настигло радио, сообщавшее между делом, что уже и в некоторых штатах Америки, а не только в Швеции рассматривается вопрос о регистрации однополых браков. «Это что же такое? — подумал он. Но тут же ответил: — Пидер с пидером. Срам какой!»

Вечером он сказал об этом сраме жене. «Понимаешь, что противно: говорят об этом по радио, как о погоде». Жена пожалала плечами, тоже как бы не осуждая, а воспринимая как прогноз: жарко, мол, или заморозки.

— Нет, представь. Женятся мужик и мужик.

— А женщина и женщина? — засмеялась жена. — Это называется секс-меньшинства. Они борются за свои права. У них другая природа.

— Откуда ты знаешь? — удивился он.

— Я хожу на работу и общаюсь с людьми, — зло ответила она.

Он, как ни странно, понял только зло. С тех пор, как они стали жить на свои деньги, стало заметно, какие они никакие. Дочь приходила на помощь, но случались там три или пять жалких дней, когда они начинали считать мелочь. Он даже завел граненый стаканчик, куда стал складывать совсем уж никчемушные пятаки и копейки. Уже стакан набрался, а все равно еще не деньги.

И тут его ударило сразу по голове и под дых. Больно так, но на мгновение. Он скрипнул всеми костями и спросил хрипло:

— А что за девчонка крутится у нашей Варвары?

— С ее работы. Своих детей не случилось, вот и возится с чужой.

— В этом смысле, — ответил Иван Иванович, думая, что если так, то голость как бы уместна, чего стесняться почти матери.

— Я тут мимо шел, дай, думаю, зайду. Видел девчонку, голая по моему то...

Он видел, что жена побледнела, хотя вяло сказала:

— Ты ж небось без звонка.

Вот, значит, что... Самое то, что его ум думать отказывался, хотя не маленький, знал, слышал, что есть и такое: баба с бабой. Скрутило в солнечном сплетении, сначала острая боль, а потом рвота, едва дошел до уборной. Там его и вывернуло из всех потрохов. Пока вытирал за собой, пока отмылся, очень конкретно, гвоздем встала посреди ума мысль о бомбе.

Продаст последнее и все-таки купит ее у имеющих людей. Слишком много народу в Москве и слишком много бракованного... Как эти... меньшинствующие. В маленькой деревне такого сраму нет, потому что все на виду и стыд живет рядом — не обежишь его. А Москва просто лопаается от человеческого пара, твори в ее месиве что хочешь, не до сраму, не до совести, не до жалости... Он вспомнил свой сон и то, как маленький, но самый умный человек сказал ему глаза в глаза: «Много нас». Если б договорил, то сказал бы: «порченных».

Он выследит эту голоногую девчонку, когда она войдет в троллейбус или метро, он зайдет за ней на тихих цыпочках, поставит бомбу и выйдет. Это будет его вклад в очищение Москвы от блуда и срама.

Осталось найти бомбу. Ее еще у него не было, да и откуда она могла возникнуть, а он уже проводил репетиции, входя в троллейбус тихо, бочком, пристраиваясь к девчонкам, способным, как он их понимал, «на это». Мысленно оставлял возле них сумку и тихо ускользал. Ему казалось, что он достиг совершенства в незаметной растворяемости. Однажды он сумел оставить — и никто его не окликнул — настоящий пакет со старыми газетами.

Бомбы еще не было. Но он был уже готов. Однажды утром он позвонил дочери и спросил, может ли зайти. Она назначила ему время, а он специально набил набойки на оставленные дочерью туфли. Придет не просто так, а с делом.

Дочь была одна. Увидев туфли, она обрадовалась, сказала, что совсем о них забыла, а они так удобны в дождь. Он внимательно осмотрел — в первый раз! — квартиру. Опрятно. На широком, раздвинутом диване две подушки и покрывало — под деревенское, из лоскутков. Он шупнул его, ткань была новая, современная. Под стать было и покрытие кресла, и даже коврик на стене из разноцветных тканых квадратиков. Он все это стерпел молча. Под креслом стояли тапочки маленького размера, почти детского, с розовыми помпонами. Тихонько, когда дочь пошла на кухню ставить чайник, он отвернул покрывало. В самых ногах лежали розовые трусики, не на дочь. Ее и женины трусы так долго висели на их балконе, что и размер, и особенности потертостей он знал наизусть. У жены всегда вытягивалась резинка, а у дочери скукоживалась главная перемычка, сильные, мощные ноги почти перетирали ее.

Иван Иванович вздохнул даже с некоторым облегчением. Ну не найди он этих доказательств, что ему делать с умственной бомбой, если она уже вся просилась наружу и просто требовала своего явления людям. В ванной все подтвердилось. Две зубные щетки, четыре полотенца. Два на верхних крючках, два на нижних. А главное — запах. Запах женской плоти, от которого он давно отвык.

Он не стал пить чай, предложенный дочерью, ему хотелось на улицу, на ветер, хорошо бы и на дождь, но день, как назло, был ясный. Когда он вышел во двор, показалось ли ему, или так и было, но за деревьями, что кучкой росли возле мусорных баков, мелькнула девчонка, та, чьи трусики он только что видел. Странно, но он испугался, будто его застали за дурным делом. А ведь он приходил к дочери, черт дери! Неловкость же и испуг остались, потому что он знал, зачем приходил, и девчонка знала, потому и была выслана из квартиры, вот скрывается возле мусора, где ей и место.

Он резко повернул и ушел, хотя уже не был уверен, что видел что-то, может, это была другая девчонка, выходила что-то выбросить, но все равно осталось беспокойство, природа которого была чудна и оскорбительна для него, отца, которого должно волновать, как живет его дочь. Одним словом, в голове от всего возникла острая боль. Странная боль, бегущая. От виска до затылка, а потом резко в глаз, а из глаза сразу в ухо, причем не ближайшее к глазу, а то, что с другой стороны.

Домой еле добрался и сразу лег. Когда успокоился и уснул, ему приснилась бомба. Красивенькая такая, с хвостиками-оборочками, с коротким носиком, не как у чайника, а как у молочника. Бомба охорашивалась перед ним и говорила: «Ну? Где же ты? Где? Я же тут». Очнулся как от удара. Башка трещала. «Надо дело делать, а не трусы шупать», — засмеялась бомбочка уже въяве и высвистнула парок из симпатичного молочного носика.

Он совсем проснулся. Свистел на кухне чайник, жена бряцала чашками. Он выпил две чашки крепкого чая «со слоном» и сказал, что пойдет прогуляться.

— Купи круглого хлеба, — сказала жена. — И щупай, что берешь.

Хорошо получилось, естественно, он вынул все деньги из коробки, в которой тыщу лет тому жили конфеты «Цветной горошек».

Он купит сегодня на базаре — наверняка у черножопых есть — бомбочку с носиком, он исправит искривление в жизни дочери, а потом, потом, когда она вернется домой, она сама скажет ему: «Спасибо тебе, папа». Он не знал, на какой идти базар, не знал, сколько стоит бомба-свистулька, он просто шел на ура выполнить отцовский долг и ленинское пожелание.

Он ходил без ума по Москве и оказался на Пушкинской. Встал у перехода. Боже, сколько их, людей, не отобранных правилами жизни, а существующих бессистемно, как рыбы в океане! Взять, к примеру, аквариум — в нем как раз ничего лишнего не бывает. Хотелось думать аквариумную мысль, было в ней что-то чистое, детское.

Переход же заглатывал людей мощным ртом, а выпускал тонкой слюной. Возле него, чтоб свернуть вниз, остановилась немолодая женщина в светлом, чуть тесноватом ей костюме. Она внимательно, даже слишком, посмотрела на Ивана Ивановича, тихонько вздохнула, будто хотела что-то сказать, но не сказала и пошла вниз, поправляя на отвороте костюма букетик шелковых фиалочек, которые почему-то раздражили Ивана Ивановича. Вот зачем она, немолодая, нацепила их, зачем? И зачем на него вылупилась? Он, например, в ходьбе людей не разглядывает, идет себе и идет, а эта остановилась и пялится... Такое настало время. Время бесстыдства.

Он, не замечая собственной нелогичности, продолжал смотреть ей вслед, пока она почти не скрылась во тьме коридора, а потом странным образом не взлетела факелом, и он видел, как обнажаются ее ноги и горит пиджак с фиалками на отвороте. А потом и его слегка тряхнуло, потому что осыпалась стекла и лопались стены. Ему что-то кричали, звали помочь, но он думал, что вот он и сделал то, что хотел, он их взорвал — людей. Он не помнил, как он достал бомбу, не помнил, кого хотел взорвать. Но вот взорвал же! Видимо, эту женщину, если ее запомнил. Да! Да! Ее! Она еще подошла и посмотрела на него. Б...

Иван Иванович, умиротворенный, довольный поступком, шел домой. Ему хотелось чаю.

Жена кинулась ему на грудь, дичь какая, пришлось ее оттолкнуть, а она, оказывается, ревела и тыкала пальцем в телевизор.

— Я боялась, что ты там, — всхлипывала она. — Ушел за хлебом и канул.

Он не понимал, о чем она. Он видел женщину-факел, зажженную снизу; за две минуты до того, как превратиться в огонь, она бесстыдно пялилась на него, Ивана Ивановича. Он пытался вспомнить какие-то важные мысли, которые к нему приходили, но непонятные видения резали мозг на брызгающие шматки. Какой-то выпискивающий носик, оборочки вокруг чего-то округлого... Бутылки? Нет! Какие у бутылки оборочки! Да! Фиолетовые цветочки, собранные крохотной булавочкой в букетик. Все это было почему-то важным, но голова, разваливающаяся на куски, не давала ответа. Он вдруг понял, что умирает, и стал кричать, и голос у него был странный, детский. Жена же — та заорала по-бабьи, с визгом, стоном, но потом по-деловому вызвала неотложку.

Иван Иванович умер по дороге в больницу. За минуту до этого голова его усмирилась, стала ясной, и он посчитал важным сказать доктору, от которого разило спиртным, что это он бросил бомбу там, в переходе. Он! У врача сделалось рыбе аквариумное лицо, это когда рыба пучит глаза и раскрывает большой, с мягкими отворотами-губами рот. Рыба тянулась, тянулась к Ивану Ивановичу, пока не заглотила его.

Он не знал, как вспетушился доктор, одну за другой кидая в себя таблетки от собственного дурного запаха, как, бросив покойника, бежал к главному врачу, как уже видел себя на экране телевизора, видел, как после этого он идет к знакомой даме, которая корячилась перед ним по неизвестной ему причине, но сила показа по телевизору — знаем! знаем! — делает ее мягкой и податливой. Врач задыхался и хрипел на пороге кабинета главного, но кто бы его не понял, если он сказал то, что сказал: «Я привез подрывника. Он мне признался перед смертью».

Ивана Ивановича положили отдельно и дали понюхать собаке. Это уже милиция, которая не могла пренебречь никакой информацией. Откуда им было знать, как усмехнулся один хорошо упакованный мужчина донесению о некоем Иване Ивановиче. Он, глядя на Москву с высокого этажа, подумал, что в этой стране, которую он презирал от и до, всегда найдется Матросо-Морозов, который возьмет все на себя. За спиной этого народа можно делать что угодно. Он открыл окно и стал громко дышать вечерним воздухом августа, еще теплого, но уже с вкраплениями льдистости, которая где-то, где-то, еще на Шпицбергене, но посылает свои стрелки-металки, мол, я иду-у-у... Вот и он посылает знаки-приказы народу-идиоту, который не может себя осознать, не знает своего места, как гадливый кот, а он соберет человеческое месиво в кучку страха, чтоб легко катить его с горки, как колобок. «Это твои сказки, народ, я иду за ними», — думал он, снимая невидимую пылинку со светло-серого костюма. Человек этот не любил черные цвета, а любил голубых балерин Дега и луговые ромашки.

Доктор же к даме сердца так и не попал.

Сначала собака, обученная вынюхивать взрывчатку в любом экстремале, брезгливо отвернулась от трупа Ивана Ивановича, который пах трупом и ничем больше. Собака была молодая, рьяная, она только-только приступила к деланию своей карьеры. Но и без нее сомнения относительно объекта обнюхивания уже возникли. «Шиз, — сказали о нем люди военные. — Захотел на тот свет приехать в экипаже героя. Ну, все-таки посмотрим его хату». И они поехали домой к Ивану Ивановичу, где сидели две потрясенные женщины. Собака с порога поняла, что этот дом пустой для ее Великого нюха. И тогда ее повели в дом молодой женщины, дочери «героя». Там от тувель с новой подметкой слегка пахло Иваном Ивановичем и еще чем-то возбуждительно сладким и тягучим, но это не было ни бомбой, ни какой-то ее частью. Так пахла жена собачьего командира, когда ищейка тыкала ей нос в межножье. Приятный запах, собака его любит. Но ее не это учили искать! Хотя, может, и зря? И собака каким-то ...надцатым чувством вспомнила тех своих давних сородичей, которые были обучены рвать зубами эти сладкие, томящие душу места мужчин и женщин. Но это знание было мимолетным и легким, и собака ушла из квартиры, хотя и с едва слышным рычанием.

— Чего это она? — спросил ее поводырь.

В общем, к ночи Ивану Ивановичу как возможному диверсанту был дан отбой по полной. Жена объясняла людям, что инсульт у мужа произошел от потрясения случившимся, а то, что он будто сказал, — бред. Его не так поняли. Он, наверное, видел, кто это сделал. И пытался сказать. А думать начали на него самого. Она не знала, что один дотошный, совсем молодой милиционер тоже рвал построжки, как пес-ищейка, и нашел школу Ивана Ивановича, и узнал, что тот был химиком. На его счастье, новый

химик только что вернулся из отпуска и сидел в кабинете химии, думая, где бы найти другую работу. Его тошнило в школе, дети — сволочи, деньги — копейки, директор — трус и хам. Он-то и сказал милиционеру, что Иван Иванович бомбами интересовался. Был у них однажды такой разговор. Милиционер очень хотел славы, подвига, он записал все в блокнот. Он думал, что у Ивана Ивановича могло быть потайное место, о котором никто не знает, а он узнает. Ведь то, что его руки ничем не пахли, еще ничего не значит, может, он их хорошо вымыл? Милиционер решил сам взять след.

Он пошел за девчонкой, которая, видимо, снимала угол у дочери покойника; та привела его в какой-то подвал, где кучковались наркоманы. Притон как притон, не по бомбистскому делу пацаны. Когда милиционер тихонько покидал подвал, стараясь себя не обнаружить, он напоролся на ржавый костыль, заорал как резаный, был компанией схвачен, не так понят, побит, ребята вкололи ему дозу без ума и тихо смотались...

Милиционер умер в счастье дури, не успевая опылять многочисленные лона, на одном и кончился. Его не искали, он был очень деревенский, из мест, которые прекратили свое существование, когда в деревню перестали привозить хлеб. Какая-то часть стариков еще немного продержалась на картошке, другая переместилась в города, кто на паперть, кто к магазинам с протянутой рукой. Его мать устроилась очень хорошо — она работала уборщицей в вокзальной уборной и спала в чулане с метлами и ведрами. Она боялась, что сын найдет ее, присоединится, и тогда их выпрут из чулана. Она молилась, чтобы ему самому повезло, как повезло ей. На кусок хлеба и молоко у нее всегда есть, и есть — главное — крыша над головой. Зачем ей сын на этом кусочке счастья? Парня приняла милиция. Он любил ее, как если бы она была мать. Но когда он исчез, его карточку просто порвали, чтоб не смущать статистику жизни милиционеров.

А потом случился ветер и снес доски с потолка подвала, они завалили рьяного парня, которому хотелось ордена, новых сапог и бесконечных сладостных соитий. А дух тления, идущий от него, признали падалью, собачьей там или кошачьей. Но, что славно, не говном.

СОРОК ДНЕЙ

Я попросила мужа не возвращаться раньше восьми. Дочь прийти не захотела, едва я произнесла, что у меня будут мои «прошлые» знакомые. Достаточно было сказать «знакомые» — ее и тогда бы ветром сдуло. «Прошлые» же — это, по ее мнению, уже сюр невыносимый, это и истекающие соплей часы Дали, и историческая хроника «Сталин и Мамлакат», это и художник Шилов с фальшивыми красавицами, и голубое сало писателя Сорокина. Таким дочь представляет глобус моей жизни. На него при разных ситуациях она высаживает столпов мироздания — Толстого и Достоевского, к ним дочь привязывает кота ученого как символ народной мудрости, от которой ее тошнит, а мне — так думает дочь — самое то. Я не спорю с этим сумасшедшим домом, в котором она меня видит. Но так она со мной играет как бы в мои игры, где всякой твари по паре, потому как у матери бзик — плюрализм, демократия и гласность. Мои гости — это «монстры, поедающие детей». И я, от греха подальше, уже не спрашиваю: а это с чего бы? Кого я съела? Честно: я боюсь ответа.

Одним словом, я принимаю скорбную компанию на глобусе, придуманном не мною.

Они пришли все сразу — Лида, Верины сослуживицы и пожилой дядька, который своей «посконностью» доставил бы радостную «ужась» моей дочери. Всего шесть человек. Ровно столько, чтобы не раздвигать стол.

Помянули. Раз, два и три. Разговор шел туго. Смущали всех я и этот посконный.

Мы с посконным были чуждыми элементами этих поминок. Так сказать, маргиналы при данной смерти, а по мытищинскому взгляду на жизнь и смерть, мы были «не свои и не наши». То, что меня объединили с мужским гостем, доставляло мне какую-то странную радость. Весь исчерневший, с порами, забитыми пылью всей жизни, с седыми клочками бровей и волосами в ушах, в самом новом из старых костюмов — чешско-румынско-польском, — тесном в плечах, а потому расстегнутом и обнаруживающем такую же узкую выходящую рубашку, натягивающую у пуговиц последние нитки, вот-вот — и упадут в кутью.

Но галстук! С широкой головкой и широкими полосами, странно попадающими в тон костюма эпохи Брежнева. И это странное попадание как бы рассказывало историю времени выбора одежды, давнего времени, когда брови хозяина костюма не висели белыми ключьями, а еще молодежато лежали на крутой дуге. Когда-то он был хорош собой, этот изношенный вконец мужчина. Он был точным представителем поколения, строившего химеры будущего, жизнь и борьба за... высосали из него все силы и соки, и он был выброшен новыми мужчинами со стропил новой химеры.

Получалось, что я, человек более позднего времени, вполне годилась ему в пару. Со своими косенькими полками для книг на стенах, с рюмочками для водки простого стекла, не авантажной мебелью и в этой своей любимой одежде — платье-балахоне восточного дизайна, какими торгуют в каждом переходе выброшенные жизнью женщины моей эпохи. На всех же моих гостях было хоть чуть-чуть золотишка, на пальчике ли, на шее или хотя бы зубе.

— У меня уши сейчас лопнут, мне бы покурить, — сказал гость.

Мы вышли на балкон. У меня плохой вид с балкона, крыши пятиэтажек черно-серого цвета с перекрестьями антенн, торцом стоит бывшая фабричка по производству грубой производственной ткани. Она морально рухнула сразу, в первые же годы перемен, потому как не годилась ни для какой коммерции. Теперь в ней что-то другое. Надо бы перейти улицу и посмотреть что, да все не перейду. Оказывается, я отвечаю на вопрос моего гостя, что там. Это после трех затыжек он посветлел глазом и спросил меня о пейзаже. Я рассказываю ему о лесистости этого места, которую унес еще задолго до войны индустриальный ураган.

— Про пятиэтажки я знаю все, — говорит гость, — я их и строил, я в них и жил и сейчас донашиваю такой же домишко.

Мне понравилось выражение «донашивать домишко», и я подымаю на него глаза. Оказывается, он совсем не дурен, не посконен, пусть и с чернотой лица, и с сединой бровей, и с отсутствием зубов. У него невероятно синие, не выцветшие от жизни глаза, и я задаю ему вопрос, как долго знал он Веру. «Я вот как бы с детства, — уточняю сама, — но не помню ее совсем. И даже не представляю, какой она могла бы быть. Встретила — и прошла бы мимо».

— Так и случилось, — ответил он. — Я ее тридцать лет не видел. По молодости лет кружил вокруг нее, получил отлуп. И забыл, как не знал. А потом однажды вспомнил. С тоски, наверное. Один живу. И стал искать. Нашел. Сговорились встретиться у памятника Пушкину. За час пришел. К трем женщинам подходил с идиотским вопросом, не она ли...

— Вы бы договорились об опознавательных знаках. Газетка там... Цвет сумочки.

— Она сказала: «На мне будет белый костюм с фиалочками». Не было такого костюма. Я не мог пропустить. А когда громыхнуло, я уже стал кричать в открытую: «Вера Разина! Вера Разина!» Значит, она приходила и тоже меня не признала. И ушла в смерть. Гордая, лишние минуты не стояла. Она и смолоду была такая.

И он рассказывает мне все. Про домик, в котором раздвигались доски стен. Про то, как Вера отличалась от девчонок-рабочих, хотя сама была из

простых. Про мертвое озеро, из которого пил воду. Главное он сказал такими словами:

— Я ее и не узнал, и не познал. Девочка-туман. Других всех помню — чей запах, чей вкус. А эта... Как будто кто-то дунул счастьем, пустил солнечный зайчик, а я его ловил кепкой. Нет, у меня была нормальная жизнь, друзья, женщины, дети. В Болгарию ездил, в Польшу... Ну там Сочи, Адлер — и говорить нечего.

Он рассказывал свою жизнь, в ней не было ничего, чего бы я не знала по собственной ли, по соседской жизни. Это то, что моя дочь называет совковой калькой, болванкой судьбы. Все одно и то же, без вариаций. Я с ней спорила, говорила, что вариации — вещь тонкая, внутренняя. Толпа гуляющих по пирсу, конечно, видит одно и то же, пьет одинаково кислый рислинг, заедает завернутыми в тетрадные листки чебуреками, но у всех же все по-разному!

— Господи! Мама! — кричит мне дочь. — Кого-то пронесет от этой еды, кого-то нет. Кто-то схватит в толпе бабу и затащит за пожарный щит для всех нехитрых дел, а кто-то, сунув десять или сколько там рублей швейцару, сумеет отвести избранницу в номер. Ты об этих разнообразиях думаешь? О них? Все ваши разнообразия однообразны, как обложной дождь. Мир для вас был свернут до размера носового платка в кармане. Пополам, еще пополам, ну, можно и еще разок. Шесть, восемь квадратиков с затертыми сгибами. Ах, мама... Сообрази, пойми этот ужас.

Я понимаю свою дочь, как понимаю, слушая и не слыша своего гостя. Я никогда не была разнорабочей на химической стройке, но одновременно и была. Потому что сначала нам объяснили значение вонюче-химического дела, потом из нас выбирали лучших для ударных отрядов. Меня среди них не было.

Я была честолюбива, может, даже чересчур, но когда дело касалось серверов, химии, восхождений на пики в чью-нибудь честь, во мне обнаруживался некий изъян патриотизма. Пыталась объяснить это дочери, мол, не все мы были одинаковы, были же, наконец, диссиденты, но она смеялась, их она не признавала тоже. «Они тоже совки. Только похрабрее».

У меня путается в голове. Мой гость, который «хорошо жил», но не сумел «поймать солнечный зайчик кепкой», голоса из комнаты про то, что все сделали по-людски, вот отметили поминки (как съездили в Болгарию), и пора по домам. И они возникают все на балконе, пьяненькие и веселые от сознания выполненного долга, принесли с собой бутылку водки, рюмки, тут же разливают нетвердой рукой, заглатывают, высоко поднимая головы. Я тихонечко ставлю рюмку на перила, но Лида кричит, что так не поступают, когда пьют последнюю, что это несердечно со стороны хозяйки. Я тянусь за рюмкой и сбиваю ее с ножки, не нарочно, конечно, а получилось, будто нарочно. Лида бежит в комнату и приносит уже бокал, а не рюмку. Потому как они тоже будут пить как порядочные со мной, по второму заходу, мне положено сразу две дозы, раз та, первая, кокнулась.

Бокал большой. Она наливает мне его через верх, другой рукой прихватывая мои пальцы, держащие ножку. В сущности, в меня радостно вливается мера, излишняя для меня, я знаю, что мне будет плохо, очень плохо, водка бежит по подбородку, шее и дальше, в таком мокром виде я веду их к лифту. Из подъехавшего лифта выходит мой муж, в беретике по самые брови, в очках для слепых, он обходит пьяную компанию, огораживая себя палочкой, — брезгливость чистюли перед зловонной кучей. Меня он не видит? Не хочет видеть? Или это деликатность — не заметить меня с мокрой рожей и красными глазами?

Лифт скрипуче сползает вниз. А я стучу в дверь. Муж все-таки меня не признал и уже заперся.

Не пускают меня долго. Видимо, он пошел сразу в туалет. Я присаживаюсь на ящик, который сто лет стоит под дверью, храня в себе обувь без

подметок, сами подметки, а также шнурки, стельки, одним словом, все, что когда-то было целым и нужным, а потом распалось на составные и стало жалким, жалкость же родила жалость (ах, какие когда-то были туфельки!) и родную русскую скарედность: пусть еще полежит, мало ли что...

Вот я сижу на «мало ли чем» и жду, когда спустится вода в унитазе. Я еще не знаю, что нельзя сидеть на рваном скарбе, который проникает в тебя мгновенно и поражает изнутри всю — от капилляров до тазовых костей. Посидишь-посидишь — и обернешься чужой себе самой.

Ключ поворачивается с отвращением. Муж выпускает меня, отступив от меня на бесконечность.

— Капричос, — говорит он мне.

— Я сейчас уберу, — отвечаю я.

Стол действительно безобразен. Гости, видимо, хотели собрать посуду, но потом бросили — больно надо. Остатками разума отмечаю — все съедено. Значит, я довольно долго была на балконе с этим странным гостем, хотя казалось — пять минут. Хочу вспомнить, о чем же мы с ним говорили, и не могу. «Капричос», — повторяю я слово, которое когда-то давно знала, но убей, не помню, что оно значит. Я беру тарелки с угла стола, беру неуклюже, и они соскальзывают по мне, оставляя следы майонеза, масла, рисовый след кутьи.

— Уйди, — говорит мне с отвращением муж.

Я тащусь в ванную, стаскиваю с себя все. Я отвратительна себе самой, на соске повис стружок капусты, я сбиваю его щелчком, вижу, как падает он в мьльницу, и меня начинает тошнить, бурно, фонтанно. В голове возникает звон, и я четко вижу, как сейчас лопнут к чертовой матери мои бедные сосуды, как я стану паралитиком с повисшей набок головой и застывшей слюной на плече. Подробностей такого рода слишком много, горло изо всей силы сжимается, выталкивая из меня горечь желчи и какой-то немой стон.

Муж не слышит моего воя, он вставил себе в уши музыку. Он ненавидит всякую уборку, тем более с битой посудой, и я не знаю, что лучше: чтоб он пришел ко мне на помощь или чтоб он не видел меня такой никогда. Я уже понимаю, что слухи о хрупкости сосудов преувеличены, что их не разорвала вырвавшаяся из меня утроба, что я жива. Только тряусь вся мелкой-мелкой дрожью.

Я лезу под душ. У меня странное ощущение, будто меня обмывают четыре руки, значит, какой-то сосудик все-таки подвел. Я ловлю своей рукой ту, чужую ладонь, что нежно смывает мыло с моих грудей. Но мне это не удастся, рука выскальзывает, и я даже слышу смешок... Руки? Бред. Капричос! Слово мужа обрело содержание и встало на свое место. Но это неверно! Капричос — это уродство и даже ужас, это срам жизни, а тут нежное очищение и тихий, нежный смешок, как вздох младенца.

Наконец я выбираюсь из ванной. Вытираю лужу на полу. Обрызгиваюсь дезодорантом. Влезаю в махровый зимний халат и являюсь пред светлы очи супруга. Он привел комнату в порядок. Тарелки же поставил в раковину. Посуду он и после себя не моет.

— Извини, — говорю, — конфуз вышел.

— Бог простит, — отвечает он мне. И я почти счастлива, что все хорошо кончилось и он не видел меня в ванной.

Это секундное счастливое умиротворение прерывает резкий звонок в дверь.

— Ты ждешь кого-нибудь? — спрашивает он.

Я мотаю во все стороны мокрыми волосами.

— Тогда можно не открывать, — говорит муж. — Для одного дня уже перебор.

— А если это Ляна? Вдруг шла мимо...

— У нее мобильник.

И тут раздается телефонный звонок. Это Ляна. Она дома, интересуется, как у меня все прошло. Я говорю — хорошо.

— Не будем открывать, — говорит муж. — В доме очень назойливо пахнет чужим телом.

Но в дверь звонят, уже не отрывая пальца от кнопки.

Я покрываюсь холодным потом. Видимо, я, блюющая в ванной, протекла на соседней внизу. И пришел хозяин, он будет орать матом на всю площадку, потом ворвется в квартиру, в ванную... Хорошо ли я вытерла пол? Не остались ли на нем следы вырвавшейся из меня пищи? О! Какой монолог я получу за все сразу...

Но я была когда-то пионеркой и комсомолкой, в меня вбили это — отвечать за свои проступки, поэтому я открываю дверь.

Они вернулись. Все, кроме мужчины. В их руках бутылки, на мизинцах висят торты. Они полны энтузиазма и какой-то веселой наглости.

«КАПРИЧОС!»

— шепчу я, ища глазами мужа. Он уже тянется за беретом, но я хватаю его за рукав: «Умоляю! Не уходи! Умоляю!»

— Не пустим! Не пустим! — кричит Лида. Она вырывает из рук мужа берет. — Вы же не помянули героев. Это нечестно, дядя, нечестно! Выпьем, поговорим и заедим сладким. — И она забрасывает мужнин берет на шкаф, где сто лет лежит детский Лянин велосипед — еще одно «мало ли что».

Мой небольшой худенький муж просто осел. Он стал маленьким, по колени копошащимся в коридоре женщинам.

Я положила ему на темечко руку, погладила легкий пух седины. Показалось мне или на самом деле его гладили две руки — моя и еще чья-то, с которой я уже познакомилась в ванной?

— Хорошо! — командует Лида. — Стол свободен! Ставьте, девки, чашки. Мы ж так чай и не пили. Или пили?

И они гремят посудой в кухне, я дрожу дрожью зимы в теплом халате. Мой мальчик-муж робко сел с ногами в кресло и смотрит затравленно.

— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! — пытаюсь шутить я.

— Я тебя ненавижу, — говорит мне муж, и я удивляюсь, что слышу непроизносимое. Ведь он сомкнул зубы так, что только ножом можно было бы их разомкнуть. Мне кажется, я слышу, как крошатся его зубы, как от прикуса десны бежит по его подбородку тоненькая и какая-то ленивая кровь. Дошла до конца впадины и застыла. Ну вот! Я уже и слышу неслышимое, я уже и вижу невидимое.

— Ради бога! — шепчу я ему. — Я их не звала! Сами пришли!

— Чтобы образумить легкомысленных девиц, нет ничего полезнее, чем надеть им стулья на голову, — говорит муж.

— Успокойся, — глажу я ему руку и в какой-то момент снова сталкиваюсь с не своими пальцами. Кажется, я к этому уже привыкаю.

Нас зовут к столу. Лида наливает водку в высокие стаканы для сока.

— Вас как звать-величать? — спрашивает она мужа.

Он испуганно смотрит на меня.

— Игорь Николаевич, — отвечаю я.

— Ну, давай, дядя Игорек, выпьем за присыпанных, выпьем за сгоревших, выпьем за всех, кому что досталось.

— Лида, — говорю я, — Игорь Николаевич не пьет вообще, а мне хватит. Меня уже тошнило. Так что давайте символически и быстро. У меня еще работа на завтра не сделана.

— Да ладно вам! — отвечает Лида. — Такой случай случился. А Верка была хорошая тетка, хоть и с придурью. Все читала, читала, а ума не родила. От нее целый чемодан книжек остался. Никому не нужен.

— Я заберу, — говорю почему-то я.

— Так у вас и так от них дышать нечем. Но где тыща, там и сто при-тулится. — Она смеется и встает, чтоб сказать тост.

— Выпьем еще раз за Веру Разину. Чтоб была ей земля пухом или чем она бывает после кремации. Тоже пухом? Да ладно! Царство ей небесное, хотя кто его видел? Но так говорится, чтоб не страшно было живым.

Женщины выпивают жадно и радостно. Я пригубливаю. Муж ставит стакан нетронутым.

— Дело не идет, — говорит Лида. — Ну и ладно. Переходим ко второ-му вопросу. Значит, так... Вопрос квартирный. Сдайте нам комнату. Мне и моей троюродной, вон она, Олечка, тоже ваша землячка. Она в Москве за-цепилась, и ей из Мытищ ездить каждый день не кайфово. Да и я сама хо-тела бы работать в Москве, тут возможностей больше. Вы нам сдаете край-нюю комнату, там есть диванчик, а мы покупаем раздвижное кресло, и для вас никаких проблем. Утром ушли, вечером пришли. Цена — сто зеле-ных. Столько это и стоит. А вы не такие богатые, чтобы гребовать додат-ком. Мы девушки чистые. Есть вашего не будем. Разве что чаёк. А то еще и сами принесем.

Странно смеется мой муж. Как бы сквозь наполненный рот. Внутри меня все разрывается от гнева, ненависти, от этой наступающей на меня наглости.

— Лида, — говорю я. — Надо было спросить, сдаем ли мы комнату. Мы бы сказали — нет, и вам не надо было бы тратиться на водку, могли бы уже ехать в метро. Мне неинтересно, чистые вы или нет. Мне не нуж-ны ваши деньги. Мне не важно, когда вы приходите и уходите. Это все нас не касается никаким образом.

И я встаю, как бы подавая знак, что разговор окончен.

Но они не трогаются с места. Более того, Лида снова разливает водку, и они жадно и весело пьют ее, уже не обращая на нас внимания.

Меня охватывает страх. Их четверо, нас двое. Тонкие лезвия ножей посверкивают кремом тортов. Дурь! Что они будут делать с двумя прире-занными немолодыми людьми? Но можно держать ножи у горла и полу-чить написанные под ними обязательства... На что? На квартиру? Она за-вещана Ляне. Боже, Ляна! И я внутренне уже почти на все согласна.

— Ну и подавитесь вы своей квартирой, — вдруг говорит Лида. — Те-перь не люди стали, а звери. Хватают и ртом, и жопой, а чтоб поделиться, даже не по-честному, а так, кусочком, — удавятся! Интеллигенты сраные! Книжек начитались, а совести не прибавили. Пошли, девки, из этого го-венного дома! Помянем Верку во дворе, на лавочке, без этих гадов... Соби-райте еду. Может, с кем во дворе и сговоримся. Есть же на свете люди как люди. Где теперь сто долларов валяются за так?

— Да ладно тебе, Лида, — говорит самая молоденькая из них. — Нас приняли как людей. Ты как выпьешь, так тебя несет незнамо куда. Чего насильничать? Если у нас нет ничего, так что ж, бандитами становиться? Вы нас извините! — Это она уже мне. — Лида хорошая, но ее заносит ле-вый ветер.

Лиду же как сломали. Сидит какая-то кривая, некрасивая и наглая и жалкая одновременно. «...Было бы не худо, если бы обладатели таких смешных и злополучных физиономий прятали их в штаны». 54-й капри-чос. Мой умный муж понял это сразу, еще на площади, а я шла, шла... Шла, шла, пока пришла к тому же. Последние годы он мне все время го-ворит о Гойе, о том, как тот видел безумие человека. Никто не видел, а он видел. Животность. Бездушие. Это же когда было!

Ничего нет страшнее человека. Хотя нет, есть еще страшнее — народ.

Они выходят гуськом, все как бы виноватые. Называется, помянули. У лифта я говорю Лиде:

— Я спрошу кое у кого... — Говорю и прикусываю себе язык.

— Да ну вас! — отвечает Лида. — Напустились как на собак. Уже и спросить нельзя. Действительно же, не в коммуналке гнездитесь. На двоих три комнаты. Да ладно. Я привезу вам книги, если не врете, что возьмете. А то вынесу на помойку.

— Нет! Нет! — кричу я. — Привозите. Я обязательно их возьму.

— Конечно, на всякое барахло место у вас найдется.

Дома в кухне стоит пар. Муж пустил на посуду кипятков во весь напор. Пусть хозяйничает. Раз в десять лет с ним случается мытье посуды.

— Я схожу за кефиром, — говорю я ему.

Сквозь пар я не слышу его ответа.

Я спускаюсь вниз. Теплый мягкий вечер, как бы и не осень. Но зарево солнца красное — это к холодной погоде завтра, а может, к ветру, но сейчас мне так хорошо в прогретом воздухе, в тени уже не зеленых, а выжелтевших деревьев. Через недельку наступит божественная красота победившего золота и багрянца. После склоки, в сущности погубившей поминки Веры, мне не хочется идти ни за каким кефиром, мне хочется обернуться и перебрать обглоданные кости разговора.

Он подошел тихо, как ниоткуда. Балконный гость. У него еще странное имя. Вспомнила. Глеб.

— Она не разбилась, — говорит он, протягивая мне рюмочку на тоненькой ножке, которая пролетела десять этажей, крону тополя и мягко осела во взрыхленную землю. — Я вышел, закурил, вижу — лежит. Взял — целенькая. Ну и что с ней делать, думаю. Ходил, думал... Ведь для вас она разбилась, так? Моя бабушка говорила: что упало, то пропало. Не надо возвращать ушедшее. Но ваша бабушка могла думать иначе. Вот ходил и кумекал.

Я держу рюмочку. Мне кажется, что она меня гладит. Надо сходить к невропатологу. Мне не нравятся эти трансцендентные ласки. Но я благодарю Глеба, берусь проводить его до метро. Зачем? А не все ли равно, куда идти? Он мне долго-долго о чем-то рассказывал на балконе — я не помнила ничего.

Сейчас он мне снова почему-то говорит об озере, которое случилось на Урале после атомной аварии, озере с тяжелой, как ртуть, водой. Там все умирало, мошки, птицы, и только одно черное дерево выросло с ветвями, как человеческие руки. И он скривил пальцы, показывая, какими были ветки.

— В Москве такие же растут. Спрашивается, здесь-то откуда?

— Когда это было? — спросила я.

— В пятьдесят шестом...

Первое осознание себя самой. Люблю собаку, козу Катюку, боюсь кошку. У нее один глаз, но она все им видит. Бесполезно подкрадываться со слепой стороны. Получишь! Обхожу ее с веточкой от старого веника. Хочу в школу. Нравится носить портфель. «Подожди, — говорит мама, — радуйся пока!»

Глеб уходит в переход, чужой мне человек, отдавший упавшую с десятого этажа рюмку и рассказавший о дереве из своей жизни.

Я подхожу к подъезду, рюмочка угрелась в руке. Куда ж она упала? Вот тополь, который не сломал ей ножку, я подымаю на него глаза. Ветки, как скривленные подагрой руки, с широкими мосластыми локтями, а на концах — ладони с кривыми, узловатыми пальцами. Если это увидишь, то уже не видишь пыльных листьев. А в общем, пить вредно, даже чуть-чуть, если тебе не двадцать, не тридцать и даже уже не сорок. Я смотрю на свои артрозные, болящие и стонущие пальцы. Я тоже дерево. Прости меня, тополь, за вылитые на тебя остатки чая, за брошенные на тебя волосы с расчески, за плевки, за жвачку, сколько ее налипло на твои несчастные листья, прости... Ты так терпелив ко мне, я этого не стою. Ты даже рюмочку не разбил, а я ломала твои ветки, когда они мне мешали втаскивать стол

для столовой, сделанный из *настоящего дерева*, а не из ДСП. Господи, а ДСП — разве она изначально не ты?

В лифте я разревелась как дура. Пришлось постоять под дверью, пока не истекли эти странные *деревянные* слезы, пока не высохло в носу, пока я не приняла вид глубоко равнодушного человека, вообразившего себя явно не тем, кем он давно был по сути.

Посуда была вымыта и лежала на столе доньшками вверх. Муж сидел в кресле и держал на коленях Гойю.

— Иди посмотри! — кричит он мне. — Ну разве не копия эта испанка твоей Лиды?

— А вот это ты, — говорю ему я, тыча пальцем в нечто мужское, туповатое. — Не надо. Мы все изгой из Гойи. Нас взвесили на весах, и мы оказались легкими. Нас нарисовали, и мы оказались уродами. Мы неудавшийся эксперимент Всевышнего.

— Хотел как лучше, а получилось как всегда? — смеется муж.

— Не богохульствуй. Всегда было замечательно. Земля. Звезды. Воды. Травы. Пение птиц и даже рык львов. А человек не получился.

— Слишком много ждалось? Большие надежды?

Я иду вытирать посуду.

— Ты забыла, — кричит муж, — что там вмешался сатана...

Я делаю вид, что не слышу. Я давно выращиваю на грядке крамольный мыслеобраз: в той песочнице, где затевалось мироздание, безусловно копошились сразу четыре руки. Не две. Я тщательно вытираю посуду. Слишком тщательно, чтоб отвлекаться на вопросы, в которые ныряешь без надежды на возвращение. Я пробовала. Я знаю...

Так кончились эти поминки. Говорливо-нахальные женщины и странный мужчина, который приехал помянуть ту, что не видел почти тридцать с лишним лет. У него вспухали без курева уши, и мы ушли на балкон. Помню я вспоминаю наш разговор. Никакой, в общем-то. Скорее я вспоминаю преобразование его лица после курева: беззубый, корявый, седой, он странным образом стал красивым. Впрочем, вполне возможно, это свойство моего зрения — видеть не то, что видишь. Особый астигматизм, который вобрал в себя не только неправильность роговицы там или хрусталика, но подпитывался еще и свойствами характера, склонностью видоизменять мир — то ли для того, чтобы полюбить его крепче, то ли чтоб лютее возненавидеть. Да, это так! Я про себя это знаю. Я знаю толчки любви и нежности, от которых плаваются мои душа и сердце, и знаю каменный звон внутри, когда руки сжимаются в кулаки до посинения и крови. Как перетекает во мне одной — божественное и дьявольское? Вот почему я убеждена: в песочнице творения было четыре руки.

ЗАСЛОНКА

— Вареничек ты мой! — говорила по утрам нескладеха Варя, дочь отпетого и похороненного Ивана Ивановича, выглаживая широкой ладонью мякотькое тело своей юной подружки.

Самые счастливые ее минуты.

Потом, на улице, на работе, среди людей, она будет жить в коконе позора и стыда. Она будет видеть невидимое — указывающие на нее пальцы, улюлюканье и похохатывание. После смерти отца все это обострилось. Она не сомневалась, что он *все понял* и хотел их убить. Она смотрела на горлышко Вареничка: как просто это сделать одним обхватом, а потом самой шагнуть с подоконника и опять и снова быть уже навсегда с нею. Конечно, она в это не очень верит. Какая еще кроме этой может быть жизнь? Но как же хочется верить.

И она кладет пальцы на сладкие косточки. Так просто и так невозможно. Уехать бы куда подальше. Она забрасывала удочку, но Вареничек сме-

ется: какого рожна тебе, тетка, если уже живем в Москве! Где же лучше? Или метишь за границу? Тогда рассказывай, как и куда.

— Какая там заграница? — ворчит Варя. — У меня мать старуха. И я у нее одна.

Тут надо сказать, что не было в жизни Вари ничего более раздражающего, чем мать, которая приставала со всякой ерундой, являлась когда ни попадя, клянчила деньги, одним словом, торчала, как кость в горле. И тогда это самое горло выпевало:

— Вареничек ты мой! — И Варя восхищалась свойством любви сводить на нет всякую гадость, в данном случае мысль об опостылевшей матери. Никаких угрызений у Вари по поводу своего отношения к овдовевшей матери не было. Со времени отделения от родителей, со времени чувств, которые перевернули жизнь Вари, она понимала прошлое с родителями как тюремство, замок Иф (это если бы она читала «Графа Монте-Кристо»). Ее потрясла смерть отца только одним: тот владел ее тайной. И если он — туповатый — дошел до всего своим умом, то, значит, скоро придет и ее время расплаты. И видимые пока только ею пальцы укажут на нее открыто и презрительно. Мать как-то сказала Варе: «Знаешь, я что-то примечала в последнее время. Он за кем-то следил... Я даже думала, что за мной». Варя про себя хмыкнула: что это она придумала, зачем отцу за ней надо было следить? Она помнила, как он приходил и лез в ванную, искал там ее любовника. А потом сообразил: девочка-вареничек, что лежит у нее на диване, и есть это самое слово... только все-таки не это... Девочка эта — ее счастье, посланное ей, видимо, Богом, кем же еще, потому что от нее у Вари растут крылья, и когда они станут совсем сильными, она возьмет свой цветочек в охапку и улетит от людей к птицам, что живут у теплых морей.

Надо сказать, что Варя, боясь позора и стыдясь странной особенности своей природы, просто заходила от мысли, что на свете есть опасные для подружки мужчины. Она видела, как затуманенно смотрели на Вареничка парни и дядьки, как невзначай, легонько их руки касались девчонки в лифте, при передаче каких-то бумажек, чуть-чуть, но они отъедали то, что принадлежало только ей, а девчонке вроде и невдомек. Хохоchet. Потому и мечта — о жизни в безлюдье, а точнее, о жизни, где нет двуногих мужиков с отвратительным, вонючим членом, от одного представления о котором у Вари в руке возникает нож, чтоб — раз... и больше ничего.

Она холит свою девочку, балует ее, она боится, как бы не случилась с ней беда, попадет такой двуногий на дороге и собьет Вареничка с толку. Варя холодеет, зеленеет, идет пупырышками и потом исходит лаской до потери чувств и сознания. Девчонке нравится, но иногда она отпихивает ее ногой: «Устала я от тебя, тетка!» С первого раза она так и осталась у Вареничка без имени. Тетя, тетка, ну, в хорошие, сладкие минуты — тетечка. Обидно до слез, но по жизни получается правильно. Для соседей и там, на работе, она как бы родственница, которую приглубили. Но все равно в постели обидно.

Все сильно любящие безумно слепы. Варя очень долго не примечала исчезновений девчонки на час, на два. Та хитро возвращалась то с вилком капусты, то со стиральным порошком, да мало ли чего вдруг не стало в хозяйстве, а мы теперь балованные, нам без туалетной бумаги и пшикалки от запаха — швах, так что повод что-то принести с озабоченной хлопотами улыбочкой был вполне годящимся прикрытием для коварной девчонки. У той же были вполне серьезные планы получить постоянное жилье, но эта тетеха такую простую вещь в голову не брала. И то! Жили-то на съемной квартире. А в большой квартире жила старуха, хотя зачем ей две комнаты? Вареничек много вариантов прокрутила в головенке, и своих, и товарищи-сироты подсказали. Их тут в Москве тьма-тьмушая.

Ну, к примеру, прихлопнуть бабку за тысчонку-две деревянных — желающих в их подвальной компании не сосчитать. Тогда они с теткой переезжают в квартиру, и та ее прописывает. Потом можно потерпеть годок — пусть налижится — и столкнуть ее с балкона. Она была в той квартире, выходила на хлипкий балконишко... Или сбросить тетку в метро под поезд. Она такое в кино видела. В толпе кто заметит, если самой заорать покруче и грохнуть в обморок. В общем, вариантов не счесть. Грибы-поганки отдельно стушить в сметане, а себе беленькие. Главное, не перепутать, но она себе не дура. Тогда ей останется квартира, и она выйдет замуж за шофера Эдика. Он, конечно, тот еще жук, но ей с ним хорошо. Она обучила его, как ей нравится, он — как ему. Покруче, чем с жадной слюнявой теткой.

Все дело в старухе, которая креститься начала, к попам бегаёт, поставила Ивану Ивановичу белый крест со словами «Да простится заблудшему».

Интересно, взрывал старик бомбу или оговорил себя, с ума спятив? Ей нравится второй вариант, он ее побуждает к размышлениям о подлой человеческой сущности. Взрыв по ее уму чище, чем дурной мозг.

Вечером она бежит в подвал к Эдику. Там полно народу, нанюханного и нашприцованного. Они с ним в эти игры не играют. У них есть любимец «Сапрошин», 98 руб., «бутылка-пулечка, попади, родная, в цель». Они прячутся с Эдиком между кирпичными трубами, промеж которых — детский выброшенный матрасик, под матрасиком изголовьице из сиденья от старой машины. Эдик сам все нашел: и инвентарь, и место. Оно далеко от общей тусовки, потому они входят не через подвальный вход, а через окна с другой стороны.

Вареничек успеваёт заскочить домой, чтобы сбегать в ванную. Трет следы тетки-заразы, полощет рот. Эдик приходит чистый. От него пахнет кожей, бензином, джинсой штанов. Ей это нравится. Мужское. Детские забавы в детдоме приучили ее с малых лет к женским грешным ласкам. Ее, пухленькую, тискали все, от напарок до воспитательниц. Малорадостный мир казенщины делился чем мог: телесной радостью, опытом срамных отношений, они же бывали и любовными, если везло... Ей везло. Ее всегда любили больше, чем она, она всегда была «верхней» по существу отношений. Никто никогда не говорил о стыде и сраме, разве что отстойные бабки-уборщицы, но они все, как одна, были алкоголички. Детям от них было хуже, чем от ласковых женщин. Ласка — это лишнее второе, это яблоко под подушкой и это удовольствие, то самое, что превыше всего.

Она была нарасхват, но успевала оглядываться. Вот и тетка случилась, когда жизнь треснула рукавами у пальтишка. Эдик был первым мужчиной по собственному желанию. Ради него хотелось устойчивой жизни, общей пищи и детей, «будущее России», которые никогда — никогда! — не попадут в приют. Ради этого можно было и убить. И даже правильно было убить, потому что старуха не могла родить будущую Россию, а она, Вареник, могла. И даже тетка не могла. Она когда-то призналась, что у нее негожие трубы.

Вареник не постеснялась спросить у гинеколога, которого вызвала фирма в целях диспансеризации, все ли у нее на месте, трубы там и прочее, врач засмеялась и сказала, что все прочее, как и трубы, на месте. Выйдет замуж — будет рожать как из пушки.

— Пока не замужем?

— Пока нет. Бесквартирные.

— Предохраняйся. Ты создана для родов.

Именно в тот вечер ей было противно с теткой.

Когда уже погасили свет, совралось легко, как в песне:

— Мне надо в Москве постоянно прописаться. Меня уже трижды предупредали.

— Кто? — закричала Варя. — У нас неквалифицированные — все временные.

— Всех и предупредили.

— Я поговорю, — уже тихо сказала Варя.

— А вот не надо! Не надо на меня обращать внимание. Лучше поискать выход. Не всю ж жизнь быть в нелегалах? Лучше замуж выйти.

Варю охватил ужас. Что, она не знала, что другого пути у молодых детдомовских девчонок, как и у лимитчиц, не было? Конечно, за деньги можно и без замужа, но все равно нужна площадь. Девчонка заснула, а Варя билась головой об стену — искала «топор под лавкой». К утру нашла — мать.

Прибежала к ней, та еще лежала под одеялом, разминала колени, которые всю ночь попискивали от боли. Хорошо, что у Вари ключ и не надо выбираться из тепла.

— Что с тобой, дева?

Так мать обращалась к ней, когда что-то не понимала в дочери. Варя ненавидела это обращение. В нем было нечто и оскорбительное, и старо-заветное, и издевательское. Дочь поймала себя на беге — кинуться на лежащую мать и придавить своим тяжелым телом. Дела на раз. И уйти, как не было. Никто ее не видел, а главное, никто на нее не подумает, как не подумали на ее отца, а она ведь верила, что это он бросил бомбу. Отец хотел убить ее и Вареничку. Они тогда, кажется, что-то говорили ему, что поедут на Палашевский рынок, там всегда были хорошие грибы. Или не грибы? Но они не пошли. А он пошел. Ведь отец, подвыпив, говорил: «У каждого есть грех, за который можно убить без суда и следствия. Грех бывает страшный и тайный. Человеку надо помочь от него избавиться».

Она думала: это он о ее грехе. О ее бессилии перед Вареничком. Он решил помочь ей избавиться — отец ведь. Понимал ее позор, ее клятость. У нее переворачивается сердце от благодарности отцу, что не сумел, что у старого дурака не хватило то ли ума, то ли замаха.

— Так что там у тебя, дева? — Голос у матери противный, как бы пропущенный через боль в коленке.

— Ты знаешь, я ненавижу это слово.

— А я люблю, — смеется мать. — Оно как песня. Ну так что тебя с утра пораньше сдернуло?

Мысли об отце увели Варю в сторону. Она даже забыла о броске тяжелым телом на старуху. Она пристойно, подняв плащик — на улице с утра моросило, — присела на краешек кровати.

— Да дело копеечное, я так считаю, но делать надо быстро. Знаешь девочку, что у меня живет? Она мне как сестра, да что там — больше. Ее надо прописать. Ну к кому я могу обратиться, как не к тебе?

— Дурья дурь, — ответила мать. — Нас на этих метрах прописано двое, а троим уже делать нечего. Даже будь она сродственница... А про чужих и слышать не хочу. Придушит, прирежет. Столько случаев, что даже удивляюсь, как это люди не обучаются на примерах.

У Вари больно застучало в виске. Ну что делать с матерью? Мать же увидела ее боль, и палец дочери, прижатый к жилке, и гримасу, делающую ее совсем некрасивой. Господи ты, Боже мой! Так и не находится на нее человек. Уже теперь и время вышло... Носится с чужой девчонкой. Воистину меньшинствующие.

— Было бы ей лет десять, удочерила бы, что ли? — сказала мать мысль, не предназначенную дочери, а придуманную с ходу для победы над предыдущей. Не думала, не думала, а потом возьми и подумай. — А так с какой она тебе стороны? Один грех.

Ну и какими словами ответить на это матери? А насчет всяких случаев мать права. Варя уходила и думала, что Вареничек ее — девочка жестокая, и ничего она про нее не знает: детдом, потом какая-то из помощи детям уговорила взять ее в фирму, мол, девочка умная и аккуратная, уговорила, уболтала... С чего бы, а?

Все в Варе заколотилось от ревности, от боли, что этот кусочек счастья не только ей достался, а уже был надкусан и опробован. Ведь эти комитеты по детям ничего не делают за так, если уж устраивают на работу — то на тяжелую, грязную, все это знают! У Вари колотилось в груди так, что вполне можно было работать небольшим мотором, для полива огорода, например. И ноги сами понесли ее в отдел социальной помощи детям-сиротам. Ну умно ли? Но надо узнать! Надо!

Она вышла к ней в коридор, Лина Федоровна, толстая тетка с толстыми украшениями.

— Что, неприятности? — спросила она. — Бегаешь, бегаешь из-за этих побрядущек, а они из сумок тащут, на мужиков вешаются.

Уф! Как отлегло.

— Нет-нет, — сказала Варя, — ничего подобного, все в порядке. Девочка хорошая. Я даже ее к себе взяла жить... Временно...

— А где ж ее парень? — спросила Лина Федоровна. — Она мне тут хвасталась, что они собираются пожениться. И парня показывала. Шофер. Складный такой. Эдуард, кажется.

Варя потеряла сознание на полминуты, не больше, а скорее даже меньше, но завалиться успела, и так неудачно: виском на печную заслонку. Контора была в старом доме. И в нем сохранилась уже без надобности большая голландка с чугунного литья орнаментальной заслонкой и тяжелой округлой ручкой в виде груши. Конторщики давно отапливались батареями, а голландкой хвастались, изразцами во всю стену, ее изящным фруктовым узором. В гостиной ведь раньше стояла, это сейчас она в коридоре и освещена плохо, потому что архитекторы двадцатых перегородили гостиную на коридор и кабинеты, кабинетам достались окна, а голландка затихла в полутьме прихожей. История с печкой интересна сама по себе, в ней много человеческих страстей, огня (печь все-таки), но еще не было в ней завершающего все на свете момента — смерти. А теперь на тебе.

Не зря ведь болел височек у Вари, как чувствовал, что скоро ему не жить. Именно им и ударилась она в этот свой полуминутный, а может, вообще секундный обморок (кто стоял с часами, кроме Всевышнего?). Только Лина Федоровна видела, как завалилась ее посетительница на бок, скользнула по изразцам и — бух! — головонькой об отличную, на долгую жизнь заслонку. Какой краткосрочный сосуд выдержит такую встречу? Временного с вечным?

Хотя в больнице потрясенную мать и утешали, что смерть дочери была мгновенной и без страданий, все было не совсем так. При скольжении по изразцам Варю охватывала с головы до пят лютая ненависть к мужскому полу, острое желание его уничтожения, всего, единым покосом, чтоб раз — и не стало! И она увидела это мертвое мужское поле, и ей было так хорошо и сладко, что возвращаться в еще пока двуполой мир не хотелось до боли в сердце, и литая ручка заслонки с большим удовольствием пошла ей навстречу.

Вот теперь и думай: смерть выбирает нас или мы ее? Одним словом, вальс-бостон. Красивый до умопомрачения, между прочим, танец. Раз-два-три, раз-два-три... Влево, вправо... Так прекрасно, как и не бывает в жизни... И не хочется, чтобы это кончалось... Раз-два-три — и уйти туда, где должно быть лучше, должно! Разве случайна прекрасная музыка, разве она обманет?

Варя не умела танцевать, а бостон ненавидела особенно, потому что вот эти раз-два-три, раз-два-три ей мечтались.

Мать страдала не от смерти дочери; со времени отдельного житья они и говорили-то редко. А вот зачем она приходила перед смертью? Зачем-то же приходила? Мать пыталась, но не могла вспомнить и маленькую Варю, не могла вспомнить и молодого мужа. И она стала редко выходить на улицу, много ли ей одной надо?

Она очень удивилась, когда ее позвали на Варину работу, чтобы выдать причитающуюся той зарплату. Плюс премиально-поминальные. Денег оказалось много, на материн глаз, и она бежала домой быстро, прижимая к груди сумочку. И заперлась на все замки, и еще раз пересчитала деньги, и испытала глубокую (даже забыла, что такая есть) радость. Стала думать, что надо бы купить в дом. Муж не позволял это делать, а ей так хотелось иметь штору с ламбрекеном, и скатерть ей в тон, и кувшин с толстыми сухими восточными ветками — видела в магазине. И еще сделать перестановку, чтоб не все одно за другим стояло, как в казарме, а кое-что наискосок, боком.

Уснула сладко. Ей снилось море, на которое она смотрит сверху, с горы. И это так красиво — горы, море, белое перышко кораблика вдалеке и птицы, что пролетают рядом, кося на нее выпуклыми глазами. «Кыш! — говорила она им. — Кыш!» И переносится в детство, где деревенская бабушка посылала ее кормить кур, а петух норовил ущипнуть ее за юбочку, и она его до смерти боялась и тоненько кричала ему «кыш!», и он уходил, виляя задом, наглейшая скотина, а не птица.

После смерти дочери, принесшей ей достаток и ламбрекен, она спала с хорошими снами, но никогда в них, и слава Богу скажем, не видела ни мужа, ни дочь.

А что же Вареничек? Сразу после похорон хозяйка велела ей съехать, потому что пришло время оплаты, можно сказать, заслоночка случилась день в день.

Так как теткина мать никакого интереса к вещам дочери не проявляла, Вареничек позвала Эдика, и они все Варино сгрузили в пикапчик и поехали в Эдиково жилье в общежитии. С таким количеством барахла их не пустили, тогда они сняли комнату у кочегара общежития, который, в сущности, жил в кочегарке, а комната пустовала. Соседи стояли насмерть, не разрешали сдавать. Опыт у них был. Кочегар селил бомжей и алкашей. Но тут — семья. И ковер хорошей цены, и всякая посуда. В общем, Эдик — вид трезвый, положительный — сговорился с соседями. А кочегару одна выгода.

И пошла совсем другая история, в которой все стало правильным. Загс, скандалы, потому как денег мало, продажа ковра, который был больше комнаты на целых семьдесят сантиметров, и получалось ни то ни се. Все было как у людей, а проклятый лесбос, как поганая побитая собака, отполз подыхать в ближайшую яму. Где ему и место. И Вареничек забеременела, трубы не подвели, и Эдик загордился. Он был человек простых понятий, и ему хотелось сына, который станет шофером-дальнобойщиком будущей России. Во сне он видел фуры, много фур.

КНИГИ

Я легла около трех, а в восемь раздался телефонный звонок. Для меня восемь — еще ночь и сон. А ночной звонок — страх, знак несчастья. Раньше, в позадавние времена, пугали телеграммы. Даже когда их было много: с днем рождения, великим Октябрем, солнечным Маем, с сообщением о посылке, отправленной тбилисским поездом, вагон 3, проводница Валя. Телеграммы о приездах — встречай или не встречай, доберемся сами. О рождении сына у Светы: поздравь, ей будет приятно. Ну, тогда я еще ориентировалась в прошлом, как в своей квартире. Не надо было тупо соображать, кто такая Света, ясно кто. Третий дом от угла на улице мамы, нечетная сторона. Мама, сама того не ведая, создавала плотную сеть связей с самыми разными людьми. Иногда вызывала этим раздражение, но чаще как бы повышала мою значимость в людской гуще, где я, можно сказать, некий центр интереса и уважения.

Но это было очень давно. Какому черту нужна я сегодня, сонная, с головной болью, в восемь утра стылого отвратного ноября? Я иду к аппарату, човгая, как говорила моя бабушка, тапками. Надо будет проверить, откуда это слово.

— Аллэ! — хриплю я в трубку.

— Я привезла книги! — кричит мне чей-то женский голос. — Стою на вокзале, приезжайте за ними. Я еще молодая, и мне не надо опущения матки, шоб тащить их дальше.

Я молчу, потому что ничего не понимаю. Опущение матки не существует в моей рваной, как простыня после долгой, долгой стирки, памяти.

— Вы меня слышите? Это Лида. Я привезла чемодан книг Веры Разиной. Вы хотели их взять. Я добрая, полдороги вам сделала. Приезжайте сейчас же, чтоб мне быстро обернуться, я отпросилась с работы.

Човг, човг — човгаю я к полке. Мне до зарезу надо узнать, откуда моя бабушка придумала это слово, которое как никакое подходит к моему сиюминутному состоянию, бессилию, желанию лечь в постель и забыть о не нужном мне чемодане и одновременно сознанию, что я посмотрю, что это за слово, и поеду на вокзал. И не будет иначе.

Чова — стоптанный лапоть и еще лаповище, ошметок, обносок лаптя. Тогда должно быть — човать. Но бабушка говорила «човгать». Видимо, совершая путь из уст в уста от архангелогородцев до южных хохлов, где-то на уровне Белгородчины под влиянием Курской магнитной аномалии вползла в чисто российскую распевную «чо-ву» украинская фрикативная буква, чтобы закрепить чову навсегда в новом для нее словесном хозяйстве. Я почти весело чищу зубы, я люблю играть словами, придумывать им истории, женить их и разводить, получать от них детей, таких непохожих на родителей, что куда там метисам, мулатам и прочим креолам.

Она ждет меня у эскалатора. Правильное решение, стань она дальше, мне бы в утренней толпе ее не узнать. Мы отходим в сторону. Чемодан несу я и понимаю, что мне без такси не обойтись. Я это предвидела, я знаю, сколько весят перевозимые с места на место книги.

— Вы не передумали? — спрашивает меня Лида.

Зацикленная на книгах, я быстро отвечаю:

— Что вы, что вы.

— Ну и жлобы вы тут в Москве.

Нет, я ей ответила не на тот вопрос. И на моем лице это написалось.

— Я о квартире, — кричит мне Лида прямо в это самое глупо соображающее лицо. — Может, возьмете хотя бы меня одну?

— Даже не начинайте разговор, — отвечаю я.

Поток людей омывает наш чемоданный островок со всех сторон. Три линии метро, три вокзала перемешали людей, у всех заполосные лица, где-то вскрикивает ребенок. И я вдруг ясно, ясно понимаю, что это война, официально не объявленная, но война; война смела с места людей, спугнутых злой волей тех, кому в кайф этот остановившийся в панике взгляд, кому сладостен этот детский крик, кому нужны всеобщая потерянность и растерянность. Убивают всюду — на Кавказе пулей, здесь давкой, — убивается смятенная душа, которая, в сущности, уже вышла из тела, так сдавлено оно. Это она кричит голосом ребенка. И разве я удивлюсь, если сейчас раздастся взрыв, и брызнет кровь, и чья-то оторванная рука мертвыми пальцами будет продолжать что-то искать? Я только сейчас осознала весь ужас смерти Веры Разиной, чемодан которой стоит у меня между ногами.

— Я побежала, — кричит Лида, — кажется, моя электричка. Вы думайте, думайте, я позвоню еще.

Я едва добираюсь до того места, которое раньше было стоянкой такси. Все не так. Все не то. Очереди нет. Но кто-то все время уезжает. Когда я последний раз ездила на такси? Не помню. Чаще на леваке, но и то давно.

Он подошел ко мне сам.

— Куда надо? — спросил.

Я ответила.

— Сколько? — спросил он.

— Но это вы мне должны сказать, — почему-то возмущаюсь я.

— Сотня, — отвечает он.

Я понимаю, что он меня считает дурочкой, езды ко мне пятнадцать минут, не больше. Люди торгуются, я знаю, но у меня это не получается, тем более что сотня у меня в кошельке есть.

— Восемьдесят, — бормочу я.

Он берет мой чемодан и открывает багажник.

— Кирпичи? Оружие? Труп? — смеется он, устранивая чемодан.

— Книги, — говорю я.

— Ё-мое! Нашли что возить! Деревенская библиотекарша привезла фонд на продажу?

Вот меня и определили. Я деревенское чмыкало, которому не платят деньги уже полгода, а в библиотеку все равно никто не ходит. Я везу книги, чтобы где-то положить их на землю и продать хоть за сколько. Потом меня будут судить и дадут условно, если я, конечно, верну стоимость книг, и тогда я повезу — это будет уже зимой — на саночках сервант и продам его в Мытищах фактически задаром, но на возмещение книг хватит. Так я придумываю себе — библиотекарше — жизнь. Как я лезу в погреб и достаю картошку и долго отрываю длинные червяковые ростки, которые возникли за зиму. Я жарю картошку на кусочках старого желтого сала, и это моя еда на день. Мне так жалко себя, и я на глазах шофера отряхиваю мысленные ростки, а тот смотрит на меня удивленно и жалостливо. Возле дома я достаю сотню.

— У меня нет сдачи, — говорит шофер.

— Донесите до лифта чемодан — и будем в расчете.

Он доносит до квартиры. Обитая дверь, глазок, чистый коврик у порога сбивают его с толку. Кажется, я не то, что он вообразил.

— Это не краденые книги, — говорю я. — Это, так сказать, наследство.

— Еж твою двадцать, интеллигенция! — кричит он. — Да книжек сейчас как грязи. — И он уходит, сжимая в кулаке сотню, оскорбленный неправильностью жизни людей и книг, которые вытянули ему за двадцатку плечевой сустав, а вправить его будет стоить дороже всего удовольствия вместе с дорогой.

И была бы хоть баба! Это я так самоуничижаюсь, разглядывая себя в зеркале, снимая плащ, туфли, а из ванной в трусах выходит муж и говорит, что порядочные жены, покидая мужей, оставляют записки, чтобы брошенный муж мог планировать свою жизнь дальше.

Я объясняю ему историю, и он в трусах начинает открывать чемодан, и лицо у него любопытное, потому что он книжник пуще меня. Он замирает возле каждого развала: а вдруг?.. Какая я дура, что не разбудила его и не послала на вокзал. Скольких минут радостного ожидания я его лишила из простой жалости. Пока я мыла руки, книги лежали уже на полу прихожей, старенькие, хорошо почитанные книги. Юрий Казаков, «Во сне ты горько плакал». Юхан Смуул, «Ледовая книга». Конечкий, «Повести и рассказы». Георгий Шилин, «Прокаженные». Павел Вежинов, «Барьер». Воннегут, «Бойня номер пять». Тендряков, «Чрезвычайное». Василий Шукшин, Юрий Трифонов, Бакланов, Владимов, Николаева, Астафьев, Аксенов, Максимов, Кривин, Ремарк, Хемингуэй, Олдингтон, Амаду, Гарсиа Маркес, Саган...

Муж, цокнув зубом от разочарования, ушел одеваться. Я присела на скамеечку для ног и подумала, что некоторые книги, заброшенные на антресоли, вернулись ко мне снова. Зачем-то... Боже, как остервенело я чистила полки после того, как отделила дочь вместе с ее любимыми книгами. Споров практически не возникало. Она забрала всю драматургию, кроме современной. В доме остались Теннесси Уильямс, Олби, Беккет, Ионеско.

С одной стороны, я была этим счастлива, с другой — дочь уцепилась за милого ее сердцу Драгунского. Ну?!!!

Я видела в этом свою вину, недокормила, недопоила истинным, но девочка выросла умная, мыслящая свободно, оригинально, она понимала и чувствовала жизнь острее, правильнее родителей. Как их не научили их книги, а Драгунский, получается, научил.

Но я ведь не об этом. А о том, как после ремонта я освобождалась от хлама. Как насмешничали мы с мужем над книжками, которые когда-то с трудом «доставали». «Ты когда-нибудь откроешь Смуула?» — спрашивал муж. И летел Смуул на антресоли вместе с Шилиным, Николаевой, Вежиновым. А вот сейчас они снова у моих ног, сохраненные, подклеенные, пахнущие книгами, которые читают. У Веры не было современных дорожных изданий. Откуда? Нет, одна была. Зюскинд. Книжка была обернута несколько раз и вся утыкана закладками. Я отнесла и положила ее на стол. И пошла искать своего «Парфюмера». В моем бардаке я его не нашла, хотя он определенно где-то прижался и прижился. Я стала смотреть, что в закладках, но муж закричал, что книги надо сложить обратно в чемодан и отнести в ближайшую школу, мы так уже не раз поступали.

— Сложи, — сказала я. — Но пусть пока постоят. Мне хочется их еще раз посмотреть.

Я слышала, как книги шлепались в чемодан.

— Тут, оказывается, тетрадь, — сказал муж. И громко засмеялся: — Цитатник! Какая прелесть!

Я выбежала и вырвала у него тетрадь.

— Стыдно, — закричала я. — Это личное.

— Какое личное? — не понял муж. — Личность умерла. Это безличное. Это как археологическая находка, лишенная признаков хозяина.

— Хорошо, — сказала я. — Я посмотрю сначала сама. Я ее знала, ты нет.

А что я, собственно, знала? Бледную девушку, мать и бабушка которой каким-то образом, не в мое время, а много раньше, прошли через нашу семью, как проходят через чужой двор, не зная другой дороги. Но одна осталась в нашей земле, и я в детстве злилась на нее за то, что бабушка мрачнела и начинала курить в форточку, когда кто-то напоминал ей об этом. «Господи, прости. Господи, прости», — шептала она золотой иконке, что ловко так прикрывалась оконным тюлем. Специально внизу был вбит гвоздочек, за который держался тюль днем, а вот когда бабушка разговаривала с иконкой, она отцепляла штору и уже своей большой головой с путанными седыми кудрями, схваченными круглым гребешком, закрывала золотистую картинку и прогоняла меня, потому что «иди, это не твое дело».

Почти через пятьдесят лет оказалось — мое. Вот этот прижатый к стене чемодан, и эта тетрадочка «в арифметику» с какими-то цитатами, на которые я не могла иметь право. Я не читаю чужих писем, письма мамы *не мне* после ее смерти я сожгла. Мне было неловко читать то, что имело отношение к ее другой, без меня, жизни. Но другие читают и обнаруживают удивительные тайны, которые и твою жизнь, простую и ничем не удивительную, делают значительнее и интересней, чем она есть... Некоторые, выясняется, оказываются родственниками весьма славных людей, а кое-кто — вообще потомками. Тьфу! О чем это я? О том, что у меня тетрадка *с цитатами* — не больше, которые давно принадлежат всем прочитавшим, значит, и мне. И мне как ученому-филологу, скажем, средней руки небесполезно посмотреть, что запало в сердце одинокой медицинской сестры, когда она читала те же книги, что и я. И еще. Нить, которая идет от моей бабушки ко мне, от той золотистой иконки, у которой она просила прощения, к старенькому чемодану, углом стукнувшему мужа, теперь и он говорит мне все слова, которые давно лежали за зубами. Простые, народные, любимые мужчинами слова. Как короток, оказывается, путь от иконки к ним. Неужели так сильно ударился? И я открываю тетрадку и читаю наскладку, перелистывая тонкие странички.

«Мне вообще не под силу длительная радость или волнение. По всему видно, что я сгораю быстро, как стружка, и притом до конца, не оставляя даже пепла».

«И когда мне становится очень тоскливо и я уже ничего больше не понимаю, тогда я говорю себе, что уж лучше умереть, когда хочется жить, чем дожить до того, что захочется умереть».

«Не может быть, чтобы человеческая жизнь вся умещалась в размеры этой жизни, случайно оборванной штормовым морем. Это было бы слишком жестоко и бессмысленно».

«Можно поверить, что жизнь — ничто, можно поверить, что смерть и загробная жизнь — ничто, но кто способен поверить, что Бен — ничто?»

...Мы не вернемся. Мы никогда не вернемся. Но над нами всеми, над нами всеми, над нами всеми есть что-то».

«Его хоронили все самые знаменитые шеф-повары мира. Похороны вышли прекрасные, — сочинял Траут на ходу. — И прежде чем закрыть крышку гроба, траурный кортеж посыпал дорогого покойника укропом и перчиком. Такие дела».

В тетрадке, что я держала в руках, было на первый взгляд много о смерти. Но ведь это первый взгляд. Может, было и другое? Про любовь, кулинарию, рождение детей? Почему же вычиталось о смерти? Мне стало нехорошо, и я выпила феназепам. И еще... Почему она не подписывала авторов?

Я проклинала этот чертов взрыв, который исхитрился отозваться на мне, моем доме, на его покое. Какого черта? Кто она мне? По какому праву на моем столе лежит цитатник покойной? Схватив его, я рванула в коридор и хлопнула дверцей мусоропровода. Боже, как легко мне было пять или десять минут. Я даже успела отнести чемодан на балкон и поставить его туда, куда больше всего капало с крыши. Три, четыре дождя, пусть даже вся осень — и он размокнет к чертовой матери вместе с Куртом Воннегутом, и уже с полным основанием — как барахло, которое не есть книги, — я снесу его в мусорный контейнер.

А теперь — что было через десять минут. Я ворвалась в ту каморку, куда упало выброшенное в мусоропровод. Стремглав разбежались мыши. Голыми руками я рылась в месиве банок, пакетов, волглых очисток картошки и мятых помидоров, пальцы скользили по обглоданным серпам арбузов, среди них и лежала моя мокрая и помятая тетрадка. И ни с чем нельзя было сравнить счастье ее возвращения. Клиника? Еще какая! Но и уничтожение собственной подлости тоже, и стыд, и прощение, и умиление, и еще Бог знает что. И мне не воняли мои воняющие руки, несущие тетрадку домой, что уж совсем дебильство, но никуда не попрешь, это было именно оно.

Коля! Где ты, Коля? Единственный человек, который мне был сейчас нужен.

А авторов не было потому, что они с лету попадали ей в сердце. И их слова становились ей своими. Я расскажу об этом Коле, о своем старательном цитатничестве, с указанием страниц и абзацев, о страхе быть уличенной в чужой мысли. Господи, для чего же они тогда писаны, чтоб не войти в душу свободно, бесфамильно, как входят в нас вода и воздух.

И может, он скажет: «Бред! Надо помнить, откуда пришла мысль». Но что бы он ни сказал, кремированную Веру я поняла только сейчас. И я заревела, как последняя идиотка, смотрящая бразильский сериал.

КОЛЯ ПРИШЕЛ

Книги Веры я отдам ему. Со всех точек зрения это мысль шальная и даже бессовестная. У Коли не было ни кола ни двора. В сущности, он был бомж в законе. Его ночевки, о которых он мне простодушно рассказывал, приводили меня в шок. То вокзалы, то диггерские стойбища в теплоте ка-

нализации, то костерки у кладбищенских сторожей, то помеченные Колей и котами чердаки. Но этот не вписывающийся в логику нормальной и правильной жизни человек возникал у меня время от времени, мылся добела, влезал в обреченную на выброс чистую и теплую мужнину одежду, обедал, забирался с ногами на диван. И мы с ним трепались до первой, а то и до последней звезды. Этот одинокий во времени и пространстве тридцатилетний мужчина омывал мое сердце и участием, и какой-то неизвестно как рожденной в нем чистоте и мудрости. И мне надолго после него хватало настроения жить легко и спокойно, хотя какая там легкость?

Любил Колю и мой муж, привереда и зануда. Я столько слышала предупреждений доброхотов, что Коля «наведет на квартиру воров», что приберет меня спрятанной в кармане свинчаткой, что принесет заразу, вшей и прочее, прочее, что мне приходилось скрывать Колю от знакомых, мол, исчез, уехал, забыл, но, случись такое на самом деле, я просто не знаю, что бы я делала. У этой сентиментальной и дурьей со всех сторон истории было начало. И вот какое.

...Лет пять тому моей Лянке досталась однокомнатка от ее двоюродной бабушки. Девчонка тогда только поступила в институт, и отделять ее мы не собирались ни за какие коврижки. Но у Лянки так засверкали глаза, она так страстно замечтала жить одна, что я даже заплакала, когда никто не видел. Короче, дочь отъехала в далекий от нас район. Честно звонила каждый вечер, получая идиотские указания и наставления: хорошо ли заперты дверь и окна, не искрит ли розетка, есть ли на утро завтрак и чисто ли белье. Я бывала сама себе противна, но что было, то было. И до сих пор есть.

Та зима была очень гололедиста. Конечно, она поскользнулась на своих высоченных каблуках, которые носила не снимая, добавляя сантиметры к небольшому своему росточку. Она рухнула на спину уже почти рядом с домом. Но ни одна сволочь не подала ей руки, хотя улица не была безлюдной. Вот тут и оказался каким-то Божьим промыслом Коля. Он помог ей встать и почти на руках дотащил ее до дома. Лянка, барышня светская, была потрясена помощью более чем непрезентабельного мужчины, но, как говорится, ешь что дают. Коля оказал ей первую помощь и вызвал меня. Пока ехала, я видела сломанный позвоночник, паралич, приехав, я стала совать деньги оборванцу, только чтоб он скорей ушел, но тот денег не взял, а когда я вызвала «скорую» (почему вы не сделали этого раньше?), ответил: ничего страшного нет, барышня ударилась попой, позвоночник ни при чем, у нее долго поболит копчик, что в сравнении с параличом в моей голове сущие пустяки. Дочь моя шевелилась и даже пыталась сесть, но заверещала и легла. «Скорая» слово в слово подтвердила диагноз спасателя, который все не уходил, и мне пришлось сказать грубо, пока еще не уехала неотложка, что спасибо, мол, и больше не нуждаемся. Он — никто и звать никак — ушел, дочка стала капризничать, и я, уже пожившая от нее отдельно, с легким раздражением вспомнила всю нашу бывшую жизнь — с Лянкиными фокусами, претензиями, закидонами. Я понимала, что все это «перекушу», потому что мне ее, травмированную, забирать и выхаживать.

Но Ляна категорически отказалась. Она даже при мне встала и по стеночке дошла до туалета, там попищала, садясь на унитаз, но, в общем, дитя на ногах стояло, попросило есть, а потом стал действовать укол, который сделал врач, она совсем повеселела, и вопрос возвращения домой как-то сам собой отсох.

По телефону я узнала, что Коля навещает мою дочь, что принес ей круглое резиновое сиденье, чтоб не травмировать копчик, что купил хурму, которую ты, мама, никогда не покупала, потому что вечно ищешь идиотский королек, а искать надо не гибрид, а настоящую хурму. Так ей ска-

зал Коля. Тоже мне Заратустра, подумала я, но было не до юмора. Я испугалась, что некто, неизвестно откуда взявшийся (момент помощи дочери на улице как бы и не присутствовал в моей внутренней филиппике), навязывается хурмой к наивной девочке и как бы...

«Как бы» имело много оттенков, и я решила поехать к дуре дочери и обрुбить концы гуманитарной и какой там еще помощи. Извините, мол, Коля, но не хотела бы ваших визитов к Ляне. Она и сама бы вам это сказала, но девочка стесняется...

Я готовилась присовокупить к этому деньги за хурму, за резиновый круг и за первую помощь. «Я положу их прямо ему в карман без слов».

Но Коля приехал ко мне сам. Ляне понадобились словари и еще какие-то книги. Я приготовила стопочку заранее, перевязала ее, положила в конверт триста рублей, написав сверху: «Спасибо за участие. Не беспокойтесь, у Ляны есть родители». И конверт подложила под книжную веревочку.

Коля снял обувь и сразу — к стеллажам, он обошел их все и сказал:

— Всегда так хотел жить — вокруг книги, а я в середине. Говорят, если так жить, то энергетика даже не прочитанных книг все равно тебя достает. Не читал, а как бы и читал.

— Это чепуха, — сказала я самым противным своим голосом — лектора-пропагандиста.

— В вас говорит излишность прочитанных книг. Вы не имеете другого, трансцендентного, опыта.

— А вы имеете? — ехидно спросила я.

— У меня же все наоборот. Нет излишнего, мне приходится жить на другом хлебе.

— Вы стоите у Библиотеки Ленина, — уже смеюсь я, — и читаете книги через стены?

— Не так грубо, — ответил он. — Я действительно сижу там на ступеньках, и нигде мне не думается лучше. Я там прозреваю умом. Непонятное яснее, дурное очищается до ядра. Вы же знаете, что в середине всякой дури закопан здравый смысл.

— Не морочьте голову старой даме, — сказала я. — Вас столько на Руси, доморощенных философов, что, поверьте, было бы вас меньше, было бы лучше.

— Может быть, — сказал Коля. — Я никогда не рассматривал мысли с точки зрения пользы. Мысли существуют всякие. Всякие! Какая из них превратится в пользу, не дано знать никому. Мысль и польза — очень далеки друг от друга.

— Ну, хорошая мысль, скажем, все-таки ближе, — отвечаю я.

— Это почему же? — не соглашается он. — Скорей наоборот. Плохая мысль, если ты это осознаешь, требует преодоления ее, требует как бы действия. Действие — дело. Тут уж рядом совсем близко может оказаться и польза.

Он берет книги за веревку, прижимая косточкой пальцев конверт. Он не видит его? Делает вид?

— Конверт вам, — говорю я ему. И начинаю почему-то оправдываться. Что, мол, вижу, как он небогат, что, мол, ничего о нем не знаю, а потому не знаю, чем бы могла отблагодарить, что деньги — самый проверенный эквивалент человеческого дела, хотя, как правило, несоизмеримый, поэтому пусть он меня простит за малость суммы и прочее. Словесная чепуха, которую я неостановимо несу и несу.

— Резиновый круг мне дали в больнице, — сказал Коля, — где я одно время работал санитаром. Когда Уля выздоровеет, я отнесу его обратно. Я велел ей не резать его ножом и не колоть гвоздем. Хурма мне дана за работу. Я носил ящики с нею одному узбеку. Он дал мне десять штук. Две я съел. Остальные Уля.

Знаете, отчего я плохо соображала? Оттого, как он называл мою дочь. По паспорту она Ульяна. Так звали мать мужа. Очень строгую даму, имевшую свои правила жизни и не отступавшую от них ни на шаг.

Дать внучке ее имя было, в сущности, условием нашего брака. Сын, который выбрал себе не ту профессию, — ну что это за истфилфак? кто из него получится? — по меньшей мере должен был взять девушку твердой специальности (Боже, как она была права и дальновидна!) — зубного врача или торгового работника, в крайнем случае авиационного инженера. У сына случился прокол в моем лице, и в такой малости, как имя внучки, мы уже не могли ей отказать.

Мне с ней было трудно, но нельзя было не отдавать должное ее цельности. Однако дочку мы сразу стали звать Ляной, благо бабушка уже умерла. «Уля» было и несовременно, и по-деревенски, боялись, что девочку задразнят. «Ляна» было элегантно, нежно и как бы выделяло ее из многочисленных Свет, Кать, Наташ, Лен и Маш. Она была одна в садике, в школе и одна в институте. Правда, Уль тоже и близко не было. И вот на тебе. Этот тип, читающий книги через стены, этот санитар и грузчик — интересно, последовательно или одновременно? — называет дочь Улей, как будто так и надо, как будто у него есть на это право.

— Мы с мужем не любим, когда нашу дочь называют Улей. Она Ляна.

— Она мне сказала — Уля, Ульяна, — растерянно ответил Коля. — Я ж не сам это придумал. — И еще более растерянно: — Зачем же давать человеку имя, если знаешь, что не будешь им пользоваться?

Почему я должна отвечать ему на вопросы? С какой стати я должна объяснять мотивы своих давних личных поступков?

Он же вынул из-под веревочки конверт и положил его на телефонный столик.

— Дайте мне лучше широкий пакет, а то меня по дороге все будут читать.

А потом он стал приходить уже ко мне, потому что вылеченный копчик оказал влияние на некие внутренние дочерины процессы. Ее филологическая аспирантура жила дистиллированной водой и аспирином. А Коля вносил ядовитую смесь жизни совсем других миров. В общем, Лянка застенялась человека с диковатыми мыслями, это вам не Малларме с его «сумятицей ощущений — противоречивых, бесплодных, чуждых», которые задевают, овладевают и опьяняют. Коля не опьянял, он просто сбивал с толку да еще без разрешения на это, и ему было отказано от дома из чистой ксенофобии.

И он прибился ко мне.

Вот Коле я и собиралась отдать книги Веры Разиной, доставшиеся мне по наследству.

Я приготовилась рассказать ему все происшедшее, но мне стало неловко тащить его в историю уже умершей жизни. Дочь давно объяснила изъян моей природы: «Ты грузишь, мам, людей, а это негуманно. У каждого свои глюки, у каждого своя торба. Но тебя не остановить, тебе кажется, что твои истории интересны. Нет, мама, нет! Совковая жизнь — это безумно скучно. А тебя заносит...»

Мерси, дорогая. Самое то, что хочет мать услышать от дочери: замолкни навсегда.

Вот я и жду Колю. Его приходы спорадичны, фантомны. Я уже принесла книги с балкона. Дождей, слава богу, не было. Я протерла чемодан, я оцепила его вполне современными ремнями. Но Коли все не было. Я подумала, что на будущее с ним надо бы договориться, чтоб дал свой адрес или ходил на почту, где бы я оставляла ему письма, мол, приди, нуждаюсь. Но вряд ли свободный человек Коля примет мои условия. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...

Однажды он явился хорошо побитый, с перевязанными головой и рукой. Его побили не то скинхеды, не то фашисты, когда он кинулся выру-

чать черноглазого абрека, на которого налетела сразу туча. Колю били больше, потому как он был в представлении шпаны предателем русского народа. Миротлюбивый Коля пытался объяснить бьющим, что это они не народ, а нелюди. За это удар по башке. Что они грязь земли и мразь ее. За это сломали руку. Черноглазый успел уйти, пока выяснились вещи более принципиальные, чем «цвет жопы». Его уже хотели заколоть ножом, но вернулся черноглазый со своими, а главное — с пистолетами. Они пальнули вверх, и чмо разбежалось. Колю на руках — так быстрее — отнесли в больницу. И там уже врач стал лечить ему мозги, что бить черных — дело правое и первое. И он бы лично Коле отрезал причинное место за отсутствие патриотизма. Коля встал со стола, пнув ногой врача, и хотел уйти, но его задержали девчонки-сестрички и позвали другого эскулапа, менее патриотичного. Но тот, предыдущий, за пинок ногой написал на Колю телегу в милицию, и ему могли припаять злостное, но на защиту встала больница, которая воспользовалась случаем избавиться от врача-человеконенавистника. Чего и добилась. Того тут же взяли в военный госпиталь, где слово «убивать» было вполне в цене и проходило по разряду доблести и героинства. Там лечились несчастные, раненные в Чечне, так что и у Коли все кончилось тип-топ, и у доктора тоже, и солдатики некоторые выздоровели.

— Было очень страшно, — сказал Коля. — Не смерти, а жалкого бессилия перед ненавистью подонков. Я всегда не понимал, почему евреи покорно огромной толпой шли в Освенцим. Ну кинулись бы на конвой, ну стали бы рвать их зубами. Ну погибли бы, но в борьбе! Но есть — есть! — паралич бессилия перед злом. Оно тебя накрывает черным цветом, и тебя уже нет. Ты уже мертв. До смерти.

Одним словом, мы с Колей дружим на разные темы. И плевать мне было на Лянку, которая говорила, что возня с блаженными — основная часть моей натуры. Что я не состоявшаяся мать Тереза, а некий тысяча сто сорок седьмой слепок с оригинала. И дальше шли уже такие сравнения, что я начинала орать на дочь, а она — на меня. Тишайший человек Коля был способен вызывать в нашей семье цунами. Ну да Бог с ними со всеми.

Я предложу чемодан с книгами Коле. Если он по-прежнему в кочегарке — вечном месте временной оседлости «отдельных» людей, то в случае чего бросит книги в топку. Все лучше, чем смерть на балконе от сырости. Вот если бы мне пришлось выбирать — сгореть или утонуть. Нашла тему разговора за ужином. Благоверный чуть не подавился куриным крылом. А пока откашливался и отплевывался, он кричал на меня зло и хрипло, что я идиотка, выбираю к столу самые что ни есть интересные темы. Что я садист-экспериментатор, что он может предложить мне на выбор еще несколько вариантов смерти, и эту вот, от косточки в горле, не хочу ли попробовать, ходить далеко не надо, крылышко у меня на тарелке.

Я лупила его по спине, почему-то так помогают подавившимся, хотя точно знаю, что ничему это не помогает. В конце концов косточка сглотнулась.

А мне ведь хотелось, чтобы меня спросили: а почему, дорогая, утонуть для тебя хуже? Ведь огонь больнее. И возможно, даже медленнее. Ну, расскажи! И я бы, если бы меня спросили, рассказала про страх воды, самый страшный страх моей жизни. Но разве дождешься просьбы? Поэтому без приглашения рассказываю про детей-малолеток, которых сожрала черная вода.

В городе моего детства был пруд. Боже, какой там пруд! Ставочек черной стоялой воды в полсотню метров в диаметре. Он возник на месте засыпанного шахтного карьера и был, так сказать, водоемом только в дождевой период. В сухой же вода просачивалась в пустоты земли, и нам, детям, категорически запрещалось ходить по высохшему дну. Оно было ненадежно, местами шевелилось, выдавливая черную липкую жидкость бывшего дождя.

Зато во время больших ливней мальчишки гоняли по воде плот, отталиваясь самодельными баграми. Мы, девчонки, входили в воду до трусов, более храбрые — до груди, костлявого места с двумя пуговичками по бокам, как и у мальчиков. Мальчишки били вокруг нас баграми по черной воде, и мы вылезали уже не девочками, а не то чертенятами, не то папуасами. Собаки, куры бежали от нас врассыпную, а дома нас ждала выволочка и долгое отмывание от жирной, скользкой жидкости.

Однажды случилось несчастье. Плот с мальчишками пошел ко дну. Почему им не удалось выплыть, никто не мог объяснить. Их доставали долго, так крепко держало липкое коварное дно. Ходили слухи о каких-то черных руках, которые схватили мальчишек за горло, и они умерли сразу. Ставок оцепили колючкой, но на следующий год, когда он высох, мы все равно ходили по дну, заглядывали в его высохшие щели и пихали в них палки. Правда, плотов мальчишки уже не строили.

С тех пор смерть в воде для меня страшнее смерти в огне. Страх, как отпечаток пальца, строго индивидуален. Тем более тот, что из детства.

Детство — вообще отдельная жизнь, которая не имеет продолжения. У детства есть смерть. У моего — там, у черной воды, у другого — в другом месте. Детство умирает, потому что в выросшем теле ему нет места, а если бы было — возможно, была бы совсем другая цивилизация. Я даже придумала, что человек, который божественная сущность, есть ребенок. Когда умирает детство, вот тогда и торжествует дарвиновская теория. Ну да ладно... Об этом легко и радостно говорить только с Колей, а в дверь стучат совсем другие люди и истории. Погоди, Коля! Ты же еще ничего не знаешь, ты даже не знаешь, кто у меня умер.

Я сбилась с мысли. Я ведь о Коле, которого жду. И однажды он позвонил.

— Где ж ты был, Коля, где ж ты был? — кричала я, почти втаскивая его через порог. Я чувствовала, как он напрягся, и мне стало неловко: надо следить за собой, такие страстные порывы истолковать можно и неправильно. Рассказывала я взахлеб про все сразу. Про книги и тетрадку, про взрыв и человека, который нашел рюмку, про черную воду детства, про таксиста, принявшего меня за библиотечаршу-воровку, про Лиду, которая уйдет в проститутки, если я ей не сдам комнату, про Веру Разину, которая когда-то сказала мне: «Как я тебе завидую!»

— Я хотела отдать тебе книги, но куда ты их возьмешь?

Потом я сидела и слушала уже его фантастическую историю про завещание некой женщины Энзе, которую Коля вынул из лужи в августе 1991-го.

Женщина эта — Энзе — умерла. А до того написала завещание на Колю, паспорт которого однажды видела и переписала все данные, и даже последний адрес прописки в трехкомнатной райкомовской квартире. Это ж сколько лет прошло! Но других штампов не было. Энзе понимала, что жизнь без правил давно стала правилом и исходить надо из этого. Она поехала к молодому человеку, за которого голосовала в районную власть. Он учился с ее сыном, но был более цепким до жизни, ни в какую армию не пошел, а пошел в институт с военной кафедрой, а потом легко пошел по общественной линии, головастый оказался паренек, учуял ветер времени. Энзе боялась, что он, как и многие, скурвился. Приготовила две стратегии — на нормального человека и на сволочь.

Истина была в середине. Потому как, будь он нормальный, он бы не стал нарушать закон с пропиской и брать на душу грех с деклассированным элементом, а он взял. Поэтому, когда Коля в своем свободном полете оказался возле квартиры Энзе, ему открыла соседка и передала ключи, адрес могилы и два конверта. В одном — завещание, в другом — письмо депутату, что податель сего и есть тот самый, который... Все это так мало похоже на правду жизни, что именно она и есть самая что ни на есть правда, потому как то, что похоже на нее, уже тысячу лет ею не является.

Все подмена, а истина — давно девушка заключенная, ее и надо искать в местах и отдаленных, и отгороженных. Депутат нашел нужного человека, тот выправил бумаги, и Коля стал хозяином крохотульки квартиры. При условии, что он найдет работу. И Коля вернулся в «Скорую помощь», ошеломленный неожиданными путями порядка и пристойности. Он стеснялся спать на диване, где спала Энзе, и тулился на раскладушке в кухне. Он тосковал о воле, о своей абсолютной независимости от людей, но одновременно чувствовал в себе странную радость от зависимости и долга перед памятью Энзе и благодарностью за тепло возле батареи и возможность умываться каждый день. Все это пустило корни, и надо было за это платить чем-то большим, чем квартплата. И Коля соорудил памятник на могиле Энзе, похороненной на самом дальнем кладбище Москвы.

Он делал уколы соседке-старушке, отдавшей ему ключи, за так, хотя дочь старушки его не понимала и считала, что он убогий, раз не берет деньги. И он научился брать символическую плату, потому что не хотел выглядеть уродом. Он чувствовал сети, которые ставила ему жизнь как у всех, и в этом было что-то не то, а может быть, как раз то... И он пришел ко мне, больше было не к кому.

— Так не бывает, — сказала я ему.

— Я знаю, — ответил он и засмеялся. — Случай неординарный.

— Но замечательный, — сказала я, думая одновременно, что, наверное, что-то тут не так, что Коля скрывает какую-то важную деталь, которая должна превратить эту историю в постижимый факт жизни.

В мизантропы уходят самые большие человеколюбцы. И чем дольше они остаются таковыми, тем злее бывает результат. Боюсь, что я такая. Возможно, я была из последних, кто спустил воду за трюизмом, что нельзя читать чужие письма и подглядывать в замочную скважину. Но теперь, когда об этом говорит Ляна, я кричу: «Можно! Можно! Все можно!» И пакость состоит в том, что сама-то я в глубине души так не думаю, но убеждена: дочери, которой, дай бог, жить и жить, лучше без этих моралистических максим. Ей танцевать с волками, ей брататься или сестриться с игуанами, ей целовать жабы морды подруг и друзей. Для нее я стелю подушку из скепсиса, недоверия, даже брезгливости, дабы облегчить выживание. Поэтому я не умиляюсь Колиной историей, я просто не верю, что в ней нет второго, третьего и четвертого дна. То самое — кому это выгодно?

Мы раскрываем чемодан, и он перебирает книги. Он им рад, я это вижу по его рукам, по тому, как он их берет. Но говорит он другое:

— Конечно, все это отстой. Эти книги сдавали пачками за баллы, я тогда работал в таком магазине возле Рижского вокзала. Но есть и кайфовые. Вонегут, например. Но я, конечно, возьму все. Какие-то были у нас дома. Мама-покойница любила Галину Николаеву. Прочту ради мамы.

— О! — говорю я. — Это страшный путь. Не понравится — и ты посмеешься над мамой.

— А как мне иначе ее понять? — спрашивает он. — Она ведь умерла не от болезни. Она умерла просто так. Ее что-то тянуло из жизни в смерть, даже несмотря на то, что был я. Значит, она меня не любила. Почему?

Никогда он мне этого не говорил. И мне страшны его слова. Просто я их примеряю на себя. Достаточно ли жизни дочери, чтобы остановить мою смерть? И если совсем честно, отвечаю: недостаточно. Но я не скажу это Коле. Это мое неожиданное открытие. Я буду его мусолить и мусолить, прежде чем сумею передать словами. И скорее всего не передам никогда.

Взрослые дети — это нечто огромное, даже великое, но это все-таки только часть жизни матери. Меня, во всяком случае. То странство, куда не ступала их нога, не менее огромное и не менее великое. Вот там и живет смерть. Другого места, как внутри жизни, у нее ведь нет. И не будет.

Почему-то я показываю ему тетрадку с цитатами. Он их читает посмеиваясь. Я не понимаю чему.

— Какая прелесть! «Можно поверить, что жизнь — ничто, можно поверить, что смерть и загробная жизнь — ничто, но кто способен поверить, что Бен — ничто?» Какая прелесть! Я — за.

Он читает навскидку, как и я. И тормозит там же, где тормозила я. Милый Коля, родная душа. Очень осторожно, даже скорей деликатно он спрашивает о Ляне. Просит сообщить ей, что осел и имеет телефон, как все белые люди.

— Почему же ты ей не позвонишь? — Ну разве это не естественный вопрос?

— Нет навыка, — отвечает он. — Я еще не привык, что телефон — средство общения. Мне звонят соседи, когда нужно уколоть бабушку, хотя им проще стукнуть в дверь.

— Но она же не позвонит первая, — говорю я ему.

— Я знаю. Не снизойдет...

— Я буду звонить! Я! — кричу я, перебивая его. Я ведь знаю, что может последовать за этим «не снизойдет». Он обидит Ляну, я обижусь на него, и он, теперь устроенный, может больше не прийти, у него ведь теперь соседи, которым позволительно стукнуть в дверь.

— «Дорогого покойника посыпали укропом и перчиком», — читает Коля. — Это, конечно, Воннегут, его черный юмор. Вы Сорокина читали?

— Читала. Он тут при чем?

— В связи с покойником и укропом. Мне он нравится. Он громкое восклицание, что Бен — есть. Понимаете?

— Почти каждая книга восклицает.

— Ну уж...

Мы препираемся легко и душевно.

Потом мы собираем чемодан, и я вижу, что он кладет туда тетрадку. Разве я отдала ее ему? Но получилось так естественно вернуть ее на место, что я только вздохнула, дивясь простоте некоторых решений, над которыми бьешься-бьешься, а всего ничего — надо сложить все вместе.

Мысленно я его провожаю. Вижу, как сгибается его тонкая фигура под чужой тяжестью. Но ведь это тяжесть чужой несчастливой судьбы, кричу я себе, как же я смела ее отдать? Я не могла дожждаться времени, когда уже стоило позвонить. Он взял трубку сразу.

— Только что вошел. — Он тяжело дышал.

— Коля! — говорю я. — Коля! — Как я могу сказать эту свою мысль человеку, которому сама отдала чужой груз? — У тебя-то хоть есть какие-никакие полки или шкаф, куда это все поставить? Я как-то не подумала об этом сразу.

Почему-то мне кажется, что он понял про меня все и тихонечко про себя смеется.

Но он смеялся не про себя.

— Во-первых, у меня этажерка. Вы еще помните, что это такое? Я ее взял с помойки. Она не антикварная, просто для книг. Вымыл, такая прелесть, ей лет сто... Все хорошо встанет. Галина Николаева вернется на нее в свое время и утешится.

— С Воннегутом?

— Ну нет! — сказал Коля. — Воннегута я положу на стол. Рядом с сахарницей и солью. И буду его читать, пия чай и вкушая хлеб с солью.

— А другого стола у тебя нет?

— А зачем? — смеется Коля. — Это вы пишете, а я думаю. А думать рядом с солонкой — самое то. Или?..

— То, то, — смеюсь я. — Но мне немного не по себе.

— Бросьте, — отвечает Коля. — Книги — это книги. У них есть судьба, есть карма, кто ж спорит? Но я надеюсь, что мы потягаемся. Ваша покойница пусть не беспокоится. Я буду дописывать ее тетрадку. И если у вас окажутся книги на выброс...

— ...то я теперь знаю твой номер телефона.

ПЯТЫЙ

Так случилось, что Коля не рассказал Зеен, зачем к ней пришел. Конечно, поверхностно — оставить телефон и чтоб тот таким образом оказался у Ляны. Сама не позвонит — думать нечего, но все-таки не удивится, будет готова, когда позвонит он. Но не это главное. Главное — Пятый, один из товарищей по теплой трубе в одном из переулков подземелья. Он так и представился: «Пятый».

— А почему не шестой? — спросил Коля.

— Потому что Пятый, — ответил парень. — На этом месте, где сижу, я пятый.

— А на другом?

— На другом, может, и сто двадцать пятый, и тысячный, но я закрепил за собой пятый номер. А ты будешь восьмой.

— Я Коля, — ответил Коля. — Коля Последних.

— Не воображай. Последних не будет, ибо несть нам числа.

Так и сцепились языками. Человек-номер и Коля, у которого, получалось, нет номера. Пятый был забавный, слегка сумасшедший, слегка притворяшка, у него где-то (неизвестно где) были семья и полный порядок, было высшее образование и полное отрицание жизни нормалов.

— Ненавижу, — говорил он. — Каждый, это стопроцентно, состоит на семьдесят процентов из брехни, а на тридцать — из злобы. Так и живет, вертась то одним, то другим боком. Соотношение меняется. Иногда под самую маковку одна сплошная ложь, это идейные борцы, истово верующие и всякий наивняк типа тех, кто поверил, что красота может что-то спасти. Их пополняют чуть выросшие дети, которые однажды вдруг застесняются, что, влюбившись, по-прежнему писают и какают. Которые из злобы, с теми яснее. Мы от них бежим, нормалы бегут тоже. Они держава, парень, или государство, кому что нравится, но они убивают, не спрашивая ни мамы, ни Бога. Лжецы охотно переходят в их ряды, потому как жить, понимаешь, хочется. Чем больше стреляющих, тем страшнее страна. Вот почему мы с тобой у этой трубы. Потому что у нормалов надо выбрать, с кем ты. Или живи по лжи, а Александр Исаевич, или Иван Денисович, или кто там еще не велят, или иди к тем, кто даст тебе или дубинку, или лопатку, или наган, или бомбу, или яд. Ври или убивай. Всегда так было, всегда так будет. Иногда времена провисают, и тогда все люди скатываются в кучу, но они этого не любят. Человеку надо знать точно, кто он — убийца или лживый приспосабливец. Нормалы было очеловечились, но их опять обозначили. И ты, парень, не Последних в наших рядах. Я даю тебе хороший номер — восьмой. Бери, не гребуй. У нас тут в грязи чисто.

Так вот, Коля обнаружил Пятого в морге, обгорелого и утыканного мелким стеклом. Он оказался жертвой очередного взрыва, как и эта женщина, книги которой он принес к себе в дом. Он так мечтал встретиться с Пятым и сказать, что вот он осел, стал нормалом, но не стал ни лжецом, ни убийцей. Он хотел ему это прокричать в лицо: «Это не правило, Пятый! Это не правило!»

Не успел.

Теперь он знает, что еще до Пятого стеклом утыкало медицинскую сестру, которая любила Воннегута. Значит, Пятый был прав. Злоба соответствует количеству смертей. Нет, этого нельзя сказать милой тетке Зеен. Нельзя. Она типичная нормалка из первой половины, немножко лгунья, немножко идейная, немножко верующая и до сих пор стесняется, что писает и какает. Но вот связали их эти смерти, эти книжки, столетняя этажерка и девочка на шпильках, которой больше хочется быть выше ростом, чем быть хотя бы снисходительней к «человеку не ее круга».

Коля листал Воннегута, макая в соль горбушку бородинского. Кайф, нормалы, кайф! Как же это можно хотеть убивать? Какую внутреннюю поруку надо для этого иметь?

Разве мог он вживе представить человека в серебристо-голубых тонах и с синими-синими глазами, который, глядя на город с высоты, весь истекал не злобой, не ненавистью, а желанием. Он жаждал создать из нелепого людского хаоса некую строгую форму. Он еще не знал какую. Но он собирался жить и думать долго, чтоб сделать все раз и навсегда. Он просто чувствовал потребность формы, потому что тоже был человек, как и Коля, и Зеен, и Ляна, и шофер Эдик, и Вареничек, и покойные Вера Разина, Пятый, Иван Иванович и горемыка Варя. Серебристый понимал, как их много, всяких, и у него от такого количества разных, не поддающихся формообразованию людей начиналась абсолютно нормальная медицинская тахикардия. Успеет ли?

И хотя его сердце было проверено в лучших клиниках мира, откуда-то из неведомых глубин молекул и атомов тела возникал в эти минуты страх смерти. Потом, когда все проходило, он даже любил это состояние, потому что мог понять, так сказать, из себя самую великую силу страха человеческой массы, который так ему нужен в главном деле — выпрямлении жизни. Надо бы восстановить в «страхе» и в Боге твердый знак, как было раньше.

В отличие от жизни и любви, слабосильных в своем окончании.

От радостного холодка этих мыслей начинало дергаться веко. И он прикладывал к глазу сердолик. Веко замирало. И он думал: вот еще пример, когда твердое легко умирляет мягкое... За раз...

Он не обратил внимания на птицу, что смотрела на него с подоконника. Он вообще не признавал живность, если она не могла быть пищей. Стук клювом в стекло он принял за ветер, который колышет плохо пригнанные к раме стекла. Но если бы он подошел к окну и посмотрел в острый птичий глаз, так похожий на светло-серый глаз женщины, убитой его волей, он бы увидел в нем себя: как летит незнамо куда его оторванная, в тряпье жил голова, как долго кричит она диким голосом, понимая в последний миг отрыва, что ей никогда не обрести другого тела, а потому она улетит туда, куда соберется весь стыд и срам этой земли. Огромная яма будет чавкать и хлюпать, принимая ноги, головы и мошонки, пока не затянется над ней земная кора и не прошьют ее крепким швом корни трав и деревьев. Но человек так и не посмотрел на птицу. Он был доволен собой, предвкусывая бесконечную улыбку своего имени. От душевного вождения зачесалась коленка. Видя его почесывания, птица улетела. Она ведь была вечно живая, а этот чешущий коленку формообразователь был уже вечно мертв. Пусть не сегодня, но скоро и навсегда.

ОЗЕРО

Оно давно жило своей жизнью, жизнью изгиба, отщепенца. Для него не было дня и ночи, ибо оно давно не отражало свет. Оно не помнило своей прозрачности, в которой играли рыбы-вертихвостики, шныряли головастики, большие человеческие тела будоражили всех и вся, и вода после людей пахла как-то особенно, не как от рыб и лягушек. Озеро забыло само себя, ему казалось, что оно всегда было темной непрозрачной водой, от которой умирают птицы, рыбы и большие коровы, прикоснувшиеся к нему теплыми губами. Если бы озеро помнило, что такое запах, оно бы, наверно, знало, как потом пахнут эти коровы совсем недалеко от места случайного водопоя, замерев навсегда на коровьих четвереньках. Но и это было давно. Сейчас от них остались только рога, вросшие в странную траву, истекающую соком, как жиром с расплавленной шкварки.

Озеро не знало ничего. Оно было мертвое. Его убили люди, а испугавшись, обнесли проволокой, но это тоже было давно, и проволока проржавела и рухнула оземь, и пошли через нее другие коровы, которые уже не умирали на четвереньках после водопоя, но давали странное молоко, от которого младенцы были толстые и розовые, и только в школе выяснялось, как они слабы умом. Но такими были почти все, поэтому люди особо и не огорчались. Среди себя самих они были не хуже других. Поенные новообразованным молоком, люди не боялись уже вступать и в воду, черную со стороны, хотя если набрать ее в ладонь, то вполне нормальную с виду воду. Они плескались в ней, и ничего плохого с ними не было. И люди сняли с озера запрет. Чего уж там? Разбрасываться такой природой! Нашу природу ничто не возьмет, она русская, она крепче всех. Поболела — и выздоровела.

И снова крупные белые тела булькались в абсолютно равнодушной воде. И люди как бы это чувствовали: вылезешь из озера, а сухой, опять же польза — можно не брать полотенца. Хотя какие там полотенца, их и сроду не брали. И грибы стали расти, твердые, коряжистые, как пеньки. Их научились строгать на терке, и хорошая получалась жареха, кто там помнил настоящую? И ягода стала расти, и понеслись лукошки на рынок, и закручивались банки, и неслись они во все стороны. И чего уж тут хорошего, если ничего хорошего с этого не было. А дурных мозгов прибавлялось и прибавлялось. Но опять же — все кругом свои. Как отличишь?

И продолжалась жизнь среди смерти или смерть среди жизни, что, в сущности, одно и то же. Иногда люди слышали по радио, что в Японии от последствий атомного взрыва скончался старик или старуха в возрасте девяносто лет. Они думали: ого! Нам бы такой взрыв. Чтоб девяносто лет прожить. Ведь у них на круг и пятидесяти не получалось. На думать «отчего» не хватало у мозгов силы. Мозг был большой-большой, он даже давил на череп, но был гладкий, как голыш, с редкими канавками.

Но не было печали, не было! Лес родил, коровы мычали, а болезни — что ж, все-таки не инфаркт и не этот, как его, СПИД, Господи прости, не чума и холера, как в раньшие времена.

...Она неслась на крыльях, хотя их не было. Она рассекала воздух, но это был не он. Она знала, куда ей надо, но не знала об этом ничего. Она опустилась прямо на середину мертвого озера и встала на него. «Не тону», — подумала она, хотя пошла по воде раньше, чем подумала. Она не знала, что первое время будет ошибаться, не поспевая за другим временем и другим существованием. Вот, например, она знала, куда летит (?), хотя думать не думала, что помнит об этом озере. Когда-то от него умерла мама. Они сюда приехали, и мама как-то сразу стала болеть, потому что дорвалась до молока, которое было жирным и тягучим, как гель. Это она сейчас думает «как гель», а тогда мама говорила «как молозиво». Вот, говорили, с него с мамой и случилось.

Она идет по воде как посуху. Она знает, кто так ходил, и ей неловко, что у нее тоже получается. Как же можно сравнивать? Она сравнивает и идет. Все-таки мысли есть, и никуда от них не денешься. А надо деться, потому как она не одна. Здесь много таких, как она. Они занимаются озером и тем, что вокруг него. Так она понимает. «Спасатели» — приходит к ней слово. И ей неловко, что она просто гуляет. Она хочет, чтобы и ей дали дело, но всем не до нее, и она уже идет посуху, по лесу. Трогает искривленные ветки. На некоторых как бы пальцы с толстыми артрозными фалангами и грубыми толстыми ногтями с заросшими лунками. Она столько видела таких человеческих пальцев, но что об у дерева?..

Но, оказывается, ее это не удивляет, ну и правильно, говорит ей идущий рядом Воннегут, собственно, почему деревьям не иметь пальцев? И действительно! Оказывается, она обошла озеро вокруг и вернулась на то же место, с которого начала. Но ведь она не видит другого берега? «Де-

лов!» — говорит Воннегут и исчезает, бросив напоследок сакраментальное: «Все относительно». Значит, это опять был не он, а Эйнштейн. Вот заморочили они ей голову!

Раз она в этих краях, значит, надо найти могилу мамы. Но, оказывается, мама стоит рядом. Беленькая такая, светящаяся, как ангел. И только тогда она окончательно понимает, что вот все и случилось, а она не верила, что есть у жизни продолжение. Но почему же ей так жалко, что все кончилось! Безусловно, не относительно кончилась жизнь. Если бы душа ее не была тихой и безропотной, она закричала бы криком гнева. Но неловко. При маме-ангеле, которая объясняет ей, что надо спасать озеро и детей с большими блестящими несообразными мозгами. Ведь чтобы понять, как устроен мир, надо много думать.

— Ты станешь это делать, когда забудешь, что было с тобой раньше, — говорит мать. — Все забывают. Иначе не спасти будущее.

— Я не хочу забывать, — отвечает она.

— Но так не бывает. В этом замысел.

Ей не нравится замысел. Она дает себе слово помнить всегда. Всегда-а-а! Она перебирает большое и малое. Например, цепляется за фиалочки на булавке (откуда они?)... И как какой-то сердитый человек смотрел на них и жевал губами (кто он?). Она не помнит.

— Видишь, — говорит мама, — ты уже забываешь, а потихоньку забудешь все. Это не больно, это совсем не больно.

— Зато грешники будут все помнить и верещать от боли как резаные, даже если умрут в батисте. — Это Воннегут толкает ее легонько и смеется, но так, чтобы не слышала мама. — Хотя мне уже осточертела несправедливость и в этой новой физике.

Он высунул красный язык и обернулся синицей.

А в мире старой физики за кухонным столом читал Воннегута с солью и бородинским хлебом Коля Восьмой, он же Последних, он же не знамо кто...

Тигру надо жрать,
Порхать — пичужкам всем,
А человеку спрашивать:
«Зачем, зачем, зачем?»

Но тиграм время спать,
Птенцам — лететь обратно,
А человеку — утверждать,
Что все ему понятно.

Хрустнул на зубах кусочек грубой соли. Во рту стало горько. Горечь зажгла небо и странным образом родила сладость.

Так и заглотнулся сладко-соленый стишок, у которого никогда не будет конца, «потому что каждый день добавляет еще что-то». Это ведь пишет сам Боконов.

Коля вздохнул от бесконечной радости познания.

...В дверь постучали: соседке-старушке пора было делать укол.

У нее не было бесконечности времени для познания, она умирала, но день без страдания Коля ей обеспечивал.



СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

*

СВЕТ ЧЕРНОЗЕМА

* *
*

Звезды нынче бородаты,
И до них подать рукой,
И не надо ставить даты
Под написанной строкой.

Все в природе изначально,
И, негромкой становясь,
Потому-то и печальна
Связь времен и наша связь.

Вечность дышит все грубее,
Все короче наши сны,
И глаза Кассиопеи
Прямо вниз устремлены.

* *
*

Порою покажется сдуру,
Что образ твой мнительный лжив,
Что ты притворяешься только,
А сам уже больше не жив.

И кто-то другой колобродит
И водит твоею рукой.
И даже с твоею подругой
Сидит на кровати другой.

И мысли его безобразны,
И речи куда как странны!
И ты наблюдаешь за этим
Откуда-то со стороны.

* *
*

Чужими заручившись временами
И волю дав обидчивым перстам,
Ликует чернь святая, а за нами
Любовь и голод ходят по пятам.

Так было, есть и будет, и не надо,
Родная, думать, что там за стеной —
Русалки смех в бутылке лимонада
Иль гномик злой в коробке жестяной.

Пусть будет мир хоть натрое расколот,
Пусть будет злом и похотью палим —
Мы утолим и скорбь свою, и голод,
И смерть — одну любовь не утолим.

* *
*

Этот день пройдет, как вчерашний день,
Эта ночь, как вчерашняя ночь, пройдет:
Будут вишни валяться на простыне,
Будет тело твое в темноте белеть.

И случится такое, что, бог ты мой, —
Звезды, с неба упав, тишину прожгут.
Ты расплачешься горько, а я, дурак,
Крупной солью посыплю печаль твою.

Диптих

1

Ночь. Крутые бока
Девы, Овна, Тельца.
Смерть не страшна, пока
Нет у нее лица.

И, чешуей шурша,
Млечный змеится хвост.
Вздрагивает душа —
Трудно жить среди звезд.

Этот просторный хлев
Нам все равно не впрок,
Скалит ли зубы Лев,
Плачет ли Козерог.

2

Я распростерт во тьме,
Движущейся, живой.
Я себе на уме,
Сиречь я сам не свой.

И, опален огнем,
 Думаю, весь в огне:
 Я ль обитаю в Нем,
 Он ли живет во мне?

Но, ощутив в горсти
 Маленького зверька
 Веры, шепчу: «Прости,
 Господи, дурака!»

* *
 *

Свет чернозема грача влечет
 К звоннице, к радости колокольной —
 Он растворяется в ней, малахольный,
 Грозным мгновеньям теряя счет,

Не замечая — когда ж заря! —
 С тьмою ночной сойдясь в рукопашной,
 Как пролетает низко над пашней
 Светло-зеленая тень звонаря,

Благословляя на жизнь без лжи
 И на осмысленное горенье
 Время и целя в его оперенье
 Стрелами рано восставшей ржи.

* *
 *

Не от снега светло и не от морозца жарко —
 Если мир опустел, то и нежность уже не в счет.
 Впрочем, нам ни травы, ни веселых осин не жалко —
 Нас друг к другу не вечность, а темная боль влечет.

Будем жить-поживать, улыбаться чужим прохожим
 И родным воробьям, будем мерзнуть, сосульки грызть.
 Нас накроет снежком. Но однажды деньком погожим
 Мы еще прорастем — велика ли и впрямь корысть!

* *
 *

Я-то знаю, что будет со мной в стране,
 Бога вспомнившей, Богом забытой,
 Где, пройдясь в сапогах по сырой стерне,
 Я вернусь к тебе, неубитый.

Мне обычай холопский давно знаком:
 Где болотце, там позолотца.
 Только лучше пройти стерню босиком,
 Чтоб о душу ее уколется.

Вот тогда, улыбнувшись судьбе слепой,
Мы на жизнь поглядим без страха.
Вот тогда-то и будет любовь и боль
И не будет тщеты и праха.

* *
*

Вечер, рощица простая,
Свет осенний, дождь грибной.
Надо мною птичья стая,
Подо мною шар земной.

Вот и думай, чем кормиться,
Как себя теперь вести:
То ли в небо устремиться,
То ли в землю прорасти.



МАРИЯ ЛОСЕВА



САДОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

Рассказы

Прозой удивить сейчас и легко и трудно. Трудно — потому, что ее много всякой, на любой вкус, а легко — потому, что в этом изобилии редко встречается собственно проза, в которой слова, лежащие будто невзначай, завораживают — и ты выходишь из нее со стесненным сердцем и смотришь на мир за окном другими глазами.

Такая проза, как рассказы Марии Лосевой, сейчас — неожиданность. Вдали от больших свершений постмодернистского «мейнстрима» жива, мы знаем, другая русская проза, имеющая с той нашей русской литературой преемственную связь. (Раньше та была другая, но теперь вот они поменялись местами.) Пример тому — «дачные рассказы» Марии Лосевой. В них нет никакой другой амбиции, кроме как собрать из осколков картину жизни, но не это ли — высшая амбиция прозы? Автор этих рассказов осваивает действительность как она есть, без демиургических в нее вторжений, без выраженной авторской позиции и оценки, без дидактики и прямой философичности. Их внешняя тема — повседневность, в которой ничего не происходит, а если и происходит, то проходит мимо, не меняя жизни. «Ведь по-другому бывает только в телевизоре, а в жизни чаще так, как в рассказах Чехова» («Сновидения»). И остаешься с острой сердечной недостаточностью, с тоской по тому, что изредка мерцает за повседневностью, но чаще вовсе пропадает за ней.

Главное событие этих рассказов — событие стиля, изгиб речи, течение личной, ни у кого не подслушанной интонации с легким сказовым сдвигом в мир героев, с мягкой полуулыбкой, выдающей способность сочувствовать, понимать и любить.

Ирина Сурат.

КАК ЗАВИДОВАЛИ

У нас в товариществе жили рядом две очень похожие семьи, хорошие такие семьи, доброжелательные, честные, почти напротив сторожки жили на главной линии. Приятные люди, и те и другие. И дружили даже, потому что все у них совпадало — и состав семей, и профессии мужчин, и даже пол и возраст детей. Но у них такая была игра — они друг с другом все время соревновались, у кого что лучше. Ну, Поповы еще не так — они несколько беспечные, эти Поповы, и иногда забывали о соревновании и просто себе жили. А Крутиковы — те нет, никогда не забывали. Например, поповский старший сын провалил манеж, и младшему пришлось купить новый. Ну, купили белый такой, современный. А Аглая Михайловна Крутикова мужу и говорит: «Вот видишь, а наш-то в старом манеже, так и будет всю жизнь в обносках со старшего, и разовьется у него на этой по-

чве комплекс неполноценности». И потихоньку принуждает мужа купить новый манеж, хотя он им не нужен. И дальше все так: у Поповых старший сын вообще все ломал и изнашивал, они поэтому вынуждены были младшему покупать и новое пальто, и колготки (еще тогда мальчики маленькие носили, как девочки, колготки под штанишки). А Крутиковы видят и тоже своему покупают, хотя их старший аккуратный и они с него одежду племяннице отдают.

Потом еще Поповы вдруг решили пристроить себе террасу, чтобы на ней по ночам в преферанс играть. Крутиковы увидели — и тоже давай что-то пристраивать, хотя у них никто в преферанс не играет, и вообще они шуметь и выпивать и когда много гостей не любят и к Поповым на пьянку скрепя сердце ходят.

У них это соревнование давно началось. Еще раньше, когда только получили участки и начали строиться, крутиковская бабушка вдруг безумно влюбилась в поповского дедушку. А дедушка Поповых такой был очаровательный преферансист и балагур, умудрявшийся до глубокой старости сохранять совершенно детское обаяние. Он уже в возрасте семидесяти пяти сколотил компанию старперов, которая ночами вызывала на преферансную дуэль молодежь. У него постоянно кипели в голове разные идеи в основном на тему, как развлечься в большой компании. На женщин он действовал магически, поэтому не удивительно, что серьезная и грамотная крутиковская бабушка тоже не устояла. Но дедушка Попов в то время был занят искрометным романом с соседкой по диагонали, детской поэтессой Калиновской, тоже такой же, как он, безалаберной дамочкой в летах, которая вечно носила пуховую шляпку и ридикюльчики и вызывала почему-то недоверие у всей женской половины товарищества, в отличие от своей дочери, сухонькой учительницы математики, пользовавшейся заслуженно всеобщей любовью и уважением.

Серьезная крутиковская бабушка внутри себя совершенно потеряла голову, но поповский дедушка ее чувств не замечал, потому что не умел сконцентрироваться на двух вещах одновременно. Наконец, не вынеся страданий, крутиковская бабушка решила отомстить — раскрыть глаза на гнусный романчик поповской бабушке, которая как будто в упор не видела взаимных раскланиваний через разделяющую участки поросль крыжовника. И пошла Ирина Семеновна Крутикова к поповской бабушке. А та была женщина очень мудрая и себе на уме, мастерица делать хорошую мину при плохой игре и кандидат наук. Никто никогда не знал, что она думала о других, потому что она этого никак не показывала, и вообще целью ее жизни было все сохранить в тайне. Крутиковская бабушка тоже изо всех сил стремилась к такому положению вещей, но сильное чувство совершенно выбило ее из колеи и погнало совершать дурацкие поступки, раскрывать глаза жене на похождения ее мужа. Хотя она и знала, что не лезут посторонние в такие дела. За это она получила такой обидный отпор, что во всю жизнь потом не смогла его забыть, даже спустя десять лет после смерти поповского дедушки за карточным столом от обширного инфаркта.

Что бы ни происходило у Поповых, Крутиковы всегда этим живо интересовались и старались не отстать. Например, постирают Поповы белье и развешат в огороде. Аглая Михайловна внимательно посмотрит и мужу говорит: «Нет, у нас похуже, ты, пожалуй, в огороде на виду вывешивай только джинсы, а белье постельное — за дом». И потом долго переживает, что Поповы и на даче пользуются хорошим, нештопаным, а у них старое и в заплатках. На самом деле Поповы просто привезли хорошее: старое у них в Москве стиралось в стиральной машине и все разорвалось, и Дарья Федотовна выкинула тишком, потому что терпеть не может ставить заплатки. Но Аглая Михайловна не знает этого, ей кажется, что они просто богаче и элитарнее.

Еще Поповы любили хвастаться, особенно дед, о котором уже шла речь. Иногда выйдет за калитку, отловит знакомого и басит самодовольно: «А у нас малины — во! А смородины — во!» А Аглая Михайловна слушает и верит, хотя у них и у самих столько же. А Дарья Федотовна Крутикова не хвасталась, наоборот, любила пожаловаться, что она-де ленивая и не может делать того и сего, поэтому и не делает, и вот у них супа нет, потому что она не может себя заставить начистить картошки, и второго нет, потому что она мясо забыла разморозить, а пойдет она сейчас детям сварит макарон, вот только третью докурит и чашечку кофе выпьет, а то с утра никак не может проснуться. А Аглая Михайловна слушает и завидует, потому что сама она встает с петухами, и все у нее работа кипит, и всегда суп есть и второе, а жизнь все равно ничуть не лучше, чем у ленивой Дарьи Федотовны.

Пойдут за грибами — обязательно у Поповых белых больше, или они лося встретят, или набредут на малинник. Всегда что-то интересное происходит.

Поповы тоже иногда спохватывались и начинали соревноваться, говорили — вон у Крутиковых все в порядке: и дом покрашен, и грядки прополоты, и дети аккуратные — а у нас что? Ну-ка и мы огород прополем, и дом покрасим, и детей вымоем. Начнут что-нибудь — да и бросят на половине.

Дети Поповых и Крутиковых тоже не очень дружили из-за несходства темпераментов. Поповские были оба оторвы, а крутиковские — аккуратные, тихие и жадноватые. Потом дети повзрели. Старший у Поповых поступил в самую трудную школу, где много языков, и учился блестяще, а еще занимался спортом и получил первый юношеский разряд по какой-то борьбе. А Крутикова Алешу из-за близорукости взяли только в районную самую обычную школу, и учился он средне. Аглая Михайловна просто с трудом это пережила и даже заболела какой-то нервной экземой. Поповы гордились успехами старшего сына, но в десятом классе он учебу и спорт забросил, потому что полюбил одну студентку. Поповы не забеспокоились, а опять загордились, что ему от баб отбою нет, а Крутиков Алеша, напротив, к старшим классам взялся за ум и вполне прилично окончил. Оба поступили в институты: Попов Саша — в получше, потому что там его дядя работал, но на третьем курсе бросил, потому что женился на той студентке и ребенок появился. Он куда-то устроился не по специальности и стал много зарабатывать. А Крутиков Алеша поступил в институт похуже, но окончил и даже поступил в аспирантуру, а потом в срок защитил диссертацию. И вот настало лето, когда Поповы начали переделывать свой сарай в домик для молодых, как они это называли. Они гордились, что у них уже внук и сын хорошо зарабатывает. А Крутиковы стыдились, что их Алеша сделался совсем ботаником, корпит в НИИ и с девушками не встречается. Тут уже крутиковский папа испереживался, и у него даже начались сердечные боли. Тогда Аглая Михайловна, чтобы его отвлечь, предложила тоже начать потихоньку перестройку их сарая, потому что Алешка тоже теоретически может жениться, а там и второй сын подрастет.

С младшими сыновьями получилось ровно наоборот: поповский драчун Вася с головой погрузился в науку метеорологию и занимался там чем-то совершенно недоходным и никому на свете не интересным, и превратился в неряшливого сутулого типа, и дружить стал с такими же, как он. Диссертацию он защитил лет через десять после окончания, но Поповы безумно гордились его дипломом и бескорыстием и гражданской позицией и даже закатили по этому поводу большой банкет. А крутиковский самый младший сразу после школы пошел работать куда-то в такую фирму, что там ему и откос от армии сделали, и даже купили какой-то диплом, хотя он никакого института и в жизни близко не видел. В общем, он устроился в жизни лучше некуда, и даже помогал существенно деньгами

родителям, и собирался жениться, только родители тоже его стыдились, хотя и не так, как старшего, и переживали, что они напрасно отстроили на месте сараюшки домик. «Ну поживи там, сыночек, хоть месяц, рядом с нами, — упрашивала Аглая Михайловна, — для тебя же строили». Но его невесте там некуда ставить гардероб для сарафанов.

Еще с Поповыми все время происходили удивительные события, о которых они любили по многу раз рассказывать, и все это были истории чудесные и смешные. Например, если их останавливал гаишник (а папа Попов всегда нарушал какие-нибудь правила и вообще первые три года после покупки машины ездил без прав, потому что не мог себя заставить сдать экзамен), то они непременно с ним знакомились, гаишник оказывался очаровательным парнем и часто их отпускал бесплатно. Создавалось впечатление, что за три года они перезнакомились со всеми гаишниками, и тем надоело без конца останавливать милого человека, и они все собрались и сделали так, что Попову-папе наконец выдали права. Так выходило из их рассказов.

А Крутиковых если штрафовали, то очень по-неприятному, грубо, как и положено. Но папа Крутиков тоже старался лихачить, чтобы не отставать от Попова. У них были свои сложные счеты: Попов имел ту же инженерскую специальность, что и Крутиков, и даже окончил тот же институт, но Крутиков перед институтом отслужил два года в армии. Поэтому Попов на два года раньше получил диплом, на два года раньше защитил диссертацию и чего-то еще сделал немножко раньше, и хотя потом Крутиков все равно его обогнал, и занимал более высокую должность, и получал большую зарплату, и даже квартира у него была из трех комнат, а у Попова всего из двух, все равно эти два года не давали никак ему покоя. Он часто говорил жене: «Вот если б я на два года раньше начал, представляешь, чего бы я достиг!» И он все придумывал, в чем бы ему еще обогнать Попова. Он себе купил более дорогую машину и более дорогие рыболовные снасти и даже подумывал купить жене дорогую шубу, хотя жена его шуб не носила, потому что была к холоду не очень чувствительна, а папа Крутиков, наоборот, всегда замерзал, потому что был худой и высокий.

Попов тоже иногда весной говорил жене: «Во, гляди, Крутиковы уже у себя все вскопали и посадили! Давай и мы!» Но потом он об этом забывал, потому что был внутри себя раздолбаем, хотя и защитил диссертацию на тему что-то там про квантовые какие-то штуки.

Пришел срок, и у Поповых и Крутиковых появились внуки, конечно, у Поповых чуть раньше и с большим весом, а у Крутиковых — немножко позже и вообще девочка (это Крутиков Алеша женился все-таки на такой же, как он, ботаничке в очках). И опять у Поповых и коляска, и кровать, и все было лучше, и даже они купили рюкзак и носили младенца в рюкзаке, по-модному, а крутиковские молодые назло старикам достали в антресолей собственную старую коляску и не постыдились в ней катать ребенка по всем линиям товарищества, словно назло бабушке и дедушке демонстрируя свою нищету. И это девочку, которую надо с детства приучать к красивым вещам и прививать вкус!

А главное, что и с постаревшими Поповыми все время происходили интересные истории, и с их внуком тоже с первого дня жизни начали происходить. А с крутиковской внучкой все так и шло по-обычному, те же постирушки, бессонные ночи и общение с детским участковым врачом, хотя и пользовались памперсами.

Но однажды произошло событие, дававшее Крутиковым невероятный перевес над Поповыми, совершенно несравнимое преимущество, причем произошло это уже в то время, когда соревнование окончательно перенес-

лось в совсем ничтожные области — например, у кого в дождливое лето сочной малина.

Аглая Михайловна накануне вечером взяла окончательное слово с не-рыхи невестки, что та не будет вешать белье с поповской стороны, потому что не отстирывает достаточно хорошо простыни, и невестка, уставшая до-казывать, что соседям нет дела до их постельного белья, согласилась, вы-разительно закатывая глаза. Крутиковы-старшие встали в пять утра (для них это давно уже было привычное время вставания, в отличие от Попо-вых, которые, несмотря на возраст, все еще любили с утра поспать), чтобы отправиться в лес, потому что ленивые Поповы принесли вчера целую корзину грибов, и отборных. Таскаться по лесу долго они уже не могли, невзирая на энтузиазм, поэтому возвращались в семь. Это самое спокой-ное время в нашем товариществе, потому что все спят, кроме чокнутых грибников и рыбаков, а этих, особенно последних, у нас раз-два — и об-челся. Так вот, возвращались Крутиковы берегом пруда, поскольку это наикратчайший путь из леса, и заметили, несмотря на туман, рыбака на мостках. Просто сидел себе мирно скрюченный человек с удочкой, а ког-да они шли в лес, он вроде еще не сидел.

Сидел себе в тумане рыбак, а кругом сыро, с кустов и деревьев капало, ночью явно был дождь, и когда Крутиковы шли в пять утра, тоже был дождь. Рыбака этого они не узнавали, но их особенно и не заинтересова-ло, кто это был, они ведь точно знали, что никто из Поповых давно уже по утрам не рыбачит. Они шли себе берегом, а скорчившаяся сырая фигу-ра виднелась на противоположном берегу метрах в двухстах. Позади рыба-ка — такая вроде рощица, а за ней дом отдыха, состоящий из деревянных двухэтажных типовых домиков. С другой стороны привязаны лодки. Ро-щицу отделяет от нашего пруда неширокая полоска травяного пляжа.

Вдруг из рощицы вышла какая-то фигура, разумеется, тоже в бесфор-менном плаще и резиновых сапогах. Крутиковы лениво ее обозрели — просто потому, что это была единственная движущаяся точка в пейзаже. Разумеется, разглядеть, кто это, они не могли, только знали наверняка, что это не из Поповых. Самих Крутиковых с того берега не видно, потому что со стороны леса тропинка, по которой они шли, загорожена деревья-ми. То есть иногда они, возможно, и были заметны, но только если при-стально вглядываться. И вот шли усталые Крутиковы и от нечего делать наблюдали, как фигура идущая приближалась к фигуре стоящей. Ничего интересного в этом, разумеется, не было; наверное, просто один рыбак подошел к другому с вопросом, как клюет, а рыбаки вообще самые скуч-ные в нашем товариществе люди, и никого они не интересуют, особенно Крутиковых, занятых исключительно собой и Поповыми. Крутиков, прав-да, тоже рыбачил раньше немного, но только потому, что тогда рыбачил и Попов.

Тот, кто подошел к рыбаку, после краткого обмена репликами (разу-меется, никаких слов Крутиковы не слышали, а лишь отметили какие-то движения — поворот головы сидящего, легкий наклон к нему подошедше-го), слегка отошел от рыбака, а тот снова втянул голову в плечи и погру-зился в прежнее сосредоточенное положение. Вдруг отошедший резко раз-вернулся и, отчетливо размахнувшись, толкнул в спину сидящего рыбака так, что тот с легким всплеском свалился в воду...

Аглая Михайловна, начавшая впивать сцену глазами за две минуты до того, как все произошло (так сильно у нее была развита способность пред-чувствия), резко остановилась и схватила за руку мужа, как бы спрашивая, видел ли он. Судя по некрасиво раскрытому рту с отвислыми губами, он тоже видел. Там, у мостков, довольно глубоко. Это как раз то место, где у нас катаются на лодках, к тому же было начало августа, грибное и холод-ное время. Человек от неожиданности заплескался, вероятно, кричал, но

звук совсем не доносился до Крутиковых. Тот, кто столкнул его, стоял на мостках и равнодушно смотрел. Потом рыбак исчез. А столкнувший развернулся и спокойно ушел.

Крутиков сразу полез в карман телогрейки за каплями Вотчала, а сильная духом Аглая Михайловна, читательница детективов, хорошо знала жизнь с этой самой стороны, поэтому она схватила мужа за руку и увлекла его в лес, поскольку свидетелям преступления всегда может грозить серьезная опасность. Они отсиделись на каком-то пне и часам к восьми, еле живые, вернулись домой.

Им срочно нужно было поделиться увиденным с кем-то разумным, из таких дома была только невестка-неряха, она поумнее сына-ученого, только очень занята ребенком. Рассказали ей, но не встретили ни ответного интереса, ни дельного совета. Потом решили пойти к председателю правления, поскольку все-таки он ведь представитель официоза, а они оказались свидетелями преступления — ведь утонул человек у них на глазах. Вы спросите — почему сразу не в милицию. А ни у кого из нашего товарищества такой вопрос бы не возник. Она ведь вся у нас насквозь мафиозна, вся куплена-перекуплена. И если у кого-то угоняют машину, или шпана разбивает стекла на чьей-то даче, или даже побьют какого-нибудь дачника и отберут у него деньги — вы думаете, милиция помогает? Нет, люди, конечно, пишут заявления, но всегда находится в милиции человек, который им намекает, что-де есть состав преступления, но вы не думайте, что совершивший его понесет наказание. Всегда имеется родственник или свойственник, работающий в этой поселковой милиции, тот обязательно дело замнет, и вообще — что такое поселок, все же там родные и все друг за друга. Так что неприятные дела обычно заминали, и все это знали, и никто не связывался.

Но тут произошло убийство, как казалось Крутиковым, и не ясно, кто кого столкнул, может, поселковый дачника, а может, и наоборот, а может, вообще два незнакомых человека. У нас ведь такой знаменитый лес, что иногда приезжают и туристы и разбивают палатки на берегу нашего пруда. Может, и из другого товарищества кто-то приезжал. Но Крутиковым было ясно, что нужно настаивать на поисках трупа, и сделать это может только милиция. Папа Крутиков так плохо себя чувствовал после этой истории, что пришлось ему измерить давление и оставить дома на диване. Он даже совершенно не получил удовольствия от этого события — слишком уж наяву все произошло.

Может, и Аглая Михайловна предпочла бы наблюдать все это по телевизору, но, влекомая чувством долга, она отправилась к председателю. В тот день председатель уже с утра был немножечко нетрезв, поскольку это был выходной, и после обеда намеревался засесть за карты и уже назвал приятелей, чтобы взять реванш за прошлый раз. Полный самых светлых надежд, он не стал вникать в проблемы Аглаи Михайловны, сразу откестился от этой истории и посоветовал ей поехать в милицию поселка и там написать заявление. Это был такой официальный совет, а от себя, неофициально, он посоветовал с милицией, наоборот, не связываться, потому что милиция у нас в поселке — это известно что. «А как же быть? Ведь произошло убийство!» — возмутилась Аглая Михайловна, но председатель правления только развел руками, указывая, что, с одной стороны, мало ли что может произойти на пруду, с другой — что он не слишком доверяет пожилым впечатлительным женщинам.

Действительно, это вполне могло быть просто какое-нибудь хулиганство со стороны поселковых, чтобы напугать зрителей. «Да они и не видели нас!» — возмутилась Аглая Михайловна. «Откуда вам известно? Может, они специально за вами еще с вечера следили», — выдохнул перегаром

председатель правления. Он и в трезвом виде отличался необузданной фантазией и нетрадиционным подходом к решению проблем.

Аглая Михайловна вернулась к себе, опять смирила давление мужу, который лежал пластом, и засобиралась в поселок. Это было невеселое занятие, так как ехать предстояло две остановки на электричке. Неряха невестка вместо того, чтобы оказать моральную поддержку, гремела посудой, сдвинув брови. У нее были свои представления о том, что должна делать бабушка. Тем более вечером они с мужем собирались уехать в Москву по своим делам, и свекровь обещала посидеть с внучкой две ночи и день. Судя по ажиотажу, она начисто забыла об обещании, поэтому планы приходилось менять. Преступление, свидетельницей которого оказалась свекровь, виделось невестке еще одним предвестником наступающего маразма.

В последующие три дня Аглая Михайловна окончательно испортила отношения с невесткой и сыном. Она безуспешно пыталась выполнить свой общественный долг и призвать органы правопорядка прочесать пруд. Она пообещала с поселковой милицией и даже съездила в Солнечногорск, потому что в поселке ей сказали, что уголовщины занимаются в городе. Естественно, в Солнечногорске объяснили, что пруд состоит в ведении поселка и там есть свои уголовщики, а у них своих дел по горло (это была чистая правда). И всюду бедной пожилой женщине давали понять, что никто ей не верит и не считает нужным что-то расследовать и отвлекать милиционеров от их более важных занятий.

На третий день невестка с сыном шумно уехали с дачи вместе с внучкой, всячески демонстрируя, что бабушка не выполняет взятых обязательств. Действительно, в Москве у них были важные дела, кто-то защищался или что-то в этом роде, а бабушка так ни о чем и не вспомнила. Аглая Михайловна по всем статьям чувствовала себя несчастной. Нигде ей ничего не удалось добиться, всюду ей выказывали пренебрежение, а главное, что родной муж и пальцем не пошевелил, чтобы ей помочь. Все эти дни он лежал с давлением на диване, а по ее возвращении из Солнечногорска даже намекнул, что, может, им действительно все это привиделось, и даже зачитал цитату из какого-то древнего медицинского справочника, что у пожилых людей, мол, бывают иногда галлюцинации, если они много ходили и устали. Еще обиднее стало Аглае Михайловне: во-первых, муж никак не мог объяснить, почему же они одно и то же видели вдвоем, и даже подло склонялся к мысли, что видела это только она, а потом ему каким-то образом внушила, а это уже было прямым предательством. А еще было ей неприятно, что и здесь он умудрился вернуть свое нежелание совершать прогулки по лесу, что им обоим, во-первых, предписал врач, во-вторых, можно было набрать грибов.

А самое печальное было то, что приблизить счастливую минуту, когда наконец можно будет рассказать всю эту историю Поповым, все никак не становилось возможным. Наоборот, она все отдалялась и отдалялась. Потому что недоконченную историю, без счастливого конца и морали, рассказывать было нельзя. Это стало бы очередным поражением, причем уже поражением навечно, таким, какое нельзя уже никогда отыграть назад.

Далее следовали еще более грустные эпизоды в жизни Аглаи Михайловны. Она совершала глупость за глупостью и в конце концов поехала искать правды в Москву, где добилась, что в каком-то заведении приняли ее заявление о том, что она видела, но ничего не пообещали. До конца августа ждала Аглая Михайловна, что приедет особая бригада по прочесыванию прудов со специальными баграми и сетями или там чем, и главное, с рацией. Недаром была Аглая Михайловна романтической читательницей детективов и любимой покупательницей у одного лоточника близ метро «Сходненская». Некоторое время она пыталась объяснить согражданам по товариществу, что они не должны ходить по тем мосткам, где произошло

преступление, чтобы не затоптать следов, но никто ее не слушал, тем более она старалась не объяснять, в чем дело, потому что берегла историю для Поповых и говорила полунамеками. Разумеется, мостки в два счета загадили, как специально назло, и никакая бригада из Москвы не приехала, а когда Аглая Михайловна звонила по телефону в организацию, где оставила заявление, из соседнего товарищества (в нашем телефоне в то лето не работал по причине неудовлетворительного отношения председателя правления к своим обязанностям), то ей отвечали, что еще не подошла очередь.

Аглая Михайловна четырежды в день смотрела по телевизору последние известия, но никакой информации о пропавшем рыбаке не было. По радио тоже ничего не передавали. Самое странное было то, что никуда не поступало никаких заявлений об исчезнувшем рыбаке, а ведь он был чьим-то мужем, сыном или другом или хоть соседом и сослуживцем. Но нет — рыбак как в воду канул, причем и в прямом, и в переносном смысле, и вообще уже наступал сентябрь месяц и всякая жизнь в товариществе сворачивалась.

Конца у этой истории просто никакого нет. Крутиков-папа предпочел все забыть, как будто ничего и не было. Между нами говоря, он никогда и не был читателем детективов, а обожал смотреть по телевизору «мыло», милиционеров с детства боялся как огня, потому что его милиционерами запугивали, как и все наши подрастающие поколения, и он никогда в себе этого страха не преодолел. К тому же судьба рыбака его совсем не волновала, и он предпочитал думать, что им либо все привиделось, либо это была такая шутка, мало ли кто кого сталкивает с мостков. На нашем пруду это вообще происходит ежедневно, особенно когда там купается поселковая шпана.

А лет через десять стало совсем уже ясно, что быть свидетелями и участниками разных волнующих событий суждено только одним Поповым и никогда — Крутиковым. Потому что поповский внук, к тому времени хулиган лет двенадцати от роду, взяв без спросу старый дедушкин акваланг, полез (тоже без спросу, разумеется) в наш пруд и выловил оттуда человеческий череп. Вот тут уже наступило целое расследование, суетились все, начиная от председателя и кончая московской прокуратурой. Даже было краткое сообщение по радио в вечерних новостях. Поповский внук прославился на все товарищество и окончательно покорило сердце некрасивой крутиковской внучки.

А что Аглая Михайловна? У нее зашевелилось где-то в душе желание привлечь внимание общественности к той своей старой истории, но она чувствовала такую усталость от жизни, вспоминая об этом, что решила молчать.

СНОВИДЕНИЯ

У нас очень симпатичная и хорошая женщина есть в товариществе, только с ней приключилась история. Она влюбилась в одного человека, хотя у нее был муж и дети тоже были. Просто она поехала куда-то по работе, она была геологом или там лаборантом, и отправилась в какую-то экспедицию. И ей очень понравился начальник партии. Ей и раньше иногда кто-то нравился, и врач один участковый нравился, и классный руководитель сына очень нравился, но тут прямо совсем что-то невыносимое. Главное, что ей пришлось непосредственно с этим начальником партии работать. А работа очень сближает и спланивает, и вообще, когда рядом мужчина и женщина работают, так некоторые считают, что это к добру не приводит, потому что всегда возникают флюиды. Но между ними ничего,

кроме флюидов, не было, может, какие-то только слова, намеки, может, и до признаний дело дошло, но вряд ли, потому что женщина она очень порядочная. К тому же начальник партии тоже женат и живет в северном Казахстане. И когда экспедиция закончилась, они расстались навсегда. Может, при расставании и сказали чего лишнего, но расстались, и видятся больше никто не собирался, потому что все кругом взрослые и уже не очень молодые люди, и у всех есть свои семьи и обязательства, и лишние проблемы никому не нужны. Ведь по-другому бывает только в телевизоре, а в жизни чаще так, как в рассказах Чехова. Но потом вот что: женщина эта хорошая вернулась домой и сразу на дачу, с детьми сидеть свой отпуск. Сидит -- и жизни нет: все время без него тоскует, и ничто без него не мило, а ведь взрослая серьезная женщина. Ей кажется, что надо его увидеть еще раз хоть на минуточку, потому что встреча с ним — это главное событие в ее жизни. И это женщина, прошедшая дважды через ужасы роддома!

Ну просто болезнь какая-то у нее. Ничего не хочет есть, не спит по ночам, даже забывает поливать огород. Детей вовремя не зовет обедать, они у нее носятся где-то и даже один раз сами катались на бревне по пруду. А ей все равно, у нее осталось одно желание: поговорить с кем-нибудь о предмете своей влюбленности, то есть о начальнике партии. А поговорить не с кем: ее ближайшая подруга сидит со своими детьми совсем в другом месте — в Винницкой области на Украине, у родителей мужа. К тому же подруга эта очень правильная, знает всегда, как что надо, и в таких тонких материях не хочет разбираться. Выкинь, говорит, его из головы, зачем тебе лишние проблемы, все равно ведь знаешь, что жизнь тебя переедет. Несчастливая Наталья Германовна и сама это знает, но почему-то знание не всегда помогает.

Потом сам собой нашелся выход у бедной женщины. Она образованная, чувствует, что самой ей не справиться со своими проблемами, надо обращаться за помощью. И она идет на сорок восьмой участок, где, знаете, самые невоспитанные дети и где муж и жена всегда ссорятся и так вопят, что слышно аж до леса. Там они оба психологи, сапожники без сапог, как говорится, но дело свое знают. И женщина пришла к той женщине-психологу, не к мужу, конечно, к нему неудобно, мужчина все-таки, мало ли чего подумает, и все рассказала и попросила совета, хотя и не была уверена, что пришла по адресу. Но психолог этот, Елена Андревна, сразу взялась за дело. Объяснила, что такие проблемы бывают часто, что человек, мол, обычно сам справляется, но здесь надо помочь немножко, а то можно заболеть депрессией — все лежать на кровати без сна и аппетита лицом к стене, и вот от этого уже лечат таблетками, которые разрушают печень и почки. И представляете, какая радость мужу и детям? Мужчины именно в таких случаях предпочитают уходить из семьи — им же страшно. А вообще в подобных ситуациях очень помогают сновидения, потому что там-то и разрешаются все конфликты и неисполненные желания и прочее. И предложила приходить и свои сновидения рассказывать, а она их будет толковать, потому что как раз по снам-то и писала диплом.

А эту женщину, лаборантку Наталью Германовну, как раз сны и мучили больше всего. Бывало, она встанет утром, заставит себя выпить чаю, потом дела все равно надо делать, она развееется, забудется, а ночью ей приснится он или какая-то такая атмосфера, с ним связанная, и она целый день не находит себе места, тоскует. Хорошо, у нее муж такой толстокожий, ничегошеньки не чувствует, другой бы давно стал выяснять и устроил бы ей веселую жизнь и забыл бы, что сам ее в ту экспедицию записнул, чтобы она развивалась, а не лоботрясничала, как он выражался, не гоняла чаи на службе, а понюхала настоящей житухи.

Так Наталья Германовна стала, можно сказать, проходить у нас в товариществе психоанализ, только не на кушетке, как полагается, а просто сидела рядом с Еленой Андревной, пока та перебирала смородину, стояла у

корыта или готовила обед, и рассказывала. А психолог выслушивала. У нас в товариществе тетки все любопытные, и им до всего есть дело; если б эта история раньше выплыла, они б Елене Андревне всю смородину перебрали и заготовили, лишь бы тоже чужие сны подслушать, хотя все видят свои собственные. А если б они знали, что бывает такая работа — выслушивать чужие сны, они бы выстроились в очередь на сорок восьмой участок. К счастью, народ у нас в большинстве своем темный, все думают, будто психологи занимаются какой-то ерундой типа написания статей. И в этом тоже есть доля истины.

Первый сон был такой: Наталья Германовна увидела себя в доме своей бабушки на Малой Дмитровке, где в прихожей висит старинное зеркало, длинное и поцарапанное. Будто она в него смотрит, как в детстве, и хочет через него заглянуть, что в кухне делается. А в кухне закрыта дверь. Вот она ждет, дверь открывается, и она видит, что там кто-то сидит, перед ним литровая банка с чаем. Именно банка, а не чашка, потому что из банок пьют в экспедициях — больше входит. И Наталья Германовна думает: это он, мой начальник партии! Но он укрылся за газетой, и она его не видит, но как бы чувствует. И видит, что из-за газеты протягивается рука, чтобы этот чай взять. Но рука не его, а ее отца. У отца рука с длинными пальцами, а у начальника партии — грубая и короткопалая, и это единственное, что Наталье Германовне в нем не нравилось. Но все равно она чувствует, что на кухне чай пьет начальник партии. А сама она — маленькая девочка, поэтому не может к нему выйти, он ее не узнает, они находятся в разных поколениях. Тут сон кончился, Наталья Германовна встала и пошла готовить завтрак.

А второй сон был такой: опять Наталья Германовна в квартире бабушки, и опять квартира кажется ей большой, как в детстве, хотя на самом деле там всего две комнаты и кухня очень маленькая. Зато три стальных шкафа было в этой квартире, и Наталье Германовне они в детстве казались комнатами. Она играла, будто она там живет. И вот ей снится, что она ходит по квартире с ключом и чего-то ищет. Очевидно, дверь, которую можно открыть. И находит еще одну дверь, о которой раньше не то чтобы не знала, но именно так, как это бывает во сне. Вот она открывает эту дверь, нет, сначала стучится, чтобы выяснить, вдруг там кто-то есть. Никто не открывает долго, она достает ключ или уже держит его наготове. Хотела уже сунуть в замочную скважину, как вдруг — шаги у двери, кто-то идет со словами: «Ну, заходи». Дверь открывается, и она заходит; открывший стоит за ее спиной, его не видно, но она чувствует, кто это. Это начальник партии. Она вроде пришла к нему в гости, он пригласил ее на чай. Но тут же в комнате сидит его жена у трюмо, спиной к Наталье Германовне. Наталья Германовна его жены никогда не видела, но узнает эту женщину: это тетя Клава из нашего товарищества! Но не та шестидесятилетняя тетя Клава, которая на костылях, а та, которую с детства помнит Наталья Германовна, красивая, широколицая, с высокой прической над низким белым лбом. И Наталья Германовна совсем не ревнует, потому что знает Клаву и рада ее повидать.

Тут снова пробуждение.

А психолог Елена Андревна ей эти сны толкует. Не буду пересказывать, что она там говорила милой Наталье Германовне, потому что никому у нас эти психологи вообще не нравятся. То есть люди они хорошие, ученые, только вот чего-то у них нет, обаяния, что ль, какого-то человеческого. Ну взять хоть Елену Андревну — такая приземистая, крепко сбитая тетя в сильных очках, как школьная училка. Смотрит на тебя внимательно, пока ты говоришь, и чувствуется, что ищет, куда бы вставить свое веское слово. Она, наверное, этому в школе научилась — она ведь психо-

логом в школе работает. Потом она тебе начинает говорить всякие умные и правильные вещи, которые ты и так знаешь, хотя, может, раньше, до того, как она сказала, ты на них не обращаешь внимания. И не всегда это приятно бывает выслушивать. Главное, похоже, что люди ей вообще неинтересны как люди, а интересны как повод поделиться своими познаниями. Знания, конечно, у нее большие, здесь не откажешь. А с мужем они учились вместе, так он вообще иногда пьет, и они собирались разводиться, потом передумали. Он тоже где-то психолог, а по вечерам в какой-то фирме помогает разгружать мебель, тоже крепко сбитый такой, белесый, похож на белый гриб. Он еще противнее Елены Андревны, поэтому милая Наталья Германовна к нему даже подходить близко боится, и сны свои она рассказывала Елене Андревне только тогда, когда тот, Валентин Михалыч, в своей фирме мебель разгружал.

А еще такой был сон, но он вообще Наталье Германовне и раньше снился: идет она по песку и видит перед собой свою тень. Кругом жара и песок, может, Крым, но она ничего не видит вокруг, кроме тени. Будто она одна и в детстве, такая маленькая стриженная девочка. Просто идет, совсем одинокая. А вокруг ничего. И никакой начальник партии в этом сне не появлялся.

А еще ее как-то посетил сон, будто она идет в присутственное место, ну там на работу, или на свою старую работу, или в школу, потому что она во сне иногда бывала одновременно маленькой и большой, и забыла надеть юбку. А она такая скромная женщина, никогда не носила брюки, только на даче или в экспедиции, а в Москве — всегда в юбке, потому что считала свои ноги толстыми. Так вот, снится, что она пошла на какую-то работу, приходит, расстегивает пальто, а там — из-под свитера комбинация. Забыла юбку надеть. Что делать? Она застегивается обратно, но уйти с работы нельзя, и вдруг в раздевалку заходит начальник партии, почему-то в ватнике, и Наталья Германовна садится на корточки, чтобы он ее не заметил, боится, что он галантно захочет помочь ей снять пальто, а там юбки нет.

Про этот сон Елена Андревна ей наговорила, что он не считается, потому что есть сны, вызываемые нашими возбужденными внутренними органами. Вы, говорит, Наталья Германовна, меньше чаю пейте перед сном и следите за циклом, а то во время овуляции сны не считаются. И вообще, говорит, повернитесь вы наконец лицом к своим внутренним конфликтам! Разве вы не отдаете себе отчет, что вы сами его зовете в свои сны, чтобы под этим предлогом уклоняться от своего долга? Она не так грубо, конечно, выразилась, но Наталья Германовна именно так ее поняла.

Тут вернулся Валентин Михалыч с разгрузки мебели, и Наталья Германовна спешно убежала на свой участок огородами, потому что жутко его стеснялась. Еще ее мучило подозрение, что Елена Андревна обсуждает ее сны с мужем, надо сказать, напрасно она это подозревала, потому что все наше товарищество знает доподлинно, что у Елены Андревны были такие плохие с ним отношения, что они уже полгода почти не разговаривали друг с другом, только «Передай хлеб» или «А где мои носки?». А оба сына наших психологов были совершенно заброшенные и расторможенные подростки, которые гоняли с утра до вечера по чужим участкам, знакомились с поселковыми девочками и тусовались с местными бандитами, курили, и вообще смотреть на них было противно. А Елена Андревна совершенно с ними не справлялась, кричала на них жалким голосом, а они в ответ дразнились и мстили. И они никогда у нее не ходили ни в театр, ни в консерваторию, потому что их невозможно было заставить, а в школе учились плохо, к счастью, не в той, где Елена Андревна работала. Зато каждый был в своем классе неформальным лидером, хотя это и не служило Елене Андревне утешением.

В общем, чем больше Елена Андревна толковала, тем меньше вся эта процедура нравилась Наталье Германовне. Но другого никого такого подходящего не было в округе, с кем можно было ей поделиться. Была у нее, правда, в нашем товариществе приятельница Аня, но уж до того забитая и всегда занятая, что трудно было с ней вообще о чем-либо договориться. Похоже было, что милая женщина пошла к психологу просто от отчаяния, оттого, что поговорить больше не с кем, так честно она себе самой признавалась.

А еще вот какой был сон: будто Наталья Германовна (опять девочкой) едет на телеге через какой-то тропический лес. Это, собственно, и не лес, а что-то типа картинок из детства, которые она где-то видела: кругом большие папоротники и разноцветные мхи свисают с деревьев, темно и влажно, растут комнатные растения прямо из почвы и огромных размеров. Страшноватый лес приснился. А на телеге сидит вся ее семья: где-то впереди — папа, дальше мама и старшая сестра, тетки, а позади — она с бабушкой. Но бабушка уже старенькая и заснула. А Наталья Германовна на каком-то ухабе вдруг раз — и вывалилась из телеги, потому что бортиков не было. И лежит на какой-то мшистой кочке, разевает рот, а кричать не может, то ли потому, что во влажном этом лесу поглощается звук, то ли оттого, что дело происходит во сне и там крика не слышно.

Был еще сон о том, как они с начальником партии долго куда-то едут на поезде, а потом летят на самолете. Причем самой поездки почти и не было, а одни сплошные пересадки и ожидания на вокзале и в аэропорту. Снилось ей большое здание, у которого с одной стороны подходили поезда, а с другой отлетали самолеты, сновали толпы людей, а здание большое, гремячее и бестолковое, и будто бы они с начальником партии сначала были там вдвоем и необычайно близки друг другу. А потому вдруг объявили посадку, они ходили по камерам хранения за вещами, и все вдвоем, в прекрасной близости, и вдруг выяснилось, что все это было прощанием, а лететь им в разные стороны.

Этот сон был пронизан такой светлой литературной грустью, что Наталья Германовна даже не стала его рассказывать Елене Андревне, чтобы не портить впечатления и потому, что он выглядел как придуманный.

Да и жизнь начала потихоньку вытеснять образ начальника партии. Нужно было все равно решать проблемы, выходить на работу после отпуска, засаливать огурцы, закупать детям к учебному году канцтовары, красить подоконники, стирать занавески, собирать гостей и готовить стол ко дню рождения мужа, посетить дальних родственников в Тверской области и купить на зиму картошку. И хотя тщета и сомнительная необходимость этих забот становилась все очевиднее, Наталья Германовна все-таки постепенно это делала, и после осуществления каждого дела ей становилось легче. Ей даже начал видеться в них больший смысл, чем раньше, когда она закупала картошку ради того, чтобы есть зимой, а не ради того, чтобы забыть побыстрее любимого человека.

Еще такое ей однажды приснилось: будто она находится в каком-то необычайно красивом пейзаже — кругом горы и овальное, удивительной красоты озеро. Горы скалистые и высокие, и все неправдоподобно, как в кино, но очень темно, как бывает перед дождем. Даже приснился легкий ветер и такое состояние природы — испуганное затишье, как перед разными небольшими катаклизмами. Вот она будто бы входит откуда-то сбоку в этот пейзаж, а за ней — начальник партии. Они собираются кататься на лодке. Но уже поднялся небольшой ветер, Наталья Германовна чувствует, что катание будет бессмысленным, потому что погода портится, но сама себе в этом не признается, так ей хочется побыть вдвоем с начальником партии. Откуда-то из глубины пейзажа выплывает остроносая лодка. Начальник партии галантно помогает ей усесться, потом долго отвязывает лодку от причала (там и причал оказался), а ветер усиливается вместе с дурными предчув-

ствиями Натальи Германовны. И вот он отвязывает лодку, но концы выскальзывают у него из рук, и лодка мгновенно вылетает на середину картин-ки, кажется, ее даже кружит в водовороте. Начальник партии остается на причале, у него в руках весла, он что-то кричит, а Наталья Германовна машет руками, предупреждая, чтобы он не вздумал прыгать в воду — этого почему-то нельзя: то ли вода слишком холодна, то ли водовороты кругом...

Проснулась она с уже готовым толкованием. Лежит и думает: «Он меня упустил. Или отпустил». И стало ей необыкновенно грустно и в то же время чуть легче, чем раньше. И этот сон стал ей так дорог почему-то, что она опять не пошла его рассказывать Елене Андревне. У нее после этого сна появилось чувство такого красивого проявления жизни, которое иногда бывает неизвестно отчего. Какая-нибудь там блуждающая улыбка или еще другая какая художественная деталь вдруг сделает все пригляднее и примирит. Вот и во сне что-то эдакое проскочило, только не успела Наталья Германовна ухватить сути, а настроение от этого сна длилось долго, почти как от настоящего кинофильма.

Потом приснился ей нелюбимый сон, что она, старшеклассница, сидит на уроке и боится, что ее спросят, поэтому украдкой смотрит на часы. Она приготовила дома урок, но ей кажется, что плохо. Она видит себя, свою тонкую руку с коричневым рукавом и белой манжеткой, под манжеткой — маленький циферблат. Посмотреть откровенно ей страшно, вдруг учительница подумает, что ей скучно на уроке. И тут она чувствует, что учительница нависла сзади, как грозная тень, и легонько сталкивает ее руку с тетради. Наталья Германовна в первый момент пугается, но быстро вспоминает, что это манеры у их учительницы — ходить по рядам и смотреть, все ли выполнили домашнее задание. И вдруг она начинает чувствовать себя учительницей. Она видит перед собой свою руку с зеленым вязаным рукавом пуловера, с указкой и склоненную черноволосую головку девочки, которая как будто специально прикрывает руками свою тетрадь. Ей нестерпимо скучны все эти детские работы, но она обязана их проверить. Так, перевернули страницу назад. Ага, здесь задание выполнено. Она скользит по тетради взглядом, как будто читает, но на самом деле наблюдает за шелестением и возней на предыдущей парте и со словами: «Так, что это такое?» — направляется туда.

Сны — вещь очень странная, и, конечно, это не просто способ избавляться от любви и других проблем. Елена Андревна иной раз выдавала такие толкования, что самой Наталье Германовне было еще более неловко их выслушивать, чем рассказывать сон. Поэтому через три недели ее вера во всемогущество психологии как науки была подорвана окончательно. Тем более, что вместо кушетки для сеансов служил неудобный раскладной стульчик. Елена Андревна, правда, сидела точно на таком же. И обе женщины вдвоем обирали красную смородину, а это очень скучное занятие.

И милой Наталье Германовне хотелось прекратить эти безобразные сеансы, тем более что в каждую встречу ей становилось все стыднее и стыднее рассказывать чужой тете, не подруге, свои сердечные тайны. Эти сеансы заставляли ее почувствовать себя нехорошей, но не в том смысле, что она вот мысленно изменяет мужу, а в другом каком-то. Ей начало вдруг казаться, что она не так уж и влюблена безумно в начальника партии и не так уж сильно мучается из-за этого, а преследует какие-то другие цели. А какие — она и сама не понимала, только было похоже, что она норовит обмануть Елену Андревну и себя саму. Неприятно было такое чувствовать.

Женщина она была довольно решительная, хотя и маленького роста, но тут не знала, как начать действовать. Все-таки Елена Андревна ей помогала бесплатно, тратила свое время, пусть даже со стороны и казалось,

что, наоборот, веселее собирать смородину, слушая чужие тайны, чем просто так, но, может, как раз психологам веселее побыть в одиночестве, чем с очередным пациентом.

Наталья Германовна все не могла никак придумать подходящую для отказа форму. Но тут один из хулиганистых сыновей Елены Андревны свалился с какого-то дерева, и его пришлось повезти в Москву делать рентген. И Елена Андревна уехала, потому что Валентин Михалыч был очень занят. А другого сына тоже пришлось увозить, потому что бабушка, жившая с психологами на даче, не могла в одиночку справиться ни с каким мальчиком. И все товарищество облегченно вздохнуло, потому что по степени создания беспорядка у нас психологовские дети стояли на втором месте после поселковой шпаны.

Оставшись без своего психоаналитика, Наталья Германовна сначала ощутила себя на свободе и пустилась мечтать и вспоминать, чтобы все стало как раньше, хотя ей и было это мучительно, но все же было и хорошо. Дети у нее были еще довольно маленькие, и она ходила с ними в лес на прогулку, они бегали, резвились, приставали с вопросами, а Наталья Германовна ходила как накрытая стеклянной банкой и ничего не чувствовала. А дома у нее валились из рук чайники с чаем и кастрюли с супом, а ее муж, спрашивая, будет ли в этом доме когда обед и есть ли вообще еда, частенько так и не дожидался ответа. То, от чего Наталья Германовна поначалу хотела избавиться, вдруг оказалось для нее очень важным. Она даже придумала себе такое занятие: раз в неделю под разными предлогами выбиралась в Москву с целью посмотреть в почтовый ящик — вдруг придет письмо от начальника партии. Хотя было ясно, что он не из тех, кто пишет письма, они и не договаривались переписываться, да и вообще, кажется, ничего такого между ними и не было сказано. А еще она придумала сходить к гадалке, чтобы узнать, как он там живет без нее, даже стала изобретать пути, как бы ей побывать в северном Казахстане.

И вот Наталья Германовна снова погрузилась в свои любовные переживания, хотя они все так же мешали ей жить, но тут заметила она странную вещь: начальник партии почти совершенно перестал ей сниться. «Что же такое, — думала милая Наталья Германовна, — неужели я его выгнала совсем из своего подсознания? Неужели такая сильная вещь этот психоанализ?» Она так по нему скучала, что даже каждый вечер просила его мысленно показаться ей хоть во сне, а он все не появлялся. А сниться ей продолжали самые обыкновенные вещи.

Например, опять она школьница в коричневом платье с манжетами и идет с портфелем мимо мусорных баков. Действительно, в детстве она ходила в школу через такой неудобный двор и всегда норовила его побыстрее пройти, хотя не боялась ни мышей, ни кошек. Вот она идет, а двор все не кончается, а длится и длится, и перед ней все тянется и тянется ряд помойных баков, как в итальянском кинофильме. И ее преследует страх, что сзади кто-то крадется, что выскочит и дернет за косичку (у маленькой Натальи Германовны были черные тоненькие косички, которые она с трудом вырастила и все детство боялась, что волосы начнут выпадать и ее остригут коротко. А потом она выросла и сама стала стричься коротко, потому что работала с людьми, которые часто бывали в экспедициях, и у них женщины тоже стремились к простоте и естественности во внешнем виде).

Много чего еще ей снилось, она снова находила неизвестную ранее комнату в квартире бабушки или неизвестное помещение в своей школе, она металась по аэропортам и вокзалам, по раздевалкам, сортирам и помойкам, по самым обыденным и неинтересным местам, где все бывают в

своих снах. А время шло и шло в отличие от письма, которое все не шло и не шло, хотя с самого начала было ясно, что оно никогда не придет, потому что никто его писать не собирается. И Наталья Германовна опять заподозрила, что такая жизнь — это совершенно не дело и нужно чем-то отвлечься. Сейчас сил у нее не было отвлекаться, однако когда-то они ведь должны были появиться, и жизнь должна была потечь снова нормальная, какой и была до встречи с начальником партии. Ей снова должны стать интересны и участковый врач, и классный руководитель сына, и коллеги по работе, и телевизионные передачи о кулинарии. А начальник партии когда-то должен был отойти в прошлое со всеми моментами, которые ее волновали, и ей должно было надоесть вновь и вновь переживать, как он ее погладил по волосам, как он передавал ей кружку с чаем, как ее назвал каким-то нежным прозвищем, совершенно дурацким, каким он, может быть, называл всех лаборантов женского пола.

И практичная Наталья Германовна даже один раз подумала, что если она еще раз попадется в такие тенета и сама не сможет выкрутиться, то пойдет уже не к психологу, а к парапсихологу.

У нас, кстати, в товариществе парапсихолог тоже есть, это бывший прикладной математик, решивший вдруг приложить свою математику к предсказанию событий в истории и уфологии. Но насчет сердечных дел он, по-моему, не очень спец, потому что его больше волнуют глобального масштаба события. Например, он предсказал бомбежку Ирака тогда, когда еще никто его бомбить не собирался, а сейчас он ничего пока не предсказывает, потому что насобирал много новой информации из Космоса, но еще не всю переработал.

Но к нему милая Наталья Германовна идти не собиралась вовсе, потому что не совсем еще сошла с ума.

А еще ей вот какой сон приснился: идет она по своему детскому двору, а вдали виднеется пруд, который в жизни расположен близ наших участков, у самого леса. Там, по пруду, снова мечется непривязанная лодка, словно цитата из того лирического сна, который с ней уже был. Но в этой лодке никого уже больше нет, хотя она чувствует, что она там или была, или будет. Она идет к этому пруду, на котором разыгралась настоящая буря, хотя вокруг нее все тихо и спокойно, идет и видит свои ноги в стареньких босоножках, которые уж лет десять как выбросила на помойку, но очень любила, потому что они были такие красненькие и напоминали что-то детское и приятное. А бушующий пруд с лодкой все не приближался, сколько она к нему ни шла.

Вообще-то в нашем товариществе многие увлекаются разным и читают книжки о том, как правильно жить, питаться и прочее, и иные сразу нашли бы выход на месте Натальи Германовны. Одна, например, садовод у нас прочитала, что наши конфликты — это путь к здоровью, в смысле — душевному, потому что когда нет конфликтов, то это — депрессия, когда ничего уже не хочешь и надо принимать таблетки, которые разрушают организм. Это к тому, что некоторые неслабодушные сами себе помогают.

А один раз Наталья Германовна ехала в электричке и слушала разговор таких же, как она, теток. Одна другой хвасталась, как много у них смородины и картошки уродилось, и огурцов, и антоновки, и всего прочего тоже, да еще и грибное место нашли вчера и насобирали две корзины. Вторая ахала и завидовала. А чего завидовать, думала Наталья Германовна, ведь сколько времени и сил на переработку и заготовку, и так всю жизнь, пока у этих теток руки не откажут. И тетки тоже, между прочим, с нашего товарищества, напротив сторожки их участки. А где же в их жизни любовь? Ведь на нее просто не может быть времени при таких урожаях. И ей показался этот разговор чудовищным бредом, но это была явь, а не сон.

ТАРАКАНЫ

Была одна женщина, которая очень любила все мыть, особенно с хлоркой любила, и ее никогда не останавливало то, что хлорка очень вредна для здоровья. Точнее, мы об этом не знали тогда, это сейчас все знают, что она разлагается и испускает такой вредный для здоровья газ, и хлоркой можно даже пытаться, что успешно и делается в тюрьмах и в армии. Так вот, эта Зинаида Петровна как возьмет, например, старые сковородки, как начнет тереть персолью, прямо так, руки без перчаток, и сковородки делаются как новенькие. У нее в доме никогда не было грязных углов — отовсюду все выметалось. Одежду всю она кипятила или держала часами в санитарной жидкости или «Белизне» или еще каких отбеливателях. Все постельное белье у нее испускало щемящий аромат больницы и заставляло задуматься. Если на чем-то белом появлялись пятна, она их выводила. А если пятна не выводились, то она что-нибудь еще с ними делала, и они в конце концов все-таки выводились. И когда ей один раз кто-то рассказал, что якобы американцы носят одежду с пятнами, если пятна не отстирываются, она не поверила. И расстроилась, что ее попытались вот так глупо обмануть, и даже порвала отношения с тем, кто это рассказал. Потому что чистота была очень важным фактором ее жизни. Если она о ком-то говорила «неряха, грязнуля», то это уже было очень серьезно. И если она приходила к кому-то в гости и, ощупывая пальцами тарелки со дна, обнаруживала на них неотмытый слой жира, то могла потом больше в этот дом не прийти, причем не из-за брезгливости, а просто ей уже чего-то недоставало в человеке, который допускает до такого. Поэтому если она приходила на чай к Даше Поповой с участка напротив сторожки, то та специально отмывала одно блюдечко в соде с лица и с изнанки и ставила его Зинаиде Петровне. Но Зинаида Петровна все равно чувствовала, что другие гости пьют, как она выражалась, «из грязи», и Дашу не уважала.

Вся посуда у нее блестела всегда. Она свои кастрюли раз в месяц кипятила в огромном баке с канцелярским клеем, содой и еще чем-то. Если кому интересно, то можно узнать поточнее. И на дачу она тоже каждый год привозила этот бак и тоже кипятила в нем все кастрюли, не считаясь с расходом газа. Потому что не могла выносить замызганных кастрюль и чайников. Она умела отчистить любой бак, любое ведро, даже если до этого три поколения сваливали туда мусор. А как? — очень просто: сядет и отскребает наждачком или ножичком, если данный вид грязи не берет никакое иное чистящее средство. Вот Даша Попова с участка напротив сторожки такую посуду выбрасывала, а Зинаида Петровна — нет, никогда. Причем она ничего не делала в перчатках, потому что говорила, что в резине не чувствует грязи, а вот пальцы у нее, наоборот, очень чувствительны к любой шероховатости. И, ощупывая эмалированную кастрюлю, она с закрытыми глазами могла вам сказать, что там — вмятинка-выбоинка или какая-нибудь присохшая сопля. Даже одна у нас прочитала в газете, что у некоторых людей на кончиках пальцев такие колбочки, как в глазах, — вот это точно про Зинаиду Петровну.

Так вот, вы спросите: а как же она чувствовала себя в нашей нечерноземной зоне? Ведь у нас — вечная грязь на террасе с садовых галош и вообще такая специфика... Поковыряйте в носу после работы в огороде — и все поймете. И даже в городе, в столице, на асфальте бывает непролазная грязь, а уж о товариществе нечего и говорить, особенно весной, осенью и в дождливое лето.

Плохо она себя чувствовала.

Приедет на дачу в первый раз весной после долгой зимы — и на ней лица нет. Везде следы пребывания мышей, рассыпаны и загажены крупы,

пыль, грязь, а главное — нежилой дух, и трудно себе вообразить, что в этом садовом домике предстоит прожить три летних месяца. У всех так, разумеется, но она это очень уж остро воспринимала. Просто погружалась в депрессию. Муж и сын старались не попадаться ей на глаза в те минуты, когда она выносила сметенные в совок следы деятельности мышей. А мыши у нас хорошенькие, полевки, они зимой приходят во все дома подкормиться — все ведь оставляют что-нибудь, не станешь же вывозить на электричке запасы позапрошлогоднего риса. А выбрасывать у нас люди не умеют, у нас умеют все запасать и хранить. Некоторым даже нравятся эти мыши. Летом они тоже живут в наших домиках, но деликатно почти не показываются на глаза. То есть кому-то показываются, у Поповых, по их словам, просто на столах танцуют. Но Зинаида Петровна мышей не переносила. Она даже не произносила слова «мыши», она говорила «грызуны» или «разносчики инфекции». Она рассыпала повсюду яд и потом самолично передвигала тяжеленные дачные шкафы, потому что мыши именно туда залезали умирать. И ей совершенно не жаль было соседского котенка, сожравшего пропитанную ядом мышью и погибшего в мучениях.

Когда появились в нашей жизни разные бесконечные средства, способные проникнуть внутрь и навсегда расправиться с микробами и бактериями, с частичками грязи, с зубным налетом и с налетом ржавчины, жизнь Зинаиды Петровны обрела новый смысл. Она стала таким специалистом по этим средствам, что свободно могла бы давать платные консультации. Она первой приобрела моющий пылесос и фильтр для воды, даже несколько фильтров, потому что считала, что на даче вода грязнее от чернозема. У нее всегда стояла на видном месте коробка с обеззараживающими таблетками, там же были и средства от глистов и прочей нечисти, любящей селиться в человеке.

У нас в товариществе все очень уважали Зинаиду Петровну, хотя некоторые не очень ее любили. Но когда она входила в какой-то дом и садилась на стул своим мощным грузным телом, то все начинали говорить тише и с оглядкой на нее. Говорила она мало, но веско и так внимательно смотрела на собеседника круглыми неподвижными глазами, что всем казалось, будто она знает и понимает больше других. Поэтому она очень нравилась мужчинам, которые более всего на свете мечтали встретить свою маму в более молодом варианте. Но ей такие мужчины, наоборот, совсем не нравились. Она любила людей уважаемых и ответственных, но почему-то они ей редко встречались или встречались какие-то ненастоящие. Вот хоть наш председатель — по положению уважаемый и ответственный, неспроста же он председатель, а на деле что? Просто пьющий дядька, и если б не его жена, то у нас вообще в товариществе никогда порядка б не было и он сам ходил бы оборванный и спал в канаве. Еще Зинаида Петровна всегда выполняла данные обещания и от других ждала того же. А еще она всегда брала на себя ответственность и воплощала задуманное в жизнь. И ей непросто жилось на свете с такими превосходными качествами.

Особенно непросто у Зинаиды Петровны было с мужчинами. Известно, что мужчины — не самые чистые существа, обычно каждый из них носит с собой специфический запах, кто больше, кто меньше. Зинаида Петровна долго выбирала себе мужа, чтобы он ничем не пах. Очень сложно было — чтобы и ответственный, и без запаха. Такие сочетания вообще редко в жизни встречаются. Еще ведь нужно было, чтоб и она ему понравилась. Но есть люди, конечно, которые пахнут меньше других, и Зинаида Петровна такого в конце концов нашла. Сама она женщина была видная, даже красивая, только с излишней полнотой и большими, как бы остановившимися глазами, зато голубыми. На лице у нее почти никогда не появлялась улыбка, только в хозяйственных магазинах смягчался ее взгляд. Она смотрела на людей молча и всегда прямо в душу, внутрь. Людей она, кста-

ти, тоже делила на чистых и нечистых. Здесь уже большую роль играли национальные традиции. Например, народы Востока, по ее мнению, мылись редко и были всегда грязными, поэтому она не любила представителей народов Востока. И чем старше становилась, тем меньше их любила. Она всегда говорила, что жизненный опыт научил ее не доверять им. Так что поиски спутника жизни осложнялись еще и этим. Но в конце концов она нашла его где-то.

О человеческом теле у нее тоже были свои представления. Например, она полагала, что тело — это нечто очень грязное, отчего и заводятся болезни, поэтому, когда появились всякие методики очищения организма от шлаков, она очень ими увлеклась. Система внутренних органов представлялась Зинаиде Петровне чем-то вроде труб в канализации, которые засоряются всякой дрянью, но их можно прочищать. И она прочищала себе все время толстый кишечник, который особенно не любила, потому что очень живо представляла себе те самые складки, где образуются наросты грязи. Потом она узнала, что есть еще и тонкий кишечник, до которого еще труднее добраться, но она и его старалась промывать и себе, и мужу, и сыну.

Ее мужа все в товариществе звали Куприянычем, такой твердолобый мужик, внешне похожий на серийного убийцу из французских фильмов, хотя и абсолютно русский, из средней полосы. Но он никогда не был серийным убийцей, разумеется, а был просто компьютерщик, точнее, торговец компьютерным оборудованием, и дома все время чего-нибудь чинил и сопел под нос. Еще он обожал плести корзины. Руки у Куприяныча были золотые. А фамилия у него была Бормотнюк. Поэтому Зинаида Петровна стала З. П. Бормотнюк. Интересно, что когда Куприяныч ухаживал за Зинаидой, то от него совсем не пахло. А через некоторое время после женитьбы она уловила, что муж стал вонять. Но было поздно, потому что она уже была беременна. Тогда она объяснила себе, что чувствует запах не от мужа, а от своего токсикоза, а от мужа не пахнет. Но ребенок родился, токсикоз прошел, а запах остался. И поэтому у них дома всегда были разные виды мыла и жидкого, и твердого, а также всевозможные дезодоранты и даже ароматические свечи и палочки. С годами запах Куприяныча все усиливался почему-то, но средств против запаха становилось все больше, и на Новый год и на 23 февраля Куприяныч получал в подарок флаконы против запаха от ног и из-под мышек. Он два раза в день принимал душ, как американец, но естественный запах возобновлялся через десять минут после мытья. И Зинаида Петровна втайне чувствовала себя разочарованной в браке. И Куприяныч тоже чувствовал, что подвел жену, но объяснить это не умел и не хотел и вообще не мог на своих чувствах концентрироваться.

Зато у него в браке развилось такое интересное свойство: он стал все забывать. Например, поручат ему пойти в магазин купить хлеба и молока. Он идет, а в магазине обнаруживает, что все забыл, и покупает сыр и колбасу. Тогда ему стали давать списки, но он дойдет до магазина и видит, что список потерял или дома забыл. А на дачу едут — он забывает ключи, и приходится взламывать калитку и влезать в окно. И по работе тоже все забывает — оставляет в самых неподходящих местах крестообразную отвертку и дискеты с важной информацией. Но хуже всего, когда он ставил где-нибудь пароль, а потом этот пароль забывал. После одной такой истории Зинаида Петровна все-таки уговорила его лечиться. Она очищала Куприянычу чакры, и он принимал специальные лекарства для памяти, которые Зинаида покупала в аптеке по рецепту врача. Она боялась, что у него развивается склероз, потому что мозг закупоривается от жирной пищи, а причина этому — нежная любовь Куприяныча к салу и вологодскому маслу. Поэтому она отменила в домашнем рационе сало и масло и

вообще весь холестерин. Теперь Куприянычу приходилось три раза в день принимать душ, потому что когда он забывал, то смущался и еще сильнее потел. И когда он входил в дом, по запаху уже можно было определить, сколько и чего он забыл, только где — неизвестно.

У Зинаиды Петровны с Куприянычем был сын — бледный и нежный, с синяками под глазами Андрюша Бормотнюк. Но он тоже был очень вонючий мальчик. У него почти с пеленок сильно пахли ноги и подмышки. Зинаида Петровна ему помоем — и десять минут не пахнет, а потом он подпрыгнет два раза — и опять начинает пахнуть. Просто он, наверное, кровь унаследовал от папы. Зато ни Андрюшу, ни Куприяныча никогда не кусали комары. Даже они плохо переносили этот запах. И Зинаиду Петровну перестали кусать, когда она стала женой Куприяныча. Так что во всем плохом есть что-то хорошее. К сожалению, Зинаида Петровна предпочла бы комаров, если б у нее была возможность выбора, потому что от них есть фумигаторы, а вот от запахов ничего не помогало.

У Андрюши Бормотнюка с возрастом развилась одна странность — он очень любил есть. Но не так, как обычные люди, — какие-то определенные вещи, как его папа, например, сало и масло, он просто любил поедание как процесс. Возьмет там хлеб, или вчерашнее пюре, или кашу — и ест ложкой из кастрюли, глядя перед собой остановившимися голубыми глазами. Поэтому он дома всегда все «подъедал», как говорили у нас в товариществе, и у Бормотнюков ничего не пропадало. При этом Андрюша не толстел и был худым зеленолицым подпаском с одной известной картины. Зинаида Петровна знала, что причиной этому — глисты, она так и представляла себе, как белые червяки живут в тельце ее мальчика и поедают вместо него всю пищу, которую он ненасытно в себя пихает, и от этого ее сердце сжималось. Никакой мальчик в нашем товариществе не принимал столько глистогонных таблеток, сколько бедный Андрюша. Зато когда он вырос и женился, он вдруг начал беспримерно толстеть и за год с небольшим сделался таким же грузным, как его родители. Все-таки гены взяли свое, к тому же осталась привычка все «подъедать». И у его жены в хозяйстве тоже никогда не пропадали никакие продукты.

Еще маленького, Андрюшу очень любили вши, поэтому он за время своей школьной жизни сменил пять школ. Сначала его отдали в простую районную рядом с домом, но там он вшей подцепил в первой же четверти. Зинаида Петровна очень рассердилась, написала телегу на директора в роно (она считала, что вши заводятся по причине антисанитарии, разведенной администрацией), а мальчика перевела в спец. английскую. Все было хорошо, но при переводе в среднюю школу Андрюша опять начал чесаться. Далее он сменил последовательно две гимназии и один лицей, и всюду он умудрялся подцепить вшей, которых Зинаида Петровна выводила и керосином, и ниттифором, и прочими отечественными и зарубежными средствами и неизбежно упрекала во вшах администрацию вышеупомянутых школ. В свою школу, где она работала завучем, Зинаида Петровна ни за что не хотела брать сына — она это объясняла тем, что мальчик не должен учиться там, где работает мать, потому что неизбежны поблажки, но на самом деле втайне боялась, что и там найдутся какие-нибудь вши на ее голову. На ее — в фигуральном смысле, на самом деле они никогда не селились на Зинаиде Петровне, и на Куприяныче тоже, потому что при обнаружении первого же вшонка Зинаида изолировала сына от мужа, словно предчувствуя дурное. Хотя знающие люди и говорят, что вши любят только женщин и детей.

Но не об этом, собственно, речь. Очень странная история произошла именно с Зинаидой Петровной. Дело в том, что у нас в товариществе ни у кого не живут тараканы. Объясняется это очень просто: всем известно, что тараканы переживут нас с вами даже в случае ядерной зимы — такие они

приспособленные и гораздо более совершенные существа, чем люди. Возникли они раньше людей и уйдут гораздо позже, а может, и не уйдут никогда. Но одно есть, чего тараканы не любят, — это холод. Даже было такое средство борьбы с ними в деревнях: при нетопленной печке в мороз распахивали настежь двери и окна. Часов через пять можно было возвращаться — тараканов в избе не было. Люди выметали коричневые трупики и жили дальше.

Так вот, когда Зинаида Петровна в очередной раз выезжала на дачу со всем своим скарбом, тараканы налезли в ее огромный эмалированный бак для кипячения и прибыли в наше товарищество вместе с ней. Вот тут уже началась борьба не на жизнь, а на смерть. Причем не ясно, зачем они это сделали, ведь у нас в товариществе холодно, как и во всем северном Подмосковье.

От деревянного домика Зинаиды Петровны несло за километр противотараканьими средствами. Мамаши перестали пускать детей играть с маленьким Бормотнюком, потому что дети возвращались с головной болью и всеми признаками отравления. Сначала Зинаида Петровна пользовалась ДДТ, который остался в больших количествах от ее бабушки (в семье у них ничего не выбрасывалось, все вещи, предметы и вещества лежали и ждали своего часа. И обычно дожидались). Потом вдруг выяснилось, что дустами давно уж никто не пользуется, потому что их запретила какая-то международная конвенция. Вот тут-то и пошли в ход китайские карандаши и таинственные тараканоморы, продававшиеся в метро и на рынках. Все перепробовала Зинаида Петровна. Нет, некоторые тараканы, конечно, умирали, и она коллекционировала их трупики в самой теплой комнате между рамами, потому что кто-то ей сказал, что не любят тараканы видеть тела ушедших собратьев. Потом узнали, что существуют тараканьи ловушки, такие картонные домики, внутри которых лежит таблетка, приманивающая тараканов, а стенки домика вымазаны клеем. Якобы тараканы прилипают и не могут выбраться. Ловушки были закуплены, и в первую же ночь попало пятнадцать молодых тараканят. Но на этом все и кончилось — видно, эти твари как-то уже научились передавать информацию вневенетическим способом, как выразились наши местные ученые.

Это очень опечалило Зинаиду Петровну и заставило ее вернуться к испытанным стародавним средствам — она попыталась травить своих врагов бурой и кремнефтористым натром, а также мастерить яичные лепешки с борной кислотой. Но почему-то борьба ничего не давала. Тараканы плодились и даже расселились колонией в моторе холодильника, где всегда было тепло. Тараканята вереницами шествовали по деревянным полкам террасы, залезая в сахар и соль, хотя известно, что при всей своей всеядности тараканы этими продуктами не интересуются. Один местный специалист посоветовал Зинаиде Петровне лишить их доступа к воде — он где-то прочитал, что тараканы живут только там, где вода. Но наше товарищество слишком близко расположено к пруду — как ни пыталась Зинаида Петровна устроить у себя на террасе и кухне настоящую Сахару, ее тараканам, видно, было достаточно нашего влажного воздуха. К тому же в то лето шли бесконечные дожди, что было связано, как говорят, с бесчинствами Эль-Ниньо где-то у берегов Южной Америки, хотя никто у нас толком не понимал, при чем тут Южная Америка. Возможно, какая-то такая причина и вызвала к жизни тараканьи стада, мирно ползущие по стенам и плитке Бормотнюков. И никакие виды тараканоморов никак не действовали на неприятных насекомых.

Было еще попробовано одно удивительное немецкое средство, которое Зинаиде Петровне привезли из Германии, и все ожидали больших результатов, но тут уж результатов не было совсем. Тараканы просто поели серого порошка и даже гуляли по пустой коробке, гулко топая в дачной тиши-

не. Наверное, порошок был рассчитан на других тараканов, или тот, кто привез, не очень умел читать по-немецки.

Собственно, на этом история и закончилась. Тараканы так и остались жить, и ничего более интересного в жизни Зинаиды Петровны не случилось. Разве что то, что она в конце концов развелась с Куприянычем — не сошлись характерами, а на самом деле из-за запаха и еще из-за того, что Куприяныч очень сильно влюбился в одну молодую женщину, тоже из нашего товарищества. А Андрюша к тому времени вырос и тоже влюбился в одну молодую женщину, причем в ту же самую, что и Куприяныч. Но это совсем неинтересно. А интересно то, что Зинаида Петровна вскоре вышла замуж за санитарного врача. То есть это не столько интересно, сколько естественно. И она уехала с ним из нашего товарищества строить новую жизнь, а участок оставила сыну, который к тому времени женился. И все надеются, что Зинаида Петровна нашла наконец такую тихую пристань, где нет ни вшей, ни тараканов. По крайней мере эти явления жизни, может быть, ей легче принимать рука об руку с санитарным врачом.



ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ

*

ЯБЛОКИ ГЕСПЕРИД

Парус

Замирает поселок, потухают цветы, и, внезапно состарясь,
Опадают слова:
Не листва — но попутного ветра лишившийся парус,
Различимый едва

В светлом море травы, и над лесом — застывшим цунами,
Над ольховым кустом,
И над линией высоковольтной, текущей над нами,
Как река Флегетон.

Белый парус обвис — он уже никуда не причалит:
Ты не дуешь в него.
Он скользит по теченью вдоль розовых скал иван-чая,
Ничего, ничего

Не желая — ни бриза, ни вихря, ни даже крушенья, —
Не мигая, как взгляд,
Устремленный в себя, тихо движется собственной тенью
На закат.

* *
*

Схолия 1

Смерть — это когда рядом
Нет тебя, и, пропитанный тонким ядом,
Воздух медлит у входа в легкие, и когда
Не живу — доказываю: возможна
Жизнь на Марсе, стуча и гремя нарочно, —
Занята, мол, так занята!

Жизнь состоит из смерти — почти что вся,
А уж явится эта — косою тряся,
Гремя костями, — пугать меня будет нечем:
То-то невидаль — с пустотой, что мне,
Уходя, оставляешь, наедине —
Бесконечный вечер.

Вольтская Татьяна Анатольевна родилась в Ленинграде. Поэт, критик, эссеист, автор нескольких лирических сборников. Многие стихотворения переведены на европейские языки. Постоянно сотрудничает с радиостанцией «Свобода» и газетой «Русская мысль» (Париж). Живет в С.-Петербурге.

Схолия 2

Тень — это всего лишь немного света,
 Тобою вытесненного, но это
 Все, что мне отпущено, вопреки
 Полдню, льющему сверху пламя:
 Ты уходишь — и вот уже за холмами.
 Ты и тень — двойники.

Ослепив меня светом неуловимым,
 Ты, как всегда спеша, пробегаешь мимо,
 Тень растет у тебя за спиной;
 Он-то любит меня — твой контур, лекало, очерк,
 Заливает нежностью, вечной ночью,
 Остается со мной.

* *
 *

Нет тебя со мной — об этом напоминает все,
 Даже лягушки, в лужи — сплошной Басё! —
 Прыгающие с размаху,
 И у виска вздрогнувший край листа,
 И обрывок дороги — все знает, что ночь пуста
 И бела, как бумага.

И, как дождь, бессмысленна. Знаешь, что значит *нет*? —
 Это — когда в пространстве вырезан силуэт
 Твой, и его зиянье всегда со мною,
 Как Паскалева бездна, и день за днем
 Я в нее сползаю, держась с трудом
 За посуду — покуда мою,

За мышинный хвостик буквы — пока пишу,
 И за блик, стекающий по ножу,
 Пока режу хлеб, и за птичий стрекот,
 Изредка — за тебя: торопливым сияньем заполнив брешь,
 Хмуришься, куришь, смеешься — как воздух, свеж,
 Близок, словно локоть.

* *
 *

Аккордеон, Пиаф, ветер, листва, жара,
 Стол, умывальник, небесная кожа
 Облаков. Предложения назывные
 Собираются в стаи, улетают в края иные,
 Перечислив, пересчитав
 Все, что осталось, — аккордеон, Пиаф,
 Ветер, узор листвы на колене голом:
 Время, сурово к одним глаголам,
 Имена обтекает, как камни, — бутылки, стол,
 Голос, поющий «Rien!». Время само — глагол:
 Если не эпос, то триллер, вестерн,
 Если не ангел, к Деве летящий с вестью,
 То пожирающий розу незримый червь.

Красной струне заката, воспаленной, как нерв,
 Не хватает руки, чтоб зазвучать надрывно
 И высоко, листве не хватает ливня,
 Чтоб зашуметь низко и глухо, мне
 Не хватает тебя в моем непробудном сне,
 Чтобы все взорвалось, задвигалось —
засверкала

Спящая влага на дне бокала,
 Заскользило облако, тень пролилась с колен.
 Ты — мое время, дыханье, движенье... Rien...

Стихи о сне

Как заросший травой перрон — островок дневной
 Мимолетной встречи. Туда же, куда душа
 Ускользает во сне, — последовать за тобой
 Не могу — другие спутники, кореша
 Окружают ее, летящую через тьму
 В край, куда засыпаешь, сквозь край, где когда-то спал.
 Я прислушиваюсь к дыханию твоему,
 Как татарник, выросший среди шпал, —
 К гулу поезда, к дрожи незримых дверей и скреп,
 Горячо просвистевших мимо, задев едва
 На пути во временный, хрупкий склеп,
 Каждый раз возводимый заново. Голова,
 Закатившись в ямку между твоим плечом
 И ключицей, тихо колышется на ветру,
 Говорящем прерывисто, но о чем —
 Может быть, узнаю, когда умру.
 Ибо малой смерти вспышка, в которой плоть
 Растворяет плоть, образуя слепящий сплав,
 Слишком быстро гаснет, чтоб ухитриться хоть
 Что-нибудь разобрать, —

ни слова не разобрав

Из небесного хора, ни шороха близких крыл,
 Ни лица твоего озаренных черт,
 Ни теней, что их окружают, — лежу без сил
 Горсткой пепла на теплом твоём плече.
 Приникаю ухом к смуглой земле твоей,
 Провожая взглядом из-под прикрытых век;
 Если б даже обнял вдесятеро сильнее —
 Ты бессилён взять меня в свой побег:
 Высока между нами стена из цветного сна,
 На ее обломках, видимых даже днем,
 Когда ты очнешься — выпьем еще вина
 Или крепкого чаю, пахнущего огнем.
 На ее камнях татарником прорасту,
 Под твоим дыханьем клонясь и качаясь. Лишь
 Одного мне нужно, когда перейду черту:
 Ночь за ночью смотреть зачарованно, как ты спишь.

* *
 *

Досмотреть остаток снов,
 Мне отпущенных, — и в путь.
 Досказать остаток слов
 Неотвязных — и уснуть.

И — идти, идти во сне
 По темнеющей стерне,
 И по земляной броне,
 И под облаком в огне:
 Словно палец по струне,
 Словно рыба в глубине,
 Словно холод по спине,
 Словно пуля на войне.
 Все равно, в какой стране
 Ты не помнишь обо мне.

Элегия на смерть звезды

Ничего мне не надо. Пусть умирает звезда,
 Не исполнив жалких моих, никому не нужных,
 Безобразных желаний, стыдящихся на уста
 Приходить. Ее смерть прекрасна и ненатужна,
 Не замутнена тяжелым моим «хочу», —
 Пусть она умирает, припав к твоему плечу
 Головою пылающею, недужной.
 Для того и развесил август свои сады
 В остывающем небе, над дряхлеющей травой,
 Чтоб приманивать глупое сердце на смерть звезды, —
 Не поймаюсь, не бойся, Господь с тобою,
 Не пожелаю лишнего. Вообще
 Не пожелаю — то ли жидкость иссякла в жилах,
 То ли слишком уж много звезд вотще
 Головы серебряные сложило,
 Обещанья не выполнив. Хоть одна
 Будет избавлена от позора
 И умрет свободной, чтобы, достигнув дна,
 Тихо лечь — непроглоченная блесна —
 Среди битых бутылок и жестяного сора,
 Не желание вызывая, но зависть. Ведь это ложь,
 Что с пустыми руками ныряют в бездну:
 Все оставишь на этом свете, а смерть возьмешь,
 Как кольцо, которое слишком тесно,
 Чтобы снять его, отправляясь в путь, —
 И во тьме летит небесное это тельце,
 Заключив в округлом сиянье суть
 Своего рассыпавшегося владельца.

* *
 *

Ночь. Негатив поселка.
 Апофеоз небес,
 Спелых, медовых. Только
 Наглухо заперт лес —

Тыном, через который
 Тихий огонь горит,
 Падают метеоры —
 Яблоки Гесперид,

Так же недостижимы,
Как вечера вдвоем,
Как голоса за ширмой
В детстве. За окном

Капают — до любого,
Как до твоей руки,
Как до живого слова
Утром, через глотки

Первого кофе, в кружке
Синей. Чернеет пруд.
Боги свои игрушки
Здорово берегут.

Ясени, как атланты,
Возле крыльца стоят.
В сердце гуляет хладный
Краденых яблок яд.



МИХАИЛ БУТОВ

*

В КАРЬЕРЕ

Рассказ

Машина задела брюхом, колесо проскользнуло по глиняному крошеву. Вытянули на плотное, утрамбованное возвышение — и остановились.

Мальчик, утомленный двухчасовым путем и неподвижностью, тут же выскочил, побежал вперед.

— Пап, — закричал он, — дальше яма! Одни ямы, ты слышишь, пап?!

Отец, не заглушив двигателя, вывесился из открытой двери, оценил травяную плешку сбоку от дороги, в три приема развернулся и чуть сдал задним ходом. Теперь машину обступили высокие, до крыши, золотистые метелки дикого злака, захватившего пахотное прежде поле.

Мальчик возвратился — он боялся отойти далеко и потерять из вида отца и машину.

В наставшей тишине гулкий, тяжелый звук вентилятора, дорабатывавшего свое под капотом, показался мальчику особенно наглым. Наглый, наглый, гл, гл, нгл, — от повторения слово истончалось, смысл пропадал, оставалась комбинация звуков, уместная в языке каких-нибудь гремлинов. Раньше мальчик слышал слово «наглый» только по отношению к людям, изредка к себе самому и вряд ли когда-либо произносил его, даже в уме. И вдруг обнаружилось, что со множеством разнообразных вещей оно способно сопрягаться плотно и точно, как сопрягаются между собой блоки конструктора «Лего». Это открытие удивило мальчика. И ему хотелось бы рассказать о нем отцу, но мальчик стесняется, угадав, что отца может рассмешить — пускай по-доброму — его наивное удивление.

Глинистая дорога, порой просто колея, которая привела сюда от шоссе, прошла через участки, размеченные под дачи. Был будний день, и людей на участках отец не заметил вовсе, но видел ухоженные огороды и кое-где незавершенные — с оттенком безнадежности — деревянные постройки. Здесь и на первостепенное — на заборы — не хватило дачникам денег и пыла: лишь местами стояли низкие плетни из серых палок, старых ветвей и проволоки.

— Ого! — воскликнул мальчик. — Гляди, пап, я уже нашел...

— Ну вот, — сказал отец. На ладони у мальчика лежали продолговатые осколки. — Они тут по всему полю. Огородники могут выкопать отменный экземпляр прямо на грядке. А эти ты брось. Это ерунда. Сейчас соберешь настоящие.

— Это чертовы пальцы? — спросил мальчик.

— Да, — сказал отец. — Белемниты. Чертовы пальцы. Народное название.

— Люди, наверное, думают, что здесь на поле было полным-полно чертей, — сказал мальчик и засмеялся.

— Люди не знали о древних животных. И если им попадались окаменелости, старались как-то их объяснить для себя. Особенно громадные кости — как у твоих обожаемых динозавров — требовали объяснения. В Америке однажды скелет ископаемого кита сочли останками павшего ангела. На что похож белемнит? На палец, на коготь. А когти известно у кого...

На одном из участков хозяин — должно быть, непомерно размахнувшийся сначала, желавший держаться в ногу с дачной строительной модой — осилил только остов большого деревянного дома с высокой, будто сторожевая, остроконечной башней. Теперь над скелетом башни дачник поднял красный флаг — бросил в лицо пространству свою ненависть и обиду. Далекое флаг и ажурная башня, дикое желтое поле, где по-степному волновал траву несильный ветер — под фотографически-синим небом с грузными белейшими облаками. Такие пейзажи, чуть мертвенные, отвоеванные обратно у человека природой, отец, способный остро чувствовать красоту запустения, любил, пожалуй, больше всех иных.

— А теперь люди знают? — спросил мальчик. — Про древних животных?

— Теперь настоящий бум, — сказал отец. — Фильмы, книги. Ты вон в школу еще не пошел, а по динозаврам уже профессор. Разбираешься в них лучше, чем какой-нибудь академик в начале века.

— Точно, — сказал мальчик и даже подпрыгнул от удовольствия. — И лучше Мишки Мухина...

Стоило им отойти на несколько шагов, и машину за травой стало не различить. Отец огляделся, поискал ориентиры — к чему возвращаться; нашел удобный: ближайший к ним курган карьерного отвала стоял вторым в первом от поля ряду.

— А по такой плохой дороге, — спросил мальчик, — «ровер-дефендер» проедет?

Отец пожал плечами:

— Да он тут и по полю проскачет без труда. Он, собственно, на такую езду и рассчитан.

— А у нас хорошая машина? — спросил мальчик.

— У нас русская машина, — сказал отец. — Только и жди, когда что-нибудь отвалится. Но вообще ничего, бегают. Грех жаловаться.

— Мы когда-нибудь купим «ровер-дефендер»? — спросил мальчик.

— Ну, знаешь, — развел руками отец. — Он довольно дорого стоит. У нас с мамой не так много денег.

Мальчик задумался. Потом сказал:

— Значит, это твоя мечта?

— Что? — не понял отец.

— «Ровер-дефендер».

Отец засмеялся:

— По-моему, это скорее твоя мечта. Но и я бы, конечно, не отказался иметь очень надежную и очень проходимую машину. Правда, содержать ее — разоришься...

— Мы найдем вот такого аммонита, — показал мальчик. — Блестящего. Большого, как колесо. Продадим его в музей на выставку. И у нас хватит денег на «ровер-дефендер».

— Думаешь, хватит? — сказал отец. — Ну и хорошо. Но понимаешь, какая штука: здесь большие аммониты неважно сохранялись. С ладонь величиной — это да. А уже с тарелку... Увидишь его в земле — прямо дух захватывает: лежит, целехонький, весь переливается. А от первого прикосновения рассыпется в пыль.

— Но если нам повезет, — сказал мальчик.

— Если повезет, тогда конечно, — сказал отец. — Вот теперь будь внимательнее.

— Ух ты! — сказал мальчик.

Отвал — продолговатый курган пятиметровой высоты, поросший редкой травой — состоял, казалось, в той же доле, что из черной сухой земли, из серо-коричневых цилиндров и конусов белемнитовых ростров, целых и расколовшихся, с бутылочное горлышко или более тонких, чем карандаш. Мальчик кинулся набирать их, зачерпывая подряд, в полиэтиленовый пакет, но вдруг застыл, осознав, что белемнитов действительно — без числа и они повсюду.

— Подожди, стой, — сказал отец. — Не надо так, без разбора. Давай высыпай все это обратно. Ты старайся искать неповрежденные, хорошей формы, чтобы кончик острый не был отбит. Потом будем из них для коллекции отбирать лучшие.

Он поднялся на склон и отсюда мог видеть по ту сторону гребня еще и еще курганы: серые, черные, бурые, даже красные, — они тянулись и тянулись, один за другим, в несколько рядов, как хребты сгладившихся, немолодых гор, если смотришь на них из самолета. Трава не скрывала цвет земли, и с удаления отвалы представлялись одинаково голыми. Их монотонный порядок ломали сияющие под солнцем песчаные долинки. Внизу, в затопленном карьере, поблескивала вода. Отец оборачивается. Недостроенные дачи, красный флаг, желтое поле, чистое синее небо.

Сколько лет — десять, больше десяти — прошло с тех пор, как он выполнял здесь свой первый самостоятельный заказ? Двадцать тысяч белемнитов по десять центов за штуку. Деньги платил чудаковатый с виду, однако хваткий итальянец, коллекционер и торговец окаменелостями, — подобных энергичных людей тогда немало понаехало в прежде закрытую страну. Отец взял палатку и позвал с собой приятеля. Дач не было еще и в помине, бугристое нагое поле с бадыльем. Осень, холод, на земле снежная пудра. В карьер так и не спустились и по отвалам не карабкались, все собрали за два дня прямо на поле. Жевали холодные консервы, грелись спиртом, очень веселились и не верили, что правда выручат такую астрономическую сумму. И странно было бы не сомневаться, и глупо не веселиться, если в последний раз месячной зарплаты на государственной службе у них не вышло и по четыре доллара. Приятель до сих пор при всякой встрече с восторгом вспоминает приключения и забавные случаи тех дней, которые, выходит у него, и были-то сплошным приключением и забавным случаем. А отец завидует, потому что больше не умеет собрать в одно «я» с собою нынешним себя десятилетней давности.

— Пап, а где аммониты? — крикнул мальчик. — Тут одни кусочки...

— Поднимайся сюда. — Отец протянул руку, когда подъем стал для мальчика слишком крутым. — Помнишь Носова?

— Дядю Носова? — сказал мальчик. — У которого собака Фима?

Сегменты спиральных аммонитовых раковин просыпались у него из кулака, и он нагнулся, чтобы их подобрать.

— Это с ним мы когда-то здесь промышляли, — сказал отец. — Вот тогда аммонитов было полно.

Отчего-то интерес у заграничных торговцев к подмосковному палеонтологическому материалу просыпался строго в сыкотные и холодные месяцы. Белемниты собирали в ноябре, на другой год устойчивый спрос на аммониты держался в марте, в апреле, и с конца сентября — опять до поздней осени. Стало быть, каждое утро, без выходных: полтора часа электрички, час — автобус до поселка и семь километров до карьера пешком; вечером — все в обратной последовательности. А летом, когда могли бы благополучно и подолгу жить в палатке прямо на карьере, — летом ничего, мертвый сезон. От поселка, договорившись с рабочими, скоро стали ездить на техническом поезде по карьерной узкоколейке. Тепловозик с платформой и вагонетками тащился по странному, застывшим местам: по оврагам, по вывороченной земле, мимо сухих, стального цвета, суковатых или одноруких деревьев; и никогда никакого движения не наблюдалось в

этом ландшафте — даже птиц. Еще через год отец специально купил поддержанную «Ниву», получил права — а заказов на здешние окаменелости уже не поступило: видно, заполнились магазины и в Старом, и в Новом Свете. С дальнего конца карьера уходила узкоколейка. Сегодня они с мальчиком туда не доберутся.

— Идем дальше, — сказал отец. — В каждом отвале может быть что-то свое.

— Тогда пошли за аммонитами, — сказал мальчик.

— Большими, как колесо?

— Не обязательно, — сказал мальчик. — Как ладошка.

— Твоя или моя?

— Как мамина, — засмеялся мальчик, ожидая какого-нибудь шуточно-го подвоха, и увернулся, когда отец хотел поправить ему кепочку.

— Все-таки, малыш, — сказал отец, — хорошего, целого аммонита мы вряд ли отыщем.

— Почему? — сказал мальчик.

— Они хрупкие. Не такие прочные, как белемниты.

— Ты же говорил, здесь есть аммониты.

— Я давно здесь не был. Аммониты нужно брать нетронутыми, прямо из того слоя, где они отложились. А он теперь под водой.

— Почему? — сказал мальчик.

— Карьер перестал работать, воду больше не откачивали, она наполнила все низкие места. Так всегда бывает. Это старый карьер. Ползал взад-вперед по рельсам здоровенный роторный экскаватор, размером с пятиэтажный дом, рыл яму, землю сыпал на другой берег. Большую часть аммонитов уже в ковшах перемололо. Но если и попали в отвал сколько-то невредимых, они целыми остаются, только пока спрятаны в земле. Едва покажутся на поверхности — дождь, ветер, просто сырость в считанные дни их разрушают.

Мальчик расстроился. Чертовы пальцы, что он успел собрать, показались ему вещью неинтересной, нестоящей, ненужной. А отец пустился рассказывать — в самом деле, забавно было вспоминать, передавать словами историю их веселого и удачного предприятия. Как сперва, по колено в воде, которую тогда хотя и удаляли, но недостаточно быстро, чтобы не оставалось вовсе, они копали тонкий слой с аммонитами как бы с торца, из карьерного разреза, и добыть таким путем за день удавалось совсем немного. Но со временем дядя Носов, у которого теперь собака Фима, сообразил, что за всякий, даже плохонький, аммонит им платят больше, чем стоит в Москве в самом раздорогушем коммерческом ларьке бутылка водки. С тех пор день начинался передачей трех бутылок бригадиру карьерных рабочих. Ему объяснили, что аммониты нужны для диссертации.

— А зачем столько? — удивился бригадир. — Они же все одинаковые?

— Это для вас одинаковые! — вдруг вполне натурально вспыхнул Носов. — Для неспециалистов, конечно, одинаковые! А мы изучаем видовую изменчивость. Внутри вида! Изменчивость! Вам понятно?!

— Да что уж, — сказал бригадир, почесал в затылке и больше вопросов не задавал. — Эй, Артур! — крикнул он, задрал голову. — Накопай-ка ребятам ракушек!

Гигантская стрела медленно проплывала над их головами, опускалась на новом месте. И огромный, с двумя десятками ковшей, ротор экскаватора неожиданно точными для такого мастодонта, чуть ли не грациозными движениями срезал ровнехонько, будто дерн, землю над аммонитовым слоем (в человеческий рост), обнажая черно-зеленый глинистый песчаник и хаос радужных, перламутровых спиралей, — песчаник держал их цепко, и с каждой раковины нужно было повозиться, поработать ножом, прежде чем она отделялась наконец от породы...

Мальчик не слушал. Пакет сразу потяжелел и тянул ему руку. Мальчик опустил его, почти бросил на землю и пошел прочь.

— Что с тобой? Что случилось? — спросил отец вдогонку.

Мальчик не ответил. Отец пакет подобрал, вздохнул и двинулся следом.

Но за карьером, на открытом месте, мелкий, ровный, словно глазу ровный песок так глянцево, шикарно сверкал, и видно было во все стороны далеко, будто с высокого речного берега, — мальчик забыл кукситься и на мгновение замер, переживая эту радостную безбрежность. Тут же его увлекли попадавшие на песке куски кремня необычных, натечных форм. А потом длинные петляющие цепочки следов, по которым легко читалось, чем был занят тот, кто их оставил: подкрадывался, убегал, ловил жука. Отец сказал: «Оттого, что эта земля напичкана остатками древней жизни, мне и на ней проще вообразить каких-нибудь первоптиц или мезозойских рептилий». Он сумел определить по следам хорька, зайца и лисицу. Следов было так много, что отсутствие в поле зрения живых зверей казалось странным и еще подчеркивало общие неподвижность и безмолвие. Белый череп хорька, ставшего, наверное, добычей ястребу, и лапу с кусочком меха они нашли на отвале красно-бурой глины, не содержащей никаких ископаемых.

— Что-то более позднее, — сказал отец. — Глина юрского периода черная или серая. Здесь было море, теплое мелководье. Потому столько живых существ. Представь, миллионы лет они тут паслись.

— Паслись! — совсем развеселился мальчик. — Они что, траву ели?

— Да нет, они ели друг друга, — сказал отец. — Планктон ели. Я, правда, деталей не знаю. Белемниты, по-моему, точно хищники. Ловили щупальцами всякую мелочь.

— Значит, — сказал мальчик тем особенно важным тоном, который отец любил до замирания сердца, — наверняка тут были и хищные динозавры.

— О! — удивленно сказал отец. — А ведь я однажды выкопал динозавра. Надо же... И совсем забыл.

— Плавающего? — спросил мальчик. — Или летающего?

— Может быть, плезиозавра. Не очень большого. Только он, зараза, быстро кончился. Хвост мы очистили, думали — сейчас пойдет самое интересное. А там разбитая тазовая кость, часть лапы — и все. То ли его еще живым кто-то перекусил, то ли потом в земле переломило.

— А куда ты дел хвост? — спросил мальчик.

— Куда-куда... — усмехнулся отец. — Продал. В Америку.

— Кто мог перекусить не очень большого плезиозавра? — рассуждал мальчик. — Очень большой ихтиозавр?

— Ихтиозавра тут, говорят, тоже находили, — сказал отец. — Но это давно. Мне рабочие рассказывали — череп у них под ногами так и катался, пока не рассыпался. Тогда цены не знали таким вещам.

— Я пить хочу, — сказал мальчик.

Уже наступил полдень, жара становилась тяжелой. Отец снял футболку и намотал на голову. Заставил мальчика перевернуть сетчатую кепку козырьком вперед. Нагревшаяся вода из пластиковой бутылки жажду почти не утоляла, а на губах оставляла дурной привкус.

Отвалы дальше пошли без кустика, без травы. Они стояли теснее, едва не перетекали один в другой. Мальчик представил, что нет ни поля, ни шоссе, по которому они сегодня проехали через десятки поселков, — но простираются, на много часов и даже дней пути, вот эти серые холмы, сухая земля, горячая даже сквозь резиновую подошву кроссовок, осыпающаяся под ногами. Мальчик знает из фильмов, что именно в таких условиях действуют настоящие охотники за динозавровыми костями. Поместив и свою фигурку в воображаемый пустынный пейзаж, он нашел его не тягостным, а вполне, по-своему, пригодным для жизни, почти уютным —

если, конечно, будет где отдохнуть в тени и вдоволь холодной пепси-колы. Мальчик устал вглядываться в землю, тысячи белемнитовых ростров, перемешанных с глиной, замылили ему взгляд, он опускает глаза, и ему кажется, что под ним течет сплошная серо-бурая масса.

— У меня от тишины, — сказал мальчик, — уши болят.

Часы отец оставил в машине; но вряд ли они в карьере слишком долго: час, от силы — полтора. Однако это оказалось тяжелее, чем он мог предполагать. У него уже горит кожа и в голове от жары поднимается муть. Явно пора возвращаться. Отец решил прежде всего выбраться из отвалов на поле — там они легко сориентируются и двинутся к машине напрямик. Он рассчитывал, что обогнуть придется только два или три кургана, а отвалы никак не кончались — и поле, и даже порой издевательский, крошечный, коснувшийся горизонта красный флаг лишь изредка маячили в недостижимых дальних прогалах. Потом выход вроде бы наметился — но безобидные издали кусты, разросшиеся живой стеной в ложбине и по склонам, обернулись злющей колючкой. Отец с мальчиком запутались, поранились — и все напрасно, пробиться не было ни малейшей возможности. Отец с трудом сдерживал ярость и не находил, чем ободрить сына. Мальчик и в самом деле едва не плачет. Но не жалуется, молчит.

И тут краем глаза, на самой границе колючих зарослей и под укрытием их пыльной зелени, отец замечает что-то не совсем обыкновенное. И еще прежде, чем успевает дать себе ясный отчет, что точно он видит, он уже чувствует, узнает удачу, уже знает, что находка превосходна. И конечно, она должна достаться мальчику, стать его удачей, его первой самостоятельной серьезной находкой. Спешно, будто преследует не камень, а живое существо, отец делает два как бы случайных, бессмысленных шага чуть вверх по склону. Как он и надеялся, склон оседает от его шагов, и несильный оползень выносит на обозрение, прямо на уровне глаз мальчика, великолепного белемнита. Но мальчик сосредоточенно изучает царапину у себя на локте, и отцу приходится задать какой-то пустяковый вопрос, чтобы он очнулся.

— У-у, пап! — удивленно восклицает мальчик. И мгновение спустя восторженно кричит: — Большой, пап! Очень большой! Смотри! Это хороший белемнит?!

Отец вертит ростр в руках и цокает языком. Белемнит величиной с большую хозяйственную свечу и безупречно сохранившийся попадаетеся не часто — такие и в музеях лежат. Отец действительно доволен, рад: все же им досталось что-то стоящее. Рад, что с мальчика мигом слетели уныние и усталость.

— Теперь можно считать нашу экспедицию успешной, — предлагает отец. — И с чистой совестью отправляться домой.

— Нет, — сказал мальчик, — не успешной. Еще не совсем.

— Малыш, ну нет здесь аммонитов, — раздраженно сказал отец. — Ты же сам видел. Одни обломки.

— Ты ведь говорил — есть, — сказал мальчик.

— У тебя голова не кружится от жары? — спросил отец.

— Да ничего, — сказал мальчик.

— Ладно. — Отец вздохнул и хлопнул ладонями по бедрам. — Что с тобой делать... Давай низом пройдем назад, спустимся к воде, к самому карьере. Поглядим, как там дела обстоят. Согласен?

Мальчик кивнул.

— Но сперва посидим где-нибудь передохнем, — сказал отец. — Не кружится, значит, голова?..

Песчаную плешь, куда они вышли, попетляв между отвалов в обратном направлении, украшала глыба красного кварцита с такими четкими и рельефными знаками ряби, что не верилось в их естественное происхождение. Пить противную воду мальчик отказался, и отец, глотнув, вылил

остаток из бутылки на землю. «Покупать надо было газировку, — сказал он. — Газировка теплая попримечнее». Песок потемнел, но уже через мгновение место, куда попала вода, почти не выделялось. Отец объяснял мальчику, что кварцит, на котором они расположились, когда-то был песком морского дна, а затем претерпел изменения, окаменел, однако сохранил форму, какую песку придают волны. Но камень этот не отсюда, ледник притащил его.

— Ледник — это зимой? — спросил мальчик.

— Сто тысяч лет тому назад, — сказал отец, — зима не кончалась и везде был лед.

— Ничего себе, — сказал мальчик. — Сто тысяч лет — один лед. Я зиму люблю. А ты?

— А я нет, — сказал отец.

Все, что они сегодня нашли, мальчик аккуратно выкладывает на песок.

— Мы так запросто произносим, — сказал отец. — Земля — пять миллиардов лет, динозавры — сто пятьдесят миллионов, ледник — сто тысяч... А ведь даже эти смешные рядом с динозаврами сто тысяч — величина настолько не нашего, не человеческого масштаба. Настолько она несоизмерима с нашим опытом, с тем, что нам известно не из теорий, а что явление, дано. С нашим собственным веком, с нашей судьбой. Геологические промежутки времени, межзвездные расстояния — мы просто научились манипулировать огромными числительными, как учатся правилам в игре. Нельзя по-человечески осознать, что за ними стоит. На самом деле я не способен представить Землю до возникновения человека: мир, не наблюдаемый никаким разумным существом. Ископаемые — все эти отпечатки, ядра, раковины, кости, панцири — тем и притягательны, что вынырнули из непредставимого. Когда миру отводилось пять тысяч лет — тут еще можно было как-то разместиться, устроиться. Но пять миллиардов...

— Папа, — сказал мальчик укоризненно, — рассказывай лучше про белемнитов.

— Видишь, они разные. Двух родов. Белемнит с бороздкой посередине называется цилиндротеутис. От слова «цилиндр». Знаешь, что такое цилиндр? А толстые, круглые, без бороздки — пахитеутисы. По-гречески это означает «толстый кальмар». В палеонтологии греческих названий даже больше, чем латинских.

Кроме белемнитов у них есть горстка ископаемых двустворок, две брахиоподы: руссирихиня и ринхонелла, большой кусок окаменелого дерева и кубковидная губка. Еще отец подобрал непонятную и как будто чешуйчатую окаменелость — скорее всего, просто обломок широкой кости, какой-нибудь рыбьей челюсти — но пока припрятал ее, намереваясь предъявить и выдать за чешую динозавра, если мальчик скиснет на обратном пути и нужно будет вновь поднимать ему настроение.

Отец долго, неподвижным взглядом смотрит на разложенный перед ним скромный улов. Очнулся, смеется:

— Я как полинезийский вождь!

Отдохнувший мальчик спрыгнул с камня и теперь скачет в некотором отдалении: старается, чтобы из следов на песке составлялись узоры. Как говорит его мать, ребенок свой кусок детства всюду отгрызет. Был бы карьер сухой, в действии — наковыряли бы сейчас и аммонитов, и акульих зубов, и отличных брахиопод, каждая находка в отдельности радовала бы мальчика. Отец не склонен на русский манер всюду искать собственную вину и как-нибудь связывать свое участие в безоглядных распродажах недавних лет с тем, что вообще творилось в стране. Тем более — с закрытием подмосковного фосфоритового карьера: какое он имеет к этому отношение? Да, на его глазах и часто при его посредстве сбывались за гроши, уплывали в Европу и за океан коллекции минералов, формировавшиеся на месторождениях десятилетиями; выскребались целые проявления,

все, до последнего кристалла. Но в переходные времена — было его мнение — ценностям и свойственно менять хозяев. И отец издевался над газетным кликушеством, над желанием видеть в происходящем какую-то новую, будто бы небывалую для страны катастрофу, а то и прямую диверсию. Силой, что ли, заставляли рудничных начальников продавать уникальные образцы? Кто мешал им просто полюбопытствовать, навести справки об истинной цене камней? Да им наплевать было совершенно — вот что бесило отца даже когда он наживался на их равнодушии. Лишь бы деньги сразу, сию минуту, пока никто другой тебя не обставил и не продал то, что ты и сам вполне способен продать. И в три дня все спустить на троглодитский выпендрей, на кошмарных баб, абонированные кабаки и коньяк ящиками; на подержанные, но блестящие японские машины, которые тут же, спяну, и бьются в хлам, отчего только веселее, ведь завтра опять приедут с полными сумками долларов москвич за аксинитом, или американец за рутилом, или чудики датчане, скупающие кристаллы кварца весом больше пятисот килограммов, — будут, значит, еще машины и еще кабаки: праздник всегда с тобой. Но однажды что-нибудь кончалось — камни или американцы, и весельчаки мгновенно растворялись в небытии, ни об одном из них отец ничего и никогда больше не слышал. Порой ему казалось, тех денег, полученных, в сущности, ни за что, так или иначе нельзя было сохранить. В среде, которую он знал, не удалось никому. Сам он, мало расположенный к разгульной жизни, не сумел тогда их претворить хотя бы в какую-никакую обустроенность, в быт. И очень немногие смогли позднее приспособиться к предпринимательству поскучевшему, монотонному, без сделок, становящихся легендами, без умопомрачительных прибылей. Ладно, слава богу, только деньги, не жизнь утекла между пальцев. Единственное, о чем отец действительно жалеет, — что, будучи по натуре собирателем и строителем, слишком легко изменял себе, поддавшись распляющему, центробежному духу времени.

Но чем дальше, тем чаще, и с острым чувством потери, он вспоминает некоторые камни из тех, что побывали у него в руках.

Мальчик опять устроился рядом. Отец складывал окаменелости в пакет. Мелкие фрагменты аммонитов согласились выкинуть, оставили на память одну большую дугу толщиной с велосипедную шину.

— А здешние аммониты называются виргатитес виргатус, — сказал отец. — Потому что ребра у них разделяются на побеги, как ветви у дерева. Это как раз по-латыни. «Вирга» — это «ветвь».

— Пап, — сказал мальчик, — а ты что, прямо был настоящим археологом?

— Палеонтологом, — поправил отец. — Ты имеешь в виду — палеонтологом. То есть хочешь спросить, откуда я знаю столько умных слов. Ну, знаю, выучил. Не был я палеонтологом.

— А кем был? — спросил мальчик.

— Откуда начинать? — улыбнулся отец. — Вот ребенком был, как ты. Потом школьником. Студентом. Потом инженером. Сидел себе, чертил электронные схемы. А потом так сложилось, что инженеры денег на своей работе не получали совсем — и начинали заниматься кто чем. Мне мой друг — геолог, старый друг, еще одноклассник — предложил торговать с ним на пару разными интересными камнями. Ты его не видел. Он уехал по контракту разведывать алмазы в Венесуэле — и там, по-моему, остался. Между прочим, первым делом он тогда отправил меня сюда за белемнитами, в этот карьер.

— Венесуэла — это где? — спросил мальчик. — В Африке?

— Нет, Венесуэла — в Латинской Америке. В Южной Америке — помнишь, на глобусе?

— Не-а, — сказал мальчик. — И аммонитами ты тоже торговал?

— Еще как! Аммонитами, любой палеонтологией, минералами, искусственными камнями — всем подряд. У нас заказов было столько, что рук не хватало: мы вдвоем за камнями почти никогда не ездили. Если вдвоем — то по-крупному: это мы устраивали целую добычу, людей нанмали, технику, сами ходили покрикивали, как прожженные буржуины. Но вообще я начал сразу работать самостоятельно. Из таких же бывших инженеров подбирал себе помощников. Что-то я знал о камнях еще со школьных времен. Мне нравилось в детстве просто выговаривать их названия: пирит, сфалерит, флюорит... — даже метеорит имелся у меня в коллекции, кусочек сихотэ-алиньского метеорита. А тут... Понимаешь, когда изо дня в день имеешь дело со множеством самого разного материала и уже побывал на месторождениях, а что-то уже сам искал, сам препарировал; и ты заинтересован — тебе необходимо качество, редкость любого ископаемого, любого образца определять точно и сразу, чтобы тебя не обманули, чтобы ты сам не прогадал, — тут учишься произвольно и очень быстро. В некоторых вопросах я разбирался специально, по учебникам. В кристаллографии...

— Еще до меня? — спросил мальчик.

— Да, еще до тебя. И немножко уже при тебе.

— А теперь у тебя другая работа?

— Совсем другая, — сказал отец. — Ничего общего.

— Она тебе нравится?

— Работа как работа. По крайней мере, у меня бывают свободные дни, и мы можем с тобой вот так куда-нибудь поехать. Мне это очень приятно.

— Мне тоже, — сказал мальчик и прислонился щекой к его плечу. — А кто такой буржуин?

В молодости, думает отец, живешь постоянным ожиданием перемены ума. Вот прямо сейчас, в следующий миг, случится эдакий выверт — и вещи раз и навсегда предстанут в истинном свете, всему делается очевидная правильная цена, так что унылая, неодухотворенная обыденность, от которой пока еще удастся отмахнуться с юношеской беспечностью, будет и впредь тянуться где-то помимо тебя, а ты вроде как с поезда обреченного сошел, чтобы жить настоящую жизнь, осмысленную в каждом мгновении. Не то что веришь, а попросту твердо знаешь: такая перемена положена тебе, назначена, принадлежит по праву — и не станешь слушать того, кто попробует в этом усомниться. Настороженность, напряженность своего ожидания принимаешь за собственную человеческую цельность — это лучшая из иллюзий, ее не то что не вернуть, к ней никогда больше даже не приблизиться. А ум твой между тем и правда меняется — да так, как ты и не мечтал. Однажды смотришь по сторонам, смотришь на себя — и понимаешь: а выверта ведь не будет. Не будет ничего. Ерундовый наборчик: два-три серьезных поступка, важных события, десяток анекдотических ситуаций, несколько ярких впечатлений, плюс любви с горчичное зерно, плюс нелюбви целое юрское море, и даже беда, и даже невыдуманные опасности представлялись всего лишь прологом к чему-то грядущему значительному, а оказались полной судьбой, и прирастать ей дальше как-то уже нечем, кроме повторений да неизбежного горя. Как тесную арестантскую одежду, учишься чувствовать свои пределы, за которые не пройти и выше — не подняться. Только они не одежда, их не сменить. И полетели отсюда, если сразу не залез в петлю, отсчитываться ослиные годы загнанности и отчаяния: трик-трак — пятая часть жизни, а там и треть не за горами, а там и половина — вторая половина, последняя. И никаких тебе упований: с места что-нибудь сдвинуть — нет пространства свободного, искать выход — некуда выходить. Но что-то творится вообще без твоего участия. Подспудно, незаметно, вокруг ядра, которое так сразу и не определишь, не предскажешь (себе бы отец предсказал: работа — из своего воспитания, детских положительных примеров, взрослых предпочтений и

стремлений; а получилось — ребенок), собирается новый, незнакомый, едва не чужой человек. И вдруг, к немалому твоему удивлению, выходит на свет совершенно готовым, с другой свободой, насквозь проросший новыми привязанностями, с тревожным ощущением своей и всеобщей хрупкости — все, что дорого, суждено потерять — и неожиданным ощущением своей ценности как участника в мимолетном и хрупком целом...

— Пойдем, — сказал мальчик. — Давай пойдем уже.

— Хорошо, хорошо...

Вода в карьере, насыщенная вымытыми из земли фосфатами, ближе к берегам стояла ярко-оранжевая, в центре — яблочно-зеленая, цвета хризопраза. Вблизи вода была похожа на разведенную краску.

— Если я верно помню разрез, — сказал отец, — сейчас слой с аммонитами приблизительно на глубине двух метров. Заставишь меня туда нырять?

— Не-ет, — испугался мальчик. — Ты что?!

— Ну и правильно, — сказал отец. — Вода, во-первых, ядовитая, во-вторых, там все равно ничего не видно. Поищем другие пути.

Нового ничего не открывалось им, пока они держались берега, но едва повернули к полю, к машине — сразу же наткнулись на круглую яму — широкую, словно кратер, довольно глубокую и, главное, сухую. Отец спустился на дно,ковыдиргивал высохшие травяные стебельки, попинал носком кроссовки глину. Выбрался на поверхность, прикинул расстояние до затопленного карьера и опять спрыгнул вниз.

— Можно попытаться, — сказал он. Повторил громче, потому что мальчик отступил на несколько шагов: мальчику нравится, как с удаления голова отца смешно торчит над травой. — Можно попробовать! Но понадобятся лопаты. Глина вроде бы мягкая, а снять придется сантиметров тридцать. Вот столько, — он показал руками. — Если вода не просочится. Ну как? В будущие выходные рискнем?

— Пап, знаешь что? — сказал мальчик.

— Что?

— Напрасно ты продал хвост. Аммонитов — ладно, а хвост — напрасно. Это же хвост плезиозавра! Где я теперь, по-твоему, возьму хвост плезиозавра?

Мальчик вернулся, встал на краю. Отец, сощурившись, смотрит на него снизу вверх.

— Ты уже совсем большой, — сказал отец, потому что не знал, что сказать.

— Нет, не большой, — сказал мальчик. — Мне шесть лет.

— Скоро семь.

— Не скоро, — сказал мальчик. — Через восемнадцать дней.



КОНСТАНТИН МОЗГАЛОВ



НА МЕДОВОЙ ОСИ

У жившего в Иванове поэта Константина Мозгалова я побывал всего за день до его смерти. Сорокапятилетний стихотворец скончался от скрутившей его за несколько месяцев раковой болезни 12 ноября прошлого года.

...Константин сидел на кухне, обложенный книгами, вся его маленькая, но насыщенная культурными эманациями квартирка в окраинной ивановской хрущобе была заставлена ими. «Литпамятники», «Всемирная литература» — книги из времен, когда они еще были по карману служивому рядовому интеллигенту и выходили массовыми — по нынешним временам — тиражами.

Тогда же я познакомился с женою поэта Ниной Васильевной, изнутри светящейся духовно преодоленным уже несчастьем и верой, — благоговейно перед подобным преодолением.

Константин, несмотря на предсмертную слабость, говорил о поэзии и передал мне в руки подборку своих стихов. Прочитав их, я оценил — и их лица необычное выражение, и внутреннюю согретость чистотой мироощущения. Надеюсь, что томик лирики Константина Мозгалова мы скоро будем держать в руках: дело чести земляков его — издать его книгу, о которой он так мечтал.

Юрий Кублановский.



Чернила, мой легкий наркотик,
откупорю пасмурным днем —
пера самопишущий кортик
блеснет потаенным огнем,
который на чистой странице
унылый пейзаж подождет —
и дождь, собираясь пролиться,
мгновенье еще подождет.



Восторг серебрится полтиной, звеня об ошейник
косматого пса, арлекина домашних страстей.
В заснеженном парке культуры нетрезвый затейник
в отсутствие масс загрузил от своих же затей.
На кнопках баяна полдня отбивает шифровку
закрытому небу: «А я не хочу улетать!» —
и, шахматы взяв, от себя семенит в рокировку
и дыры в позиции пробует нервом латать.
Да ладно, чего там, глядишь, все еще обойдется.
Троллейбусный рог соскочил с тетивы проводов.
Плати медячок и надейся, что место найдется
тебе в этом вовсе не худшем из всех городов.

На медовой оси

По осени я вспоминаю март,
когда кружили острота и фарт
со мною в доле... Полутьму перрона
расцветивали вспышки голосов,
и с площадных надтреснутых часов
стекало поминутно время оно.

Ты уезжала к морю... С той поры
притихли поднебесные хоры:
не век, так четверть века миновала,
но серебром мелодия звенит,
не разбиваясь о рекламный щит
в сумятице рабочего квартала.

«Летайте самолетами!» Летим —
и просквозивший мимо серафим
приметил нас, приветливо кивая.
А на земле стянуло лужи льдом,
и на кольце, как огненный фантом,
дрожит дуга последнего трамвая.

Мы будем из судьбы веревки вить:
из черной вишни варево варить
сластенам-внукам, что черкнут зеркально
по колее, спирали — все равно,
и пить на Пасху терпкое вино,
и утверждать, что день прошел нормально.

Мы будем жить, лексемы шевеля,
бытийные сезоны в быте для.
А в марте я опять припомню август
и заострю чернильное копье,
ловя дыханье легкое твое
и выбирая рифмы редкий ракурс.

В разгар охоты

Иногда на охоте лосиной
затрясет мелкий бес.
Успокойся, стрелок: за осиною
обрывается лес.

Окоем превратился, по сути,
в потемневший кармин.
Причастись и смиренья и жути
безответных равнин.

По железке, огнями залитой,
шумно скорый идет.
А в чащобе тобой не убитый
лось живет.

* *
*

Любо быть кирпичом
в яичной кладке собора:
лежать, не грустя ни о чем,
ощущая острым плечом
близость церковного хора.

Краситься в белый цвет
раз в половину века,
отражать предзакатный свет,
провидя простой ответ
сквозь штукатурное веко.

Из ряда не падать вон
меж суетными делами,
хранить престол и амвон,
на Пасху впитывать звон,
рожденный колоколами.

* *
*

Я потерялся, но я отыщусь.
Белой водой поутру причащусь.

Нежинским соком сиротских рябин
перетеку в предзакатный кармин.

Сбросив тревог ягуарьи меха,
мы отдохнем на просторах стиха.

Слышишь: совсем уже невдалеке
Ангел и Товий плывут по реке.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ



ЖИЗНЬ ОКНАМИ В САД

Памяти хранителя

Достоверность ожидания

Я видел чеховский Дом с открытыми окнами. Обычно открывать окна не полагается. Все-таки — музей. А мы и балкон открывали, и я видел за кипарисами море. Над морем летал странный дельтаплан — с подвесной белой лодкой.

На калитке болталась табличка: «Весенняя профилактика». Дом проветривался, отдыхал. Отдыхали шкафы, распахнув створки, книги, абажуры, цветы... По дому гулял вольный воздух из сада.

После жарких ялтинских улиц в Доме было зябко и сумрачно. Что-то горестное было в этой прохладе; тепло из окон еще не согрело дальние комнаты. Особенного уюта и покоя, всего того, чем я так надеялся здесь проникнуться, вовсе не было. Думал, что все чеховское — это непременно родное, тут же узнаваемое, а здесь — другое... Я вошел в *чужой* дом. Задел что-то, как задевают струну, и воздух наполнился почти ощутимой нервностью вещей, стал напряженным от моего вторжения.

Но, быть может, благодаря именно этим первым досадным минутам я сразу так привязался к Юрию Николаевичу — он был светлый, рыжий, смешливый, как мальчишка. В синем лаборантском халате, с каким-нибудь пузырьком и тряпочкой в руках...

— Сегодня с чеховским пианино вожусь... Там очень много деталей, открытых сукном, кожей. Боюсь, как бы кожееды не завелись...

Он водил меня по Дому, показывая то одно, то другое. Но получалось, будто не мне рассказывают о вещах, а этим вещам, этим комнатам рекомендуют меня как человека, не заслуживающего такого уж немедленного отторжения. Вещи, очевидно, обещали подумать, приглядеться ко мне и тут же не упускали момента потребовать от Скобелева протирки, пропитки, просушки. Вчера он проветривал и чистил чеховское пальто, сегодня лечил пианино, завтра предстояло проверить содержимое шкафа: платки, манжеты, рубашки, соломённая шляпа...

Помню ключи к тому шкафу — ничего особенного, самые обычные, но ведь не потерялись за сто лет! Те самые, которые столько раз мелькали в руках у матушки Чехова, Евгении Яковлевны. Быть может, и терялись, а она спрашивала: «Антоша, ты ключей моих не видел?..» А ключи лежали на самом видном месте.

...Приехав в Ялту с первым троллейбусом из Симферополя, я тут же пошел искать море. Спустился к пустому пляжу, бросил куртку на гальку, свалился на

Шеваров Дмитрий Геннадиевич — прозаик, журналист. Родился в 1962 году в Барнауле. Закончил Уральский государственный университет. Автор книги рассказов и эссе «Жители травы» (2000). Сотрудник газет «Комсомольская правда» (1989 — 1997) и «Первое сентября». Живет в Подмосковье. Постоянный автор «Нового мира».

нее и задремал под шелест моря. Как же я буду уезжать отсюда? Хоть бы меня здесь забыли, что ли... Командировку мне дали на пять дней с дорогой.

Прошло с тех пор восемь лет. В Ялте, и вообще на юге, мне больше не пришлось побывать, и дни те помнятся ясно. Ничто последующее не заслонило их. Очевидно, южные и северные впечатления хранятся у нас в памяти порознь.

«...Вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов...»

* * *

Когда вернулся из командировки, то открыл Чехова на «Доме с мезонином». И понял, что раньше плохо читал этот рассказ. Не слышал иволги — «должно быть, тоже старушки». Не замечал, как гудят старые *амосовские* печи, не видел *зеленого* света в окне мезонина и *спутанных* лошадей в поле...

Дочитал, погасил свет; обозначился слабый силуэт окна за темными занавесками. Вспомнил, как маленьким ложился в своем углу и видел большое окно, как стоял в комнате свет у зеркала, как плыла полоска от фар по потолку, когда во двор заворачивал соседский «газик». Низкий и тусклый ноябрь, когда еще нет снега; тучи ворон сиротливо и мерзло кричат с тополей, теснясь там на ночлег. Отчего в нашей жизни с годами все больше ноября и все меньше мая, июня?..

И еще я подумал о тех, кто тоже может думать обо мне иногда. О Марине, об Оле, о Поле, о Лене... Раньше я мало в это верил, а сейчас, кажется, верю. «...Мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают...»

Отсвет от рассказа лег на мою память, на все, что со мной было в такие же вечера, когда казалось, что ничего интересного не происходит. Наоборот — все тягостно и досадно. Но что-то очень хорошее проступает сейчас в тех вечерах... Как писал один французский поэт: «То было время хмурых дней, что светят нам в воспоминаньях...»

На улице сыро, болит горло, бабушка не разрешает мне вылезать из кровати, дала мне коробку с открытками, чтобы мне было веселее, и я их рассматриваю. «Привет из Крыма», «Дорогому Гене», «Крым. Ялта. Ливадийское шоссе», «Никитский ботанический сад»... Что *она* сейчас делает? Нет, не бабушка, а та девочка, которая... Быть может, тоже смотрит в окно, видит этот мокрый двор, наш жалкий сад, будто прижавшийся в страхе к забору, — старая рябина, куст бузины, тополек, который мы с дедушкой посадили весной, две чахлых яблоньки. «...Я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею...»

И вот я снова перечитываю «Дом с мезонином», вспоминаю Ялту, хотя о Ялте в этом рассказе ничего нет. Но там есть ощущение, к которому так хотелось бы мне вернуться: «...*будто видел хороший сон*».

Маленькая усадьба Волчаниновых напоминает мне теперь о чеховском доме лучше открыток и путеводителей. «...В этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий и прислуге говорили „вы“, и все мне казалось молодым и чистым... и все дышало порядочностью...»

...Мне было странно, что каждый день Юрий Николаевич вдохновенно наводит порядок там, куда посетители никак заглянуть не могут: под крышкой пианино, в платяных шкафах, сундуках, комодах... Очевидно, таковы инструкции, думал я. Сейчас понимаю, что это было не столько следование инструкциям, сколько Чехову. Порядочность там, где чистые окна, свежий воздух и прислуге говорят «вы». Где нет пыли, даже музейной.

«...У нас все по-прежнему, — писал мне Юрий Николаевич в марте девяносто пятого. — Готовимся к Чеховскому фестивалю. Ну и плановая работа:

проверка надежности креплений рам в мемориальной экспозиции, замена светозащитных пленок в дверных и оконных проемах...»

Туристы полагают, что хранитель — это старушка, что сидит в зале с экспонатами и дремлет. А это — уникальная, штучная профессия, которой нигде не учат. Особая каста людей, где все друг друга знают. О Скобелеве я впервые узнал от музейщиков на Урале. Мне сказали о нем с восхищением: «умница и настоящий отшельник».

Но в те майские дни он был отчего-то рад, что я нарушаю его одиночество, хожу за ним целый день, как ручной журавль когда-то ходил за Чеховым.

— ...Для меня чеховский Дом — это живое существо. Сам по себе. Все, что с ним происходит, определяет мою жизнь. Все, что было до того, как я приехал сюда, — только предисловие... Я родился на севере, в деревне Каменка, есть такая на границе костромских и вологодских земель. Учился в Архангельске, в Педагогическом, на историко-филологическом факультете. Тогда, в конце пятидесятых, в институте разрешили преподавать бывшим ссыльным и только что освобожденным из лагерей. Уровень был прекрасный, мы занимались по университетской программе. Потом армия... Когда вернулся, мама вспомнила, что в Ялте у нас живут родственники. Так в шестьдесят шестом году попал в Крым. Работал в краеведческом музее, в Ливадийском дворце, а в восьмидесятом меня пригласили сюда. До этого Дом был филиалом Ленинской библиотеки и не считался музеем. Я провел первую инвентаризацию, и все вещи прошли через мои руки. Каждая половица, каждая трещинка на потолке или на блюде мне теперь знакомы. И когда я уезжаю в командировку или в отпуск — у меня душевная боль. Прощаюсь с Домом... Как он будет без меня, а я без него?.. Были критические моменты, когда я пытался уйти отсюда... Были... Не вышло. Все оказалось пустячным, мелким в сравнении с угрозой оказаться вне чеховского Дома...

Коллеги Юрия Николаевича сообщили мне в недавнем письме, что при нем музейный фонд увеличился в четыре раза. «На его материально-ответственном хранении находилось 16 642 музейных предмета...»

Чехов, который не только вещи, но и любимые книги неустанно дарил, — он был бы поражен такой уймой добра в своем доме. Верно, даже устыдился бы этой цифре — откуда что взялось? Непритязательная обстановка Дома последние двадцать лет таинственным образом пополняется. Что-то вдруг обнаруживается за страницей книги, за створкой шифоньера, в ящике стола...

— ...Антон Павлович выписывал журнал «Зерновое хозяйство России», к нему прилагались мешочки с образцами семян. Они давно пусты, но вот недавно я еще раз заглянул в один из них и нашел там на дне девять зернышек пшеницы. Девять чеховских зернышек! Интересно было бы взять и посадить их... Но — нельзя.

— Одно-то, наверно, можно...

— Нет, они у меня записаны — все до одного. Теперь их всегда будет девять...

Кажется, что, если бы у Юрия Николаевича были только эти чеховские зернышки и ничего другого, он бы все равно оставался Хранителем. У него бы и с зернышками хватило хлопот. Так дети хранят марку или монету, а влюбленные — сухой цветок, принятый когда-то из любимых рук.

Но при этом есть нечто особенное, что отличает хранителя и от ребенка, и от влюбленного, и от коллекционера. И это особенное поднимает труд хранителя до аскетической высоты: он не владеет тем, что хранит.

В те дни, когда жажда накопления и приватизации лишала людей сердца, а политики делили флот и кроили новые границы, всеми забытые сотрудники музеев спасли для русской и мировой культуры дом Чехова в Ялте, музей Короленко в Полтаве, квартиру Александра Грина и галерею Айвазовского в Феодосии, знаменитый волошинский Коктебель... Порой нетопленые комнаты им приходилось согреть своим дыханием, а неусыпным присутствием, све-

том в окошке отпугивать охотников за антиквариатом и просто хулиганов, бомжей, которых неудержимо влечет пустое жилье.

Зарплату музейные работники и сейчас кое-где получают от случая к случаю, но ведь было время — сидели на воде и хлебе. Помню, купил первую черешню на ялтинском рынке, о чем и сказал в музее: хорошо, мол, живете, у вас уже черешня поспела...

— Да-да, — задумчиво сказал Юрий Николаевич, — замечательно... Но нам не по карману. Я посмотрю, облизнусь и иду дальше...

Бедность тяжела, унизительна, но она не так тягостна, как постоянная, до замирания сердца, тревога. Изматывающее опасение утратить.

— Иногда сигнализация срабатывает в два-три часа ночи, мне звонят из милиции, с центрального пульта: «У нас снялось с охраны... горючего нет, машины выслать не можем. Ну, мы вас предупредили...» И что делать — бегу через полгорода. Если не пойду, так я с ума сойду! Хотя знаю, что, скорее всего, сработало оттого, что электроэнергию отключали. Город весь в темноте... И так, бывает, по три раза за ночь сбегаете. Однажды голову чуть бутылкой не пробили. Молодежь пила водку, и бросили бутылку — у виска просвистела. А в прошлом году ураган страшный был, с пульта звонят ночью — мигнуло у них, снялось с охраны. Я — на улицу. Куски черепицы падают, все воеет, трещит, сучья ломаются, летят... Бегу вдоль речки и думаю: «Только бы меня в речку не сдуло, только бы не сдуло!..» Страшно... Слава Богу, при Чехове таких ураганов не было.

* * *

А вечером я торопился к морю.

Невостребованные лежаки были связаны стопками. В России были напуганы слухами о беспорядках и даже войне в Крыму, поэтому отдыхающих почти не было.

Дед-фронтовик сидел у сарайчика на берегу и сторожил крылья. Это были крылья того самого гидродельтаплана, который я видел с балкона чеховского дома.

— А сами-то летали? — спросил я. Получилось как-то неловко, насмешливо.

Но старик не обиделся. Сказал с важностью:

— Я свое отлетал...

Потом узнал от него, что раз в неделю приезжают богатые люди и платят по двести долларов за полчаса полета. Все остальное время дельтаплан лежит в разобранном виде, и его надо караулить.

На сарайчике громоздились камни угрожающих размеров — чтобы от ветра крыша не улетела. Трудно было представить, что здесь случается и плохая погода. От моря веяло светлым покоем. И казалось, нет такой силы на свете, которая могла бы его нарушить.

Старик рассказывал мне, как летал на Берлин. Садилось солнце, и для прощания с ним море выкатило золотую дорожку. Потом горы за спиной вдруг придвинулись, стемнело. Меня потянуло на набережную, где зажигались огни и саксофон играл. Старик попросил меня купить самые дешевые сигареты.

Я возвращался к нему по темной прибрежной улочке. Чуть не заблудился, но вот открылось за поворотом море — тихое, льяное. В открытых дверях сарайчика мелькнула накалившаяся докрасна спираль электроплитки.

* * *

Скобелев относился к Чехову, как нянька.

Ребенок вырос, уехал, и неизвестно, вернется ли. Но няне это не важно, она его все время ждет, и каждый день наполнен хлопотами приготовлений и ожидания.

Со всеми родными Чехова у Скобелева были свои особенные отношения — от ясных и радостных до запутанных и даже натянутых. Рассказывать о них он суеверно избегал, отделывался шуткой: «Все, что связано с Чеховым, идет у меня так легко... Мария же Павловна ко мне высокомерно равнодушна. Ольга Леонардовна мне постоянно вредит. Она меня не любит... А с матушкой мы очень даже ладим...»

Матушкой или мамашей он называл Евгению Яковлевну.

Хранитель — очевидно, одна из тех немногих профессий, что требуют абсолютной душевной чистоплотности. Щепетильность, такт здесь должны быть в кончиках пальцев.

Как и многие музейные работники, Скобелев постоянно печатался в научных сборниках со статьями о неизвестных страницах биографии классика, обнаруженных автографах и письмах. Все эти статьи написаны с традиционной для такого жанра бесстрастностью. Но там есть строки не совсем обычные — они исполнены стыдливости, неуместной, казалось бы, в наши дни.

Вот Скобелев подробно описывает обнаруженную им открытку Антона Павловича, но умудряется ни единым словом не процитировать ее содержание. «Чеховская интимная надпись адресована старшему брату Александру и обыгрывает рисунок в привычной для переписки братьев шутливой форме». И все. Великие имеют право на свои тайны.

Юрий Николаевич с уважением и пониманием относился ко всем, кто приезжал в музей со всего света, гордился славой вверенного ему Дома, но в его чувстве к гостям была и опасливая ревность. Особенно он ревновал к смотрителям, сторожам, охранникам, строителям, часто видевшим в чеховском Доме всего лишь постройку, которую им надо караулить или ремонтировать. На чеховские вещи они глядели как на вещи — ценные, уважаемые, но всего лишь вещи, и им ничего не стоило сдвинуть их с места и даже уронить без всякого сердечного сотрясения.

Юрий Николаевич смотрел на таких людей с откровенным ужасом, он считал, что бестрепетный, равнодушный к Чехову, холодный человек, даже ничего не трогая, действует на Дом разрушительно.

Скобелев не любил, если Дом называли музеем. Музей — это когда с миру по нитке собирают вещи и устраивают мемориальную экспозицию. А здесь человек вышел майским утром из дома, поцеловал мать, простился с кухаркой, садовником, собакой и уехал подлечиться. «Представим, — любил повторять Юрий Николаевич, — что Чехов вернется... Он должен найти все вещи на своих местах...» Все вежливо соглашались, но представить, как Чехов вернется, никто, кроме Юрия Николаевича, не решался.

...— Особенно здесь хорошо в погожие дни. Чехову нравилось, когда по утрам на ковре играли солнечные блики. Он любил позднюю весну, солнце. И сад свой он задумал так, чтобы в нем круглый год что-то цвело и была бы вечная весна. А зимой он здесь часто мерз. Печник попался неудачный, и дом не согревался...

Не тысячи посетителей, не блеск юбилеев, а серьезность, достоверность ожидания — вот что было для него самое важное. Он хранил не мемориал, а жилье — жизнь!

— Понимаете, у нас не музей, а жилой дом писателя. Его присутствие — во всем. В этих стенах, книгах, в этом столе, за которым он ничего не написал...

— Как ничего?

— Это новый письменный стол. Ольга Леонардовна купила его в Гостином дворе и послала из Москвы в Ялту. В феврале 1904 года Чехов его получил. Успел за ним только письма написать. Но он ему нравился...

А старый чеховский стол в те дни был в Германии на выставке, и Юрий Николаевич не мог скрыть своего беспокойства. Чувствовалось, что, будь его власть, он бы этот стол ни за что не отпустил на гастроли.

— Вещи привыкли к этим стенам, к этим колебаниям температуры и влажности. А если их перевезти в какой-то современный музей, пусть даже в самые идеальные условия, — может произойти шок вещей. Из-за необычного режима, дороги, новых стен... Вещам нужны не идеальные условия, а привычные.

* * *

Скобелев помнил все удары, нанесенные Дому и саду, и помнил их лучше, чем удары по собственной судьбе. Проходя мимо чеховского кипариса, вспоминал, что в войну осколком снаряда снесло верхушку дерева. Заходя в коридор, с тревогой оглядывал потолок: «В девяносто втором с восемнадцатого на девятнадцатое августа здесь обрушилась штукатурка...» В чеховском кабинете этюд Левитана напоминал ему о попытке ограбления, случившейся в девяносто третьем...

С пятого на шестое июля девяносто четвертого в музей, разбив двери на веранде, ворвались грабители, схватили икону Николая Чудотворца, две вазы, в кабинете сорвали со стены фотографию с видом вечерней, «голубоглазой», как говорил Чехов, Венеции... Через полторы минуты скрылись. Милиция приехала без собаки, и о преследовании в темноте уже речи не было. Следователи появились утром. Скучая, выслушали убитого горем Скобелева. Желая его, видимо, утешить, сказали: «Государства рушатся, не то что музеи...» После чего Юрий Николаевич сорвался: «Пусть государства рушатся, туда им и дорога!.. А это Чехов! Если вы не найдете его вещей...» И еще — о человечестве, которое не простит, о культуре, о совести...

Осенью Юрий Николаевич написал мне: «...Слава Богу, пока держимся, немногочисленные посетители приходят поклониться Антону Павловичу, чтобы обрести внутреннюю устойчивость и веру в обстановке хаоса и неразберихи. О похищении чеховских вещей, к сожалению, ничего сообщить не могу. Не утихает чувство душевной боли и горечи оттого, что допустили такое. При каждом вечернем телефонном звонке сердце замирает...»

В милиции он, наверное, всем надоел. Приходил, звонил, просил, требовал. Ему обещали, что будут держать на контроле. А он уходил, держась за сердце.

В мае девяносто шестого рассказывал в письме: «...Очень напряженной и тяжелой была подготовка к юбилею. За несколько недель до него нашлись какие-то деньги на текущий косметический ремонт. Провели побелку и покраску чеховского Дома снаружи. Отремонтировали потолки... За три дня до юбилея в комнате Марии Павловны работали еще мастера, и все вещи находились в спальне Антона Павловича. Дом сумели привести в порядок, но чувствовал я себя разбитым и физически, и духовно. О похищенных из музея вещах ничего не известно. Да я и не надеюсь ни на что. Очень обидно и больно... Постоянно отключают освещение. Воду дают только один раз в неделю на один час. Отопление без воды не функционирует. А впереди зима...»

Помню, в ялтинском храме, пока я ставил свечку в песочный ящичек перед иконой, монах Василий сказал кому-то за моей спиной: «Бес боится смирения...»

Возвращение портсигара

В чеховском кабинете рядом со столом висит табличка: «Просьба не курить». Гиляровский когда-то заказал ее в местной типографии.

— Все равно курили, — говорил Юрий Николаевич. — А Чехов только отодвигался подальше. Уходил вот сюда, на диван...

Интересно, а Ольга Леонардовна уже курила тогда?..

Сейчас мне вспомнился портсигар. Как я нес его по вечерней Москве, положив в нагрудный карман. Потом ехал в электричке, проверяя поминутно, на месте ли он... Вот, думаю, сидят вокруг меня люди, так много усталых, изму-

ченных за день людей, для которых чеховская эпоха и сам Чехов — это что-то невероятно далекое, навсегда ушедшее, а я везу в кармане портсигар Ольги Леонардовны. Когда-то роскошный, он еще хранил остатки блеска по бокам, но крышка была истерта и тускла, на ней была вмятина от какого-то тупого удара...

Эта история с портсигаром началась тогда же, в Ялте, с легкой руки Юрия Николаевича. Я уезжал в Москву, и Скобелев поручил мне нанести визит племяннику Ольги Леонардовны — Владимиру Владимировичу Книпперу, надо было что-то передать — то ли сборник Чеховских чтений, то ли еще что-то. Вернувшись в Москву, я вскоре пришел к Владимиру Владимировичу. Оказалось, что он живет совсем рядом с редакцией, где я работал.

Владимир Владимирович принял меня взволнованно, будто я привез из Ялты не брошюру, а что-то очень важное, какую-то новость, о которой он раньше не слышал. Новостей особенных не было, и я до сих пор не понимаю, чем я так взволновал Владимира Владимировича. Помню, мы долго пили кофе, за незадернутым окном синел кусочек вечернего неба, а мы говорили про Ялту... Владимир Владимирович вспомнил, как в свои пионерские тридцатые годы гостил вместе с тетей у Марии Павловны, как его оставили ночевать в отдельной комнате на первом этаже, а он испугался музейной тишины и прибежал ночью в мезонин, ворвавшись к Марии Павловне... Вспоминал, как плавал вместе с тетей Олей, и она заплывала так далеко, что все уже теряли ее из виду, а она была удивительно спокойна...

Владимир Владимирович волновался, стал заметно заикаться, мысли его перескакивали с одного предмета на другой, я тоже был сбивчив... Потом были другие встречи, но всякий раз я заставал Владимира Владимировича в волнении, уже не таком сильном, но достаточном для того, чтобы оно передавалось мне.

Он заканчивал книгу воспоминаний, искал издателя. Кто-то ему что-то обещал, а потом исчезал. Издательства возникали и тут же разорялись или требовали искать спонсоров. Я взял интервью у Владимира Владимировича, у меня была надежда, что после публикации найдутся издатели для книги. Беседа вышла в газете с тиражом в несколько миллионов, но было ощущение, что весь тираж кто-то украл — телефон молчал. Мемуары человека, воспитанного в доме знаменитой актрисы, впитавшего в себя традиции и легенды Чеховых и Книпперов, видевшего рядом весь цвет отечественной театральной культуры — восемь лет назад такие мемуары в Москве никого не интересовали. Я был смущен неудачей и стал реже бывать у Владимира Владимировича. Однажды он сам позвонил мне и попросил зайти. Я сказал, что дежурю сегодня по номеру, но обязательно зайду вечером. Думал, что появились какие-то новости с изданием книжки; когда пришел, то сразу заметил, как тяжело, астматически дышит Владимир Владимирович. И заикался сильнее обыкновенного, и печаль стояла в глазах. А глаза у него были удивленные — от обиды — и оттого беспомощно-грустные, в них застыл вопрос: «За что меня обидели?..»

Он провел меня в комнату, достал из ящика стола что-то завернутое в замшевую тряпочку. Развернул, положил мне на ладонь — портсигар. Я просительно посмотрел на Владимира Владимировича.

Он вздохнул, часто-часто заморгал. Взял меня за локоть:

— Этот портсигар подарила мне тетя Оля, когда я уходил на фронт в срок втором. Он спас мне жизнь. Я его носил на сердце. Осколок ударил, видишь — вмятина...

Я стоял опешив, а Владимир Владимирович завернул портсигар в тряпочку и снова подал мне. Я забормотал что-то про семейную реликвию, про то, что я не имею права брать такие вещи...

— Бери, бери. Пусть будет у тебя... Кофе будешь? А конфеты? Вот возьми, голодный небось.

Я действительно в тот день устал и, спрятав портсигар, откланялся. Только на улице, на свежем воздухе, вдруг подумал: что же я делаю? Взял у стари-

ка реликвию, а он, может быть, под настроение мне ее отдал. Завтра будет другое настроение. Или родственники возмутятся — такую вещь отдал человеку с улицы...

Вспомнилось, как Владимир Владимирович рассказывал мне о своей первой любви, о девушке, которую звали Марго. Она была в десятом, а он перешел в девятый. А вокруг была Москва сорок первого года, тетя Оля уезжала в эвакуацию, уговаривала Володю уехать вместе с отцом, которому тогда было уже за шестьдесят, но он отказывался, не мог оставить в прифронтовом городе любимую девушку. «Ты сама-то любила?» — крикнул он тете Оле по-мальчишески грубо. Всю жизнь не мог себе простить этого «восклика», как он говорил... Ведь после ранней смерти матери тетя Оля постаралась заменить ему мать. Тогда она ничего ему не сказала, перекрестила на прощанье.

Он остался в Москве, копал противотанковые рвы на Хорошевском шоссе, тушил зажигалки на крыше своей школы, кормил собак тети Оли, такс, названных по-чеховски Бром и Хина. Когда Бром умер, похоронил его на Гоголевском бульваре.

На войну ушел в сентябре сорок второго, минометчиком, на Калининский фронт. Тетя Оля передала ему этот портсигар как знак признания его взрослости и пожелание мужества. В сорок четвертом, заскочив на побывку в Москву, нашел Марго, они поженились, но обстоятельства любви были самые несчастные. Все случилось будто по словам, которые любила повторять тетя Оля: «Разве любить — значит быть счастливым...»

Владимир Владимирович говорил мне, что счастливее, чем в сорок первом году, он уже никогда не был. А тогда, осенью, во время воздушных тревог, он помогал родителям Марго тащить ковер, который был набит вещами, до метро под Арбатской площадью. На вещи ему было глубоко наплевать, но это был повод оказаться рядом с любимой. «На шпалах между станциями „Арбатской” и „Смоленской” мы с Марго стелили газеты, потом плед и ложились рядом и долго-долго слушали, как наверху работают зенитки...» А потом Ладога, Калининский фронт, взвод пешей полковой разведки, подрыв на mine, контузия — должно быть, тогда портсигар и выручил...

Вернувшись домой, я достал из кармана холодный портсигар, положил в стол. А что бы сказал Юрий Николаевич? Сказал бы, конечно, что этой вещи место в музее.

До глубокой ночи мы сидели с женой на кухне, советовались, что делать с портсигаром. Решили, что надо отнести его обратно Владимиру Владимировичу. Нельзя пользоваться добрым порывом старого человека.

Не помню, что я говорил на другой день Владимиру Владимировичу. Помню, что он молча слушал меня и глаза у него были больные. У меня даже мелькнуло в голове: не плакал ли он ночью? Портсигар принял обратно. Разговор не клеился. Он пожал мне руку. Я сбежал во двор. Почему-то думал, что вот отдам портсигар — и станет легче...

Больше мы не виделись. В девяносто шестом набрал его номер, чтобы поздравить с праздником, а молодой женский голос сказал, что я опоздал с поздравлениями.

Синяя тетрадка

Однажды утром Юрий Николаевич принес мне толстую книгу в холщовом переплете. Там остались подчеркивания Антона Павловича...

П. П. Золотарев. «Флора садоводства». Иллюстрированный указатель растений. 1896 год. Издание второе... Я не заметил, как Скобелев ушел, и полдня просидел с этой книгой.

Введение было замечательно по слогу, местами почти карамзинскому: «Любовь к воспитанию растений как одна из благороднейших страстей, доставляющая кроме известного наслаждения также и здоровый труд... Первое внимание при воспитании растений сосредоточивается на том, без чего немислимо прозябание их... Было бы ошибкой полагать, что каждая порода

подчиняется постоянным шаблонным правилам; напротив, все навязываемые правила более или менее исключаются...»

Альстремия, гамилтония, штадмания, шубертия... Названия растений звучали мечтательно, как названия заморских стран, которые мы в детстве находили на картах.

Ливанский кедр был подчеркнут красным. «Плодоносная культура возможна лишь на Южном берегу Крыма...» Подчеркнута и *лобелия*, которую «сеют в марте в рыхлую песчанистую землю...» *Магнолия Каролина*, что «цветет к осени», *мальва*, *мушмула*, *пион*... *Ирис*, который «удобно выгонять в цвет зимою»...

У меня вдруг появилось ощущение, что я читаю пьесу, где герои выходят, рекомендуются зрителю, раскланиваются и отходят от рампы в тень, постепенно там, в тени, образуя хор. От голосов низких, кедровых, до детских, высоких, *лобелии* и *амариллиса*...

Все чеховское кажется разгадано, расставлено по полочкам, рассмотрено в лупу, все пьесы поставлены великими и безвестными режиссерами по всему свету... Только его любимая пьеса, этот сад, поставлена лишь однажды самим автором и, кажется, никем не понята. Сто лет, как длится этот спектакль, актеры стареют, страдают от зноя и заморозков, принимают под свою сень новичков, только что выпущенных из теплиц... И каждый день — премьера.

«...Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы...»

От того дня осталась запись на диктофоне — Юрий Николаевич рассказывает мне о саде, и на пленке слышны звуки сада. Жаль, что передать на бумаге это сочетание птичьего гомона, шелеста, веяния летнего воздуха и тихого, умного голоса, увы, невозможно...

...— Антон Павлович многое бы отдал, чтобы увидеть сад таким, каким мы его видим сейчас. А в то время здесь был довольно голый склон, и море было как на ладони, его не закрывала зелень. Деревья в саду дали первую робкую тень только летом девятьсот третьего года. Чехов, сидя в бамбуковом кресле и глядя в бинокль, говорил мамаше: «Ну вот, „Святой Николай“ причалил... На нем Лев Николаевич уезжал из Ялты. А вот „Ксения“ пришвартовалась, на ней обычно Куприн приезжает...» Мамаша поправляла чепчик и говорила: «Пойду во флигель, поставлю тесто...» Между Куприным и Евгенией Яковлевной была удивительная дружба...

Вот магнолия чеховская... А там — сирень индийская... Он выбрал для посадки именно такую сирень в память о своем путешествии на Цейлон. Теперь там музей чеховский открыли, они очень гордятся, что среди них, очевидно, есть потомки Чехова. Он был на Цейлоне, возвращаясь с Сахалина в девяностом году пароходом «Петербург». И вот ровно сто лет спустя, после интенсивной подкормки, наша сирень будто вспомнила Цейлон и расцвела невиданно, даже листьев не стало видно — сплошные мелкие алые цветы! Мы восприняли это как добрый знак от Антона Павловича... Подбор, размещение, взаимоотношения этих деревьев — все его занимало. Они все были для него с чем-то связаны, о чем-то говорили. И столько в этом было радости, любви...

Мы обошли сад по периметру, и я насчитал триста сорок шагов. Потом присели на скамейку.

— У Чехова была синяя тетрадка «Сад», там записаны на латыни названия ста пятидесяти девяти растений — тех, что он высадил в саду. Пятьдесят три и сейчас растут у нас. Но многое и не приживается. Вот туберозы — темные такие, с изумительным запахом... У Чехова росли, а у нас не растут. Понимаете, мы другие...

И тут над нами так запели дрозды, что мы переглянулись. Юрий Николаевич улыбнулся своей детской улыбкой:

— Что-то вечное есть и в птицах, и в деревьях, и в людях... Антон Павлович и по натуре, и в душе был глубоко верующим человеком. Религия любви, уважения ко всему, что может жить. Чехов очень чуток ко всему другому, и даже здесь, в саду, он создает условия для чужой жизни, но не вторгается в нее. Пытается подобрать место для каждого растения так, чтобы один вид не мешал другому. И в то же время — чтобы создавалась единая гармония.

Незаметно для себя Юрий Николаевич начинает говорить о Чехове в настоящем времени. Несколько раз в эти дни он цитировал одно письмо Чехова, повторял его, бормотал не столько для меня, сколько вспоминая и прислушиваясь к чему-то своему: «...А в Ялте все нет дождей... Бедные деревья... за все лето не получили ни одной капли воды и теперь стоят желтые; так бывает, что и люди за всю жизнь не получают ни одной капли счастья. Должно быть, это так нужно... Должно быть...»

А утром снова баркас стучал моторчиком.

Монах Василий тихонько пел в храме: «...Ризу мне подаждь светлу... укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине...»

Дворники сметали осыпавшиеся за ночь лепестки роз.

Старик сторожил свои крылья.

«...Я не знаю, дошла ли до вас весть о том, что 6 октября 1999 г. скоропостижно умер Юрий Николаевич Скобелев... Сейчас в музее новый хранитель, жизнь музея идет своим чередом, но без Юрия все не так, и никогда не будет так, как было при нем, ибо чеховский дом был смыслом его жизни... Какие-то черты Юрия Николаевича, которые раньше казались нам чудачеством, сейчас воспринимаются нами как уникальное свойство его натуры».

Вот какой горестный толчок был всему, о чем мне вспомнилось сегодня.

На днях получил из Ялты еще одно письмо: «...У нас стоят ясные, морозные дни, а в чеховском саду зацвели подснежники. Цветут жимолость и жасмин. Напротив моих окон распустилась японская айва...»

Благодарю за помощь в подготовке материала **И. И. Пазюн**, заведующую библиотекой Дома-музея А. П. Чехова в Ялте.



РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА



ТЯЖБА О РОССИИ

На рубеже столетий

У всякого народа есть родина,
но только у нас — Россия.

Г. П. Федотов.

1. Вакантная нация

На земле нет счастливых народов. Но кто решится оспорить, что два из них несчастливы особенно? И не только каждый «по-своему», но и — в истекшем веке — оба одинаково. Что с того, что для одного из них «окончательное решение» его вопроса готовилось извне, а для другого — изнутри, для обоих столетие протекало под знаком холокоста: ГУЛАГ ведь не уступит Освенциму; оставленный вымирать Ленинград окажется, может, и похлеще Варшавского гетто.

Однако с разгромом нацистского врага еврейскому народу судьба улыбнулась: в сознании цивилизованного мира он занял — и с основанием — место неизлечимо травмированной и потому периодически привечаемой жертвы. Русский «народ-победитель» остался при прежнем режиме, и хотя по ходу времени тот упревал и зубы у него поистачивались, но фундаментальная ложь и принципиальное насилие над душой не давали расправить плечи; русским еще сорок лет предстояло пребывать на своей земле, как на чужбине.

Но вот режим пал, Россия перестала быть тоталитарным пугалом. Между тем парадоксальным образом она все больше стала сдвигаться на освободившееся в пространстве истории место «бельма на глазу».

Сегодня репутация у двух маркированных стран разная, но будто само Провидение нудит нас на рубеже тысячелетий осознать схожесть их положения в истории — к примеру, через схожесть военных ситуаций...

Ведущий в Европе истолкователь судеб России, ее движущих (в смысле — недвижущих) сил, плодovitый в прошлом советолог, из числа французских «бессмертных», Ален Безансон в первой же своей книжке о русском «национальном сознании» («Убиенный царевич» — «Le tsarévitch immolé», 1967) ставит на нем черную метку: «Продолжительность и глубина русских бед придает истории этой страны что-то пагубное, порой вызывающее ужас, жалость и отвращение». Русская история, согласно этой характеристике, хуже, чем трагедия, вызывающая «страх и сострадание» («ужас» и «жалость»), она — достойна презрения. Безансон горюет о заблудших душах славистов, попадающих под гипноз этого заколдованного места; он и сам чуть было не попался на удочку, но, слава Всевышнему, скоро отрезвел и, после недолгих колебаний в пользу

Гальцева Рената Александровна — философ, эссеист, публицист. Родилась в Москве, окончила философский факультет Московского университета; старший научный сотрудник ИНИОН РАН. Автор книги «Очерки русской утопической мысли XX века» (1992) и многочисленных статей в журналах, научных сборниках, учебных пособиях и энциклопедиях.

марксизма, вооружился учением психоанализа, с помощью которого ему открылась вся неистребимая порочность такого людского формирования, как русские.

Нетрудно осознать, что значит, когда на помощь призывают марксистскую или фрейдистскую методику. Будем ли мы действовать путем сведения движущих причин личной или всечеловеческой истории к борьбе экономических интересов или рассматривать их через призму аномальных либидозных комплексов — объект исследования обречен. Точка в душе теоретика поставлена раньше, чем на бумаге.

Рискуя утомить читателя, последуем все-таки за разветвленными инвективами французского критициста, поскольку нет такой претензии к «русскости», которая не была бы типовой до него и многократно подхваченной после¹.

Ища возможности приложения эдипова семейного треугольника «отец, мать, сын» к «расшифровке» культурной истории России, парижский изыскатель попадает вроде бы в безвыходное положение, ибо в «национальной версии христианства, повлиявшей на формирование русского характера», как признает сам автор, нет места знаменитому комплексу: ведь «невозможно стать на место отца и супруга», если это Небесный Отец и «Супруг». Но для иных, а именно predetermined случаев безвыходных положений не бывает, ибо, как известно, where is the will, there is a way. Если нельзя заместить собой Христа и Бога Отца, то — по несдающейся логике Безансона — можно вечно страдать «от этой невозможности», «от разобщенности» с тем, кого нужно, но немыслимо подменить. Подобную, превращенную, форму эдипова комплекса, открытую психоисториком для России, он видит фонганирующей во всех отсеках du monde russe: и в народной жизни (знаменитое желание «пострадать»), и в литературе, культивирующей «сладость» страдания (Достоевский), и в агиографии с ее специфическим типом святых «страстотерпцев», и в литургии, предназначенной, оказывается, для изживания «аффектов, связанных с эдиповым комплексом». Короче, в русском христианстве, «соскользнувшем от Бога к Царю... пробивает себе дорогу основополагающий импульс, скрытый ранее догмой и виноватостью, импульс отцеубийства» (sic!).

И это пишет христианин, ревностный католик — как видно, поверивший во Фрейда больше, чем во Христа.

Дальше в лес — больше дров. Чтобы свести концы с концами, то есть свой подход к русской истории — с ее действительностью, критику приходится много юлить и изворачиваться: в дело идут такие на ходу изобретенные «русские факторы», как «ненависть к себе», уравновешивающая «ненависть к другому»; «ребенок», становящийся «женщиной и самой пассивностью», и даже неистребимое государствовопклонничество, олицетворяющее «инфантильность», и т. п. Тело, ребенок, семья почему-то реальны, а дух, народ, государство — не совсем. А чтобы вывести из-под действия, казалось бы непреложного, эдипова закона «свое», западное, христианство — с аналогичным ведь православному статусом Отца и «Супруга»! — автор привлекает столь же лукавые аргументы, как в случае с христианством русским, только с противоположным знаком.

Однако психоанализ — не единственный и не последний инструмент аутопсии, используемый этим духовным патологоанатомом. Не отказываясь от фрейдовского подхода к национальной психологии, Безансон апеллирует и к богословскому знанию. «Историку, — не без игривости замечает он в более поздней работе „Интеллектуальные корни ленинизма“, — немного богословия не повредит».

Богословский «ключик», которым собрался автор открывать ларчик с залежами русского духа и «порожденной» этим духом революционной идеологией

¹ Теперь аргументация Безансона стала достоянием и определенным образом настроенной российской общественности, так как с конца 90-х годов переводы его книг поступили на наш рынок.

ленинизма, есть — гностицизм; да, да, то самое еретическое учение, из-за которого разгорелся спор во II веке, стало во главу угла и одновременно идеей фикс безансоновской историософии.

Задуманное предприятие удивительно вдвойне. Во-первых, то, что Безансон считает в гностицизме еретическим, при ближайшем рассмотрении на таковое никак не тянет. Ересь гностической доктрины он усматривает в делении мира на два полярных начала — добра и зла. Но в таком виде воззрение гностиков на мировой универсум ничего оригинального по отношению к христианской ортодоксии не содержит: для нее в мире действуют те же контрадикторные начала — то, что от Бога, и то, что от дьявола. Больше того, все исторические системы морали, исключая новейший релятивизм, автор тоже смело мог бы записать в число ересей.

Между тем гностическая ересь коренится не в полярности как таковых начал добра и зла, а в их полярной онтологической укорененности: добра — в духе, зла — в материи, а отсюда и в неизменности их баланса во Вселенной.

Ленин, записанный французским теологом в число ведущих гностиков-манихеев, в этом смысле никак не выбивается из общечеловеческих рядов; неуклонный экономический материалист, имея свои четкие представления о том, что есть добро (победа эксплуатируемого класса) и что есть зло (господство класса эксплуататорского), ни о какой, однако, бытийной полярности этих начал — добра в духе, а зла в материи — не помышлял, будучи неколебимым материалистом и ненавистником «всякой мистики и чертовщины».

Во-вторых, в поисках гностических «истоков ленинизма» исследователь заставляет нас совершать сначала неоправданный взлет в высшие, мистические сферы, а затем — незаконный трансцензус оттуда в социальную плоскость идеологии, не предоставляя нам того необходимого посредствующего звена, которое послужило бы трамплином для подобного перелета. Ведь ни из какой духовно-религиозной идеи спасения с непреложностью не вытекает «однозначной» целеустремленной, собранной в кулак доктрины по переделке мира, возвещенной марксизмом-ленинизмом. Сами решите, что общего между этими двумя сотериологиями, если «дело спасения» гностиков (цитирую Владимира Соловьева) касается только «привилегированных избранных», входящих «в божественную плерому не в полноте своего человеческого существа, с душой и телом, а только в своем пневматическом элементе, который и без того принадлежал к высшей сфере», а «дело спасения», согласно тотальной доктрине двух последних веков, распространяется на весь трудовой народ в полноте его духовного и материального бытия и в самой что ни на есть земной плоскости? При такой разнокалиберности двух учений декларировать их взаимную связь можно, только уступая элементарной логической ошибке *fallacia fictae necessitatis*².

Несмотря на предварительные оговорки автора о том, что идеологическое («советское») сознание должно быть воспринято как нечто совершенно новое и исключено из «вневременного контекста», французский теоретик, подобно большинству других его коллег, эту новизну как раз и игнорирует. Исторический феномен *идеологии* по инерции принимается им за вечный спутник человеческого бытия наподобие таких форм коллективного сознания, как мифология, знание, вера, при этом либо отождествляется с одной из них (у Безансона это — «верование»), либо примешивается ко всем понемногу. Между тем тотальная идеология, о которой здесь как раз и идет речь, имеет дело не с верованиями как таковыми (вера может быть лишь преходящим элементом в ней), не с метафизическими или религиозно-онтологическими идеями-принципами, не с научными концептами, а с идеями-замыслами, идеями-целями; это — новейшая системная организация идейного материала вокруг намен-

² Сочетание доводов, на самом деле с необходимостью не связанных между собой (*лат.*).

ной цели, это — логика идеи, идео-логика. И потому никакие ретроспективные параллели и отождествления ее с древними учениями тут неуместны.

Но автору не до логики и в обычном смысле, он сам во власти идеологической задачи: закрепить за Россией репутацию гиблого места, а для этого за ленинизмом, источником ее бед в XX веке, утвердить репутацию идеологии местного, российского производства и тем обеспечить алиби Западу (откуда дул ветер «пролетарской революции» и «переделки мира по новому штату»).

Эти удобопревратные операции: неразличение сущностей, перестановка причин и следствий, совмещение несовместимого — давно вошли в обиход западной мысли о России, к чему и наш славный властитель дум с атавизмами марксизма, Н. А. Бердяев, тоже руку приложил. Критики не смущаются курьезом такого рода суждений, согласно которому идеология построения невиданного будущего социума и вдохновленный ею переворот во всех сферах бытия и быта России имели своей истинной целью возрождение старого «русского порядка». Сбрасывание всех вещей со своих мест, сотрясение всех оснований, на которых зиждилась страна, называемая Россией, было, оказывается, предпринято для того, чтобы только сохранить извечное бездвижное ее нутро. (И ведь кем было предпринято — верным марксистом, первым учеником и последователем основоположника великого вероучения!). В России после Октября был восстановлен «государственный абсолютизм, хотя и в новом, идеологическом одеянии», только и всего! — заявляет английский единомышленник Безансона Т. Макнил, не видя, что в «одеянии»-то вся соль вопроса. Какое непостижимое раздвоение реальности, какая умопомрачительная дьяволектика исторического разума: чтобы достичь одного, делать противоположное; к примеру, чтобы сохранить такой столп российской государственной жизни, как православную церковь, надо развернуть борьбу на полное ее искоренение, взрывать храмы, расстреливать священников, преследовать верующих, внедрять воинствующий атеизм. В том же духе высказывается о послевоенной ситуации немецкий историк идей П. Бендер: «Под вывеской социализма было провозглашено по всему миру и утверждено вплоть до Эльбы нечто специфически русское»: византийская иерархичность, феодальная система привилегий и т. п.; или американец Ричард Пайпс: политические методы СССР берут истоки «в средневековой деревенской культуре Руси», обычаях московского двора и бюрократических традициях Российской империи; «советская политическая культура коренится в многовековом историческом опыте абсолютизма». И это пишет исследователь и знаток русской политической мысли, автор монографии о П. Б. Струве?! Пишет, проделывая ту же операцию: из-под тоталитарной теории и практики вытаскивается их коммунистическо-марксистское основание и подставляются на это место старорусские традиции. Чтобы не заметить вопиющей несообразности «выведения» Архипелага ГУЛАГ из деревенского русского быта, а массовых чисток — из бюрократических имперских традиций, надо быть ослепленным идеологической сверхзадачей. В этом духе в последние десятилетия звучат отечественные голоса, сперва долетавшие к нам из-за кордона, а с начала 90-х годов — и прямо с российской территории. Д. Зильберман, у которого мы впервые встречаемся с манихейской идеей фикс, А. Янов, с беличьим колесом российской истории, А. Ахизер, отчасти И. Клямкин с его апологией революции как полезного для России способа модернизации и индустриализации и т. п.

Можно гордиться: наш бывший соотечественник Д. Б. Зильберман в поисках «истоков» русских бедствий по экстравагантности своего подхода перекрывает всех зарубежных археологов национального знания. В статье под названием «Православная этика и материя коммунизма» (1974), выступаящим игривой парфразой знаменитого труда М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», Зильберман находит корни коммунистического государства как политической системы в глубинном пласте византийского сознания с его державным мессианизмом и «пантократическими» установками, запрограммированными паламитским православием в образе Христа Вседержителя и его помазанника на

земле, благоверного императора, в дальнейшем — почему-то — способными функционировать и без этой «религиозной оболочки». И не только «без», но и при замене ее истребительным богоборчеством. Марксизм, согласно схеме Зильбермана, сыграл роль повивальной бабки в деле возвращения секуляризирующейся России на старые пути (тот же тезис, что был у Бердяева, тот же, что будет и у Безансона). Никого из них не смущает вопиющее противоречие фактам: «старые пути» должны, казалось бы, означать *реставрацию*, в России же мы имеем дело с радикальной, «социальной» *революцией*.

Как оно ни фантастично, историческим пунктом, который загодя определил торжество коммунизма в России, Зильберман избирает победу, одержанную в XIV веке главой византийских исихастов Григорием Паламой над западными влияниями томизма. К. Маркс (основоположник также и русофобии) своим мессианским учением «лишь напомнил русскому народному сознанию о его традиционных путях».

Каждый раз при знакомстве с очередной такой вариацией на тему российского прошлого не можешь не убеждаться: чтобы сочинять столь изощренные несообразности, надо иметь очень веские причины, а в конечном счете — испытывать живую антипатию к «этой стране», России, которая не заслуживает лучшей участи, чем занимать место изгоя среди народов. Уверенность в этом впечатлении только укрепляется в последнее десятилетие, когда градус неприязни к *настоящему дню* теперь уже иной страны вместо того, чтобы снижаться и сходиться на нет, резко подскакивает и выливается в прямую травлю.

Тот же Безансон, любивший покопаться в русской истории, специализируется теперь на политической дезавуации сегодняшней России, конечно же, не упуская из вида ее «тысячелетнее рабство», глубинную пораженность манихейско-гностиической ересью, всестороннюю охваченность психическими комплексами. Он все больше перекалфицируется в огнедышащего газетного колумниста, специализирующегося на разоблачении нового Карфагена — врага демократических порядков в стране и мире — и предостерегающего мировую общественность от благодушия на сей счет. «В течение десяти лет» пристально наблюдал он за Россией, как она «искала свой путь», и вот «теперь» (!), в начале нового тысячелетия, со всей весомостью этих «проникающих» наблюдений может объявить: «путь этот наконец определился» как путь «лжи, жестокости и насилия», к власти приходят «кровожадные националисты».

А что же вы хотели? С такими-то исходными данными, с такой-то злостной сущностью?! Вот и гибнут невинные «чеченские бойцы», вот и идет генцид «безоружного народа», усиливается нажим на (обделенную ресурсами) Украину и (наделенную прозрачными границами) Грузию и на всякую вообще страну (стоит только ей зазеваться).

Гигантский ком обвинений слеплен Безансоном из двух контрастных материй: с виду — по-некрасовски («ты и могучая, ты и бессильная»), а по существу — издевательски, опять же по отношению к логике. Россия описывается одновременно как «крупнейшая ядерная держава», против которой следует вооружаться, и как скопище неисчислимых недугов, бумажный тигр, коего не страшиться надо, а третировать. Далее у Безансона идет и прямой политинструктаж светским, военным и финансово-кредитным властям свободного мира: ни в чем Россию не поддерживать, «протестовать, закрывать кредиты, разоблачать преступление» (это в связи с Чечней) — в общем, пленным не брать, патронов не жалеть! «Эта просторная больная, а следовательно, опасная зона требует чего-то более сильного, чем снисходительное пренебрежение». Все это и гораздо «большее» российский читатель найдет, заглянув в подборку парижской газеты, именуемой почему-то до сих пор «Русской мыслью», где в последние годы печатался сериал Безансона под названием «Бедствие века» и другие крутые тексты.

Аттестации, пригвождающие Россию к позорному столбу, мы сегодня найдем у большинства историков-русистов и бывших советологов, таких, как тот

же Р. Пайпс и З. Бжезинский. Но идеологическое наступление и не столь ангажированных прежде западных коллег на вырвавшуюся из тоталитарного обруча страну в высшей степени загадочно. Между прочим, крайне загадочно и даже поразительно случившееся с респектабельной до того времени эмигрантской, тогда еще парижско-московской, «Русской мыслью», в мгновение ока сменившей орала на мечи: в ночь с 22 на 23 сентября 1999 года Россия на ее страницах перешла из положения страны, вызывающей сочувствие в своем противоборстве чеченскому терроризму, в категорию губительницы малого народа, а чеченские боевики превратились в доблестных бойцов сопротивления. Мало того, и с германской прессой произошло буквально в этот же час нечто подобное... Где тут собака зарыта?

Речь ведь идет не о каких-нибудь гонимых из левой своры, которые мстят России за ее предательство социализма и мировой революции, но об уважаемых ученых. Попробуйте объяснить, что толкнуло на этот путь нашего французского академика, аналитика тоталитарных идеологий, никогда не бывшего леваком вроде Глюксмана и в конце концов единовеца по христианству? Неужто болят старые раны, говорит застарелый имперский синдром, обида на Россию, в бескрайних снегах которой растворилась непобедимая армия Наполеона в 1812 году?.. Нет, такой мотивировки будет явно недостаточно для объяснения накала безансоновской русофобии. И как быть с американским гражданином Р. Пайпсом и ему подобными ругателями России со всего света?

Напрашивается предположение, что постиндустриальный Запад вступил в (быть может, все же прерванную 11 сентября) стадию *самоидеализации*; устами Фукуямы он возвестил о конце беспокойного исторического эона и установлении отныне стабильного порядка правового демократического образца. Но чтобы привести в соответствие с декларацией реальную действительность и куда-то списать ее явные шероховатости: шатающуюся валюту, рост мафиозных группировок, антиглобалистское наступление красно-зеленых и попросту радикально-деструктивного элемента, — требуется супостат. Причем он должен быть не далекой внешней силой, «желтой опасностью», а всепроникающим племенем, каким до сих пор служило еврейство (вспомним дело Дрейфуса, затеянное в той же Франции для списывания ее политических неудач). О, если бы никто не мешал! Переживается ровно та же утопия, которую мы переживали под советской властью: чтобы понять, почему светлое коммунистическое будущее никак не переходит в настоящее, ей требовалось «империалистическое оружие», всеми правдами и неправдами внедряющееся в нашу жизнь: «их нравы» — не наши нравы, их «загнивающий строй» — не наш, несущий счастье и справедливость всему человечеству. Между тем если о социализме распространялось вранье, то о капитализме, как мы теперь прочувствовали, говорилась некая правда. И он, как и социализм, сам порождает своих гробовщиков: «красная идея» — неизбежный спутник буржуа; красно-зеленый афронт — спутник глобального буржуа.

И так же, как советский режим держал «границу на замке», комфортно устроившееся западное сообщество, «золотой миллиард», ищет спасения в «санитарном кордоне» от некоей вредоносной нации.

На эту вакантную роль естественнее всего назначить «непохожую на нас» Россию, к тому же «местоблюстительницу» «империи зла». Именно потому в западной политологии так усиленно проводится идентификация русского и советского — от этой нации, в какой строй ее ни помести, ничего доброго не получится.

Черный сентябрь 2001 года, как сейсмический сдвиг, обнажил грозную подпочву современной цивилизации. «Вакантная нация» подтвердила свою принадлежность к этой цивилизации, выступив ее опорой на Востоке. Но даже и теперь, после того как нью-йоркская катастрофа помогла Западу открыть глаза на подлинную, небывалую еще угрозу, его идеологическую элиту это не сдвинуло с прежних антирусских позиций.

2. Красное и белое

«Кто ж заступится за землю русскую и послужит ей верой-правдою?» — поется в былинах.

И вправду — кто?!

Кто в стране готов бросить свои интеллектуальные силы на то, чтобы противодействовать наступлению ярых ее неприятелей на фронте обновляющейся, увы, «холодной войны»? Взоры свои, очевидно, следует обратить прежде всего на тех, кто сам себя считает выразителем патриотической мысли и всегда особо чувствителен к «западной угрозе». Берем в руки выпущенный на рубеже столетий издательством журнала «Москва» программный сборник «Русский узел», участники которого выражают озабоченность как раз стратегическими для России вопросами: ее перспективами «в мировом пространстве», «осмыслением государственного и духовного опыта», сохранением ее «исторической личности», а в конечном итоге — «разработкой и формулированием Большой Идеи России». Это как раз то, что нам надо.

Среди авторов «Узла» есть и кадровые идеологи обоюдоострого патриотизма, и новобранцы-рекруты из дальних социологических областей, увлекшиеся горячими темами политики в модном стиле Гаусгофера и Тириара; есть специалисты широкого профиля по «русской ментальности» и «русской особности», поклонники Н. Я. Данилевского. Есть среди защитников отечества и разномыслие, а больше — разночувствие: у одних настроение взлетно-мечтательное, у других — мрачно-суровое. Однако обнаруживаемая по ходу знакомства с ними общность перевешивает интеллектуально-психологическую разность, что и дает им основание находить приют под одной обложкой.

Так, вооружившись идеей геополитического структурирования планетарного пространства по ландшафтному принципу: атлантического «океанизма», или «римленда», и евразийского «континентализма», или «хартленда», социолог А. С. Панарин³ (статья «В каком мире нам предстоит жить?») хоть и пугает вершителей судеб нашего Русланда и подталкивает их быть побойчее в деле собирания континентальных сил и воссоединения отпавших народов («пассивность России становится... преступной»), но победу над европейским атлантизмом, в общем, считает у России в кармане. Запад иссяк, «разучился вдохновлять человечество большими историческими перспективами» (да и вообще объявил «конец истории»), погряз в технологизме и потребительстве. России осталось только «разработать альтернативную формационную (ни больше ни меньше. — Р. Г.) идею», ту «Большую Идею России» (далее — БИР), которая положит начало совсем иной общественной формации, или, как любят теперь при любом случае выражаться, иной ц и в и л и з а ц и и. Причем она не должна быть возрождением прежних единящих принципов иудео-христианской цивилизации, общих у нас с Европой (Боже упаси!). Напротив, искомого поджидает нас в обратном, восточном направлении — в подтверждение чего автор выдвигает ставший уже популярным аргумент: «этикоцентричным» оказывается российское и исламское человечество — это близнецы-братья по одинаково присущим им началам нравственности (в контраст, значит, с братьями нашими по христианской вере во всем мире?). Аргумент новейший, но род недуга старый, евразийский: развести между собой близкое и сблизить дальнейшее.

Ах, в каком чудном исламском хартленде нам предстояло бы жить, если бы сегодня не оказалось все наоборот и у нас не осталось иного выбора, как — и вправду морально «иссякший» и не любящий нас — европейский «атлантизм»!

Но вернемся к патриотическому заданию.

³ Ныне лауреат премии Александра Солженицына, присужденной за его книги «Реванш истории» (1998) и «Искушение глобализмом» (2000).

Итак, срочно нужна идея, содержание которой неизвестно (ведь ее, согласно Панарину, еще предстоит выработать), зато эффект, ожидаемый от нее, доподлинно известен и четко прописан. Известно, что она будет «постиндустриальной», то есть не индустриальной, но и не какой-нибудь известной ранее до-индустриальной (не пешком, не верхом, не утром, не вечером, как в сказке о Василисе Премудрой); что эта новая российская цивилизация будет основана на некой «самодетальной морали, связанной с самодисциплиной». Тут приходит на ум пророчество о наступлении «четвертичной цивилизации», но уже не «досуга», как предрекали изученные автором французские социологи Ж. Фурастье и Ж. Р. Дюмазедье, а, наоборот, — о цивилизации напряженного труда, концентрации сил à la М. Вебер. Что ж, отлично, наконец-то простой россиянин перестанет находиться в расслабляющей атмосфере гедонизма. Однако встает вопрос, что же именно подвигнет его отказаться от манящих усад «цивилизации досуга» (если, конечно, речь не идет о трудовой мобилизации). Прямого ответа на это у автора нет. Но кое-какие косвенные зацепки имеются.

Чаемая цивилизация, по Панарину, должна будет сформировать новый, формационный, опять же, тип человеческой личности, который (внимание! разрядка моя. — Р. Г.) должен быть способен к «расширению своего пространственного ареала». То есть речь идет о еще одном «формировании нового человека», со сменой равно недухоподъемных девизов: с капиталистического «Обогащайтесь!» на патриотический «Расширяйтесь!». При этом автор не замечает, что его будущий насельник (бывшей) Российской империи теряет свою *differentia specifica*, свой «этикоцентризм», сближаясь с киплингским типом завоевателя, покорителя просторов, но уже, разумеется, не морских («океанических»), а «континентальных». Только вот найдет ли беспокойный панаринский идеал расширяющейся вселенной «хартленда» отклик в русской душе, еще таящей в своих глубинах царственный образ бывшего российского величия, не одной величию пространству определяемого?..

Ксения Мяло смотрит на эти широковещательные фантазмы с нескрываемым скепсисом, если не с брезгливостью, с порога отмечая «неоевразийские игры», которым предалась часть (и в «Узле» это большая часть) патриотической оппозиции, увлекшаяся совершенно «ложной, мистически взвинченной идеей некоего вечного противостояния „Океана“, „атлантизма“ (в Новой истории — США и Англия) и „Континента“, „евразийства“. В Европе оно будто бы олицетворяется Германией... в мире — восходящим политическим исламом, Китаем» и т. п. (из ее статьи «Евразийский соблазн»). Для Мяло «русский узел» затянут туго и сам в свою очередь состоит из множества узлов. Как с высокой спицы, обозревает она дальние горизонты, не ограничиваясь «стратегическим» западным направлением, ибо — враг коварен и вездесущ и с востока лезет та же западная рать. Втянув Россию в евразийский маневр, так называемые континенталисты хотят сначала использовать ее потенциал, а потом дать ей раствориться в мусульманском мире.

Спасибо, конечно, автору за отпор популярной среди патриотов «евразийской идее» (в которой «пространственная горизонталь полностью возобладала над духовной вертикалью»), отпор не только в новом, но и в прежнем ее варианте, где России еще отводилась «самоценная роль». Мяло на удивление для группового идеолога независима от господствующих пристрастий. Однако странности, которые сопровождают это обличение неоевразийства, пугают не меньше, чем приносят удовлетворение. Так, к примеру, у Мяло оказывается, что злосчастное увлечение последнего десятилетия евразийством «связало русско-российский патриотический импульс, направив по д н и м а ю щ у ю с я в о л н у (разрядка моя. — Р. Г.) в тупик». Странные, согласитесь, силовые линии рисуются в сознании этого автора. Неужто по поводу сербских событий в России накалилась такая мощная общественная реакция, что она была способна вывести национальное самосознание на новый — на улицы и площади — уровень? И неужто в то же время в тиши кабинетов вызрела другая «волна», которая сумела перехлестнуть и сорвать ширящееся народное возмущение? Од-

нако самое фантазмагорическое — это вывод, сделанный автором из противоборства двух уже упомянутых геополитических антагонизмов. Мяло усматривает тут инсценировку, срежессированную неким «общим хозяином», автором обеих (!) концепций (то есть США), специально, чтобы облапошить Россию, — так сказать, секрет черта, засекреченный от задействованных им чертей, — к тому же черта, раздвоенного внутри себя и ухитрившегося участвовать сразу на противоположных сторонах.

Однако вернемся к панаринским конструкциям.

Как и всякий злободневный вопрос, геополитика, попав в сферу действия патриотической мысли, сразу же подвергается деформирующему воздействию со стороны ее сверхзадачи (в духе Карфаген, в данном случае уже Запад, должен быть разрушен!). Причем в соответствии с основным законом идеологии, — пока она не у власти, — ее постулаты с ходом времени все более радикализуются и поднимаются до новых обобщений (в чем легко убедиться, листая номера «Нашего современника» и «Москвы» за предыдущий год).

Еще недавно, мы помним, А. С. Панарин в своих стратегических рассуждениях держался рамок геополитики светской, внутри которых православие не было уготовано какого-либо места, оно не входило в число фундирующих факторов текущей российской истории («фундаменталистский потенциал Православия исчерпан уже давно»). Но вот проходит два года, и в том же журнале «Москва» (за март — июнь, август 2001 года) появляется комплект его обширных текстов под знаменательным названием «Православная цивилизация в глобальном мире». Это и есть БИР Панарина.

И мы убеждаемся, что автор совершил большой скачок — от земно-водных дистинкций к небесно-земным генерализациям, согласно которым «потенциалу Православия» еще только предстоит раскрыться.

«На вызовы нового глобального порядка» Панарин решил ответить своим, российским, глобальным порядком, базирующимся на «православном архетипе»; «необходимо, чтобы и российская сторона сумела наложить на современность свою творческую печать... чтобы зазвучал и наш собственный голос». Что касается последнего пожелания, тут все понятно: «творческая печать» и «голос» — вещи самостийные, что с них взять? А вот насчет «православной цивилизации» — это большой вопрос. Что останется от нее, если вычесть «христианскую цивилизацию», куда вместе с православием входят две другие, еще большие, конфессии? (Правда, как замечал пророк XX века Н. Бердяев, можно быть православным и не быть христианином.)

Тут кстати заметить, что в последнее время понятие «цивилизация» и производными от него («цивилизационный вызов», «цивилизационный конкурс» и т. п.) охотно злоупотребляют. Понятие «цивилизация» потеряло свои содержательные критерии, но не утратило прелести чего-то очень масштабного. Между тем «цивилизация» родственна слову «цивильность» со всеми обертонами, вплоть до понятия «город», и до сих пор трудно представить себе такую «цивилизацию», которая не была бы отражена в устройстве социума и определялась бы по вероисповедному признаку. Тогда пришлось бы признать, что может быть цивилизация, «признак» которой витал бы только в головах (то есть, согласно фразеологии автора БИР, мог бы быть только «ценностно-нормативным, духовным» атрибутом) и притом каким-то образом входить в плоть общественно-государственного устройства. Все это вызывает образы теократии. Панарин же рассуждает о «православной цивилизации» применительно к сегодняшнему, светскому государству, находящемуся среди других государств секулярного мира. Или как?

Так или иначе, поскольку нам в этой цивилизации предлагается жить, надо поближе познакомиться с ее основаниями, изложенными в программном сочинении Панарина (в виде отдельного издания, получившего ныне Литературную премию Александра Солженицына). Оно во многом уникально. Автор как будто задался целью не оставить непотревоженным ни одно из направле-

ний мысли, ни одно из славных имен прошлого и звонких имен сиюминутного — от Григория Нисского до Владимира Высоцкого. (А если имени последнего вы вдруг не обнаружите — кто же может ручаться за всю тамошнюю личность? — то все равно народный любимец окажется представленным да хоть бы мотивом необузданной русской вольницы и воспетых нашим бардом необъезженных, «привередливых» коней в пику скучному, «иерархическому» порядку «латинского мировоззрения» — вот так!)

Предоставив нам некую «сумму» обзрений по всем гуманитарным вопросам от Ромула до наших дней — по истории политических и культурных идей, философии, политэкономии, языкознанию, включая структурную лингвистику Соссюра, постструктурализм Бодрийяра, деконструкционизм Дерриды, по догматике (с акцентом на отцах каппадокийцах и Григории Паламе), правилам христианской жизни, — автор БИР демонстрирует, что он не какой-нибудь кулик на родном болоте, а, что называется, *up to the mark*, в курсе всех последних мировых веяний, а потому его БИР возвышается над аналогичными сценариями будущего как Монблан аргументов и фактов. Но вся эта громада не заслоняет того недоумения, которое рождается при ознакомлении с внутренними сцеплениями конструкции.

Поскольку в любом обозреваемом культурном отсеке можно найти весь набор клише, которому положено иметься в активе культурного человека, то на первых порах создается впечатление, что автора захватила идея ликбеза своих соотечественников, а то и вообще современников.

На каждом шагу мы встречаемся с давно перемытыми косточками культурфилософских наблюдений; нас оповещают о дефектах «просвещенческого гуманизма», вылившегося в «идеологию сверхчеловека» и даже в «самоуверенную бездуховность», о «срединной культуре» Запада (кивок Н. А. Бердяеву), о его рационализме (да здравствуют Кьеркегор, Шестов, экзистенциалисты!). Повсюду видны вершки давно переговоренных контроверз вроде противоречий между свободой и справедливостью. В религиозном разделе нас знакомят с азами христианской веры, для чего мы должны уяснить истины, содержащиеся в цитатах: «Бог есть любовь», «Не любите мира и того, что в мире», «Царство Мое не от мира сего», «А Я вам говорю, не противься злему», «Из глубины воззвал к Тебе» (превратившегося в более привычное для научного работника «вызван к Тебе», ну да ладно, тут не до мелочей). «В Христе спасается не только человек, но и весь тварный мир», — объясняет нам автор БИР, при этом он поднимается до экзегезы паламистской энергийности, «тайны священнобезмолвствующих» и до экзорцизма «человеческой скверны».

Однако, несмотря на засилье в тексте *commonplaces*, популяризаторским его не назовешь. Разъясняемые предметы вовлекаются в такие причудливые связи, что доступ к ним оказывается безнадежно забаррикадированным посторонними вещами. Вот речь идет об экономике; казалось бы, в самый раз, если всплыло имя С. Н. Булгакова, вспомнить его «Философию хозяйства», а нет — аналитик привлекает к делу «Философию имени». Заговорив о христианском символизме, автор тут же приплетает сюда героя структуральной лингвистики Ф. Соссюра, от которого, как и от М. Фуко, Делёза, Лакана и т. п., на страницах БИР нет никакого прохода. Учтем, однако, что хватать откуда ни попадя — это как раз метода постструктуралистов-постмодернистов, а не православных экзегетов.

В итоге, описывая известный предмет, теоретик придает ему черты, лишаящие его сходства с самим собой; под внешне популяризаторским изложением скрывается такая своевольность взгляда, которая представляет нам невиданных кентавров.

Исихастскую практику «умной» молитвы, вызывающей «ощущение теплоты в теле», автор толкует как прилив «благодатного эр о с а». Но такого оборота от св. Григория Паламы до сих пор никто не ожидал. Вероятно, это и есть та самая «тайна священнобезмолвствующих», засекреченная от самих священнобезмолвствующих, но открываемая нам вдохновенным толкователем сейчас.

Беда в том, что перетолкованию подлежит у Панарина все православие в целом, выдвигаемое им на роль столпа и утверждения альтернативного миропорядка. В пику западному «онтологическому аскетизму» оно характеризуется как «праздничное мирозерцание», которое «сумело донести до нас животворную энергетику языческого эроса... и не позволяет подавлять природное начало, открывающее естественное человеческое стремление к свободе выражения». И вообще «жизнь есть празднество чувственной тотализации», — от имени ортодоксии провозглашает на своем языке Панарин. Нетрудно сообразить, что то, что автор здесь объявляет православием, сто лет назад называлось «новым религиозным сознанием», или «неохристианством» (о коем почему-то умалчивается в его вышеописанном компендиуме) и расценивалось как языческая ревизия христианства. Сами «неохристиане» также отдавали себе отчет в предпринимаемой ими реформации через «расширение» христианского мировосприятия, и тоже за счет «праздничных» начал (реабилитация пола и земной любви у В. Розанова, «Третий завет» у Д. Мережковского, экстаз творческого самовыражения у Н. Бердяева). Они мечтали дополнить религию «Бога страдающего, умершего на кресте, богом Паном, богом стихии земной, богом сладострастной жизни...» (Н. Бердяев).

У Панарина, внесшего такой же принцип дополнительности в православное вероучение (и даже с расширением земных стихий до маловнятных, но зато каких грандиозных, космических), осознания производимой им перекройки не происходит. Мало того: что было только еще задано у неохристиан, тут трактуется как уже данное, имеющееся в полной наличности. И это вдохновляет нашего интерпретатора на поэму об эксклюзивном типе православно верующего в России: «Только по русской бескрайней равнине шествует этот характерный, часто социально убогий, но космически насыщенный, эротически взволнованный человек».

Однако разница между умонастроениями начала XX и началом следующего века не только в степени самоотчетности и концентрации пламенного тумана, но и в авторском целеполагании: те, прошлые, «неохристиане», уже отчасти расшатанные, но еще добросовестные умы, не выходили за пределы своего предмета и не ставили никаких посторонних ему целей; современный мыслитель весь настроен на ниспровержение внеположного предмета, на разукрашивание «образа врага» и при помощи стилизованного православия иллюстрирует известный тезис «два мира — два итога».

На православие у Панарина лег основной груз — служить не только благим антиподом остальному христианству, но и исходным образцом для альтернативного западному русскому экономического порядка. С этой целью автор подхватывает на том же Западе, у этнолога-социолога М. Мосса, теорию «дарения», практиковавшегося племенными общинами в неолитические времена в качестве регулятора хозяйственной жизни, столь отличающегося от современного стоимостного обмена. Не знаю, с кем страстно полемизирует автор БИР, противящийся холодной расчетливости этих отношений, где действует бессердечный «экономический человек», только до сих пор они вовсе не исключали сверхэкономических связей между контрагентами. Более того, сам А. Смит предлагал это понятие — «экономический человек» — лишь как отвлеченную модель для анализа определенных хозяйственных механизмов, действующих в буржуазном обществе. Но даже он не собирался вкладывать всю мотивацию социальных отношений в чисто экономический интерес.

Панарин вроде бы понимает, что ни на голом меновом отношении, ни на чистом «экономическом человеке» не держится никакое общество, но впадает в нарочитую запальчивость. Впрочем, ломиться в открытые двери — такой же любимый прием мыслителя, как и прорубать их там, где нет прохода.

Момент «дарения» нельзя отмыслить от добросовестного труда, будь он при капитализме или при неолите; и пока действует трудовая этика, в товар будет вложен элемент, никакой стоимостью не определяемый. Скажем, та самая «ру-

копись», в которой присутствует «вдохновение», имеет свою товарную стоимость именно благодаря этому добровольному «дарению» поэтом своего дара.

И потом, что за практический резон имеют ностальгические взывания к «добржуазным» временам неолита с их «открытостью к бытию», «без восставления которой нам суждена гибель», если совершенно непонятно, на какой кривой козе к ней, открытости, можно подбехать. Любитель дефиниций мог бы назвать такую установку кликушеским утопизмом, использующим чревоушительные категории Хайдеггера и сентиментальные — «Коммунистического манифеста».

А резон — все тот же, идеологический: обличить Запад, этот клубок змей, по всем статьям. Автор движется напролом, не разбирая дороги. Оказывается, «православный архетип» противодействует вредной «иерархической организации социального пространства», которая мешает предстоять непосредственно «перед лицом Христа» и осуществлять «выход в космос» (!). Но куда подевал автор иерархичность, пронизывающую саму ортодоксальную институцию с ее священноначалием, которое так и именуется «иерархией»? И что такое боготворимый Панариным «космос», как не иерархически устроенный «порядок» (а другого порядка не бывает)? И что есть Логос, как не устрояющий смысл, то есть «закон», которому автор противопоставляет «веру»? («Россию всегда спасал не закон, а вера», — возвещает он). Но разве это враги, а не союзники? Иначе говоря, нам предлагают «спасаться» на путях космического анархизма, что на деле грозит торжеством «смесительного упрощения», или энтропии.

Но конкретная мишень БИР — это либерализм, причем не беспочвенный и аномальный сегодняшний, а либерализм классический. Именно им пугает нас Панарин на каждой странице своего манифеста. Однако ограничимся абзацем, где обозначен окончательный, включая личный, разрыв с либералами (хотя на кого конкретно обижен автор, мы так и не узнаем) и дана вроде бы самохарактеристика: «Тех... кто действует в парадигме дарения (то есть единомышленников БИР. — *Р. Г.*), они подозревают в социальной невменяемости, в крामольном космизме, в инопланетарной пассионарности».

Между тем этот самый основополагающий для европейской цивилизации классический либерализм, предаваемый Панариным анафеме, — принцип не только согласный с христианством, но и выросший на его почве.

В качестве образца общественного устройства, альтернативного «безблагодатному... упорядоченному (это плохо! — *Р. Г.*)» европейскому государству, автор выдвигает «ранний монастырский „социализм“ с его отрицанием частной собственности и отказом от всякого имущества», он ссылается на опыт «космического отшельничества харизматиков, превращающих свои кельи в новую модель общежития». Но поскольку автор БИР занят устройением светского, а не монашеского общежития, то надо понимать, что в кристаллический остаток у него выпадает все тот же коммунизм. Стоило ли тревожить тени великих предков, святых отцов, когда есть Карл Маркс?

Несмотря на всю психологическую разницу между «политологами патриотического направления» (выражение К. Мяло), разницу между хлестаковщиной и фанатизмом, весь лагерь в целом склоняется к тому же краснознаменному общественному идеалу, весь враждебен либерализму и Западу, а теперь также — и новой России, чтит государственную мощь, какова бы она ни была, одержим масоноискательством, то есть разоблачением заговорщиков («мировой закулисы»). Эти системообразующие черты не оставляют надежд на то, что из недр данного патриотического направления появится нечто утешительное для России, плодотворное и способное защитить честь страны от ее очернителей.

Сегодняшняя «патриотическая мысль» не может противостоять новому, антирусскому «нацизму» уже по одному тому, что, являясь зеркальным его отражением, она совпадает с последним во взглядах на российскую историю, пережившую тоталитарную коммунистическую утопию, как на единый и преемственный поток, хотя оценивается этот поток противоположным образом. «Бывший Советский Союз — наследник тысячелетней истории наднациональ-

ной российской государственности», — с порога объявляет один из авторов «Русского узла» А. Иванов, дословно совпадая с западными обличителями России, видя в советском периоде триумф российского бытия. В унисон с А. Ивановым высказываются и остальные коллеги по «Русскому узлу», с разной степенью декларативности выражающие ту же убежденность. Так, А. Минаков подлинно «трагическими» называет события, «пережитые за последние несколько лет», а не за предыдущее семидесятилетие с его террором, ГУЛАГом и коллективизацией. И какую тризну справляют эти любители Родины по ней в годовщины августовского освобождения и провалов путчей!

Источник извращенных, перевернутых представлений у наших патриотов в том, что им ничуть не дорога идея свободы и у них нет отвращения к насилию над человеческой душой, будто они подверглись операции по удалению гипофиза, как в замятинской антиутопии «Мы». Бог у них не в правде, а в силе.

Подобно всем имперсоналистам-этатистам, нынешние российские патриоты рисуют историческую картину и оценивают события, не принимая во внимание того, что дороже всего на свете, — судьбу человеческой личности. Для них хорошо то, что служит укреплению государства («Державы»). Из знаменитой двусоставной характеристики России как образа «Империи и Свободы» здесь признается только одна половина. Но Империя без субстанции Свободы теряет свое подлинное величие и становится торжеством голой мощи.

Конкретная история России на патриотических страницах так же искажена, как и на страницах русофобских.

Во время той самой Второй мировой войны, которая служит безотказным алиби для патриотов сталинского режима, время, когда российский народ оказался зажатым между двумя огнедышащими драконами национал- и интернационал-социализма, «коричневым» и «красным», свободный мир Запада, который Мяло расписывает как клубок дьявольских интриг, оставался единственной надеждой человеческой личности на Востоке Европы. Потсдам и Ялта, где западные лидеры малодушно «сдали» народы Восточной Европы Сталину, для нашего патриотического автора — большое достижение. Что ж, логично, ведь державная масса увеличилась. Так сталинская аннексия восточноевропейских стран вписывается бестрепетной патриотической рукой в органический ход российской истории. Зато «является ли нынешняя Российская Федерация наследницей и преемницей исторической России... которая продолжала существовать в форме СССР», — это для Мяло «вопрос не праздный». Ликвидация партократического режима тоталитарной утопии, возврат страны в естественную колею именно «*исторического* государства» в противовес утопическому коммунистическому, великое революционное событие августовской *контр*революции, совершившей обратный по отношению к Октябрю, реверсионный ход, объявляется патриотами «роковым событием» — разрывом исторической преемственности. Что ж, опять логично — с количественно-силовой точки зрения.

Не правда ли поразительно, что люди, претендующие на патриотизм, а следовательно, призванные рассматривать происходящие в России перемены с точки зрения сохранения ее национального лица, этоса и традиций, производят оценки прямо в противовес своим декларациям. Совсем как наш недоброжелатель А. Безансон, они приписывают Октябрьской социалистической революции общие с Россией цели.

По ходу чтения текстов нетрудно заметить, что факты тут отобраны по принципу «выборки из толпы» (в чем так преуспел «верный Руслан» из одноименного романа Г. Владимова), а объяснение их причин принимает форму, соответствующую потребностям коммуно-патриотического мировоззрения. Утрата Крыма Россией и «распад Союза», заложенные и в ленинско-сталинской национальной политике, и в хрущевском волюнтаризме, на чем стало легко сыграть местным националам, приписаны опять же «проискам Запада» и новому российскому курсу. И так по всем пунктам нашей новейшей российской действительности.

Основной водораздел между тоталитарным и правовым устройством общества в патриотических высказываниях усиленно замутняется подменными внешне-социологическими, демагогическими водоразделами: к примеру, между «культом богатства» и «социальной справедливостью», неотторжимой для нынешнего ходатая за Россию от «красной идеи» (!)⁴. Символика цветов здесь кричащая. Для «первой волны» высланных из России представителей ее культуры используется термин «белый» не без большевистского противопоставительного обертона («белоэмигранты», «белогвардейцы», «белофинны», «белополяки», «черные флаги белой эмиграции»). Так оно и есть: патриот разошелся со своей родиной — он оказался «красным», в то время как историческая Россия — «белая». Видно, перед нами патриоты не России, а мировой революции.

3. Ряженные

Чем больше доля правды, тем крупнее ложь.

Мой афоризм.

Однако в самое последнее время на идейной российской сцене появилась более хитрая формация профессиональных патриотов (из бывшей партноменклатуры), объявляющих себя антикоммунистами. Новый ведущий обозреватель «Литературной газеты» А. С. Ципко, собирающий там «круглые столы» единомышленников, питомец Идеологического отдела ЦК КПСС, заверяет общественность, что антикоммунистические убеждения он впитал с молоком бабушки, однако читатель газеты попадает в положение буриданова осла. Негативное упоминание в заявочной статье от 23 — 29 мая 2001 года «Ослепление и наказание» о «зверствах победившего Октября, зверствах коллективизации и сталинских чистках» выглядит на фоне остального, высказанного здесь, очень сиротливо, как отписочная скороговорка. «Мы, антикоммунисты, — заявляет Ципко, — разоблачали преступления ленинцев». Может быть, какое-то «мы», к которому причислил себя автор «Ослепления», это и делало, но сам он занялся «разоблачениями» как раз антикоммунистов, противников этих самых «ленинцев», так что мог бы заявить о себе, подобно «электику» из «Записных книжек» И. Ильфа, запутавшемуся в своих отношениях с эклектизмом: «Я антикоммунист, но к антикоммунизму отношусь отрицательно» (а соответственно к коммунизму — положительно).

Посудите сами. Текст переполнен проклятьями по адресу «преступного режима Ельцина», «воровской приватизации», разбазаривания «геополитических преимуществ» страны и вообще всеми алармизмами коммуно-патриотов:

ограбление народа,
взрыв преступности,
падение рождаемости,
взлет смертности
и т. п.

И еще — инвективами в сторону интеллигенции: об игнорировании ею «интересов населения», бесчувственности к бедам народа, безответственности перед ним. (Наличествует, конечно же, и дежурная для «патриотов» тема с лицом еврейской национальности: «они» сделали революцию 1917-го, и если по чести говорить, то и революцию 1991-го). Что ж, половина правды здесь есть, а возможно, и чуть больше. Но мы знаем, что такое половина правды.

И вот беда, правда эта — фактическая, а не логическая; налицо грубый казус fallacia suppositio nis, ошибка из-за неправильного допущения (в данном случае — намеренного). Корень беспорядка в стране не в том, что к ее управ-

⁴ Мяло К. Незамиренная Россия. — «Наш современник», 2000, № 6, стр. 198.

лению пришли злонамеренные лица, замыслившие ее развалить (что соответствует масоноискательской установке коммуно-патриотов и оголтелой игре на заговорах), а в ее, власти, неспособности обуздать при режиме свободы и на неохватной территории вырвавшиеся на волю дикие страсти наживы и самоуправства.

Сегодняшняя наша демократия плоха, кто спорит, однако что же из этого следует согласно логике новейшего «антикоммуниста»?

Почитаем. «Ленинцы... все же осуществляли культурную революцию (*воинственно-атеистическую*. — Р. Г.), дали миллионам детей право на бесплатное образование (*стать образованцами*. — Р. Г.), на духовное здоровье (*идеологически нагруженное*. — Р. Г.)... личную безопасность» (*особенно учитываемая разбегжающие по ночам «воронки»*); «за 10 лет они (россияне. — Р. Г.) потеряли (! — Р. Г.) контроль над властью, финансами, средствами массовой информации» (куда же смотрела партия, если «россияне» все семьдесят четыре года все это *имели?*) Прибавим к этому соображения Ципко о том, что «антикоммунистические революции (главным образом августовская, *свергшая партократию*. — Р. Г.) более аморальны, чем социалистические» (*где людей уничтожают целыми классами*), в них была «романтика» (*«шашки наголо!»*), «связь с христианством». (В общем, большевистские разбойники более гуманные разбойники, чем демократические.) Прибавим, что автор объявляет преступной частную собственность и собственность на землю...

Так кто же такой наш автор?

Понятно, что, устраивая разнос новому общественному строю, автор рассчитывает повысить свой рейтинг, ибо отвечает запросам массы неудовлетворенных и разочарованных людей. Непонятно, однако, зачем. Ведь он не принадлежит к политическим фигурам, которые, оседлав оппозиционного коня, мечтают въехать во власть: одни по неотвратимой инерции (Зюганов), другие по страсти (Явлинский). Расчет на что мы имеем в данном случае?

Серия залпов по единственной действительно не- и антикоммунистической группе политиков, тогда еще не слинявших в оппозицию, по «антигосударственной программе кремлевской СПС», ради чего Ципко собрал команду из С. Кургиняна, И. Клямкина и таких же близких по духу политологов, оповестила вместе с тем общественность о рождении унии самовыдвиженцев в советники президента. Пока что, как сигнализирует главе государства эта «новая патриотическая генерация» объявивших себя демократами, его, увы, окружают разнообразные не те, среди коих самые не те — это, конечно, недавние демвыборцы-реформаторы, разрушители страны; и потому президент должен остро нуждаться в команде, которая «сможет выработать осмысленную политику». Вы догадываетесь, на какую команду тут намекают и чем может она помочь России?

Однако зачем рядиться в одежды «демократов»? А затем, чтобы своим выпукло-вогнутым обликом соответствовать идеологическому постмодернизму текущего момента.

А. Ципко подчеркивает свою близость к А. И. Солженицыну. Однако то, что у вернувшегося на родину писателя было реакцией отчаяния и боли от вида земли русской, у Ципко стало плановой пиаровской акцией. И конечно, Александр Исаевич, пусть и без оглядки обличая современный политический курс в стране, тем не менее не делает реверансов перед коммунизмом (согласно своей любимой пословице «Волка на собак в помощь не зови»).

(Окончание следует.)



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ВЛАДИМИР БОРЕЙКО



ДИКАЯ ПРИРОДА: ЛЮБИТЕ ИЛИ НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ

Охрана природы как культурное дело и религиозный опыт

Все прекрасно, когда выходит из рук творца,
все искажается в руках человека.

Ж.-Ж. Руссо.

Я бы хотел сказать несколько слов в защиту свободной природы, этой дикой, удивительной, совершенно иной цивилизации, с каждым днем все стремительней исчезающей с планеты Земля. Я бы хотел поднять вопрос о ее праве на существование, свободу и достоинство.

Человек наконец-то понял, что все люди имеют одинаковое право на жизнь и свободу, независимо от их цвета кожи, расы, национальности. Теперь человеку пора понять, что дикая природа и ее виды также имеют равную с человеком ценность и собственные права. Как и у человека, у всякого животного или растения только одна жизнь, а Земля — единственный дом. К сожалению, дикая природа не может ждать. И если экологическая этика будет распространяться так же медленно, как демократия, может просто настать день, когда дикой природы на Земле больше не останется...

Отношение к дикой природе как к пустырю, неудобью, бесполезному и этически неценному месту, которое обязательно нужно использовать, покорить, улучшить, возделывать, украсить, являлось доминирующим в СССР.

Несмотря на все потуги экологического образования, и по сей день для большинства наших соотечественников дикая природа, к сожалению, то самое «иное», которое нужно покорить и изменить. Даже в природоохранной деятельности до настоящего времени господствует антропоцентрический подход, суть которого хорошо передает известный лозунг: «Все для блага человека, все во имя человека». А значит, нельзя быть спокойным за будущее дикой природы.

Ее спасение не только в новых заповедниках и питомниках редких видов, а прежде всего в перемене нашего отношения к ней, которое может быть выражено в новом лозунге: «Не все для блага человека, не все во имя человека».

О различных подходах и ценностях такого нового отношения к дикой природе я хочу порассуждать в этом эссе.

Борейко Владимир Евгеньевич родился в 1958 году в Свердловске. Закончил Донецкий университет. Живет в Киеве, где возглавляет Киевский эколого-культурный центр. Главный редактор «Гуманитарного экологического журнала». Автор нескольких книг по экологической этике, эстетике, истории охраны природы. В «Новом мире» печатается впервые. Статья публикуется в дискуссионном порядке.

Что такое дикая природа?

Дикое выше правил и искусства.

Д. Мильтон.

Конечно, совсем дикой природы (первозданной), полностью независимой от влияния человеческой цивилизации, в настоящее время не существует. Однако посредством идеализации понятие «участок дикой, свободной природы» можно распространить на довольно значительное число природных территорий, существенно не измененных человеком. Ведь могут же математики оперировать таким идеальным понятием, как «точка» и «окружность», физики — «идеальный газ» и «несжимаемая жидкость».

Под определение «дикая природа» могут подпасть горы, пустыни, тундра, арктические области, подводные участки, пещеры. С некоторой натяжкой — старовозрастные леса, заросшие дельты крупных рек, большие болота, речные каньоны, участки целинных степей.

К сожалению, в отечественной терминологии нет точного определения, что подразумевается под термином «дикая природа». Попробуем сослаться на зарубежную интерпретацию.

В 1964 году Конгрессом США был утвержден закон «О дикой природе». Территория дикой природы определена в этом законе как неразвитая федеральная земля, сохраняющая первоначальный характер, без влияния, без изменений и поселений человека, которая управляется так, чтобы сохранить естественное состояние, и которая:

1. Находится под воздействием сил природы, а не человека.
2. Имеет особые возможности для создания человеку среды одиночества и естественного оздоровления.
3. Имеет площадь не менее 5000 акров необработанных, неизмененных земель.
4. Имеет также экологическую, геологическую или иную научную, образовательную или историческую ценность¹.

Итак, дикая природа — это земля с собственной волей, место, наделенное силой воли и духом; антипод человеческой цивилизации; местность, где человек не препятствует природным силам.

Священные рощи как пример благоговейного отношения к дикой природе

Там на берегу, где дремлет лес священный,
Твое я имя повторял.

А. Пушкин.

Пример бережного отношения к участкам дикой природы, почитания и боготворения их показывают нам язычники, имевшие свои священные рощи (а также священные ключи, горы, реки, озера, острова, камни и отдельные деревья). По мнению английского знатока лесного фольклора Александра Портеуса, первые священные рощи находились на холмах (ближе к небу), чем объяснялось их почитание². Порой сам дух, идол назывался священной рощей. Полагалось, что такие рощи нельзя посещать без благоволения божества. Иногда рай считался священной рощей, где нужно было вести себя дисциплинированно, созерцать загадочные и святые деревья, которые запрещалось трогать.

¹ Закон США о дикой природе. — В кн.: Борейко В. Е. Современная идея дикой природы. Киев, Киевский эколого-культурный центр, 2001, стр. 78.

² Porteous A. Forest folklore, mythology, and romance. London, «George Allon, Unwin Ltd», 1928, p. 290.

Будда достиг просветления в одной из священных рощ Индии, свои комментарии к древним книгам Китая Конфуций завершил в уединении священной рощи абрикосовых деревьев.

Язычнику божественное уединение рощи казалось местом почитания, выделенным самой природой, и эти рощи являлись единственными и самыми первыми храмами. Здесь человек, «от мира удаленный», общался с духами и бессмертными.

Священные рощи чаще всего были круглыми, реже — продолговатыми, окруженными канавой или рвами. В такой роще нередко бил священный источник. В центре рощи имелось округлое место, огороженное большими камнями, установленными перпендикулярно земле, — здесь приносились жертвы. Когда храмы стали сооружаться из камня, то несколько раз в год с них снимались крыши — как символ открытости небу священной рощи.

В германские священные рощи нельзя было входить, не будучи скованным цепью, в признание своей низшей природы перед лицом божества рощи. Если человек здесь случайно падал, ему не разрешалось вставать, и он должен был выкатываться из рощи по земле. Считалось, что на деревьях этих рощ восседали на своих тронах боги. В священных рощах германцы берегали боевые знамена. С началом войны их выносили и несли перед армией. Кстати, «священная роща» в переводе с кельтского звучит как «чистое место в лесу».

Особо почитались священные рощи в Древней Греции и Риме. Недаром Ксеркс, войдя в Грецию, запретил воинам причинять вред священным рощам. Римские пастухи, заботясь о благе своих стад, молились о прощении на тот случай, если их овцы съедят листья со священного дерева.

В священных рощах древних греков вешались бронзовые гонги. Когда дул ветер, гонги гремели подобно грому. Даже собаки не осмеливались преследовать добычу в священных рощах, а стояли снаружи и лаiali. Рассказывают, что некий грек Эрисихтон осмелился возложить топор на деревья в священной роще Деметры, за что та превратила его в вечно голодного нищего. Согласно неписаному правилу, если кто-то из осужденных в Греции прятался в священной лавро-кипарисовой роще Дафны, то становился недосягаемым.

В Польше священные рощи именовались роком, или уроческом, и, когда в страну вторгались захватчики, по селам рассылались ветви из этих рощ, что сплачивало поляков, подобно горящему костру, угли из которого развозились по Шотландии. В Бенгалии племя мунда также имеет священные рощи, которые заботливо охраняются в течение веков, дабы здешние лесные боги, обеспокоенные сплошной вырубкой соседних лесов, совсем не покинули эту местность. Даже если в священной роще дерево повалится случайно, бог гневается, задерживая сезонные дожди. У каждой деревни племени мунда своя священная роща — участок первобытного леса, оставленного нетронутым для местных богов.

В районе Кавказского заповедника, на реке Белой, располагалась священная роща черкесов. Существовала такая заповедь: «Если хочешь сорвать цветок, не рви его там, где рождаются воды Белой реки. Не добывай там ни зверя, ни птицы и не строй своего жилища поблизости. Пусть рука человека не коснется ничего, что живет и находится в этом лесу, — это место священо на все времена». И в наши времена осетины, проезжая на автобусе мимо священной рощи Хетага, встают, снимают головной убор и кланяются в ее сторону, добавляя: «Да будет святой Хетаг твоим другом и покровителем».

Священные рощи на территории России, Украины, других стран СНГ существуют и по сей день. Исследователем марийских священных рощ Н. В. Морохиным в Нижегородской области выявлено около 50 таких культовых, оберегаемых местным населением рощ. «Само по себе сложившееся в народе отношение к священным рощам, — пишет Морохин, — оказывается и в наши дни мощным эколого-воспитательным фактором. Уважение, любовь к роще воспитывается наряду с любовью к традициям, культуре, памяти предков. В роще не позволено сорить, ругаться, ссориться, туда приходят в дни праздников в чистой одежде, помывшись в бане, как в место общения с вы-

сшими силами природы. Велико ее эстетическое значение, ощущается оно каждым. Это эффектная деталь ландшафта, не тронутый цивилизацией „чистый” лес, который воплотил непреходящую гармонию природы, ее самовозрождение, необузданность, величие. Любовь и преклонение перед рощей как перед возвышенным определяет подчиненное положение к миру живого и неживого в целом, стремление к гармоничным отношениям с ним»³.

Стоит особо отметить, что языческие народные воззрения по отношению к священным рощам могут быть с успехом использованы в разработке новой, основанной на биоцентризме и эоцентризме экологической философии и идеологии XXI века. Не могу не процитировать по этому поводу одного из лучших исследователей священных рощ марийцев и удмуртов профессора-этнографа В. П. Налимова:

«Рощи связаны с культом творческих сил природы, сознанием органической, генетической связи человека с природой, единства своей группы. Кратко воззрения можно сформулировать так: Бог — творительная сила, отражающаяся в природе: в живой текучей воде, придавая ей прозрачность, текучесть, неиссякаемость; в растениях, в животных и в человеке. Эта творческая сила едина, но она разветвляется, и каждая отдельная сила, органически связанная с единой силой (как притоки реки связаны с главной рекой), имеет свою индивидуальность. Отсюда — Бог территории. Люди, живущие в ней, органически связаны между собой и Богом, составляя каждый только часть единого целого. Влияя на одну часть, можно влиять на целое. Загрязняя, например, воду, приносишь вред растениям, животным, человеку, Богу, то есть производительной силе. Недостойное поведение отдельного человека оскверняет не только его физическую природу, но и вредит всей производительной силе природы. Отсюда общий интерес группы людей, растений, животных, воды, Бога, то есть творческой силы...

В известное время года творческая сила, когда ее мощь достигает максимума, как, например, весной, во время цветения ржи, приняв образ бабочки, вылетает и распространяет свою благодать (то есть силу). Вокруг таких заповедных рощ объединяются целые роды, люди, живущие иногда за десятки, за сотни верст. Через каждые три года происходят моления с общей трапезой: совместная еда является символом заключения союза, дружбы»⁴.

Такое же эколого-философское звучание имеет и синтоистская заповедь охраны священных рощ: «Никогда не рубите ничего; никогда не возводите ничего, никогда не утверждайте и не выясняйте ничего в святых природных местах, добираясь до научной истины; не разбирайте, не изменяйте ничего с той же причиной. Не охотьтесь, не ловите рыбу, не причиняйте беспокойства, не поджигайте и не тушите горящее»⁵.

Идея дикой природы в культурной и научной традиции России

Нет правды без любви к природе,
Любви к природе нет без чувства красоты.

Я. Полонский.

В конце XIX — начале XX века в России появилось движение за охрану памятников дикой природы. Возглавили его известнейшие российские ученые-естественники, имевшие превосходное гуманитарное образование: акаде-

³ «Нижегородские марийцы». Сост. Н. В. Морохин. Йошкар-Ола, Министерство культуры Республики Марий Эл, 1994, стр. 207 — 208.

⁴ Налимов В. П. Священные рощи удмуртов и мари. — В сб.: «Этико-эстетический подход в охране дикой природы и заповедном деле». Изд. второе, дополненное. Киев, КЭКЦ, 1999, стр. 99 — 100.

⁵ Snyder G. Good, wild, sacred. Madley, «Five Seasons Press», 1984, p. 14 — 15.

мики И. П. Бородин, Д. Н. Анучин, профессора А. П. Семенов-Тян-Шанский, Г. А. Кожевников, В. И. Талиев, Д. Н. Кайгородов. Ими был разработан так называемый этико-эстетический подход в охране природы и заповедном деле. Центральной его идеей являлось утверждение этической ценности мира природы, права дикой природы и ее видов на существование, необходимости формирования гуманного отношения людей к дикой природе и всем живым существам независимо от того, приносят ли они практическую пользу. Классик российского заповедного дела, профессор Московского университета Григорий Александрович Кожевников в 1908 году на Всероссийском юбилейном акклиматизационном съезде впервые в России поднял вопрос «о праве первобытной природы на существование», что являлось само по себе огромным прорывом в развитии природоохранной мысли (до этого мотивы защиты природы пояснялись только с точки зрения полезности для человека)⁶.

Другой идеолог отечественной природоохраны, петербургский профессор Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский, заявил на Первом Всероссийском съезде любителей мироведения в 1921 году, что придет день, когда для человека «станет священным право на жизнь как всех подобных, так и всего того, чему предугазано жить и цвести на земле наряду с человечеством, не стесненным в своем творчестве природой»⁷. В опубликованной в 1919 году в журнале «Природа» статье «Свободная природа, как великий живой музей, требует неотложных мер ограждения» он говорил об этической стороне защиты «очагов свободной природы», призывал дать «право жить всему живому»⁸.

Таким образом, Г. А. Кожевников и А. П. Семенов-Тян-Шанский предвосхитили взгляды всемирно известных основателей экологической этики А. Швейцера и О. Леопольда: идею охраны дикой природы ради нее самой.

К сожалению, сейчас совершенно забыты труды современника Г. А. Кожевникова и А. П. Семенова-Тян-Шанского — русского философа Петра Демьяновича Успенского. В своей книге «*Tertium organum*», опубликованной в 1911 году, он заявил, что вся дикая природа — «гора, дерево, рыбка, капля воды, дождь, планета, огонь, — каждое в отдельности должно обладать своим сознанием»⁹. По его мнению, и любое дерево, и лес в целом — живое существо. Эта работа оказала большое влияние на отца экологической этики американского эколога и экофилософа Олдо Леопольда. Взгляды П. Д. Успенского натолкнули Леопольда на популярный нынче призыв: «Думай как гора». О том, что дикая природа — живое существо, говорил и легендарный верхнеуссурийский гольд Дерсу Узала, герой популярных книг русского исследователя уссурийской тайги В. К. Арсеньева. В 1902 — 1907 годах Арсеньев путешествовал по дикой природе Сихотэ-Алиня, а в 1921 — 1922 годах издал свои ставшие известными книги «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Эти работы внесли заметный вклад в популяризацию культа дикой природы в России. В сердца многих читателей запала знаменитая фраза Дерсу Узала, что земля, сопки, лес — «все равно люди».

Следует упомянуть также и о «природной этике» известного русского философа и анархиста П. А. Кропоткина, который в своем учении пришел к важнейшему выводу, что истоки нравственного, безусловно, лежат в природном мире.

Русские пейзажисты не могли не воспеть красоту дикой природы своей родины. Первенство в этом принадлежит А. Е. Мартынову, создавшему в начале XIX века великолепные полотна «Сибирский вид на реке Селенге» и «Байкал». Среди многих известных русских пейзажистов следует упомянуть

⁶ Кожевников Г. А. О необходимости устройства заповедных участков. — Указ. сб., стр. 75.

⁷ Семенов-Тян-Шанский А. П. Задачи момента в деле охраны природы в России. — Указ. сб., стр. 196.

⁸ Семенов-Тян-Шанский А. П. Свободная природа, как великий живой музей, требует неотложных мер ограждения. — Указ. сб., стр. 64.

⁹ Успенский П. Д. Сознание в природе. — Указ. сб., стр. 198.

также сибирского художника Г. И. Чорос-Чуркина. Написанные им на рубеже XX столетия картины «Корона Катуня», «Кедры на перевале», «Прибой на Телецком озере», «Горные вершины» и особенно «Озеро горных духов» могли бы вдохновить особую российскую пейзажную школу на манер американской школы Скалистых гор или школы реки Гудзон (подтолкнувших американцев к созданию национальных парков). К сожалению, талантливый художник был репрессирован и расстрелян в 1937 году, а его картины долгое время находились под запретом.

Николай Щербина, малоизвестный поэт середины XIX века, первым в отечественной поэзии и за восемьдесят лет до А. Швейцера провозгласил в своих стихах принцип благоговения перед жизнью:

Боюсь раздавить я ногою
 Червя, что ползет под травой
 Сияньем тепла наслаждаться;
 Исполнен вниманьем
 Для всякой летающей крошки,
 И, груди сдержав колыханье,
 В себя не втяну я дыханьем
 В лучах затерявшейся мошки¹⁰.

Как и святой Франциск Ассизский, поэт видит в каждом живом существе и природном объекте «или друга, или брата», чувствует «повсюду живущего Бога» и обнимает «чувством широким» «сродную жизнь и стремление всех сущих».

К сожалению, благоговейное отношение к дикой природе по известным политическим причинам не возобладавало в культурных и научных традициях России и Советского Союза. Победил пафос «переделывания» и «покорения» природы. Лишь сейчас мы постепенно начинаем ощущать горечь потери и возвращаться к культурным истокам. Не поздно ли?

Охрана дикой природы с позиций мировых религий

Я попросил дерево:
 Скажи мне о Боге.
 И оно зацвело.

Р. Тагор.

Религиозные мифы, символы и образы для многих людей являются главным средством определения добра и зла, решения личных и общественных проблем, участвуют в мотивировании тех или иных поступков. Религия позволяет осознать, что контроль человека над живым и неживым миром отнюдь не безграничен, не всеобъемлющ. Если мы желаем защитить природу, мы не можем обойтись без религии.

Так как между различными религиями существуют значительные метафизические, этические, антропологические и социальные различия, то основой новой и действенной экологической идеологии и философии может стать синтез ключевых концепций и положений, касающихся сохранения природы, взятых из всех религий. Причем здесь важны не только базовые тексты Библии, Корана, Талмуда и т. п., но и другие религиозные источники: апокрифы, писания различных святых, размышления современных теологов, народные религиозные верования. Важное значение имеет также экофилософская интерпретация этих источников.

Лидеры некоторых церквей уже понимают необходимость «позеленения» религии и делают в этом плане серьезные шаги. В начале 80-х годов группа саудовских ученых проштудировала Коран на предмет отрывков, связанных с

¹⁰ Щербина Н. Ф. Избранные произведения. Л., «Советский писатель», 1970, стр. 154.

окружающей средой, и создала особый свод «Исламских принципов охраны природы». Не остались в стороне и джайнисты. Они разработали «Джайнистскую декларацию о природе».

В сентябре 1986 года по предложению Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF) представители мировых религий встретились в Ассизи (Италия) — месте рождения Франциска Ассизского, святого покровителя экологов, — дабы впервые вместе обсудить вопросы экологии и сотрудничества разных религий в этом вопросе.

В 1985 году тайландским экологом Нэнси Нэшем начат проект «Буддийское восприятие природы». Целью проекта является улучшение экологического понимания буддизма, активизация действий буддистов в защиту природы.

Определенные сдвиги в плане экологии наблюдаются и в деятельности Русской Православной Церкви. Недавно ею был разработан и принят основополагающий документ — «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», где специальный раздел посвящен экологическим проблемам. В частности, в нем содержится очень важное заявление, что «природа есть не вместилище ресурсов, предназначенных для эгоистического и безответственного потребления, но дом, где человек домоправитель, и храм, где он священник, служащий единому Творцу»¹¹.

Многие экофилософы и деятели природоохраны сходятся во мнении, что буддизм является наиболее «экологической» религией. Забота о благе природного мира всегда считалась важным элементом в буддизме. Буддизм утверждает, что Вселенная и все существа в ней внутренне находятся в состоянии совершенной мудрости, любви и сострадания, действуя в естественной реакции и взаимозависимости. Многие этики видят в буддийских верованиях мягкую, глубокую и могучую модель взаимодействия между природой и человеком.

Буддизм отстаивает уважение, сострадание и альтруизм в отношении всех живых существ. Буддизм придерживается принципа «ахимсы», ненасилия по отношению к другим существам. Это означает отказ не только от всех дел, но и от всех мыслей, несущих насилие живым существам.

Очень близок по своим экологическим взглядам к буддизму джайнизм. Джайнизм учит, что каждое живое существо наделено материальной душой, не менее чистой и бессмертной, чем человеческая. Джайнизм довел до полного логического развития принцип «ахимсы» и наиболее бескомпромиссно защищает все формы жизни. Джайнисты известны тем, что организуют по всей Индии лечебницы для животных, выкупают на базарах овец и коз, предназначенных на убой. Они являются строгими вегетарианцами, отказываются есть другую пищу, кроме обедов того, что было приготовлено для других; тщательно процеживают воду, чтобы не проглотить каких-либо водных организмов, и не едят при свете, дабы в пищу и огонь не попали насекомые.

Индуизм верит в особую ценность всякой жизни и учит ненасильственному отношению к природе. Святость жизни — один из основополагающих принципов этой религии. Только Бог имеет абсолютную власть над всеми созданиями, поэтому люди не могут распоряжаться ни собственной жизнью, ни жизнью других существ. Поэтому люди не должны действовать как заместники Бога на земле.

Святость Божьего творения означает, что мы не имеем права наносить вред другим видам. Все жизни равноценны и имеют одинаковое право на существование. Земля принадлежит всем существам, а не только людям.

«Бхагаватгита», одна из основных книг индуизма, содержит изречение: «Спаси природу или умри». Эти слова взяты из диалога Кришны со слугой Аруна.

Наиболее важным аспектом индуистской теологии является вера в то, что Высшее Существо само воплощается в другие существа. Поэтому всем видам

¹¹ Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Церковь и проблемы экологии. — «Гуманитарный экологический журнал», т. 3, вып. 2, 2001, стр. 51.

животных должно оказываться почтение. Согласно индуизму, деревья одушевлены, они чувствуют радость и печаль. У каждого дерева есть свой дух, которому молятся и делают приношения в виде воды и сладостей. Индусы полагают посадку дерева религиозной обязанностью.

Согласно индуистской традиции, существует три базовых категории леса: 1) шриван — лес, приносящий благосостояние; 2) танован — лес, где мудрецы пребывают в поиске истины, священный лес; 3) махаван — большой природный лес, где все существа находят укрытие.

Лес «танован» оберегается в качестве места, где практикуются религиозные обряды. Здесь живут святые отшельники. Именно в таких лесах возникали новые ведические учения. Присутствие мудрецов гарантировало защиту леса. Ни одно животное или дерево не могло пострадать вблизи них. За нарушение этих религиозных запретов несли наказание даже цари.

Даосизм провозглашает культ Дао, Пути природы. Все, что делается против Дао, против природного пути, например уничтожение участков дикой природы, гибель видов, — неправильно и ведет к беде. Даосизм смеется над любой попыткой человека контролировать дикую природу, он настаивает на праве дикой природы развиваться самой по своим законам.

Ислам содержит очень много правил, притч и поучений в защиту живой природы. Так, Мухаммед заявлял, что посадка деревьев может служить заменой милостыни. Он учил, что, если придет Судный день и у тебя в ладони окажется росток пальмы, ты должен посадить его. Даже если будет потеряна всякая надежда, посадка должна продолжаться, так как посадка дерева — хорошее дело само по себе. Посадка пальмового ростка продолжает процесс развития и способствует продолжению жизни, даже если не предвидится никакой от нее выгоды.

Один из фундаментальных принципов ислама — «мизан» (принцип среднего пути) — означает, что все в природе, в том числе и человек, должно подчиняться определенным божественным (экологическим) законам. Поэтому мы должны признавать порядок, который существует вокруг нас, для самих себя и для остальных творений. Другой принцип ислама — «халифа» — означает, что люди больше, чем друзья земли, они ее стражи. И их священный долг — отвечать за землю. Согласно исламу, в мире (природе) есть нечто, скрытое Богом от людей и запретное. С этим миром нельзя соперничать, он сам по себе, как сам по себе Бог, самостоятелен по отношению к человеку.

Иудаизм утверждает, что мир представляет собой единую сущность и что жизнь является ценностью, которая должна сохраняться во всех живых существах так же, как и в человеке. Библейская традиция содержит очень экологическую историю о Ное, первом защитнике биоразнообразия, который спас все виды вне зависимости от их полезности для человека. Согласно одной раввинской притче, Ной и его семья были спасены только из-за сострадания к диким животным, за которых они отвечали. Часто, гласит притча, они отказывали себе во сне по ночам, чтобы покормить своих подопечных. Согласно иудаизму, любое творение хорошо, ибо отражает славу своего Творца.

Анализируя экологические идеи в христианстве, первым делом нужно упомянуть святого Франциска Ассизского (1182 — 1226), основателя францисканского ордена монахов римско-католической церкви. Франциск подчеркивал присутствие Бога в разнообразии существ и желание Богом того, чтобы люди радовались этому разнообразию и восхваляли Бога за него. Он считал, что восхваление должно выражаться действиями, согласующимися с уважением к созданному биоразнообразию, а не просто соблюдением строгого правила воздержания от причинения вреда живым существам. Франциск выступал в защиту зверей в неволе, заботился о них или освобождал. Он уважал и неживую природу: старался не наступать на воду и почитал скалы. Он заставил людей кормить волка, взяв с него клятву не красть овец. Он просил садовников оставлять в садах место для диких трав, дабы «красота цветов могла возвещать о возможностях Отца всех существ», создав своего рода прообразы заказников

дикой природы. Франциск полагал, что не существа должны служить человеку, а человек существам. В этом, как полагает известный американский эколо-гог Д. Хьюдженс, он стал радикальнее джайнистов¹².

Религия природоохраны

Дикое место! Такое же святое
и очарованное...

С. Колридж.

Деятели охраны природы часто относятся к природе как к божеству. Для пионера американского заповедного дела Джона Мюира защита дикой природы являлась почти актом поклонения, уважение к дикой природе он понимал как религиозный опыт. Когда долину Хетч-Хетчи в Йосемитском национальном парке собирались залить водой, он объявил это место священным. Чтобы одобрить защитников заповедной долины, Мюир уверял, что им в этом деле помогает Бог, а сама Хетч-Хетчи имеет божественное начало.

Известный российский специалист в области охраны дикой природы, Ф. Р. Штильмарк как-то признался: «Утром я, как правило, предпочитаю пойти в ближний лес, а не стоять со свечой в храме, дыша чужим потом и ладаном. Вид старого дерева, живописной скалы или бурного моря восхищает меня более, чем икона»¹³.

Американский философ и эколог Линда Грэбер пишет: «Когда истинный природоохранник впервые встречается со своим личным идеальным пейзажем, он, кажется, переживает момент трансцендентальности. Такая встреча волнует его так глубоко, что его восприятие пейзажа меняется навсегда, для него он становится святым. Идеальный пейзаж восхищает и привлекает его до такой степени, что он может оставить свою семью и переехать к этому святому месту. Если же это невозможно, то он будет его посещать при каждой удобной возможности. Он может не пожалеть усилий, защищая свой идеальный пейзаж от вреда, и при изучении его с целью более глубокого оценивания он будет пытаться передать его загадочность в искусстве или просто поведать о своем восторге семье и близким»¹⁴.

Жизнь давно подтвердила правдивость этих слов. Так, известный российский и украинский природоохранник профессор И. И. Пузанов еще в детстве «заболел» Крымом, испытав там «момент трансцендентальности», а затем всю свою жизнь посвятил защите его дикой природы. Председатель Байкальской комиссии Всероссийского общества охраны природы О. К. Гусев в молодости, попав на Байкал, был поражен дикой красотой, а затем стал одним из его ярых защитников.

Однако не обязательно испытывать благоговение перед каким-то одним участком дикой природы. Я знаю немало людей, ощущающих сакральность пространства в любом месте, где еще сохранилась свободная, неоскверненная человеком природа. Мне, например, такие ощущения памятли с раннего детства. Линда Грэбер полагает, что этих одухотворенных людей, решившихся бороться за свободу дикой природы, можно назвать особым религиозным сообществом. Это есть «братство посвященных, объединенных общей верой и социально отличных от непосвященного большинства»¹⁵. По-видимому, мы имеем в отношении к дикой природе своего рода особую религию, во многом близкую к языческой или буддийской. Я бы назвал такую религию религией природоохраны.

¹² Hughes D. Francis of Assisi and the diversity of creation. — «Environmental ethics», 1996, p. 311 — 320.

¹³ Штильмарк Ф. Р. Таинство заповедания. — «Гуманитарный экологический журнал», т. 1, вып. 1, 1999, стр. 38.

¹⁴ Грэбер Л. Дикая природа как священное пространство, стр. 41.

¹⁵ Там же, стр. 29.

Религия природоохраны, в отличие от многих других религий, проповедует альтруизм, не запятанный никакими меркантильными надеждами. Одно из главных чаяний многих религий — спасение. Религия природоохраны основана на спасении дикой природы, что отличает ее от других религий, цель которых — спасение человека. В религии природоохраны очень много от пантеизма. Но, в отличие от последнего, религия природоохраны обращает свое внимание не на всю природу, а только на природу дикую, а также не предполагает присутствия в ней божества, а только почитает ее как священную. Почитание дикой природы как священного пространства является базовым моментом в этой религии. Использование же священной дикой природы как ресурса считается формой греха.

Как традиционные религии прославляют разнообразные моменты человеческого жизненного цикла — рождение, вступление в брак, — последователи религии природоохраны могут прославлять циклы в дикой природе. Например, гидрологический цикл. Если в других религиях бог дождя прославлялся за то, что дождь выпадал на нужное для земледельца место, последователи религии природоохраны могут поклоняться просто чудесному переходу воды через небо и землю — круговороту, от которого мы зависим и который нам надо уважать. Что же касается кислотных дождей, то они должны рассматриваться не как неудобство, а как богохульство.

Чем станет дикая природа, зависит от нас. Обращайтесь с ней с заботой и любовью — и она станет местом любви и заботы. Обращайтесь с ней как со святыней — и она станет священным местом. Как не согласиться с утверждением, что именно десакрализация природы во многом стала причиной современного экологического кризиса? Кстати, недаром в 1980 году тридцать два выдающихся ученых современности поставили свои подписи под документом, призывающим «усилия по охране природы наполнить видением священного»¹⁶.

Если дикую природу представлять как святилище, то наша роль — это роль защитника, пастыря, священника, который заботится об этом святилище. Возникновение религии природоохраны — результат длительной духовной и религиозной эволюции.

Все религиозные сообщества имеют свои культурные очаги, места, где они организовались и которые помогли сформировать их мировоззрение. Для российских защитников дикой природы одним из таких культурных очагов является зоомузей МГУ и Московское общество испытателей природы, где со времени Г. А. Кожевникова сформировалось не одно поколение природоохранников.

Как правило, приверженцы религии природоохраны прекрасно гуманитарно образованны, живут в крупных городах, любят бывать на лоне природы и преданны своим природоохранным организациям. Условно их можно разделить на три основные категории.

В первую, имеющую небольшую численность, входят наиболее яркие сторонники религии природоохраны, считающие дикую природу священной. Они не могут жить без дикой природы, поэтому работают в заповедниках, национальных парках, лично и непосредственно защищают дикую природу. Эта деятельность является для них смыслом жизни, они верят, что делают божеское дело.

Во вторую, более обширную, категорию входят также активные сторонники религии природоохраны, но живущие в городах (чаще всего в крупных культурных и научных центрах) и работающие (профессионально или на общественных началах) в природоохранных организациях. Дикую природу и они интуитивно почитают как сакральное пространство, хотя чаще об этом не задумываются.

В третью входят лица, которые не состоят членами общественных экологических организаций, не работают профессионально в природоохранных

¹⁶ Борейко В. Е. Постигание экологической теологии, стр. 60.

органах. Они практически не принимают участия в природоохранных акциях, но, бывая на дикой природе, относятся к ней с почтением и благоговением.

Еще в 1930 году американский природоохранник Роберт Маршалл писал: «Существует лишь одна надежда остановить тираническую амбицию цивилизации покорять каждую пядь на всей земле. Эта надежда состоит в организации духовных людей для свободы дикой природы»¹⁷.

Поскольку, как считают некоторые, идеологической причиной гибели дикой природы стало христианство и некоторые другие религии, то и спасением для дикой природы, возможно, должна стать тоже религия — религия природоохраны.

Как дальше будет развиваться эта религия? Станет ли она «народной религией» или появится харизматическая личность, которая впоследствии будет считаться ее основателем? Необходимо ли внедрять ее через специальный религиозный институт или приобщение к ней будет происходить спонтанно? Пока ясно одно: религия природоохраны (признаем мы ее или нет) становится серьезным источником природоохранных мотиваций.

Права дикой природы

— Я, — подтвердил польщенный кот и добавил: — Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.

М. Булгаков, «Мастер и Маргарита».

Не так давно с Камчатки от руководителя общественной экологической организации «Камчатская лига независимых экспертов» Ольги Черныгиной мне пришло письмо: «Недавно на заседании Госкамчатэкологии было предложено изменить статус части территории Кроноцкого заповедника, так как „все граждане страны имеют право видеть уникальные уголки и заповедник не имеет права скрывать их от людей“. Нам сейчас нечего противопоставить подобным доводам».

Антропоцентристской философии руководителей Госкамчатэкологии и Кроноцкого заповедника я противопоставил экзотические взгляды, основанные на теории естественных прав Дж. Локка. Как я позже узнал, мой ответ вызвал бурную дискуссию среди камчатских экологов.

Я писал:

«Дикая природа, виды фауны и флоры так же, как и люди, обладают естественными (моральными) правами. Правом на свободу, на жизнь (существование), на защиту от гибели. Такие права дикой природе наиболее полно могут быть предоставлены только в заповеднике. За счет ущемления в свою очередь прав людей. Именно в этом заключается этический императив нашего морального взаимоотношения с дикой природой.

И еще. Право видеть красоту уникальных заповедных природных объектов не является для людей жизненно необходимым. Право дикой заповедной природы на существование и сохранение своей красоты и самобытности является для дикой природы жизненно необходимым. Поэтому право дикой природы в данном случае становится важнее прав людей. И заповедник должен быть закрыт для туристов на замок».

О естественных правах людей нынче говорят много и часто. Они декларированы Европейской конвенцией по правам человека, Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах. Однако права животных, растений, участков дикой природы (экосистем) пока

¹⁷ Бореико В. Е. Постигание экологической теологии, стр. 62.

никакими международными документами не подтверждаются. Что является серьезным упущением как философской и правовой мысли, так и природоохранной практики.

Однако, прежде чем дальше обсуждать вопрос о естественных правах природы, следует оговорить следующее. В самой природе не имеется моральных отношений. Хищник, например, всегда поедает жертву, и с этой позиции нельзя говорить о соблюдении моральных прав животных. Однако экологическая этика рассматривает отношения не между природными объектами, а между человеком и природой через призму человеческой культуры. Именно в этой связи человек сам наделяет природные объекты естественными правами. Поэтому права зайцев, сосен и скал существуют только в понимании людей, когда последние берут на себя обязанность заботиться о зайцах, соснах и скалах.

«Признание прав животных (и растений, и участков дикой природы. — В. Б.), — пишет известный в России лидер движения за освобождение животных Т. Н. Павлова, — ставит вопрос о правильных и неправильных действиях без учета их последствий, т. к. права не зависят от пользы. Морально правильные действия не могут оцениваться с позиции пользы. Неправильное действие всегда аморально, даже если оно может принести кому-то пользу. Например, пытки подсудимых или пленников всегда были аморальны»¹⁸.

Вопрос предоставления прав природе на самом деле вовсе не нов. В разные времена в различных странах люди в той или иной степени касались прав живых существ. Так, иудаизм чуть ли не впервые в истории человечества дал право домашним животным на отдых от работы на седьмой день недели: «Но на седьмой день ты должен отдохнуть, и твой бык, и твой осел могут отдохнуть» (Исход, 23: 12). В Древнем Египте культурные традиции позволяли животным «выступать» с жалобами против человека. В средние века в Европе проводились специальные уголовные и гражданские процессы против животных, в которых они (например, петухи) участвовали в качестве подсудимых. Свое право на часть добычи имели охотничьи соколы и орлы в Аравии и Персии во время светских охот.

Поборниками прав животных всегда являлись американские индейцы. В Европе одним из первых о защите естественных прав дикой природы заговорил выдающийся английский поэт Вильям Вордсворт. Поднимая в 1830-х годах вопрос о защите красоты озерного региона в Англии, он писал о необходимости признания древнего права этого горного уголка на сохранение от уничтожения. В США первым защитником прав природы считается основатель американского заповедного дела Джон Мюир. Однажды в горах его спутник попытался убить скорпиона. Мюир остановил его, заметив, что все живые существа, как и человек, имеют право на жизнь.

В России одним из первых (1899) проблему прав животного поставил петербургский юрист С. Фишер. В своем фундаментальном труде «Человек и животные. Этико-юридический очерк» он сделал далеко идущие выводы: «Результаты нашего исследования можно, поскольку они относятся к области практического права, выразить тремя следующими положениями: 1) Государство должно охранять интересы животных; 2) эта охрана должна выразиться в правовых нормах; 3) лучшим средством для этого является признание правовой личности животных, то есть наделение животных долей правоспособности»¹⁹.

И как в этой связи не вспомнить поэта Велимира Хлебникова, который видел «конские свободы и равноправие коров».

В общих чертах естественные права животных и растений можно определить как права на определенные блага и жизненные условия, без которых они не могут существовать как самостоятельные живые существа. Права живых существ (как и экосистем) принадлежат им от рождения, поэтому являются естественными, неотъемлемыми и неотчуждаемыми. Американский историк эко-

¹⁸ Павлова Т. Н. Биоэтика в высшей школе. Киев, КЭКЦ, 1998, стр. 60.

¹⁹ Фишер С. Этика и право по отношению к животным. — Указ. сб., стр. 208.

логической этики Родерик Нэш пишет: «На уровне традиционного американского либерализма этика всегда стремилась защитить индивидуальную жизнь от таких совокупностей, как государство или страна. Философы „порешили“, что сперва некоторые люди, затем все люди, затем животные и, по мере расширения круга, растения, насекомые... обладают ценностью и, как посчитали некоторые мыслители, естественным правом на жизнь, свободу и свое собственное счастье... С одной стороны, экологическая этика расширила традиционную либеральную философию за ее обычные концептуальные пределы. Сфера морального внимания стала настолько большой, что поставила под сомнение моральную ценность ее прежних индивидуальных компонентов. Но с другой точки зрения, экологическая этика создала совершенно новые определения того, что свобода и справедливость означала на практике. Она признала нераздельность индивидуального блага (или свободы) с экологической средой, в которой должен существовать отдельный организм»²⁰.

Признание естественных прав подразумевает сложный оценочный процесс. Со временем из-за сильного социального консенсуса или укоренившейся веры определенные права могут объявляться естественными и быть узаконены в гражданских или религиозных кодексах.

Степень, до которой признаются права за конкретным существом, соответствует оценке, которая дается этому существу тем, кто признает за ним права. В этом случае наиболее ценное существо получает наибольшее количество прав.

Считается, что люди имеют около 200 естественных (моральных) прав, животные (не говоря уже о растениях или участках дикой природы) — гораздо меньше. Итак, какие же естественные права с позиции экологической этики мы можем предоставить диким животным?

1. *Право на жизнь.*

Образует первооснову всех других естественных прав. Оно представляет собой абсолютную ценность, ибо все остальные права утрачивают смысл в случае гибели животного.

2. *Право на свободу от человеческого вмешательства.*

Под свободой диких животных понимается прежде всего их самостоятельная воля, свобода выбора, свобода от человеческого вмешательства, права медведя или белки самостоятельно определять свои поступки, располагать собой, своим временем.

3. *Право на защиту от ненужного страдания.*

Это право особо значимо для организмов, имеющих высокий филогенетический статус (птицы, млекопитающие), то есть испытывающих сильную боль при страдании.

4. *Право на продолжение жизни.*

Можно предположить, что цель любого существа — воспроизводить себе подобных. В противном случае вид, к которому относится животное, может исчезнуть или значительно уменьшить свою численность. Поэтому естественное право на продолжение жизни можно считать одним из основных.

5. *Право на здоровую среду обитания.*

Любое животное, попав в нездоровую для себя среду обитания, будет испытывать неблагоприятное воздействие, что может негативно повлиять на его способность к воспроизводству, продолжительность жизни, а то и повлечь за собой болезнью и смерть.

6. *Право на стремление к счастью.*

В чем может состоять счастье для диких животных? Наверное, в том, чтобы оставаться такими, какие они есть: дикими, свободными и необыкновенно красивыми.

7. *Право на реализацию эволюционного потенциала.*

В каждом существе природой заложен эволюционный потенциал, ведущий к появлению новых форм жизни.

²⁰ Нэш Р. Права природы. История экологической этики. Киев, КЭКЦ, 2001, стр. 127.

8. *Право на защиту закона.*

Все животные имеют право на защиту закона. В связи с тем, что само дикое животное не может подать в суд иск, в качестве истцов могут выступать организации и лица, занимающиеся защитой дикой фауны и выступающие как опекуны.

9. *Право на достоинство.*

Достоинство — это признание человеком уникальности, внутренней и внешней ценности животного, его значимости вне зависимости от пользы для человека и экосистемы.

Что же касается сельскохозяйственных животных, то в Конвенции Совета Европы о защите животных предложены специальные «пять свобод»: свобода от жажды, голода, недоедания; свобода от дискомфорта; свобода от боли, ран и болезней; свобода от страха и стресса; свобода нормально жить (право на нормальную жизнь).

Если о предоставлении естественных прав животным (как диким, так и домашним) дебаты ведутся уже более века, то о правах растений заговорили лишь совсем недавно.

Растениям могут быть предоставлены: право на жизнь; право на свободу от человеческого вмешательства; право на реализацию эволюционного потенциала; право на возобновление; право на обеспечение жизнедеятельности; право на процветание; право на защиту закона; право на достоинство.

Современная общественная забота о природе, дальнейшее развитие экологической этики может привести к тому, что участкам дикой природы (экосистемам) может быть предоставлено право на существование; право на свободу от человеческого вмешательства; право на процветание; право на осуществление своей эволюционной судьбы; право на защиту закона; право на достоинство, а объектам неживой природы (скалам, дюнам, горам и т. д.) право на собственное сохранение и право на защиту закона.

Придание прав природе не означает, что ее запрещается в определенных случаях использовать в интересах человека, как, например, обладание людьми естественного права на свободу не мешает в известной ситуации сажать их в тюрьму. Так, права животных могут быть ограничены при угрозе свободе, жизни, здоровью, правам и интересам людей, а также существованию редких видов животных и растений.

Придание прав природе означает определенные изменения в природоохранном законодательстве, в результате которых еще более будут ограничены возможности добычи диких животных, генной инженерии, других способов использования живых существ.

Американский юрист К. Стоун пошел еще дальше, предложив предоставить природе и ее видам не только естественные, но и юридические права: «Бесправие природной окружающей среды может и должно измениться. Природные объекты не имеют прав не потому, что они не могут говорить. Корпорации, государства, владения, младенцы, муниципалитеты, университеты тоже не могут говорить. За них говорят юристы так же, как юристы говорят за обычных граждан, имеющих юридические проблемы. Я думаю, что с юридическими проблемами природных объектов следует обращаться так же, как обращаются с проблемами юридически некомпетентных человеческих существ. Если человеческое существо становится дряхлым и имеет дела, с которыми оно некомпетентно справиться, суд назначает человека, которому предоставляются полномочия управлять делами некомпетентного. „Хранитель”, „попечитель” или „опекун” (терминология варьируется) представляет некомпетентного в его юридических делах... По аналогии нам следует иметь систему, в которой человек, озабоченный судьбой природного объекта, может обратиться в суд об учреждении попечительства... Поступая так, мы, по сути, делаем природный объект при помощи его попечителя юридической сущностью, компетентной собрать иски об ущербе и представить их перед судом даже там, где по юридическим или практическим причинам их не собираются представлять традиционно действующие истцы... Попечитель убедил бы суд в ущербе, в на-

стоящее время непризнаваемом, — смерти орлов и несъедобных крабов, страдании морских львов, исчезновении с лица земли не имеющих коммерческой ценности птиц, гибели областей дикой природы...»²¹

Защита прав природы — область ответственности каждого человека и всех обществ, географические, культурные и идеологические границы здесь не должны иметь значения. Конечно, права природы нельзя приравнивать к правам человека, но их нельзя полностью игнорировать.

Природоохранная эстетика

Красота в природе не есть выражение всякого содержания, а лишь содержания идеального...

В. Соловьев.

Человек не сразу увидел и оценил красоту в природе. Так, специалисты проанализировали поэмы Гомера, обратив внимание на эстетическую оценку людей и богов, природного пейзажа, а также животных и растений. Каждая из этих трех групп имела индекс, показывающий количество соответствующих оценок. Люди и боги эстетически оценивались у Гомера 800 раз, пейзажи — 70 раз, флора и фауна только 24 раза²². Сафо обращала внимание на красоту людей и почти не замечала природных красот своего родного Лесбоса. Аристотель написал первый философский трактат по эстетике и посвятил его исключительно поэзии.

Отрицательно к отношению к природной красоте в средние века способствовало и мнение христианской церкви, что эстетическое восхищение природой не следует поощрять, ибо любовь к природе отвращает, отвлекает от любви к Богу. Недаром в Библии практически нет восхваления красот природы. Немного позже в христианстве стал бытовать иной взгляд — что красота природы создана только для восхваления Господа. Так, Микеланджело полагал, что земная красота является злом, если отвлекает душу от ее устремления ввысь.

Иной пример дает восточная культура, в частности японская. Уже в VIII — IX веках были культурно выделены особые пейзажи — горное Ёсино, бухта Сиогама на о. Хонсю, побережье Нанива в Осаке, славившиеся необыкновенной природной красотой, ставшие местом паломничества музыкантов, поэтов, буддийских монахов, японской знати.

Интересны традиционные японские понятия красоты: «саби» — красота старого природного объекта (векового дерева, замшелого пня); «юген» — красота и прелесть незавершенности, неудовлетворенности; «юэн» — красота невидимого, сокрытого, таинственного; «фуга» — красота покоя; «мудзеноби» — красота непостоянства, рождающаяся сама по себе в соответствующий момент, когда на человека сходит дар божества красоты.

В Европе эстетическое отношение к природе эволюционировало из искусства. Американский экофилософ Ю. Харгроув полагает, что высокая оценка красоты природы впервые появилась здесь в поэзии и ландшафтном садоводстве между 1725 и 1730 годами и около тридцати лет спустя — в ландшафтной живописи, художественной литературе и литературе о путешествиях²³.

Естественно, следует отметить также влияние науки, в частности естествознания, а позже туризма, кинематографа и ландшафтной фотографии. Считается, что Петрарка первым в европейской культуре поднялся на гору исключительно для того, чтобы насладиться красотой окрестностей, что стало важным культурным почином²⁴.

²¹ Стоун К. Должны ли деревья иметь права? — «Гуманитарный экологический журнал», т. 3, вып. 1, 2001, стр. 58.

²² Hargrove E. Foundations of environmental ethics. New Jersey, «Prentice Hall», 1988, p. 229.

²³ Там же.

²⁴ Там же.

В современной традиции красота природы рассматривается как средство для удовлетворения эстетических потребностей человека. Но получается, что только количество нашего удовольствия (или неудовольствия) обуславливает нашу эстетическую оценку ландшафта — и соответственно наше отношение к природе. В таком утилитарном подходе есть элементы торгашества.

Английский экофилософ Эмили Брэди полагает, что кантовская концепция «незаинтересованности» может стать основой для новой системы эстетических ценностей в отношении дикой природы, когда природный объект ценится ради своих собственных эстетических качеств, а не как средство для достижения каких-либо целей²⁵.

Незаинтересованность можно отождествлять с моральностью. Ибо моральный поступок мотивируется чувством расположения или любви к чему-то ради него самого и является противоположным желанию иметь этот объект в качестве орудия для достижения своей цели или получения удовольствия. Незаинтересованность как основа эстетических оценок способствует формированию позиции, на которой эгоистический интерес и мысли об использовании природы отступают на задний план, на первое же место ставятся эстетические качества, ценные сами по себе, независимо от любых целей. Незаинтересованность (беспристрастность, отчуждение, объективность) не означает равнодушия, а лишь указывает на то, что природный объект оценивается независимо от потенциальной выгоды и того или иного потребительского интереса.

Для примера можно привести работу присяжных в суде, которые обязаны к подсудимому относиться незаинтересованно, объективно, вне зависимости от того, какую пользу или вред им может принести подсудимый.

Русский философ Н. О. Лосский писал: «Красота не есть только служебная ценность, то есть ценность лишь средства для достижения какой-либо цели, она есть самоценность так же, как нравственное добро, истина... и т. п.»²⁶.

Отсюда следуют два важных практических вывода. Во-первых, мы должны защищать не только природную красоту, которую видим, но и ту, которую не видим, но знаем, что она существует. Так, многие из нас никогда не видели и не увидят творений Микеланджело, но знают, что они существуют, и готовы многим пожертвовать, чтобы их защитить. Точно так же недоступная для посещения туристами красота природы заповедников должна охраняться именно по этой причине: мы знаем, что она существует.

Во-вторых, мы должны защищать не только ту красоту, которую видим или знаем, что она есть, но и ту, которую мы разглядеть не можем, не знаем, существует ли она, но предполагаем, надеемся или верим, что она есть. Этот второй вывод позволяет взять под защиту ту природную красоту, которую человек еще не в состоянии оценить.

Непрагматические мотивы и принципы охраны дикой природы

Охранять дикую природу по причине того, что она научно или хозяйственно полезна, — не что иное, как скотство.

С. Забелин, лидер Международного социально-экологического союза.

Представим, что на Земле появились внеземные существа с разумом настолько превосходящим наш, насколько наш превосходит разум белки. Представим, что их знания и технологии дают им возможность завладеть и управлять Землей, подчинить все виды живого, в том числе и человека, своим интересам. Будем ли мы считать лишение нас нашей свободы, порабощение или

²⁵ Bradi E. Don't eat the daisies: disinterestedness and the situated aesthetic. — «Environmental values», v.7, № 1, 1998, p. 97 — 114.

²⁶ Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., «Прогресс-Традиция», 1998, стр. 239 — 240.

истребление такими существами морально оправданным? Наверяд ли мы согласимся только с прагматической оценкой ценности человека как вида, игнорируя защиту своих прав и свобод, защиту себя с моральной точки зрения. Почему же тогда другие существа, дикую природу в целом мы рассматриваем только как ресурс для человека? И даже охраняем ради человеческой выгоды? А не потому, что они ценны, хороши сами по себе, сами для себя?

Следует иметь в виду, что в экологической этике природные объекты нашей заботы не способны ответить нам добром на добро. Мы защищаем китов, но киты не могут ответить нам тем же. Более того, без многих видов дикой природы люди в общем-то способны обойтись. Только у нас, людей, забота о других видах или объектах дикой природы может выходить за рамки наших биологических видовых интересов. Пришло время ценить и уважать дикую природу, ее виды не по прагматическим мотивам, а прежде всего по морально-религиозным, применяя этические понятия добра, долга, стыда, жалости и сострадания.

1. *Охрана дикой природы — действие хорошее само по себе.*

Люди могут в своих интересах лгать, обманывать, воровать. Но они приучены моралью и культурой не совершать подобных поступков, потому что воровать — плохо само по себе. Также и в случае с уничтожением участков дикой природы: необходимо осознать, что губить дикую природу нельзя не потому, что это выгодно или невыгодно для человека, а потому, что такой поступок плох сам по себе. Как воровство, как разбой, как предательство. И наоборот, действие в защиту дикой природы всегда является хорошим по своей сути.

2. *Дикая природа обладает внутренней ценностью и не нуждается в оправдании со стороны.*

Считается, что нечто обладает внутренней ценностью, если оно существует и ценно само по себе, для себя, для своей собственной пользы, независимо от его пользы для других, как цель сама по себе и является основанием определенных законов. Внутренняя ценность природы независима от признания или непризнания ее сознательным существом.

Понятие внутренней ценности разработал великий немецкий философ Иммануил Кант²⁷.

Можно предположить, что интерес или цель диких существ, видов и экосистем, имеющих внутреннюю ценность, заключается в сохранении жизни, в свободе, в продлении существования, в стремлении к счастью.

Внутренняя ценность целинной степи, древнего леса — абсолютная, безусловная, несравнимая ценность, измеряется она не в долларах, а в уважении. Наличие только одной внутренней ценности — уже достаточное основание для защиты дикой природы.

3. *Не только люди, но и дикая природа подлежит спасению.*

Согласно многим религиям, например христианству или иудаизму, человек подлежит спасению. Однако можно предположить, что не только люди, но и природа должна подлежать спасению, что является новым весомым религиозным аргументом в защиту биоразнообразия и дикой природы. Все думающие христиане и иудеи должны включать природу в сферу своего морального внимания исходя из того убеждения, что Бог также желает видеть ее искупленной в небесном царстве. Кто знает, может, Христос умер в не меньшей мере за дикую природу, чем за людей. Творец дикой природы является также и ее спасителем, а люди — сотрудниками Бога по спасению дикой природы.

4. *Охрана дикой природы является делом божеским.*

Любое благое дело, например постройка или защита храмов, у всех времен и народов считалось делом божеским. Защита дикой природы как творения Бога, являющейся храмом или священной территорией, также есть божье дело, важное и почетное.

²⁷ Кант И. Основы метафизики нравственности. — В кн.: «Сочинения». В шести томах, т. 4, ч. 1. М., «Мысль», 1965, стр. 219 — 310.

5. *Дикая природа есть Совершенно Иное.*

Концепцию «Совершенно Иного», предложенную известным немецким историком и психоаналитиком религии Отто Рудольфом²⁸, ввела в обиход экологической этики Линда Грэбер²⁹. Дикую природу можно рассматривать как совершенно иную, чуждую нам цивилизацию необычного вида и необычной сущности. Она часто недоступна пониманию и непостижима.

Издавна западный человек с подозрением, а то и с враждебностью относился к любому Совершенно Иному. Буддизм, напротив, призывает к терпимости ко всем непохожим на нас существам и явлениям. Однако в эпоху экологического кризиса мы должны пойти дальше буддистов, научившись не только терпимо относиться к дикой природе как Совершенно Иному, но и ценить и защищать ее именно потому, что она — Совершенно Иное.

6. *Дикая природа создана Богом.*

Согласно мировым религиям, дикая природа, как и человек, суть божеское творение. То есть дикая природа совершенна, так как создана совершенным существом. Вся она до отдельных животных и растений обладает божественным порядком и заслуживает уважения и защиты как творение Бога. Когда человек губит это творение, он разрушает божественный порядок и оскорбляет творца, то есть Бога, что является грехом.

Развивая эти аргументы, можно утверждать: так как мир и вся дикая природа созданы Богом и принадлежат Богу, то человек не имеет права производить в ней изменения и менять божественный порядок. Наоборот, он обязан ценить и беречь дикую природу, так как она ценится Богом. Таким образом, защита дикой природы является религиозным долгом.

7. *Недостойно извлекать выгоду из страданий других существ.*

8. *Защита дикой природы является добровольным ограничением человеком экспансии собственного вида.*

Как справедливо полагает украинский эколог В. Н. Грищенко, добровольное ограничение экспансии собственного вида (своего рода видовой альтруизм) — нечто принципиально новое в жизни на Земле. У многих видов поведенческие механизмы, предотвращающие убийство сородичей в конфликтах, но ни один вид, кроме человека, не способен пойти на ущемление собственных прав и интересов ради прав и интересов других видов, ради сохранения других форм жизни.

«Почему под „ближним“, — спрашивает В. Н. Грищенко, — которого следует любить, мы должны подразумевать только человека, а жертвенность и отречение ограничивать лишь средой быта — соблюдения норм поведения, обрядов, постов и т. п. Отречение от безраздельного господства над природой, пожертвование частью своих благ и удобств ради сохранения божьего творения в целостности и красоте — это ли не величайший духовный подвиг, на который способно живое существо?»³⁰

Современная идея дикой природы

Каков бы был мир, однажды лишенный сырой земли и дикой природы? Позвольте ему быть сохраненным. О, позвольте остаться дикой природе и сырой земле. Пусть здравствуют сорняки и дикая местность.

Д. Хопкинс.

Без новых идей и концепций мы обречены вновь и вновь повторять старые ошибки. Созрела необходимость в интеллектуальных движениях, отстаивающих

²⁸ Rudolf Otto. The idea of the holy. Oxford and New York, «Oxford University Press», 1950, p. 215.

²⁹ Грэбер Л. Дикая природа как священное пространство, стр. 56.

³⁰ Грищенко В. Н. Экологическая этика и заповедное дело. — «Заповідна справа в Україні», т. 7, вып. 1, 2001, стр. 3.

дикую природу как таковую, — так некогда разработанная философия человеческой свободы послужила основой для создания системы гражданских прав.

Дикая природа — постоянная и важная часть земли. Но она не ресурс. Дикая природа — это самоценность, начало, первопричина всего, первосоздание, начальная точка эволюции. Дикая природа является центром, источником абсолютной реальности, энергии, бытийной жизни. Дикая природа — это высшая природа. Она пропитана необузданной силой и духом, она своевольна и не поддается контролю. Дикая природа — сердце духовного мира, главное пространство жизни.

Определяемая этими постулатами современная идея дикой природы — это великая панкультурная идея, к которой рано или поздно придут все народы. Может быть, самая радикальная идея в нынешнем мире — более радикальная, чем идеи Маркса или Мао.

Современная идея дикой природы состоит в том, что свободная природа является чем-то большим, чем просто ресурс или важный компонент экологических систем. Дикая природа — это особое священное пространство. Совершенно Иное, независимое государство, иная цивилизация, существующая вне человеческого контроля, ущемляемое человеком меньшинство.

Дикая природа имеет свою внутреннюю ценность, свои интересы, свое достоинство, свою цель и моральные права на существование и свободу. Существование дикой природы хорошо само по себе, а уничтожение или контроль над ней являются неправильным по своей сути.

Современная идея дикой природы объединяет взгляды либеральной демократии, экологии, религии и морали. Согласно современной идее дикой природы, мы должны любить, ценить, уважать и защищать дикую природу ради нее самой и ее экологической ценности, а не ради потребностей человека. Современная идея дикой природы восстанавливает древнее понятие священности участков дикой природы, расширяет рамки демократии до защиты моральных прав, свобод, автономии и независимости дикой природы и ее видов. Современная идея дикой природы — это идея спасения всей оставшейся дикой природы на Земле. Она помогает нам любить, уважать и защищать дикую природу — все то, что еще остается свободным, грубым, диким, красивым, непознанным и нетронутым. Дикая природа — для дикой природы.

Современная идея дикой природы учит, что люди не являются господствующим видом на Земле, Земля создана не только для человека, человеческая жизнь — всего лишь одна из форм жизни на планете, и человек не имеет никакого права брать Землю в исключительное владение.

Современная идея дикой природы учит, что недостаточно защищать немногие оставшиеся участки свободной природы. Необходимо отвести ей огромные области, сейчас используемые человеком. Нужно убрать оттуда людей и машины, рекультивировать дороги и распаханые земли, освободить скованные плотинами реки. Пусть вновь туда вернуться корабельные сосны, орлы, волки и медведи.

Чтобы в третьем тысячелетии сохранить биосферу, нам необходимы новые мифы. Современная идея дикой природы пробуждает индивидуальное восприятие и преобразует его в духовный опыт, в метафизическое понимание мира. Она учит состраданию, покорности и сочувствию. За ней — великое будущее.



О П Ъ Л Т Ъ Л

АНАТОЛИЙ НАЙМАН



ПОЭТИЧЕСКАЯ НЕПРЕЛОЖНОСТЬ

Расхожий смысл слов «поэтическая свобода» подразумевает исключительно выход за рамки, произвол, насколько возможно полную *отвязанность*. Между тем простой записью строк на пергаменте, камне или бумаге фиксируется ее сущность такая же объективная, как математическое уравнение. Для поэта а-плюс-б в кубе не абстракция, а реальный куб с ребром, сложенным из двух пядей, которые прополз червь, или двух верст, которые пробежал волк. Славянский алфавит — сравнительно поздний и как всякий вторичный оторван от непосредственного значения букв, передающего их связь с вещью-источником. Алфавиты более древние эту связь не только сохраняли, но, можно сказать, именно ею и занимались, предлагая себя в качестве календарей, энциклопедических синопсисов, путеводителей по ритуалам. О так называемых древесных алфавитах, валлийских и ирландских, в которых буква соответствует названию того или иного дерева или кустарника, о их роли в возникновении и бытовании поэзии как нельзя убедительнее и вдохновеннее написал Роберт Грейвз в «Белой богине». Но оттого, что в славянском, и тем более в русском, «а» забыло своих греческих родителей, а греческие — финикийских и не значит ничего, кроме междометия и союза, не следует, что писать сейчас стихи можно как угодно.

У нас нет вещественного алфавита, но есть букварь, и в нем «а» — это акация, «б» — береза, если не бузина, «в» — верба, «г» — «глаголь», виселица, срубленная из подручного дерева, да хоть бы из граба, «д» — дуб, если не вообще древесина, «е» — ель и так далее. Желание представить себе эти буквы таким образом — сильнее просто эстетического. Оно заложено в нас подсознательно, а с другой стороны, само начертание азбуки для непредвзятого взгляда, не что иное, как картинка веточек, сучков, стебельков. «Кто: Куст. Что: Куст. В нем больше нет корней. В нем сами буквы — больше слова, шире. „К” с веткой схоже, „У” — еще сильней. Лишь „С” и „Т” — в другом каком-то мире», — как предлагает это видеть Бродский в своей юношеской поэме. Речь идет не собственно о прямом сходстве: сходство просто указывает на знак, переданный буквам как физической, так и сакральной природой растений. При этом «мировое древо», «древо жизни», «древо познания добра и зла», «майское» и подобные (лишь в исключительных случаях реализующиеся в конкретный Мамврийский дуб или в тот единый ствол, составленный сросшимися кипарисом, певгом и кедром, который пошел на крест для распятия Иисуса) — не в счет, это только культурные метафоры высших символов.

Деревья, кусты, трава занимают в мироздании ни на что не похожее место: они уже живые, но не вступающие с прочими живыми душами в контакт; они разбрасывают потомство на значительные расстояния, не говоря о том, что и сами гнутся, топорщатся, раскачиваются — но не передвигаются; они выражают покой, мятежность, смирение, устойчивость, но делают это вчуже,

не навязывают другим, не превращают в проповедь. Понятно, почему поэт сказал: «Я знаю, что деревьям, а не нам дано величье совершенной жизни». Они и земля одно, они одно с влагой, готовы немедленно стать огнем, ежеминутно продуцируют воздух. Естественно, что при такой независимости от человека и одновременно такой повседневной досягаемости они становились для него богами, кумирами и храмами. Более того: чем нагляднее было их к нему равнодушие, тем острее его к ним интерес. Они не просились в людское или какое-нибудь другое племя, это нимфа Дафна стремилась стать лавром, это полупрозревший евангельский слепой демонстрировал нашу им соприродность: «вижу проходящих людей, как деревья». *Люди* обнаруживают свое подобие растениям, сравнивают с ветвями, листвой и колосьями свои закинутые в отчаянии или восторге руки, свои разметанные шевелюры, видят траву «простоволосой» — растения же взирают на предлагаемое им родство отрешенно.

Когда читаешь в воспоминаниях о поэте, как хорошо он знал названия огородных, садовых и лесных пород, необъяснимо умиление, с которым это описывается. Дескать, никто его не заставлял, мог бы не знать, но вот такая тяга к знанию предмета. Вовсе нет, не к знанию предмета, это десятое дело, и даже не к словарю, а к фундаменту словаря. Поэт видит дальше ботаника: трубадур XIII века Сервери де Джироне сказал, что женских козней так же трудно избежать, как сосчитать *листья сосны* и бука. В признании Ахматовой «Я лопухи любила и крапиву, но больше всех серебряную иву», а за много лет до того «Ива, дерево русалок, не мешай мне на пути!», а вскоре после того «И, как всегда бывает в дни разрыва, к нам постучался призрак первых дней и ворвалась серебряная ива седым великолепием ветвей», невозможно не видеть всего мифологического облака, окутывающего это дерево, его колдовской ауры и, наконец, эпического наставления: «Дерево иву не жги, свято оно для поэтов».

В этом свете разговор Ахматовой с Фростом получает особую интерпретацию. Они встретились в Комарове на академической даче, летом. Фрост, глядя в окно, спросил, какую выгоду можно получить, изготавливая из местных сосен карандаши. Ахматова ответила: «У нас за поваленное в дачной местности дерево штраф пятьсот рублей». Иначе говоря, Фрост заявлял: я фермер, я американец, а то, что я поэт, значит для меня не «широкошумные дубровы», прибежища тех, кто «звук и смятенья полн», а такое утилитарное их качество, что изделием из них можно записывать стихи. На это она говорила что-то вроде: у кельтов за незаконную порубку рощи полагалась смертная казнь, а позднее, взамен ее, корова, а у римлян свинья — не по факту кражи, а потому, что посягали на священную ипостась дерева. Для *стихов* сосна в качестве оболочки грифеля — годится, для *поэзии* же — в этом качестве все-таки нет... Я думаю, что как бывшая слушательница юридических курсов она, подхватив предложенный Фростом стиль, так профессионально юридически и могла ему сказать. И я допускаю, что через короткое время она написала: «...сосен розовое тело в закатный час обнажено», чтобы объяснить конкретно, что она имела в виду. Как формулирует Грейвз, «когда сравнительную ценность деревьев можно выразить величиной штрафа за их незаконную порубку, святость рощи сводится к нулю и поэзия приходит в упадок».

Дно любого стихотворения выстлано буквами. Собственно говоря, поэт — жрица, швыряющая палочки прорицания горстью, как сеятель, на белое покрывало, читающая буквы, в которые они сложились, и толкующая их. В конце концов, все равно, что инициировало эти комбинируемые в бесконечных сочетаниях два-три десятка значков быть именно такими: деревья, или планеты, или камни, или реки, или другое что, столь же беспорочное и находящееся вне власти людей. *Не* все равно то, что всякая их комбинация выходит за границы текстуральной информативности, которую она несет. Как бы далеко алфавит ни

ушел от священных первоначал, порядок и весь узор букв подает сигнал, гармоничный или диссонирующий, утверждающий подлинность стихотворения или его фальшивость. Нельзя варить козленка в молоке его матери, хотя практически ничто этому не мешает. Нельзя влезть на пальму в осиннике.

Не в «метком словце» поэзия, не в афористичности, не в удачной формулировке, привитых нашей поэзии ее советским периодом, а в законе, вложенном музами и богами в буквы. Буквы не помнят о минуте, когда это случилось, как мы о топографии Рая, но мазок пыльцы с цветов, от названий которых они произошли, стерся не до конца. Осталась тень отпечатка с отпечатка с отпечатка. И это дает буквам власть выносить заключение, поэзия ли то, во что они сложились в тексте. То, что по-немецки, у Гейне, — ель, по-русски будет верно, как у Лермонтова: сосна. Приговор алфавита стихам не переводится на язык рецензии, и поэты, разумеется, не сориентированы на комбинацию, которая выходит из-под пера (и уж совсем безумием было бы им заниматься намеренным составлением «правильной» комбинации). Но отдельные среди них, что бы и про что они ни писали: про одноглазого циклопа, спуск в ад, тучную проститутку, чуму, нищих старушек, сероглазого короля, неизвестного солдата, — по общему рисунку видят, каков этот приговор, чутьем разумеют суть заключения. Шестым чувством они воспринимают исходящий от букв сигнал — как пилот, пробегающий глазами не по показаниям приборов, но охватывающий целиком картину приборной доски — благополучную или искаженную. А еще лучше — как пилот, бросающий взгляд на ночное небо за окном кабины и по нечитаемому, хотя и явно что-то неотменимое передающему тексту звезд понимающий, верен ли курс полета.

Поэт вовсе не тот, кто пишет стихи для журнала и книги, а тот, кто читает иероглифы, которые крыльями и всем своим телом пишут летящие журавли, и переводит их в понятный нам, хотя и всегда сколько-то таинственный, даже когда кажется простым, смысл. Так сложилось за последние «пару-тройку» тысячелетий. С какой бы стати нам это менять?

На первый взгляд все это кажется далеким от нынешнего порядка вещей, в котором поэзия играет роль в лучшем случае факультативную. Что делать, так оно получилось, никто не спорит. Но примиряться с таким положением дел — все равно что примиряться с заболачиванием или эрозией земли. Дескать, да, трясина, да, пыльные бури — так живем. Если у поэзии есть социальная функция, то это не регистрация наличной действительности, а обнаружение ее неполноценности. Из плоскостей биологической, экономической, этической она выводит ее в сферу религиозную — как правило, незамечаемую или ограничиваемую только эстетическими критериями, но от этого не менее непреложную. Поэзия занимается необузданностью и неистовством *жизни*, а не необычностью описывающих ее *слов*.



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

«НАД ГОЛОВОЙ ТОКЛИСЬ КОМАРИКИ...»

Алексей Толстой. Хождение по мукам. Вступительная статья О. Н. Михайлова; оформление, послесловие Г. Д. Новожилова. М., «Молодая гвардия», 2001, 407 стр., с ил. («Проза века»).

Имеются два обстоятельства, связанных с работой А. Н. Толстого над текстами, одно из которых на слуху даже у людей, далеких от литературы, второе же, как правило, — за пределами зрения даже и исследователей ее: 1) Алексей Николаевич готов был в угоду конъюнктуре не только сочинять, но и каяться в сочиненном, а также его переделывать; 2) этот писатель обладал почти маниакальной страстью к переписыванию и переделкам собственных текстов, предаваясь этому излуженному и, казалось бы, для «ловкого рвача» малопродуктивному занятию.

Помню (начало 70-х), взяв в руки первое берлинское издание «Хождения по мукам», я ощутил себя пред входом в таинственную антисоветскую чашу, полную мрачных откровений, пророчеств и язвительных политических карикатур. Помню и разочарование от того, что не привелось вкусить редкой тогда для меня антисоветчины, но и удовольствие от того, что не оправдал граф околелитературной молвы, вешающей на него реальных и воображаемых собак.

Роман «Две жизни» (1911), первый роман писателя, в 1916 году переделан в сторону резкого сокращения (летит почти вся вторая книга, целые сюжетные линии) и назван «Земные сокровища». Затем, уже в эмиграции, когда Толстой, по его же словам, затеял «переработку заново всего ценного, что было мною до сих пор написано», новой переделке подвергся и роман «Две жизни», получив название «Чудаки», и тем не менее в 1929 году он вновь проходит по тексту.

Следующий роман, «Хромой барин» (1912), переделывается при первом же переиздании (1914). Новая существенная редакция относится к 1919 году. Наконец, не кардинальной, но тщательной правке текст «Хромого барина» подвергался в 1924 и 1929 годах.

«Гиперболоид инженера Гарина» (1926). Редакции 1927, 1934, 1936 (обработка для детей), 1937 годов; причем в 1927-м писатель дописал новый финал, а в 1934-м резко сократил, выбрасывая целые главы. И т. д.

Даже рассказы цикла «Под старыми липами» («Заволжье» тож), первой книги Толстого, принесшей ему скорый и шумный успех, еще до революции начали им переписываться. Казалось бы, зачем господину, столь нацеленному на материальный успех, пожирающему радости жизни, с чего бы ему тратить время на переписку, притом кропотливую, старых вещей? (Это уже в позднем советском авторском праве переделка скольких-то, не помню, процентов текста, доказанная автором, влекла за собою оплату нового издания как первого.)

Итак, к редакциям «Хождения». Впервые они подробно и внятно, без особых идеологических упоров, несмотря на, казалось бы, вполне одиозный год издания, прокомментированы И. И. Векслером и И. З. Серманом в примечаниях к восьмому (1947) тому посмертного Полного собрания сочинений А. Н. Толстого в 15-ти томах. Достаточно было бы этого старого комментария, чтобы развеять миф о быстром и ловком превращении антисоветского романа в советский (он повторен и О. Н. Михайловым в предисловии). Упор всегда делался на изменения в финале, когда Рощин и Катя проходят мимо особняка Рябушинской.

Было: «— Вот змеиное-то гнездо где, — сказал Рощин, — ну, ну...»

Это был особняк знаменитой балерины, где сейчас, выгнав хозяйку, засели большевики. Всю ночь здесь сыпали горохом пишущие машинки, а поутру, когда перед особняком собирались какие-то бойкие, оборванные личности и просто ротозей-прохожие, — на балкон выходил глава партии и говорил толпе о великом пожаре, которым уже охвачен весь мир, доживающий последние дни. Он призывал к свержению, разрушению и равенству... У оборванных личностей загорались глаза, чесались руки...

— На будущей неделе мы это гнездо ликвидируем, — сказал Рошин».

Стало: «Это был особняк знаменитой балерины, где сейчас находился главный штаб большевиков. День и ночь здесь сыпали горохом пишущие машинки. Каждый день перед особняком собиралась большая толпа рабочих, фронтовиков, матросов, — на балкон выходил глава партии большевиков и говорил о том, что рабочие и крестьяне должны с боем брать власть, немедленно кончать войну и устанавливать у себя и во всем мире новый, справедливый порядок.

— Давеча я был здесь в толпе, я слушал, — проговорил Рошин сквозь зубы. — С этого балкона хлещут огненными бичами, и толпа слушает... О, как слушает!.. Я не понимаю теперь: кто чужой в этом городе, — мы или они? — (Он кивнул на балкон особняка.) — Нас не хотят больше слушать... Мы бормочем слова, лишённые смысла... Когда я ехал сюда — я знал, что я — русский... Здесь я — чужой... Не понимаю, не понимаю...»

Ну что тут скажешь? Именно по поводу этой правки вслед за многими другими автор предисловия О. Н. Михайлов, окалambuриив «сменовеховство» Алексея Николаевича, утверждает: «...приехав в Москву, Толстой естественно и непринужденно поменял вехи». Только ведь и в первоначальном варианте ничего существенного крамольного для советской печати не содержалось. Да, офицер, в будущем скорее всего белый офицер, называет штаб большевиков змеиным гнездом, грозит ликвидировать. Но ведь на страницах самых коммунистических книг белогвардейцы произносили речи в том же духе. Чуть посущественней перемены в характеристике выступлений Ленина, хотя опять-таки ничего и не было особо вызывающего в берлинской редакции. Конечно, речи Ленина зажигали не одних люмпенов, но и рабочих и матросов. Однако и многозначительный посланник грядущих событий — оборванец, расклейщик большевистских афиш, ненавистный взгляд коего — последняя фраза романа, не исчез вовсе из текста, исчез лишь провалившийся нос на его лице, а ненависти во взгляде на буржуев так и добавлено.

Куда более существенные сокращения связаны с именем загадочного революционера Акундина, а прежде — о причинах, на мой взгляд, вовсе не цензурных, правки финала с Рошиным. Приступая в 1925 году к перделке романа для советского издания, Толстой еще не решил, куда ему определить Рошина, и на всякий случай смягчил его настроения. Более того, Рошин в следующем романе трилогии как бы превращается в Рошина «берлинского» финала, с репликами пояростнее прежних. В ноябрьских боях юнкеров с большевиками в Москве Рошин «командовал ротой юнкеров, защищая подступы к Никитским воротам. (Именно там обитал в то время сам Толстой и описал события конца 1917 — начала 1918 года в рассказе „Простая душа” и др. — С. Б.) Со стороны Страстной площади наседали с большевиками Саблин. Рошин знал его по Москве еще гимназистом с голубыми глазами и застенчивым румянцем. Было дико сопоставить юношу из интеллигентной старомосковской семьи и этого остервенелого большевика или левого эсера, — черт их там разберет, — в длинной шинели, с винтовкой <...> „Предать Россию, армию, открыть дорогу немцам, выпустить на волю дикого зверя — вот, значит, за что вы деретесь, господин Саблин!.. Нижним чином, этой сопатой сволочи, еще простить можно, но вам...” Рошин сам лег за пулеметом <...> и когда опять выскочила из-за дерева тонкая фигура в длинной шинели, полил ее свинцом. Саблин уронил винтовку и сел, схватившись за ляжку около паха». Зачем Толстому здесь понадобилась фигура Саблина, можно только гадать. Писал эти страницы он в 1927 году, когда Саблин, и впрямь побывавший левым эсером и даже участником июльского мятежа, искупил, так сказать, и пребывал на командных должностях РККА, однако в многочисленных изданиях после 1937 года, когда Саблин был уже репрессирован, его фамилия не исчезает из текста, что было бы малозаметно и совершенно безразлично для читателя. Может быть, все оттого, что не воображаемый бело-красный Рошин, а сам Толстой знал Саблина, и в его «Дневнике» имеются записи: «Вечером короткие атаки большевиков на юнкерские заставы. <...> Командует тверским отрядом Саблин» (октябрь 1917 года) и «У „Бомы” встреча с Саблиным. Разговор о военнопленных. Автомобиль» (после 30 марта 1918 года). Я это к тому, что, разглядывая сейчас многочисленные, тысячами исчисляемые по-

правки, вносимые А. Н. Толстым в свои тексты, не надо заранее объяснять их, разнося по двум графам: *за* и *против*, *до* и *после*.

Дальше — больше. Рошин в Самаре при большевиках, читая местную газету, «стискивал челюсти. Каждая строчка полосовала, как хлыст. <...> „Поборемся! Отстоим Россию! И накажем... Накажем жестоко... Дайте срок...”»

А при расставании с Катей в Ростове? «К черту!.. С вашей любовью... Найдите себе жид... Большевичка...» Злобы и резкости здесь куда больше, чем в снятых словах два года назад в первой книге. Вполне определенно можно повторить, что правка «рошинской» части этой книги в 1925 году вызвана тем, что писатель не знал еще, кого из двоих героев отправить к белым, а кого — к красным. Первым к большевикам отправился, как известно, Телегин, но вспомним его, Телегина, знаменательную фразу, адресованную большевику Рублеву, упрекнувшему Телегина в нейтральности: «Либо я на Дон уйду... Либо с вами...»

Были, разумеется и план, и подготовительные записи. И все же, принимаясь за очередную главу, Алексей Толстой не слишком отчетливо представлял, куда заворотят его сюжет и персонажи, что так заметно по особой легкости их восприятия, как хорошей сказки. Вполне в духе Дюма он мог писать романы и по-газетному — в номер, как тот же «Восемнадцатый год», мог играючи переигрывать и перекраивать судьбы и жизни. Крайне показательна для него повесть «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1925), герой которой, мелкий петербургский служащий, поднятый ураганом революции, перемещается во времени и пространстве, где каждый шаг сулит лютую гибель, — но герой даже не обожжет крылышек.

Принципиальная редактура коснулась по существу лишь двух линий: Акундин — Бессонов и Жадов со товарищи.

О первой. Выступление Акундина на «Философских вечерах» осталось, как и портрет его. «Человек с шишковатым стриженным черепом, с молодым скуластым и желтым лицом» и таинственной анкетой: «Во всяком случае, фамилия его была не Акундин, приехал он из-за границы и выступал неспроста».

В речи почти нет сокращений, лишь несколько изменен ход его полемики с историком Вельяминовым, предостерегающим: «Высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. „Жажду” — вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли божественной влаги. Берегитесь <...> в раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить живого человека в силлогизм <...> в этом страшном раю грозит новая революция, — быть может, самая страшная из всех революций — революция Духа...»

Акундин холодно проговорил с места:

— Это предусмотрено...»

В советской редакции «силлогизм» заменено на «номер», на что Акундин отвечает: «Человека в номер — это тоже идеализм».

Последнее исправление непосредственно связано с линией Акундин — Бессонов, в первом варианте при небольшом объеме выполнявшей важную функцию.

Вот в «берлинской» редакции Акундин просвещает поэта, напуганного беседой некоего «пророка», теоретика революции (на дворе 1914 год):

«„Большая будет потеха на свете... <...> В такие иерихонские трубы затрубим, Алексей Алексеевич, не то что стены — все сверху донизу рухнет. У нас ухватка уж больно хороша. Словечко есть. Важно было словечко найти, — Сезам, отворись, и в нашем словечке особенный фокус: к чему его ни приставишь, все в ту же минуту гниет и рассыпается. <...> Товарищи, русские, немцы и прочие — голь, нищета, последние людишки, — довольно вашей кровушки попито, на горбе поезжено, давайте устраивать *мировую справедливость*. На меньшее вас не зовем. Отныне вы одни люди, остальные паразиты. В чем дело? какие паразиты? Какая такая мировая справедливость? <...> О, мы как первые христиане. Они нищему поклонились, и мы, униженному и оскорбленному, лахудре, что и на человека-то не похож, — низкий поклон от пяти материков. У них было словечко, и у нас словечко. У них крестовые походы, и у нас крестовые походы. <...> Побрыкаетесь, а придете, придете к нам, Алексей Алексеевич. Такие, как вы, нам вот как нужны. Время близко, последние денечки доживаем...» Он хихикнул, подавив в себе возбуждение...»

Прямая перекличка с речами и ужимками Петра Верховенского и своеобразное перенесение роли «Ивана Царевича» на поэта Бессонова: «Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...» Кстати, мне уже приходилось отмечать и портретное сходство Ставрогина («казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен») и Бессонова («отталкивающе-красивое лицо»). То, что в 1914 году «бесами» на роль «мессии», по модели А. Толстого, предназначается декадент, остроумно, скажем даже — исторично: после октября 1917 года немало персонажей романа и их прототипов, знакомых писателя, воцарились и вдохновляли «отуманившийся» русский народ новым Духом.

Снято и впрямь опасное упоминание Акундина в письме Телегина Даше из германского плена: «Недавно к нам привезли новую партию пленных, и представь, кого я там встретил, — Акундина, он — прапорщик, попал в плен, и весел, очень доволен. Просидел в лагере неделю, и его куда-то увезли. Очень странно».

Почему же Толстой оставляет полемику Акундина с Вельяминовым, содержащую весьма откровенную правду о революции, и убирает его разговор с Бессоновым?

А потому, что сокращения, коснувшиеся Акундина, связаны именно с Бессоновым. В эмиграции Толстой мог позволить себе очевидную карикатуру на Александра Блока и бросить на него тень еще дореволюционных связей с большевиками (впрочем, нигде не сказано, что Акундин большевик). В новой же России Блок сделался священной коровой и для интеллигенции, и для власти. Мне кажется, Толстой вовсе был бы рад изъять Бессонова из повествования, но это было невозможно — слишком сцеплен он с другими: Катей, Дашей, Елизаветой Киевной, кружком Николая Ивановича и проч. И тогда автор убрал его связь с революцией и главным революционером. Все же намеки для внимательного читателя остались: в «Северной пальмире» Бессонов «сидел, положив локоть на стол, и внимательно слушал Акундина, который с полуизжеванной папирской во рту говорил ему что-то, редко чертя ногтем по скатерти. На этот летающий ноготь Бессонов и глядел. Лицо его было сосредоточенно и бледно. Даше показалось, что сквозь шум она расслышала: „Конец, конец всему“». Не думаю, чтобы автору было жаль урезать своего Акундина. Само описание его внешности для писателя, умевшего находить выразительные краски и жесты даже и для проходных фигур, на редкость бесцветно. Может быть, Толстой ввел его в повествование лишь для того, чтобы в романе о кануне революции был все-таки свой главный «революционер»; а на деле вышла говорящая функция, с фамилией, отсылающей к родоначальнику анархизма. Но здесь придется вспомнить и о статье Блока к тридцатилетию смерти М. А. Бакунина (1906). Блок писал: «<...> мы читаем Бакунина и слушаем свист огня. Имя „Бакунин“ — не потухающий, может быть, еще не расплывшийся костер. <...> Займем огня у Бакунина! Только в огне расплавится скорбь, только молнией разрешится буря...» В романе же Смоковников восхищается как призывом к революции статьей Акундина, что «посвящена смерти Бакунина», цитируя ее и восклицая: «Нам нужно какое-то самосожжение, очищение в огне...»

Еще любопытно, что в 1914 году, в отличие от 1906-го, отмечалась не годовщина смерти, но столетие со дня рождения «апостола анархии». Очевидно, Толстому запала в память статья Блока «к дате», а проверять было лень или негде. Сцена осталась в неприкосновенности. Очень, очень для него характерно: в последующей правке выверять, зачеркивать, переписывать сотни слов, описаний, портретов, состояний — и совершенно наплеватьски отнестись к хронологии: ведь фразу о годовщине можно безболезненно выкинуть. Или она была нужна как дополнительное скрытое указание на Блока?!

Из выброшенных «политических» фрагментов можно упомянуть совершенно убогое «разъяснение» мыслей и чувств рабочих, которым раздают на заводе листовки «От Центрального Комитета»: «Рабочие чувствовали и понимали, что на царскую власть, заставлявшую работать по двенадцать часов в сутки, отгородившую их от богатой и веселой жизни города грязными переулками и постами ночных сторожей, вынуждавшую рабочих дурно есть, грязно одеваться, жить с неряшливыми и рано стареющими женщинами, посылать детей в проститутки, а мальчиков в постылую старогру фабрик, — на эту власть нашлась управа — Центральный Комитет Рабочей Партии» и т. п. Прямо-таки роман «Мать»! Здесь и в микроскоп не раз-

глядеть иронии к «пролетариату», которой в его вещах советского времени — «Ибикусе», «Сожителе», «Василии Сучкове» — предостаточно.

Самое же существенное сокращение связано со второстепенной, но крайне колоритной фигурой прапорщика Жадова, сделавшегося идейным бандитом. То есть Жадов-то остался: и бой, где его ранят, и женитьба на Елизавете Киевне, и мрачные планы, и ограбление ювелирного магазина. Исчезла предыстория преступления, а также спутники его — интеллигентный рабочий Филька, студент Гвоздев; исчез Жиров в роли соучастника ограбления фелуки, как и вся эта сцена, явно навеянная детским чтением книг про пиратов («Шлюпка подошла вплотную к пахнущему деревом и варом остову, со скрипом поднимающемуся из вод и уходящему в волны. В снастях свистел ветер»). Главное же — исчезли речи Жадова о пришествии некоего Михрютки. Там была подлинная «классовая» злоба против прихода Чумазого, Грядущего Хама. На разглагольствования Гвоздева о грядущем равенстве Жадов иронически спрашивает: «Оставьте заслуженную, революционную аристократию?» — и предрекает новый передел власти. «Михрютку кривонного, сукиного сына, сифилитика, ненавижу и презираю откровеннейшим образом; вместе с вами согласен ровнять его под гребенку и бить по башке, когда он зарычит. Согласен устраивать революцию хоть завтра, с утра. Но уж только, дорогой мой, не во имя моего равенства с Михрюткой, а во имя Михрюткиного неравенства... Хозяином буду хорошим, да, да, заранее обещаю».

Что ж, то была и в самом деле политическая редактура, но результатом (а быть может, и целью?) имевшая не «перемену знака от минуса к плюсу» (О. Н. Михайлов), а пока — насколько это возможно — очищение романа от политики, результатом чего стало то, что ряд весьма политизированных персонажей — Кий Киевич, Струков, Жадов и другие — выведены за рамки политических пристрастий или ангажированности. Ну его к черту! — подумал, вероятно, граф и решил «пока» не связываться. Он и в самом деле сменит «вехи», но лишь тогда, когда власть поменяет скрижаль «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на (что уже внедрялось перед войной) «Сплотила навеки великая Русь». Вот тогда стало крепко, бодро и надежно! Но все это произойдет гораздо позже, скажем, в романе «Хмурое утро» (1939). А в 1927-м, в самом неопрятном своем романе «Восемнадцатый год», Толстой трактует революцию то так, то этак, но в основном вполне по-пильняковски или по-есенински, то есть как новую пугачевщину, и предложение М. Горького включить его в круг авторов «Истории гражданской войны» вызывает резкие возражения М. Н. Покровского и других как автора ненадежного, в чем они, конечно, были правы. Он стал надежным позже и не для них.

Что еще? Исчезла одна из двух карикатур на Маяковского. В 1914 году «никому тогда не известный Аркадий Семисветов, огромного роста парень с лошадиным лицом», эпатирует прохожих (осталось). В 1916-м завсегдаятай кабака «Красные бубенцы», «вон тот, с лошадиной челюстью — знаменитый Семисветов, выдернул себе передние зубы, чтобы не ходить воевать, и пишет стихи... „Не раньше кончить нам войну, как вытрем русский штык о шелковые венских проститутток панталоны...” Эти стишки у него печатанные, а есть и непечатанные... „Чавкай железной челюстью, лопай человеческое мясо, буржуй. Жирное брюхо лихо распорет наш пролетарский штык”» (снято).

Существенные коррективы внесены и в поездку журналиста Антошки Арнольдова (мне приходилось отмечать очевидную автопародийность этого персонажа) в деревню за впечатлениями по поводу начавшейся войны с немцами.

Предисловие к берлинскому не воспроизводилось ни в одном советском издании вплоть до 8-го тома ПСС, о котором шла речь выше. Но, редактируя текст в 1925 году, Толстой собирался перепечатать и предисловие, подверг его правке, выбрасывая такие, например, фразы: «<...> новый государственный строй, сдавивший так, что кровь брызжет между пальцами, тело России, бьющейся в анархии». И опять-таки удивительно, но в 1947 году оно воспроизведено без купюр.

Из 295 книжных страниц романа сокращено *всего* 20 страниц, причем самое объемное сокращение приходится на линию Жадова — 14 страниц. Вот и все о пресловутой «смене вех» в политической редакции оборотистого графа. Главная же правка, правка большого писателя, безмерно любящего русское слово, состоялась в

1943 году, когда мастер тщательно, с какой-то олимпийской бесстрастностью прошелся по тексту, предав его сотням и сотням, а может быть, и тысячам исправлений, уточнений, сокращений, редко — дописок. Я позволю себе лишь один пример — в обожаемой мною с первого чтения, чисто алексеевско-толстовской фразе.

Было: «Над головой толклись комарики двумя клубочками живой пыли».

Стало: «Над головой толклись комарики».

Редко кто пишущий пожертвовал бы дивным сравнением для большего, «окончательного» совершенства.

«Детство Никиты», оно же первоначально «Повесть о многих превосходных вещах», объединено в один том с «Хождением...», вероятно, по принципу единства времени и места их создания. Разумеется, можно вообразить в детстве Никиты детство героев романа — собственно, так оно и есть. Но поскольку издание «Молодой гвардии» носит, конечно же, особый характер — как преподнесение перво-текста известнейшего романа, оно требует прежде всего политико-текстологического аспекта разговора. «Детство Никиты» не ложится в него. Считается, что авторская правка в его переизданиях носила несущественный характер. Если сопоставлять с первой и второй редакциями «Хождения...», то это так. Но если вернуться к неутолимому стремлению Алексея Толстого править, чистить, шлифовать свои старые тексты, то «Детство Никиты» не исключение, и здесь я снова приведу лишь один пример. Последний абзац повести.

Было: «Наутро матушка, Аркадий Иванович и Никита пошли в гимназию и говорили с директором, худым, седым, строгим человеком, похожим на Дон Кихота... Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс...

Этим событием кончается его детство».

Стало: «Наутро матушка, Аркадий Иванович и Никита пошли в гимназию и говорили с директором, худым, седым, строгим человеком, от которого пахло медью. Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс...»

Предисловие О. Н. Михайлова примечательно многим: и присущим этому критику личным до интимности отношением к перипетиям биографий русских писателей, и меткими наблюдениями над текстом, и острым словом, и тем, увы, что оно в значительной части объема состоит из цитат, самоцитат и раскавычек, как, например, из все того же комментария И. Векслера и И. Сермана («тем самым из сюжета романа выключена линия Бессонов — Акундин», «инженер Струков из анархистствующего циника превращается в обычного злобного обывателя» и др.). Самое точное из наблюдений О. Н. Михайлова — над примерами мелкой, но целенаправленной «антирелигиозной» правки 1925 года как «измены общему замыслу, если учесть, откуда Толстой позаимствовал название своего романа». Сугубо прав автор предисловия, обращая внимание читателя на блестяще сформулированную и даже «прощенную» Буниным искреннюю «способность ассимиляции» со средой обитания как ведущую черту натуры А. Н. Толстого. В своих статьях об А. Н. Толстом Михайлов прилежно, с обилием цитат и опорой на мысли, издавна следует за Буниным. Есть и неточности: рассказ Толстого называется «Четыре картины волшебного фонаря», а не «Четыре стороны...», образ революционера Гвоздева не улучшен, а вовсе отброшен (впрочем, и сам Михайлов то говорит о «переработке» Гвоздева, то заявляет, что тот вовсе выброшен из текста).

Книга проиллюстрирована Геннадием Новожиловым, на мой вкус, далековато от стилистики Толстого. Лучшими иллюстрациями к «Хождению по мукам» остаются многочисленные законченные и незавершенные (1952) рисунки и акварели рано ушедшего из жизни художника В. М. Свешникова, а к «Детству Никиты» — К. И. Рудакова (1936). Зато эссе Геннадия Новожилова «Портрет по окончании пира...» выше всяких похвал, настолько точен здесь художник, выступающий в роли читателя, исследователя и одаренного литератора.

Книга издана в серии «Проза века. Лучшие писатели в иллюстрациях лучших художников». Не место обсуждать замысел и состав (Юрий Поляков в одном ряду с Буниным и Булгаковым), но выбор «берлинской» редакции романа А. Н. Толстого для подобной серии не кажется удачным. Второе пришествие текста требовало

полноценного академического или хотя бы тщательно откомментированного издания, с устранением немалого числа опечаток и даже несуразностей (Сапожков — то Петр Петрович, то Сергей Сергеевич и т. п.). Тогда для тех читателей, кому интересна история русской литературы 20-х годов, издание могло бы представить куда большую ценность, чем случилось теперь с безадресной перепечаткой.

Сергей БОРОВИКОВ.

Саратов.



В СОВЕТСКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ЗООПАРКЕ

Дмитрий Галковский. Уткоречь. Антология советской поэзии. Псков, 2002, 399 стр.

Писатель Дмитрий Галковский несколько лет бойкотировал отечественный литературный процесс, обидевшись на хамскую критику своей книги и современные литературные нравы. Мне, продублированному двумя десятилетиями самиздатского подполья, его негодующие сетования¹ показались, честно скажу, чрезмерными. К тому же у Галковского человеческое, слишком человеческое постмодернистски перемешано с игровым, и, безоглядно сочувствуя ему, можно, пожалуй, попасть впросак. Исповедальное и провокативное находятся у него в двусмысленной и опасной связке. В силу чего его простодушие, верней, прямодушные порою берется читательским сознанием под подозрение даже в самых патетичных местах. Галковский хотел бы видеть в людях лучшее, часто подозревая их в наихудшем. Но тогда непонятно, с какого бреху ищет у них сочувствия. Нечего и искать, если не доверяешь. И уж тем более, когда сам бываешь не добр, чего ждать добра от коллег по литературному цеху: они и доброго загрызут.

...Происхождение этой книги по-своему замечательно. «Мой отец, — рассказывает в предисловии Галковский, — на протяжении пятнадцати лет (с конца 40-х по начало 60-х) собирал библиотеку советской поэзии. Потом он это дело забросил, стал сильно пить и умер от рака, прожив всего пятьдесят лет. Психологически мне было очень трудно выбросить 500 — 600 книг — книг, никому не нужных, никчемных, загромождавших полки, но как-то мистически связанных с отцовской жизнью, такой же, в общем, никчемной и всем мешавшей. И я решил по крайней мере оставить книги с дарственными надписями авторов и с многочисленными отцовскими пометками. Вот здесь, выживая их из общей массы, я стал все более внимательно вчитываться и даже вырывать для смеха наиболее понравившееся. Постепенно на столе накопилась целая кипа вырванных листков. Прочитав ее подряд, я понял, что тут просто и в то же время полно и ярко дана суть советского мира, и, что самое страшное, я вдруг впервые ощутил тот слепящий ветер, который дул отцу в глаза всю жизнь и во многом и свел его в могилу».

Так что данная антология по определению не претендует на полноту, в ней не хватает многих и многих увенчанных лаврами асов-соцреалистов; но и продукция рядовых иванов бездомных, «малых сих», достаточно впечатляющая.

Галковский назвал антологию по-оружелловски «Уткоречь»: «В идеале должна была быть создана речь, производимая непосредственно гортанью, без включения мозга. Эта цель отражалась в слове „уткоречь“, означающем „говорить так, как крикает утка“» («1984»).

...Задолго до «1984» с его «уткоречью», однако в провидческом предчувствии подмены культуры цивилизацией, Баратынский писал Плетневу: «Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия».

«В поэзии, — утверждал Достоевский, — нужна страсть, нужна ваша идея, и непременно указующий перст, страстно поднятый».

Злой пародией на два этих творческих положения великих людей является литературная деятельность авторов «Уткоречи». Да, поручение, но идеологическое: от

¹ «Разбитый компас. Журнал Дмитрия Галковского», 1997, № 3.

властей, от «потребителя». Да, страсть, но имитируемая, наигранная, заемная: идеологически распалить себя и выдать что-нибудь яростное, от чего мурашки бегают по коже. Вот Я. Смеляков грозит, например, в стихотворении «Натали»:

Уйдя — с испугу — в тихость быта,
живя спокойно и тепло,
ты думала, что все забыто
и все травую поросло.

Ан нет:

Детей задумчиво лаская,
старела, как жена и мать...
Напрасный труд, мадам Ланская,
тебе от нас не убежать!

То племя честное и злое,
тот русский нынешний народ
и под могильною землею
тебя отыщет и найдет.

Есть и «указующий перст», но поднятый не по собственному почину, не в целях утверждения независимой истины, а по партийной указке:

Мы чувствуем зрачки враждебных глаз,
Из-за кордона целящихся в нас.

«Советский строй — ведь это строй души!» — заканчивает свое стихотворение 1951 года Е. Долматовский. По-своему замечательное определение. Советский строй со всей его гулаговской гнилью, лицемерием, нищетой и материалистической догматикой — и есть строй души советского стихотворца.

Настоящее стихотворение — *откровение*, плод вдохновения. Стихотворные поделки «Уткоречи» — как правило, плоды небескорыстного механического усилия. Здесь все — наигрыш, симуляция. «Книга, — утверждал Пастернак, — есть кубический кусок горячей, дымящейся совести». Задача поэзии — «это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас». Советская же поэзия в массе своей — именно полное, тотальное искажение голоса жизни, чем она бодрей — тем жутче, мертвее. Читаешь — и делается совестно за самую человеческую природу. «Может быть, потому / Мы и мир так особенно любим, / Ну а если уж драка — / Не покажем ни пяток, ни спин, / Знаем мы, что на волчьем, / Даже самом матером зубе / Никогда не ломается / Русский березовый дрын» (И. Тихонов, 1951).

В Отечественную войну, видимо, тема взяла за горло, и возникло немало сильных стихотворений (звучавших особенно проникновенно, когда они становились песнями). Но большинство авторов гнуло прежнюю линию. В. Сикорский в 1942 году написал, к примеру, стихотворение «Первая любовь»:

С парнем на военные дела
молодая партизанка шла.
Парень незаметно для людей
лишнюю гранату выдал ей.
А она, лишь стих в лесу привал,
в кобуру к нему, пока он спал,
сунула, подкравшись в темноте,
полную обойму для ТТ.

Много любопытного и в разделе антологии, метко озаглавленном Галковским «Лырика». Тут у В. Осинина в 1957 году зазвучали вдруг прямо-таки нотки Афанасия Фета:

Рано в садике стало темно,
Я давно тебя жду не дождусь.
Обломали сирень. Под окном
Поселилась вечерняя грусть.

Обломали сирень. Скорей
 Я бы руки им обломал!
 Я впервые тебя под ней
 Майским утром поцеловал.

А С. Смирнов хвастался в те же годы:

Рядовой гражданин... А в наличии
 Есть советская власть у меня,
 И партийных заданий величие,
 И дорога,
 и цель,
 и броня.
 И страна —
 где в почете работники,
 И священное чувство одно, —
 Что со мной,
 Как на первом субботнике,
 Сам Ильич
 Поднимает бревно.

Проклятый вопрос счастья человеческого, тысячелетями мучивший недовольных, в то время решался просто: «Эй, товарищ! / Хочешь быть счастливым? / Хочешь жить сегодня в коммунизме? / Если хочешь быть счастливым — будь им! / Хочешь в коммунизме жить — / живи!» (Н. Бялосинская).

Странное все же дело — слово. Гигантские холсты соцреалистов, многие сооружения советских архитекторов воспринимаются ныне как, собственно, некий мировоззренческий и эстетический кич, который даже забавен, а то и вызывает некоторое уважение за свою добросовестную ремесленность. Не то — поэзия. Здесь невозможен, оказывается, некий эквивалент Иогансону или Посохину: слово сакральней камня и краски и не выдерживает идеологических профанаций. Тут мало ремесленного умения, даже и мастерства: энергию высшего задания, вдохновения ничем не заменишь. И омертвление души тут сразу же налицо.

Кроме того, развитие настоящего стихотворения всегда неожиданность, никогда не знаешь, что в итоге получится. Советский же стихотворец ангажирован «заказом» еще на уровне замысла. Заказ этот может быть персонально не сформулирован, четко не обозначен — но автор хорошо понимает, чего от него хотят, и — по молчаливой договоренности, трусости, конформизму — никогда не преподнесет никаких сюрпризов. Он — винтик идеологической пропаганды и в качестве такового функционирует. Он не знает, что такое свободный полет фантазии, воображения. «Куда ж нам плыть?» — это не про него. Душа его не «стесняется лирическим волнением» — он садится за стол, рассчитав, о чем сегодня напишет. В виршах своих он порой ерепенится, грозит какому-нибудь дежурному противнику, но стоит на него цыкнуть, погрозить пальцем, как сразу стушуетея и скукожится. Были в соцреализме свои патриоты, даже свои западники и новаторы — но все они одним мирром мазаны: все они подневольная идеологическая челядь. Просто одних власть держала на более длинном поводке, других — на совсем коротком. Одни ездили, например, представлять в капстраны, другие лишь в соц. А третьи и вовсе сидели дома, дарование их было столь мизерным, что годились они уж совсем только для внутреннего пользования, пили тут водку и, выпив, слегка базланили. Но даже и такую судьбу вполне можно считать халявной.

Тексты «Уткоречи» исчерпываются еще во время пробега по ним глазами. Да они и не рассчитаны, впрочем, на медленное прочтение или на перечитку. Потому как отсутствует в них *интонационный* нюанс, *оттенки* — важнейшая компонента стиха. А где его нет — там поэзия, прямо скажем, не ночевала. Если говоримое «в лоб» не обогащено душевным движением, дополнительным смыслом, фонетической спайкой, юмором, а то и иронией (открывающимися порой не сразу, но лишь в процессе постижения и освоения стихотворения, вживания в его повествование, «психологию» и течение) — то это, как правило, не стихотворение, а поделка или плакат. Что, разумеется, вовсе не означает, что любой пафос или лиризм

непрерывно надобно подперчить сарказмом или подкислить двусмысленностью. Конечно нет. Но все-таки и самый священный пафос нуждается в многоцветии художественной полноценности.

А еще кроме эстетической и интонационной полифонии за текстом должно биться живое сердце. Когда рождались строки, оно билось? Билось. Вот это биение и должно навсегда уцелеть в стихотворении, быть его неумолкающей «фонограммой», отличая стихотворение-откровение от идеологизированного муляжа (впрочем, как и от интеллектуальной головоломки: ведь лучшие стихи — «простые» стихи).

Всего этого советские вирши, как правило, лишены. В них отсутствует интонационная сложность, проникновенность, а биение сердца имитирует ремесленная колотушка. Они не просты, а элементарны.

...Несмотря на похвалы Маяковскому, Сталин не любил авангарда, и советская поэзия в целом как бы ориентировалась на традиционную, дореволюционную. Но между нею и поэзией русской та же разница, как между СССР и Россией.

Симуляция советского энтузиазма приобретала порою какую-то аж хлыстовско-религиозную экзальтацию. В. Костров, к примеру, утверждал даже про свою верующую бабушку, что ее «молитвы совпадали / С повелемием партии самой».

Понадобились мгновенное обрушение тоталитарного монстра и последовавшая за этим «великая криминальная революция», чтобы стихотворец Борис Примеров, как рассказывают, книгочей и ценитель Константина Леонтьева, написал «Молитву», действительно обладающую весьма мощной, хотя и специфической энергетикой:

Боже, который
 Советской державе
 Дал процвести
 в дивной силе и славе,
 Боже, спасавший
 Советы от бед,
 Боже, венчавший
 их громом побед,
 Боже, помилуй нас
 в смутные дни,
 Боже, Советскую власть
 нам верни!

И, помолившись таким манером в 1995 году, удавился.
 Ничего себе приношение на курган советской поэзии...

Странная книга: в ней задыхаешься, гибнешь — какое чувство юмора ни имей.

В заключение хочется сказать следующее. Думаю, каждый, кому не безразлична современная литература, доволен, что имя Дмитрия Галковского вновь возвращается в читательский оборот — пусть хотя бы как составителя своеобразной антологии советской поэзии. Но — Платон мне друг, а истина дороже. Нет хуже, когда предисловие к книге представляет собой лоскутный комментарий к длинным цитатам: закрадывается подозрение, что автору не так уж много есть что сказать и обильным цитированием он попросту заполняет место. Убери цитаты — и собственно оригинального текста останется с гулькин нос. Ведь получилось так, что многие стихи оказываются напечатаны в антологии дважды: в толще текста, но уже до этого — в предисловии. Зачем? Они этого, конечно, не стоят. Мало допустимая, по-моему, в грамотном издании вещь. А все потому, что Галковский поспешил на «эксклюзивный» текст и воспользовался в данном случае своей старой новомирской статьей². Но статья и предисловие принципиально разные и отнюдь не взаимозаменяющие жанры. Терпеть не могу ставшее уже штампом бессмысленное словосочетание «Вместо предисловия», якобы свидетельствующее о скромности автора: дескать, на полноценное предисловие не претендую, но несколько неза-

² Галковский Д. Поэзия советская. Из материалов к «Энциклопедии Высоцкого». — «Новый мир», 1992, № 5.

урядных мыслишек все же высказываю. Но в данном-то случае и впрямь: *не собственно предисловие, а — вместо предисловия* эссе десятилетней давности.

Но еще больший, уже концептуальный, протест вызывает послесловие к антологии известного псковского критика и эссеиста Валентина Курбатова «Корешком вверх». Советские стихотворцы, утверждает Курбатов, «опережая своего читателя и только формулируя его тайные желания, норовят укрыться в пазуху счастливой, защищенной безответственности. Это они не Ленина и Сталина славят, а только благодарно перелагают на них ужас и тревогу бытия, спасаясь в их тени от необходимости собственного решения. Ведь это все старая, родная, церковная, даже монашеская традиция — уйти в послушание, довериться определенному тебе наставнику всем существом, зная, что перед Господом ответит духовный отец, замененный здесь всеобобщающим Вождем, которого не зря поэты так часто зовут именно Отцом». «Я понимаю, — спохватывается псковский почвенник, — что все по краю хожу, что говорю нестерпимое, но ведь когда-то надо! Что же самое-то большое, самое родное и важное от себя прятать?» Но напрасно думает Валентин Курбатов, что договаривает тут недоговоренное. Увы, большинство самиздатских и тамиздатских публицистов еще с 70-х годов выводили советскую власть напрямую из византийской традиции. И ныне многие наши правые либералы делают то же самое. Только делают это с омерзением, а не с сочувствием, как Курбатов. И, честное слово, это даже понятнее. Но и умиления тоже хватает — почитайте, к примеру, газету «Завтра»: там коммунистический режим, сталинщина — естественные преемники отечественной традиции. И там же из номера в номер муссируется то самое, что утверждает Курбатов, настаивая, что мы именно «с этим, ЭТИМ (!)» стояли в Великую войну и последующее тягчайшее воскресение». То есть благодаря вере в Сталина. Страшно, дико, и опускаются руки. Словно и не было военных страниц Солженицына, Астафьева, множества мемуаров и исторических исследований незашоренных коммунистической пропагандой авторов. Русский народ выиграл Отечественную войну не благодаря, а вопреки сталинской клике.

Есть нечто трагикомичное в том, что у антологии, составленной яростным, даже раскаленно яростным антисоветчиком Д. Галковским, такое кроткое послесловие, считай, приравнивающее идеологических попугаев и проституток к смиренным послушникам и жмущимся к Отцу блеющим бескорыстным овечкам.

Но тот же Курбатов («широк русский человек...») нашел самые точные и емкие слова для определения антологии «Уткоречь» — «этой горькой, стыдной и грозной, остерегающей книги».

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

ПОПУТНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Д а, антология — специфическая.

Вот на букву «К». *Казин В., Калачинский М., Капутикян С., Кауров Б., Кедрин Д., Келлер И., Коваленков А., Ковынев Б., Колычев О., Комаров П., Корнеев Н., Корнилов Б., Костров В., Костыря В., Кузнецов В., Куренев Г., Кустов П.*

Кого из них вы знаете? Я примерно половину (по-моему, это много).

Образчик творчества: «...мастер по алюминию / Совсем молодой новожил. / Чушку / Горячую, синюю / На руку мне положил» (*И. Луговской*).

Кредо составителя: «Разгул поэзии в Советской России (а иначе не скажешь) — это следствие поражения интеллектуального и духовного центра нации».

Методология: «Вообще большая, „репрезентативная“ антология должна составляться не столько из самых лучших, сколько из самых характерных стихов того или иного автора (что совпадает далеко не всегда). <...> Это очень важный момент. Поскольку советская поэзия есть продукт распада культуры, то соответственно суть ее, ее острие будет проявлено в достижении максимальной степени деградации языка и мысли („логоса“). Эта „культура“ и может вполне адекватно выражать себя только на уровне чудовищно бездарного, бесформенного стиха».

Замысел ясен: по мнению составителя, именно плохие/средние советские стихи советских поэтов наиболее точно, ярко и полно дают нам представление о природе *советского*. Но вот мой главный вопрос (не к Галковскому, а, так сказать, в пространство): чьи стихи адекватнее передают природу *реального советского человека*? (Который, заметим, никогда, ни в самые тяжелые, ни в более вегетарианские годы не был *одномерным* человеком.) Кто лучше дает нам о нем представление: поэт стопроцентно советский, стопроцентно антисоветский или находящийся с советским миром в сложных отношениях притяжения/отталкивания?

Цитирую — как почти все последующие примеры, не из антологии:

Я не хочу среди юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу — и люди хороши.
Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покров,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разлучили. А теперь — пойми:
Я должен жить, дыша и большевая,
И, перед смертью хорошея, —
Еще побыть и поиграть с людьми! <...>

Можно сказать, что это не самые лучшие стихи большого поэта. Но трудно отрицать, что это именно человеческая, а не *утко*-речь. Впрочем, не знай мы, что автор этих строк — Мандельштам, не отнеслись ли мы к ним иначе — пренебрежительнее, по-галковски? Характерны ли они для Мандельштама? Не характерны, скажет, наверно, Галковский. Не характерны, скажут, наверно, многочисленные почитатели Мандельштама. Характерны, скажу, допустим, я (вместе с, допустим, М. Л. Гаспаровым). Сие недоказуемо¹. «Ясно, что Гумилев, Блок, Бунин, Мандельштам, Ахматова, Цветаева к советской поэзии не имеют отношения уже по той простой причине, что в ней напрочь отсутствует многочисленный слой, например, акмеистов второго порядка», — утверждает Галковский в предисловии к антологии. (Замечу, что Гумилев просто *растворился* в советской поэзии 20-х, и не только, годов.) Так дают ли эти «Стансы» 1935 года, принадлежащие перу несоветского Мандельштама, адекватное представление о советском, о силе/соблазне/притягательности советского? Ладно, пропустим. Вот еще пример — Павел Васильев. Одно из последних его стихотворений «Прощание с друзьями» (написано в 1936-м, уже в предчувствии и на пороге гибели, напечатано впервые в 1968-м):

¹ Случайно попавшийся мне в момент написания этого текста пример полемики вокруг Галковского и поэзии советской. Цитирую — из сетевого журнала «Русский Удодь» <<http://udod.traditio.ru:8100/nri.htm>>: «<...> При видимом сходстве фундаментально антисоветских позиций „РУ“ и Д. Е. Галковского есть один пункт, где они принципиально расходятся. Имею в виду датируемую 1992 годом статью С. Кизюкова „Поэзия советская“ („РУ“, 2001, № 11, февраль), где он прямо полемизирует с выступлением Галковского в „Новом мире“ (1992, № 5. — А. В.). <...> Со своей стороны Галковский Д. Е. у себя на сайте периодически вывешивает среднеидиотические советские стишки <...> Так вот, Галковский доказывает личностную неполноценность советского человека и бессмысленность советского опыта (тотальная идиотия совка, замечательно отражающаяся в его „поэзии“). Коротко говоря, СССР — прореха Русской истории, эпоха „поражения интеллектуального и духовного центра нации“». Кизюков высказывает точку зрения чуть ли не строго обратную: „...советская поэзия в чистом ее виде, возникшая внутри этой империи и жившая собственной, ни на что не похожей жизнью, охватывает период примерно в тридцать лет: с конца 50-х до конца 80-х годов. И это крайне сложное явление, которое сравнимо только с серебряным веком русской поэзии“, „советская поэзия была одним из величайших явлений культуры 20 века“. И несмотря на весьма и весьма скептическое отношение к советскому образу жизни (а то и прямо враждебное), тов. Кизюков дерзко заявляет буквально следующее: „Советский поэт — как правило, очень широко мыслящий и глубоко чувствующий человек, даже если он окончательная сволочь и гад“...» Ну и так далее.

<...> На далеком, милом Севере меня ждут,
Обходят дозором высокие ограды,
Зажигают огни, избы метут,
Собираются гостя дорогого встретить как надо.

<...> Чтобы затейные начались беседы...
Батюшки! Ночи-то в России до чего ж темны.
Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие, со мной, — я еду
Собирать тяжелые слезы страны.

А меня обступят там, качая головами,
Подпершись в бока, на бородах снег:
«Ты зачем, бедовый, бедуешь с нами,
Нет ли нам помилования, человек?»

«Собирать тяжелые слезы страны». В 36-м. У, какая антисоветчина... Но — что же говорит поэт людям, вышедшим к нему из гулаговской тайги:

Я же им отвечаю всей душой:
«Хорошо в стране нашей, — нет ни грязи, ни сырости,
До того, ребяташки, хорошо!
Дети-то какими крепкими выросли.

Ой и долгон путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени — по колено травы.
Будет вам помилование, люди, будет,
Про меня ж, бедового, спойте вы...»

Это еще один *мой* вопрос: такой вот комплекс (*собирать тяжелые слезы страны / хорошо в стране нашей — ни грязи, ни сырости*) является советской раздвоенностью или это уже сложившаяся советская целостность, усиленная художественной целостностью стихотворения, единством интонации? Могут возразить, что такие мощные и подлинные поэтические индивидуальности, как Павел Васильев, представляли, по выражению Галковского, как раз не советскую, а *при(под)советскую* поэзию. Но все не так просто. В том же 1936 году тот же Васильев написал политическую агитку «Живи, Испания!». В синем томике Большой библиотеки поэта они с «Прощанием с друзьями» соседствуют. Цитирую:

<...> Пусть Черный Гитлер
Черной тенью танка
Плечом к плечу с врагом
Вступает в бой,
И обещает —
Вожь мерзавцев! —
Франко
Им заплатит,
Испания, тобой!

Мужайся!
Ты
Не рухнешь от удара,
Ты в гнев масс,
В их мужестве живешь.
Борись!
Из подземелий Алькасара
Засевших там
Вытравливай, как вошь!
Ты победишь
Во что бы то ни стало!
Пускай не дрогнет
Верная рука, —
По правилам
Пусть судят трибуналы,
По правилам,
Как некогда Чека!

«Новый мир», 1936, № 10.

Вот это стихи действительно для Галковского. Чем они лучше/хуже стихов Сергея Есенина, в антологию попавших?

...Нам ли страшны полководцы
Белого стада горилл?
Взвихренной конницей рвется
К новому берегу мир.

Если это солнце
В заговоре с ними, —
Мы его всей ратью
На штыках подыдем.

Если этот месяц
Друг их черной силы, —
Мы его с лазури
Камнями в затылок.

Ладно, идем дальше. Вот Михаил Исаковский, о котором составитель в предисловии отозвался так: «Громадный рой михалковых, долматовских и исаковских...» Возьмем известное стихотворение 1948 года, ставшее песней, «Летят перелетные птицы...», его можно было бы включить в антологию Галковского (он не включил) и с не меньшими основаниями отвергнуть. Прочтем его — но, так сказать, не в мажоре, а в миноре, как элегию:

Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой.
Летят они в жаркие страны,
А я остаюсь с тобой,
А я остаюсь с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна...

Прочтем его не как публичную клятву, а как зрелое приятие судьбы...

Немало я стран перевидел,
Шагая с винтовкой в руке.
И не было горше печали,
Чем жить от тебя вдалеке.
<...> Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду,
Но, если ты скажешь мне снова,
Я снова все это пройду.
Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой —
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой. <...>

...не как советский героизм, а как советский стоицизм (причем стоицизм именно советский, а не *под*-советский, как у Ахматовой). И, прочтя/перечтя, вернемся к «Уткоречи». На моего коллегу Юрия Кублановского антология произвела самое мрачное впечатление («Странная книга: в ней задыхаешься, гибнешь — какое чувство юмора ни имей»), а по мне, книга получилась смешная, как и предполагалось составителем: «Разумеется, „всему этому” присущ непередаваемый комизм. Имманентным свойством комизма является узнаваемость, поэтому в любой масштабной вторичности присутствует элемент пародии. <...> Но, осознавая этот комизм (а эмоциональным результатом сознания комизма является смех), следует учитывать, что смех этот есть прежде всего смех над самим собой, собственной безнадежно испорченной судьбой». Ну, смешно. На дворе уже 2002 год, мы уже читали Дмитрия А. Пригова. (Кстати, антология иллюстрирована советскими политическими плакатами, которые в ее специфическом контексте смотрятся именно по-приговски.) Очень плохие стихи и сами по себе смешны. Ну, плохие². *Как будто это что-то доказывает.* Тут — ошибка составителя, ошибка методологическая (и биографически детерминированная — 500 — 600 именно таких книг с отцовских по-

² Кое-что залетело случайно, вроде стихотворения А. Межирова «Возле трех вокзалов продавали / Крупные воздушные шары...».

лок). Некогда, полемизируя с Виктором Ерофеевым, только что справившим тогда поминки по советской литературе, я высказался примерно так: для того, чтобы писать дурные, бесталанные, лживые, подлые и проч. книги, не обязательно быть советским писателем. Поэтому и «Уткоречь» на самом деле ничего не проясняет, а только запутывает. Послесловие Валентина Курбатова, так не понравившееся Кублановскому, в этом смысле на месте, оно хотя бы отчасти не вполне удовлетворительно, но восполняет неполноту картины. А неполнота вот в чем: в концентрированном мире *уткоречи* жить не то что плохо, а попросту *невозможно* (Кублановский тут прав — задыхаешься), однако в реальном советском мире жить было, как показывает опыт, *возможно*. За счет чего — возможно? Не только ведь потому, что, по известному выражению, ко всему-то подлец-человек привыкает...

«Составляя эту книгу, я испытывал странное чувство смеха, горечи, душевного опустошения и ощущения собственного ничтожества, — пишет Дмитрий Галковский. — <...> Я вдруг впервые ощутил тот спящий ветер, который дул отцу в глаза всю жизнь и во многом, заключалась в том, что он попытался построить свою жизнь из ничего, из ветра, и пустил на ветер то небольшое, что у него еще осталось после 30-х и 40-х. Слабый, отзывчивый человек, он так до конца и не стал взрослым, ответил на жизненный вызов, по-детски закрыв глаза, и свалился в придорожную канаву, разбив себе череп о кстати подвернувшийся булыжник». Уже в позднесоветское время *мой* отец (1908 года рождения, обморозивший ноги на финской войне) получил от довоенного еще друга-литератора примечательное поздравление к 7 ноября (привожу по памяти): поздравляю тебя, Виталий, с Октябрьской годовщиной, мы к этому не имели прямого отношения, но это и наш праздник, мы отдали для него все: наше здоровье, нашу свободу, наше счастье; что в итоге получилось, судить не нам, но мир, кажется, потрясли... (*Мой* отец умер от рака в начале 1991 года, так и не узнав, что Советского Союза больше не будет.)

Кто-то где-то (просто не помню, кто и где) удивленно заметил, что, *оказывает*, исторической «почвой» может стать что угодно, даже то, что, казалось бы, никак для этого не подходит.

Песок. Ветер в глаза.

Этот период советский, «что модно ругать
Нынче, охаивать либо высмеивать», в моду
Лет через семьдесят, может быть, семьдесят пять
С треском войдет: было славно и страшно; свободу
Лучше любить в перспективе: так, скажем, весна
В стуже январской особенно влажной и пестрой
Кажется; жизнь, просто жизнь, безнадежно пресна;
Будет цениться все, что ее делало острой.

(А. Кушнер)

Кто доживет, узнает.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

*

ЗАЛОЖНИК

Рубен Давид Гонсалес Гальего. Черным по белому. — «Иностранная литература», 2002, № 1.

Русский язык ныне не в почете — ускользает под натиском иных речений: все больше вульгарного новояза, перемешанного с жаргоном и унифицирующим говором всемирной паутины. И поистине изумляет, когда в птичий стрекот изящной словесности врывается язык забытых предков. Когда на нем изъясняется иностранец, изумляет вдвойне.

Русским испанец Гонсалес Гальего становится по воле судьбы. Родившись в Москве с диагнозом ДЦП, он вместе с матерью становится заложником полити-

чешской интриги: его дед — лидер испанской компартии, осуждающей КПСС за пражский шестьдесят восьмой год, а КПСС пеняет ей за «еврокоммунизм». В итоге стремящийся всех держать под контролем Кремль решается на подлог: после годичного заключения в закрытой больнице юной матери сообщается, что ее ребенок умер, при этом никаких документальных подтверждений, что у нее был сын, она не получает. Был человек и — нет человека. Студенческая семья распалась: отец, венесуэлец, не вынес горя и бежал из жаркой на объятия Москвы, мать — постепенно вышла из психологической комы, вновь обрела семью и только через семь лет смогла вырваться в Париж. А сын был отправлен в научно-исследовательский институт для лабораторных дознаний и после безуспешных хирургических попыток «поставить на ноги» был брошен на произвол государственной машины, переваривающей бесприютных инвалидов. «Я оказался невольным свидетелем социалистической системы изоляции неполноценных», — скажет он спустя тридцатилетие борьбы своего тела с собственным Духом. Смуглый мальчик, изувеченный ДЦП, будет колесить по провинциальным детским домам, пока в пятнадцать лет не окажется в доме престарелых с тем, чтобы умереть от недосмотра. О чуде волеяния воспоминания не сообщают, но доподлинно известно, что он сумел закончить два колледжа — английский и юридический, дважды жениться и родить двух дочек, побывать в Америке и Европе, что нашел свою потерявшуюся мать и в тридцать три года ступил на свою историческую родину, где теперь и выстукивает двумя пальцами, единственно послушными, свои зарисовки с натуры, вплетая их в биографический сюжет. «Я должен был избавиться от этого ада в себе, — признается Гальего и добавляет: — Чтобы умереть с чистой совестью», так как всегда был абсолютно уверен, что его заболевание неизлечимо, и потому был готов к смерти. Вот только желание рассказать о себе неожиданно всколыхнуло пламя жизни с новой силой, и, когда гонки на выживание прекратились, он написал мемуары «Черным по белому». То, чем обычно писатели заканчивают, у него вырвалось вперед, как до времени созревший плод. Позднее, в интервью, свой сознательный выбор он объяснит отчасти тем, что давно стал наблюдателем жизни, будучи пленником своего безвольного тела, а отчасти тем, чтобы отделаться от «элементарного безделья». Так или иначе, но мы получили превосходный образец мемуарной прозы, написанной русским языком просто и спокойно, каким рассказывают сказки на ночь. Только его «сказки» почище детских страшилок: их алогичность буднична, и, по мере погружения в них, тобой начинает овладевать экзистенциальный холод, ужас непреходимости нашего искалеченного бытия, исковерканного сознания, — настолько точна избирательная лупа мемуариста, превращающая все яркие впечатления в сплошной негатив.

Повествование движется как бы дневниковыми тропами, но никакой хронологии мы не найдем. Текст разбит на главы, герои которых — его «сокамерники» по той, запредельной, жизни; поверяя горькие подробности их судеб, рассказчик исповедуется сам, обнажая свой страх и трепет. Его история невероятна и вместе с тем обычна. Невероятна потому, что герой-автор все-таки выжил и поведал о своем прошлом. А обычна потому, что мы знаем: такое случалось и случается у нас, в нашей осовеченной действительности, — что есть, то есть. Для одних — экзотика, для других — привычный экстрим, без которого будни кажутся раем. Читается и убеждаешься, в каком ужасе все мы живем, — ужас отчуждения пронизал все наше общество. А текст, словно сфинкс, смотрит на тебя и вопрошает: а каков ты? смог бы ты сохранить себя в этом богодельном аду? За конкретными историями инвалидов (детей и стариков), в контексте лагерно-детдомовской ретроспективы встает зловещий монолит эпохи, которую мы никогда не потеряем, — слишком уж она въелась в наши шершавые мозги. Именно ее уклад, как роковое проклятие, висит над нами густым туманом и не думает рассеиваться.

В этой исповедальной прозе нет места сентиментальной патетике, здесь нет словесной суеи. Здесь все предельно лаконично. Но какой же вулкан клокочет за ровным дыханием бытописателя казарменных приютов! Тело Гальего — это клетка его Духа, который сломить оказалось невозможно, несмотря на выкованные природой прутья. Ему хотелось тепла, как только мог этого хотеть круглый сирота. Но, полагаясь на доброту извне, он был переполнен ею изнутри и потому оправдывал даже ня-

нечек, третировавших его за немощь. К тому же в тисках своего тела эта кроткая жертва обрела язык, силе которого позавидовали бы многие современные прозаики русского происхождения, — незамутненный постмодернистским флером, без лукавства и натужного правдоподобия. Слово — это единственное, что оставалось доступным ему — неходячему, слабовидающему, почти безрукому. Слово и есть апология его жизни.

«Черным по белому» — это свидетельство трагического восхождения Духа: автор воспоминаний совершал подвиг самим фактом жизни. Это подвиг неумирания и вместе с тем это «перст указующий» — на ту советскую дикость, из которой все мы вышли и из которой нам никак не вырваться. Ведь периферия, а именно эту позицию занимали всегда детдома, дома для инвалидов и престарелых в инфраструктуре общества, красноречивее прочего доказывает неизлечимый недуг общества — болезнь сознания, его паралич.

Теперь, когда у автора другая жизнь: есть мама, он «почти» ходячий («I go») благодаря электроколяске, его проза воспринимается как мемуары о том времени, когда он был стариком. Сегодня — он юн, и весь мир у него на ладони. Как знать, не сможет ли он теперь сломать все запреты, которые ставила перед ним советская реальность и в которые он уверовал, и нарушить эти бесчисленные «никогда» (глава «Никогда») — и взобраться на вершину Эвереста, и спуститься в батискафе в подводное царство Марианской впадины? Он не желает быть канарейкой, попугайчиком, только — кондором-наблюдателем, чтобы наслаждаться полетом над долинами и каньонами, без которых его предки по отцовской линии — индейцы и латиноамериканские китайцы — не представляли своей жизни. Вот чей «пепел» стучал в грудь маленького мальчика, заставлял жить и бороться за жизнь вопреки унижениям. Человек, как любая тварь, рожден, чтобы быть свободным.

Именно это исконное право отстаивают чуть ли не все персонажи его «героической» трагедии. Здесь и офицер, после однодневной рекогносцировки скорбной обители приговоривший себя к смерти и, при лунном сиянии, перепиливший себе горло перочинным ножом, не издав ни звука; и новенький с ДЦП, хитроумно передавший на большую землю — маме свою «морзянку» с просьбой о помощи, которую «зашифровал» каракулями впервые взявшего ручку дурачка, на 96 листах толстой тетрадки; и «грешница», инвалид детства, ростом с пятилетнего ребенка, которая «зажилась» уже до сорока лет и которую определили умирать к доходагам, повесившаяся на дверной ручке, то есть все-таки своевольно, без спросу ушедшую от тех, кто лишил ее права самостоятельно обслуживать себя. Здесь и Серега, подросток без ног, «качавшийся» год и победивший в честной драке нормального, двуногого и двурукого, да еще с ножичком в кармане; и Сашка, также стреноженный недугом, ползущий по снегу (300 метров) в одном трико и рубашке в другое здание готовить уроки в пику отлучившей его от самоподготовки учительнице, не признающей, что по уму и душевному складу инвалид может дать ей фору.

В изложении нет червоточин: язык внятен, но беспощаден в своей мягкости и простодушии. За легкой ироничной улыбкой какая-то ясность всеприемлющей каратаевской доброты; язвительности парадоксалиста, которая была бы скорее понятна окружающим и которую приняли бы со скучающим видом, нет и в помине. Лишь изредка вырывается крик, просящий о смерти, ибо она гуманнее, чем «вся ваша треклятая жизнь», — и отчуждающий холод становится невыносим, и стынет кожа на голове (в детдоме всегда брили наголо как неходячего, для которого волосы обременительная роскошь).

Он остается один на один с буквами — спешит освободиться, очиститься от воспоминаний. Но при этом он стремится не столько показать следы от шипов своего тернового венца, сколько вынести себя с поля битвы. И он вырывается на Свободу, он ее завоевывает ценой неимоверных усилий, о которых, повторю, говорит лишь вскользь. Момент недосказанности сохраняет тайну и дает надежду. Рубен Гонсалес Гальего стучится в наши сердца черными костяшками букв, демонстрируя миру, что не все стойкие оловянные солдатики сгорели в пламени жизни.

Елена МЕНЬШИКОВА.



УЗКИЙ ПУТЬ

С. И. Фудель. Собрание сочинений в трех томах. Том первый. М., «Русский путь», 2001, 646 стр.

Чтение этой книги вызывает благодарность к ходу истории. Противоречив и смутен этот ход, но вот свидетельство безусловное — первый том сочинений Сергея Иосифовича Фуделя. Автор — просто за то, что был человек церковный, не быв никогда при этом активным деятелем, — почти всю взрослую жизнь, с двадцати двух лет в том страшном для Церкви 1922 году, провел в тюрьмах, лагерях и ссылках и так и не вернулся на родной Арбат, где на углу Никольского переулка, ныне Плотникова («там, где теперь „Диетический магазин”»), — дает он опознавательный знак нам, нынешним москвичам, в своих записках), в церкви Николы Явленного был приход его отца, светлого московского священника Иосифа Фуделя; сын же так и остался за пределом стокилометровой зоны до конца своих дней в 1977 году. Не только при жизни, но и до скончания всей прежней эпохи ни строчки Сергея Фуделя в советской печати явиться не могло, но в парижском «Вестнике РСХД» и издательстве «УМСА-press» в 70-е годы он возник под прозрачной подписью — Ф. Уделов, и тогда же началось хождение его текстов у нас в самиздате. Впервые под собственным именем «Воспоминания» Сергея Фуделя появились в нашей открытой печати в том самом журнале, куда нынче пишется эта рецензия: «Новый мир», 1991, № 3 — 4, с предисловием прот. Владимира Воробьева. И вот — начало трехтомного собрания сочинений четверть века спустя после автора. Непредставимость этого события тогда, четверть века назад, дает нам меру оценки того, чему свидетели мы были в последние пятнадцать лет, и говорит, быть может, о неотменности, что бы ни ждало нас дальше, свершившихся «неслыханных перемен».

С. Фудель оставил своим наследием сочинения на богословские и церковные темы, работы о Достоевском и наших славянофилах, книгу об о. Павле Флоренском, которого знал в юности рядом со своим отцом, наконец, тексты личные — воспоминания и записки, и самые личные — письма к сыну, писанные на протяжении тридцати с лишним лет из разных ссыльных мест. К составителям книги — прот. Н. В. Балашову и Л. И. Сараскиной — письма эти явились уже при работе над книгой: их принес в чемодане друг покойного автора Д. М. Шаховской, хранивший их много лет у себя, и недавно при представлении книги в Центре русского зарубежья в Москве чемодан был представлен также собравшимся. Личными текстами составители и открыли собрание; первый том — биографический, и это верное решение. Потому что в наследии автора лик его и есть, наверное, самое ценное, и жизнь-житие его — самое убедительное введение к его сочинениям.

Воспоминания Сергея Фуделя восходят к светлой точке в самом начале пути — к отцу. О. Иосиф Фудель был московский священник Владимирофильского духа («время славянофильствовало», как было тогда же сказано Владимиром Эрном) и оптинского призыва, принявший сан по благословению старца Амвросия, молодой друг Константина Леонтьева; это был человек начала двадцатого века, пришедший из глубины девятнадцатого, и недаром сыну облик отца напоминал о трогательном Савелии Туберозове из лесковских «Соборян». «Славянофильские мечты, / Очищенные перед гробом» — из портрета отца в стихах сына. Сын был рядом с отцом до своих восемнадцати лет (о. Иосиф умер в 1918 году) и успел понять его изнутри. Свой не столь долгий век этот редкий человек кончал в страдании, о котором сын его так говорит: отец «страдал страданием умирающей эры». Время славянофильствовало, религиозная философия процветала, а христианская жизнь иссякала не только в обществе, но и в церковном круге. Так передает юноша тех лет переживание умиравшего вместе с эпохой отца. «„Святая Русь” умирала изнутри» еще до 1917 года, и внешняя катастрофа во многом стала ответом на разрывы и пустоты в духовной жизни эпохи. Юноша же вступал на собственный путь уже в новое время, когда исторически-парадоксально катастрофа политическая совпала с

подъемом церковной жизни, ознаменованным Собором 1917 — 1918 годов и восстановлением патриаршества. И он вспоминает об этом времени начала революции — 1917 — 1920 годах — как о «духовной весне, мы ее видели и ею дышали... Это была жизнь скудости во всем и какой-то великой темноты, среди которой освещенный своими огнями плавал свободный корабль Церкви». Духовная весна прошла быстро и сразу перешла в суровую зиму, и с ней начался страдный путь Сергея Фуделя: летом 1922-го он был в первый раз арестован за выступление против живоцерковников (в 1932-м — новый арест, третий — в 1946-м; между вторым и третьим были война и фронт). Две эпохи в записках Фуделя — одна исторически краткая, но насыщенная внешними событиями и сильными именами, с воспоминаниями о Религиозно-философском обществе в Москве и портретами П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, Вяч. Иванова, С. Н. Дурылина, вторая — томительно-длительная и внутренне главным образом событийная, с образами катакомбных священников разного ранга в тюрьмах и ссылках, с воспоминаниями о всеобщей в камере и о крещении под тюремным душем, где батюшка был, «конечно, так же наг, как и крещаемый»; эпоха новомучеников православных, которые как-то отождествляются для свидетеля-автора с давними христианскими первоучениками, и эта глубинная (не внешне-официальная) православная жизнь советской эры вызывает настойчивую и любимую у автора мысль о чем-то вроде возврата к первохристианским временам.

«Я пишу не убедительно и примитивно. Задача явно не по моим силам. Но мне хочется передать хотя бы только свою тревогу, а задачу пусть решают другие. „Те, кто достойней, Боже, Боже, / Да узрят Царствие Твое“». Словами «грешного поэта», любимого поэта, передавал свою тревогу пишущий. Постоянная в записках его сокрушенная нота: он прожил жизнь, пусть вынужденно, бездельную, деятельного служения своего отца недостойную. В 50-е годы он был «накануне (в своем уме) принятия священства», но это осталось в уме, и от «огня» он отошел. Это слова Христа, записанные в трех первохристианских источниках, но не введенные в Евангелие, которые дважды он вспоминает: «Кто близ Меня, тот близ огня; кто далеко от Меня, тот далеко от Царства» (в начале XX века остро эти слова подчеркнул и высветил П. А. Флоренский в своем «Столпе»¹) — и эти огненные слова переживает себе в укор. «Видно, моя грешная судьба — все стоять только „около церковных стен“...» Из сибирской ссылки он сообщает сыну, что достал керосину и пишет при лампе и полагает, что жизнь достаточно благополучна. В других письмах — что хотел бы быть дворником в Абрамцево, где сын его теперь научный сотрудник, и что сам он способен лишь к канцелярской работе. Он разделяет «от скуки» развлечения советского человека и хвалит послевоенный фильм «Весна». Но пишет при керосиновой лампе такие строки, достаточно огненные:

«Можно очень и горячо любить, но в любви есть одна, как бы сказать, степень, когда любовь делается единством духа, и это единство духа насыщает всю кровь. Вот тогда любовь становится чем-то почти страшным, в вино человеческое опускаются лучи Незаходимого Солнца, и люди, соединенные этой любовью, уже сейчас начинают жить будущей жизнью, когда будет только она одна».

Он пишет при керосиновой лампе то самое собрание сочинений, которое нынче мы уже без него получаем. И в нем получаем свидетельство о чистой православной мысли, шедшей сквозь русский двадцатый век, как и сам автор в тихой и незаметной жизни своей, тем самым трудным и узким путем.

Пишущий эти строки позволит себе воспоминание личное. Лет тридцать назад я начал читать неизвестного мне автора Ф. Уделова в парижских изданиях и не знал, что этот *Фуделов* — сын Иосифа Фуделя, а его я тоже читал тогда по леонтьевской линии, занимаясь Константином Леонтьевым, о котором И. Фудель, его ученик и душеприказчик, писал и издал в начале века девять томов его собрания сочинений. С. Фудель имя Леонтьева словно бы получил от отца в наследство и сам продумал его. Имя это часто возникает в записках, и то, как оно здесь присутствует, дает и нам сегодня ориентацию, скажем так, в современной нашей духов-

¹ Свящ. Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины. М., 1914, стр. 250.

ности. Старый спор Леонтьева с Достоевским еще для нас не остыл и обязывает занимать позицию. Фудель-сын не говорит ничего об этом споре прямо, но в споре участвует и позицию занимает. Он с Достоевским и он не с Леонтьевым. Мало того — он сообщает нам такое свидетельство изнутри, и без него мы этого бы не знали, что и отец его свой долг ученика учителю выполнил, но «леонтьевцем» не был, скорее был по духу «старшим славянофилом» (а Леонтьев со славянофилами не переставал выяснять отношения, и они близки ему не были как слишком «моральные» и «либеральные», недостаточно «государственные»). И леонтьевский «византизм» был чужд о. Иосифу «по природе».

В самом деле — мы это знаем уже по нашей нынешней современности, когда имя Леонтьева вновь много значит для нас сейчас, — одно дело не только знать или же изучать, но и любить Леонтьева-мыслителя, другое дело быть «леонтьевцем». Фудель-сын никак не леонтьевец, ему чужд и даже неприятен леонтьевский психологический сплав религии, красоты и силы, и прежде всего государственной силы, и он ведет со старшим другом отца и его учителем сквозную полемику; вообще мысль Фуделя, тон его размышления — сдержанные и мягкие, а тут — суждения отстраненные и отчужденные и оценки резкие, когда мы читаем о леонтьевской религиозной бесплодности, несозидательности. Не близки и самые блеск и яркость Леонтьева — да, рядом с блестящим Леонтьевым верный его ученик, отец, казался, а верно, и был мыслителем ограниченным — но в нем был «духовный онтологизм», которого у его замечательного наставника сын не находит. На этом частном как будто моменте в размышлениях Фуделя можно потому задержаться, что не такой он частный. Это своя ориентация в умственном нашем наследии и своя христианская позиция в нашем XX веке. И неожиданно, и даже вовсе непредумышленно, эта тема Леонтьева откликается в самых разных живых реакциях на то, что в современности автор видит вокруг.

Пример немного смешной, но в леонтьевских сочинениях ему находится параллель еще смешнее. «После нескольких лет пустынной жизни» Фудель попадает в столичный храм и видит, как «отрок» несет за архиереем шлейф его великолепной шуршащей мантии, и в памяти возникает картинка царского выхода Екатерины. И впечатление это ведет к той мысли, уже серьезной, как Церкви выйти из византийской эпохи в иную, «невизантийскую», вернуться «к простоте в обряде, к простоте во Христе». И контрпараллель леонтьевская: оспаривая культ христианской любви в ущерб «страху Божию» у «наших новых христиан» (Достоевского и Толстого), Леонтьев приводит с умилением слова, им слышанные от одного козельского мешанина, разочарованного видом архиерея, прибывшего в Оптину пустынь слишком просто, на тройке: «Что же это он так *просто...* Хотя бы четверочку запряг бы! *Архиерей ведь*». Комментарий леонтьевский: «Вот это любовь! Вот это простота христианская! Что ему за дело в эту минуту, что у него у самого сапоги худы! Он желал бы, чтобы сановник Церкви, *которую он так любит*, сиял бы как можно больше, даже и внешностью...»²

Фудель, наверное, этого места у Леонтьева не помнит, когда вспоминает шлейф архиерея, но в размежевание с леонтьевским византизмом он вступает глубокое, касающееся основ исторической нашей церковной жизни. И за примером этим — узел вопросов самых общих, его волнующих. Критические ноты проходят через записки — по отношению именно к тому, что так часто здесь называется византийским наследием, византизмом в церковной жизни, к так называемому «филаретовскому духовенству», к фигуре Ферапонта из «Карамазовых» как фигуре, распространенной и в наше время, наконец, — к сближению Церкви и государства и даже к утопии христианской государственности. Фудель не верит в эту утопию и говорит о крахе в истории связанных с ней надежд.

Очищение высшей духовной жизни от многого внешнего ей, в том числе от сращения с политическими и государственными нуждами, — так, наверное, можно определить тему Фуделя. Отец его некогда потерял свой пастырский пост в тюремной больнице в московских Бутырках после отказа ввести политику в церковную

² Леонтьев К. Собр. соч. Т. 8. М., 1912, стр. 172.

проповедь, — и Сергей Иосифович Фудель — сын своего отца в нашей уже современности (ведь мы, кто постарше, были его современниками). Очищение высшей духовной и христианской жизни от той или другой мирской узости или тяжести. Очищение духовного поля — тема, забота. Возврат к чему-то первохристианскому — сквозная тема и даже чаяние, без какого-либо при этом протестантского уклона. Воспоминание выразительное о любимом Владыке, который в их общей ссылке автору говорил, что из двух слов — «христианин» и «православный» — ему милее и дороже второе; не знакомый ли нам сегодня мотив? Фудель любит Владыку и говорит о нем как о святом человеке, но этих слов его не разделяет и мягко объясняет их как «недооценку значения для нас первоначального христианства».

И еще одна непростая для автора тема — искусство. В молодости он услышал от юродивого на дорожке оптинского скита: «А в одном мешке Евангелие с другими книгами нельзя носить». Тогда же и то же услышал от друга, вскоре священника, Сергея Николаевича Дурылина: «Нельзя на одной полке держать Пушкина и Макария Великого». Нельзя или можно? — это всю жизнь решал и он сам. О драме Дурылина, принявшего и оставившего священство, проникновенно рассказано в воспоминаниях. В немалой мере драма в том состояла, что Сергей Николаевич отнесся к выбору бескомпромиссно, но не выдержал выбора, оказался не в силах пожертвовать всей ему дорогой широтой культуры. В сознании церковного человека опасливое отношение к соблазнам искусства — явление очень нередкое, не чужд ему и Фудель, когда пишет сыну, начинающему филологу, что он избрал себе интересную, «но и очень опасную специальность». Но, вспоминая категорические слова Дурылина, решает, что это слова маловерного. И собственное его отношение православного человека к трудному выбору светлое. Не только Пушкина и особенно Достоевского, но и грешного и любимого Блока можно на той же полке держать. И Фудель держит и наполняет свои тексты стихами; и грешную также культуру русского символизма, из родной эпохи молодости, берет под защиту: «Духовной чуткости символизма мы должны учиться», ведь он «реальность невидимого мира» открывал нам и утверждал.

Святое дело — собрать и издать Сергея Фуделя. Творцы этого дела — составители книги — названы выше.

Сергей БОЧАРОВ.



НЕМЕЦКИЙ РУСОФИЛ И РУССКИЙ ЗАПАДНИК: ОПЫТ ДИАЛОГА

Райнер Мария Рильке и Александр Бенуа. Подготовка текстов, составление, перевод и примечания К. Азадовского. СПб., «Эгида», 2001, 268 стр.

Выпускаемая питерским издательством «Эгида» серия книг, посвященных Райнеру Марии Рильке, формально приурочена к двум круглым датам: 125-летию со дня рождения немецкого поэта и 100-летию его путешествия по России. Впрочем, в связи с рецензируемым изданием уместно было бы обратить внимание и еще на один юбилей: ровно 25 лет назад вышла первая работа Константина Марковича Азадовского о взаимоотношениях Рильке и Бенуа. В целом же темой «Рильке и Россия» петербургский исследователь занимается более тридцати лет. Так что нынешний проект «Эгиды» призван, по-видимому, подвести своего рода итог этих штудий.

Научный аппарат книги о Рильке и Бенуа хорош настолько, что не нуждается в похвалах — его уровень слишком очевиден. Развернутый комментарий, скромно названный «примечаниями», существенно проясняет и дополняет тексты, вошедшие в основной корпус.

Равновесия ради, Впрочем, упомянем тут же и об основном (и едва ли не единственном, на наш взгляд) недостатке издания. Речь идет о полиграфии. Письма обоих героев, а также адресованные им послания третьих лиц (Д. Философова, С. Дягилева, Ф. Груса и других) мелко набраны и без того трудночитаемым стилизованным «рукописным» шрифтом. Учитывая, что слабое зрение — профессио-

нальная болезнь гуманитариев, легко догадаться, что не один потенциальный адресат книги испытает напряжение, при работе с ней вовсе не обязательное.

Впрочем, несколько неожиданный для подобного издания пятитысячный тираж предполагает, по-видимому, что книгу будут читать не только специалисты, но и так называемый «широкий читатель». А он по определению на уровень филологической подготовки обращает не слишком много внимания. Для привлечения его необходимо, чтобы даты, документы, комментарии складывались в сюжет, а исторические личности на страницах книги выглядели как живые люди, судьбе которых можно сочувствовать, душевным движениям — сопереживать.

Рискнем предположить, что руководствующийся подобным подходом читатель разочарован не будет. Переписка Рильке и Бенуа и сопутствующий текст К. Азадовского и в самом деле захватывают — детектив не детектив, но то самое крепкое сюжетное начало, отсутствие которого в современной литературе так тревожит критиков, в книге налицо. Заслуга ли в том составителя, или же таково свойство публикуемого материала, но перед нами не лишенный парадоксальности, трогательный и несколько грустный, особенно ближе к финалу, психологический роман.

Характеры «действующих лиц» прописаны достаточно выпукло и даже даны в некотором развитии; особенно это касается Рильке. При этом немецкий поэт оканчивается фигурой не то чтобы трагической, но, скажем так, «страдательной». Возможно, есть в том и его вина — письма Рильке в куда большей степени, нежели реплики Бенуа, являются памятником эпохи, привыкшей воспринимать действительность через призму априорных идеальных конструкторов.

Суть этого феномена, как представляется, сумел уловить друг Рильке, немецкий художник Генрих Фогелер¹, к которому поэт заезжает после своего пребывания в России весной — летом 1900 года: «К концу лета появился приехавший из России Райнер Мария Рильке. Он находился под сильным влиянием русского человека, каким его описал Достоевский». Как видим, даже после двух поездок в Россию и большого путешествия по стране книжные впечатления продолжают играть решающую роль в восприятии поэтом своей «духовной родины».

Вдохновленный увиденным в России и прочитанным о ней, Рильке по возвращении попытался стать чем-то вроде посредника между немецкими и российскими представителями «нового искусства». В конце 1900 — начале 1901 года он увлекается планами организации выставки русских художников сперва в берлинском, а затем в венском «Сецессионе».

Однако вскоре выяснилось, что, как и следовало ожидать, вести деловые переговоры с жителями страны, граничащей с Богом, — дело не самое легкое и благодарное. И если для устройства берлинской выставки организаторами были предложены сроки настолько жесткие, что она едва ли могла бы состояться и при большом энтузиазме со стороны «мирискусников», то неудача, постигшая второй — венский — проект, выглядит труднообъяснимой. Бенуа, незадолго перед тем в письме Рильке охарактеризовавший Дягилева как единственного «во всей нашей чудовищной России» человека, которому «лень не помешает довести это дело (речь шла об организации берлинской выставки. — М. Э.) до победного конца», теперь в оправдание редактора «Мира искусства» ссылается на его чрезвычайную занятость. Так или иначе, Дягилев на предложение Рильке так и не откликнулся².

¹ Не можем удержаться от искушения хотя бы вкратце пересказать те сведения о дальнейшей судьбе Фогелера, которые приводит К. Азадовский. Один из виднейших представителей новых течений в немецкой живописи и графике начала XX века, он впоследствии сближается с рабочим движением, в 1932 году переезжает в СССР и через десять лет умирает в эвакуации, в больнице колхоза «Буденновский» Ворошиловского района Карагандинской области Казахстана. Как видим, кроме основного сюжета в книге есть пусть едва прочерченные, но не менее удивительные побочные линии.

² Добавим, что практически через всю переписку Рильке и Бенуа своеобразным контрапунктом проходят просьбы немецкого поэта пересылать ему свежие номера «Мира искусства» и ответные реплики Бенуа вроде следующей: «Я уже неоднократно просил редакцию „Мира искусства“ выслать Вам журнал и каждый раз получал на то согласие г. Дягилева, но почему-то Вам все еще его не посылают. Как только буду в Петербурге — непременно распоряжусь, чтобы наконец это сделали».

Не дождавшись ответа от Дягилева, Рильке увлекается новым «посредническим» проектом — он решает перевести на немецкий язык только что вышедшую по-русски монографию Бенуа «История живописи в XIX веке. Русская живопись». (В современных изданиях книга называется «История русской живописи в XIX веке».) Естественно, и Бенуа, и его издатель В. Д. Протопопов поначалу с радостью откликаются на любезное предложение Рильке и отвечают немецкому переводчику согласием. Рильке, договорившийся к тому времени с лейпцигским издателем книг по искусству К. Хирземаном и готовый приступить к переводу, спрашивает Бенуа относительно репродукций из русского издания. Ответной телеграммой Протопопов извещает немецкую сторону, что клише предоставляются в ее распоряжение, не упоминая при этом о цене. Хирземан и Рильке делают напрашивающийся вывод, что клише передаются безвозмездно, однако позже выясняется, что Протопопов просто не определился с суммой.

Узнав, что клише не могут быть предоставлены бесплатно, Хирземан отказывается от публикации перевода книги Бенуа. Тогда Рильке договаривается с более крупным мюнхенским издательством Альберта Лангена. Начинается новый раунд изматывающих переговоров, растянувшийся на восемь месяцев. В течение всего этого времени Протопопов, «странствуя по своим имениям», то, по словам Бенуа, торгуется с Лангеном «из-за каких-то пустяков... исключительно из принципа и упрямства», то вовсе замолкает. В конце концов Бенуа добивается от своего издателя разрешения вести переговоры с немецкой стороной самостоятельно, но к этому времени, как констатирует К. Азадовский, «бесплодная переписка... видимо, охладил Лангена» и тот перестал реагировать на запросы Рильке.

Однако все эти неудачи ни в малейшей степени не изменили отношения Рильке к России. Напротив, одному из своих русских корреспондентов, тверскому помещику Н. А. Толстому, он пишет: «Мне становится все более и более ясным, что Россия — моя родина, а все остальное — чужбина». Поэтому достаточно естественным предстает вызревший у поэта к концу 1901 года замысел переезда в Россию. Бенуа, пытаясь отговорить Рильке, напоминает ему о дороговизне русской жизни сравнительно с немецкой и переходит к обобщениям, столь характерным для диалога западника с русофилом: «Должен Вам сказать по совести, что не совсем разделяю Вашего восторга перед нашим отечеством»; «Хорошая страна Россия, но по многим причинам прямо и безусловно необходимо иногда с ней расставаться... Вы себе представить не можете, какая здесь в воздухе кислотина... Хочется мне отсюда до боли, хочется подалее от всей нашей до последней степени изовравшейся (о, куда более изовравшейся, чем на Западе!) жизни, от наших громких и пустых разговоров, от нашей вонючей пошлости. И Вы еще хотите сюда переселиться!»

Рильке, впрочем, это не останавливает. Так и не дождавшись четкого ответа на свои запросы о перспективах сотрудничества с «Миром искусства», он обращается к помощи немецких знакомых, которые его рекомендуют владельцу газеты «Новое время» А. С. Суворину. Письмо Рильке Бенуа с просьбой стать посредником в этом деле и «самолично» передать прилагаемое послание Суворину — едва ли не самый трогательный из публикуемых в книге документов, свидетельствующий, по замечанию К. Азадовского, насколько поэт был «далек от понимания реальной ситуации в России и расстановки в ней общественных сил». Впрочем, Бенуа просьбу выполнил, и исповедальное письмо Рильке дошло до адресата. Излишне говорить, что завершилась эта история уже знакомым нам образом: «Было ли оно (письмо Рильке. — М. Э.) прочитано Сувориным, и если да, то как воспринял издатель „Нового времени“ письмо от неизвестного ему молодого писателя из Германии, — об этом сведений не имеется. Во всяком случае, никакого ответа на свое обращение Рильке не получил».

Но самый драматический эпизод из истории отношений Рильке и Бенуа описан в главе с элегическим названием «Последняя встреча». После почти четырехлетнего перерыва в переписке весной 1906 года Рильке и Бенуа встречаются в Париже. Пятичасовая беседа пробуждает в немецком поэте надежду на возобновление дружбы с Бенуа. «Именно Вас, дорогой господин Бенуа, — пишет Рильке несколько месяцев спустя, — мне так не хотелось бы потерять еще раз, особенно теперь,

испытав радость новой встречи с Вами, которая, насколько я мог почувствовать, полностью подтвердила длительность и неизменность наших отношений».

По иронии судьбы именно это письмо Рильке, написанное с Капри, оказывается последним эпизодом в шестилетней истории его отношений с Бенуа. Просьба поэта сообщить ему, русский ли человек Горький и стоит ли искать с ним встречи³, остается без ответа. Более того, Бенуа просто... забывает о том, что встречался с Рильке в Париже. Описывая в своих позднейших воспоминаниях встречу с поэтом в Петергофе в 1900 году, Бенуа говорит о ней как о единственной...

К. Азадовский подробно анализирует причины, по которым знакомство Бенуа с Рильке оборвалось, и нет необходимости здесь перечислять их. Так или иначе, парадоксальный диалог немецкого русофила и русского западника завершился «невстречей», если использовать слово из лексикона другого русского корреспондента Рильке. Попытки поэта обрести «свою Россию», как известно, продолжались и в дальнейшем, но в этих поисках он опирался уже на следующее за Бенуа поколение русских модернистов, чей язык в большей степени совпадал с его собственным.

Михаил ЭДЕЛЬШТЕЙН.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВА

Книги, представленные на полке, разнятся по жанру и по мотивам написания; среди них есть блестящие, есть средние, есть не слишком удачные; но все они так или иначе пополняют наш багаж знаний о тех страницах отечественной истории, которые сначала замалчивали, затем раздували, а в наши дни опутывают безразличием: мол, что об этом говорить, и так все ясно...

+10

Полный сборник платформ всех русских политических партий. С приложением высочайшего Манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданнейшего доклада графа Витте. М., Государственная публичная историческая библиотека России, 2001, 132 стр.

«Царь испугался — издал манифест: мертвым — свободу, живых — под арест!» Частушка-песенка, придуманная по горячим следам, при советской власти подменила собой истинное значение этого исторического документа. В октябрятско-пионерские времена я был абсолютно уверен, что основным итогом царского манифеста стало убийство обломком трубы товарища Баумана. На самом деле манифест имел куда более серьезные последствия. Когда верхи не могут, то низы уже не хотят подчиняться, а отвечают «Финансовым манифестом» — обращением революционных политических партий и массовых организаций (РСДРП, Петербургский Совет рабочих депутатов, Крестьянский союз, партия эсеров, Польская социалистическая партия) к населению России с призывом ускорить финансовый крах царизма (не платить налоги, забирать вклады из банков). Плотину прорвало, и уже в декабре Москва была охвачена вооруженным восстанием...

Это не помешало в 1906-м издать манифест именно в таком виде, в каком он был ныне выпущен Исторической библиотекой: вкуче с докладом Витте и с программами шестнадцати крупнейших политических партий.

Наибольший объем в книге занимают программы объединений, не сыгравших какой-либо заметной роли в истории России, как, например, Партии свободомыс-

³ «Здесь Горький. Я не принадлежу к его поклонникам... Но будь он русским человеком, мне хотелось бы его как-нибудь повидать; потому что я испытываю жажду, голод, словом, тоску по русским людям. Но Бог знает, кто он, Горький; он живет богачом, капиталистом, социалистом, великим художником — но есть ли он русский человек?» (последнее предложение написано Рильке по-русски).

лящих, подумавшей даже о «культурно-школьной программе», и Партии правого порядка, предложившей фамилии и адреса представителей своих комитетов, включая своего лидера — Василия Петровича фон Эгерта, о котором вспомнила вдруг недавно газета «Дуэль»: «Мы перепечатываем брошюру неизвестного нам В. П. Эгерта, современника и очевидца начала войны международного еврейства против России». И как тут не подумать о повторении истории — я имею в виду эпоху поздней перестройки, когда букетом расцветало партийное строительство. Многие из нас уже по прошествии десяти лет забыли о РНФ (Российском народном фронте), КАС (Конфедерации анархо-синдикалистов), ДПР (Демократической партии России — травкинской), ОФТ (Объединенном фронте трудящихся). Имелась у большинства партий и своя идея фикс — отмена пресловутой 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС, пророчески предсказанной в этом сборнике.

Поясняю. В 1906-м сборник составили так, что аккуратно за кратким историческим манифестом императора и развернутым докладом Витте поместили программу Российской социал-демократической рабочей партии, фракция которой будет править Россией более семидесяти лет.

Влас Дорошевич. «ГУЛАГ» царской России. М., «ЭКСМО-Пресс», 2001, 507 стр.

Молодой, но уже достаточно известный журналист Влас Михайлович Дорошевич побывал на Сахалине в 1897 году. Бессрочный каторжанин Федотов в своем письме Дорошевичу выражал надежду, что его приезд на Сахалин принесет такую же пользу, как и посещение «господина доктора Чехова».

Надежда оправдалась. В 1903-м в Москве вышла книга под названием «Сахалин», в наши дни по коммерческим соображениям переименованной в «„ГУЛАГ“ царской России». Что ж, логичная смена вывески. «Сахалин» — это, говоря нашим языком, «история одного лагеря» (так, кстати, называется монография В. Бердинских, посвященная Вятлагу) — развернутая картина каторжной жизни острова.

Волей-неволей, читая эту книгу, держишь в уме события более позднего времени. Только в 1895 году на Сахалин было сослано 2212 человек — цифра, согласитесь, немалая, но она на порядок меньше цифр советского периода. В каких же условиях содержались на острове преступники, большинство которых нарушило заповедь «не убий»? «Я к Вам в штатском, чтоб не смущать вас арестантским халатом», — говорит убийца, пожаловавший к Дорошевичу в гости. Впору умилиться, но тут же узнаешь про выставленный на всеобщее обозрение труп беглеца в таком же халате. Ужас внушают кандалы, от которых гордо и навсегда откажутся большевики; и те же, знакомые нам по «Колымским рассказам», саморубы; и телесные наказания; жуткие нравы преступного сообщества, от бесчинств которого тяжелее всего приходится интеллигенции (об этом, применительно к лагерям советским, позже напишут Солженицын и Шаламов). Интеллигентов не любят за слабость, непривычку к физическому труду. «Страшна не тяжелая работа, не плохая пища, не лишение прав, подчас призрачных, номинальных, ничего не значащих. Страшно то, что вас, человека мыслящего, чувствующего, видящего, понимающего все это, с вашей душевной тоской, с вашим горем, кинут на одни нары с „Иванами“, „глотами“, „жиганами“. Страшно то отчаяние, которое охватит вас...» — пишет Дорошевич.

Сахалинские каторжане еще не стали рабсилой (рабской силой) — они в первую очередь будущие колонизаторы, которых хотят поскорее отправить на поселение. Впрочем, освобождение с каторги воспринималось на Сахалине отнюдь не в розовом свете. Говорили даже, что «каторга начинается с выхода на поселение» — так не хватало в суровых сахалинских условиях гарантированного арестантского пайка, прибавка к которому покупалась в тюремном майдане (магазине), где можно было приобрести бутылочку молока, вареные яйца, кусочек мяса, белый хлеб.

Многолетний редактор закрытого большевиками «Русского слова» умер в 1922 году в возрасте пятидесяти восьми лет, не успев, к счастью, осуществить, уже в качестве заключенного, вторую в своей жизни дальнюю поездку. Он так и не узнал, что остров Сахалин — это прообраз гигантского «архипелага».

Варлам Шаламов. Воспоминания. М., «Олимп»; Издательство АСТ, 2001, 381 стр.

Книгу воспоминаний Варлама Шаламова можно условно разделить на три части: описание Москвы 20-х и 30-х, лагерные (тюремные) воспоминания и записи, посвященные литераторам. Все это составляет семнадцать иногда пересекающихся друг с другом сюжетов. Обрывочность, повторение однажды написанного — это вообще манера изложения материала, характерная для прозы Шаламова, как ни странно, помогающая оценить неслучайность наблюдений, их проработанность.

Центральной в книге вроде бы предполагалась колымская часть — своего рода путеводитель по знаменитым рассказам; ведь именно там принял Варлам свою схиму. Она публиковалась в 1993 году в «Знамени», и жестокая шаламовская правда почти не выветрилась из памяти: «Писатель не должен хорошо знать материал, ибо материал раздавит его».

В воспоминаниях о литераторах проявляется свойственная Шаламову категоричность в оценке их творчества и личного облика. Особенно отвратительным предстает поэт Павел Васильев: «Жестокость! — вот какой след мог оставить на земле Васильев-человек». Васильев хуже «дельца» Солженицына.

Впервые напечатана «Москва 20-х годов» — воспоминания о любимом времени Шаламова — времени юности мятежной. Картинки живой, но вместе с тем уже неуютной Москвы так и встают перед глазами. Иверская и обжорка Охотного ряда, Ленинская-Румянцевская с поэмой Маяковского об Ильиче в спецхране, бутерброды с кетовой икрой и свеклой в консерваторской столовой. Не верится только, что в те годы шла «огромная проигранная битва за действительное обновление жизни». По-моему, она к тому времени уже *была проиграна*.

Но иного мнения придерживался сам Шаламов, идеализировавший даже чекистов-дзержинцев. Потому и пытался написать сочувственный роман о хозяине Колымы — Берзине, в представлении писателя — честном человеке. В 1929-м судьба свела их в Березниках. Тогда Берзин почти дружески звал Варлама Шаламова на Колыму, и судьба заставила Варлама принять это страшное приглашение...

Иван Солоневич. Две силы. Борьба за ядерное владычество над миром. Роман из советской действительности. М., «Москва», 2002, 646 стр. («Наследие Русского Зарубежья»).

Об Иване Лукьяновиче Солоневиче широкий круг отечественных читателей впервые узнал из «Архипелага ГУЛАГ», но еще долго его имя продолжало оставаться в тени. В 1991 году в журнале «Дон» были опубликованы отрывки из «России в концлагере» и вышла большая статья Дьякова в журнале «Наш современник». После чего за Солоневичем закрепился неоднократно слышанный мной странный эпитет — «апологет русского фашизма».

Стараниями Михаила Смолина, кандидата исторических наук, составителя серии «Пути русского имперского сознания», выпускаемой редакцией журнала «Москва», вышло уже четыре книги Ивана Солоневича¹. Лучшая из них — «Россия в концлагере», уникальный роман на автобиографическом материале, достойный миллионного тиража.

Сын будущего редактора столыпинской газеты «Северо-Западная жизнь»; известный спортсмен, занявший второе место в России по гиревому спорту и побеждавший «на руках» самого Ивана Поддубного; руководитель спортивного студенчества при атамане Дутове во времена корниловского мятежа; секретный агент белогвардейцев; узник Одесской ЧК; видный профсоюзный работник — вот неполный «послужной список» Солоневича до того момента, когда он (вместе с сыном Юрием и братом Борисом) попал в советский лагерь. После побега оттуда начинается вынужденное путешествие Солоневича по странам и континентам: Финляндия —

¹ Нельзя не упомянуть также еще одного серьезного исследователя жизни Солоневича — Игоря Воронина, заместителя главного редактора газеты «Монархист».

Германия — Болгария — Германия — Аргентина — Уругвай; написание книг, каждая из которых направлена на борьбу с главным врагом — коммунизмом.

«Две силы» — политический и авантюрный роман, публикация которого началась в до сих пор существующей в Аргентине русской эмигрантской газете «Наша страна». По признанию самого Ивана Солоневича, в литературном отношении роман уступает «России в концлагере». Это действительно так — уступает, но невольно вспоминаешь лукавые слова писателя о том, что он «был слишком косноязычен» даже для школы прапорщиков. Роман читается как настоящий национальный бестселлер. Обидно только, что дописан он был, после смерти писателя, братом Борисом — контраст виден невооруженным глазом.

«Две силы» — это, с одной стороны, нарочито ироничное повествование, подчас напоминающее Зошенко и Ильфа-Петрова, с математически выверенным детективным сюжетом, при поверхностном прочтении почти фарсовое, что подтверждают, например, говорящие фамилии. Но налет фарса настолько тонок, что не мешает относиться к повествованию всерьез. При том, что Иван Солоневич всегда говорил, что добро и зло кристаллизуются в борьбе, положительные (условно) герои романа изображены отнюдь не однопланово и схематично; а отрицательные — это прежде всего серьезные противники: «Глупых людей в этом учреждении не было вообще, либо были только на самых низах...» Читая роман Солоневича, отчего-то вспоминаешь Владимира Войновича — он отдыхает.

С другой стороны, «Две силы» — это очередное изложение политической доктрины писателя, сторонника монархического строя, убежденного, что «сквозь февральскую дыру хлынуло что-то поистине сатанинское — бессмысленное, бесчеловеческое, безбожное» и наступили антихристовы времена. (Хочется с этим согласиться.)

В. С. Жуковский. Лубянская империя НКВД. 1937 — 1939. М., «Вече», 2001, 352 стр.

Сыновья, наверное, должны защищать своих отцов, пусть те и не всегда бывают правы. Андрей Маленков и Серго Берия уже выпустили книги, оправдывающие поступки Георгия Максимилиановича и Лаврентия Павловича. О репрессированных отцах-большевиках с уважением вспоминали Алкснис, Антонов-Овсеенко, Икрамов, Примаков, Трифонов, Якир и проч.

Настал черед Владимира Семеновича Жуковского — сына (от первого брака) Семена Борисовича Жуковского — расстрелянного в 40-м заместителя одиозного Николая Ежова. Семен Жуковский отвечал в НКВД за хозяйственную деятельность; именно Ежов (человек «доброй души и чистой совести», по определению другого Николая Ивановича — Бухарина) взял его на работу в органы.

Беспорядочная работа НКВД тех лет сводилась к поиску новых и новых контрреволюционных центров, не существующих в действительности. Огромный аппарат органов, занимавший видное место в системе государственной власти (одна шестая часть депутатов Верховного Совета была чекистами), захлебывался в бесконечности заговоров. Революции с самого начала методично пожирают своих детей: автор напоминает о расправах над красными командирами Мироновым и Думенко, о самоубийстве в ожидании ареста Ковтюха, прототипа Кожуха из «Железного потока» (Серафимович впоследствии попытается защитить от расправы своего хорошего знакомого — Жуковского); но массовые чистки конца 30-х трудно расценить иначе, как целенаправленное уничтожение правящего класса, проходящее под восторженное одобрение трудящихся. Автор напоминает о том, о чем вспоминают редко: о карикатуре Бориса Ефимова «Ежовые рукавицы», о страшной статье Чкалова против театра Мейерхольда и проч.

Анализируя ход расследования по делу отца, Жуковский-младший опирается на документы спецхрана КГБ, потому отпадают сомнения в достоверности проведенной автором работы. Среди тех, кто допрашивал Жуковского, были и первые лица НКВД — Берия, Меркулов, Эсаулов, Шварцман. В виновность Жуковского не верил никто. В документах фигурируют в качестве главных шпионов лица, не существующие в реальности, такие, как, например, немец Артнау — «потомок достославного поручика Киж», по замечанию автора книги. Не остается сомнений в

том, что обвинения ежовских чекистов в шпионской деятельности сфабрикованы от и до. Не случайно подавляющее большинство фигурантов на суде отказались от показаний, выбитых на следствии. Жестокий и несгибаемый Ефим Евдокимов в последнем слове обвиняемого сказал: «Я скоро умру, но я хочу сказать суду, что и при новом руководстве аппарат НКВД работает так же, как работал и при ЕЖОВЕ, а отсюда получаются к.р. организации, которой сделался я и другие». Евдокимов был расстрелян, а его жену и двадцатилетнего сына уничтожили за десять дней до того. Восемь лет «за недоносительство» отсидела и жена Жуковского Елена.

«Пушкай виновны Постышев с Тухачевским, но ведь они и наказаны жестоко. Питаны, ошельмованы, расстреляны, страшна участь их родных и близких», — пишет автор книги, в полной мере относя эти слова и к своему отцу — Семену Жуковскому.

Улла Риутта, Йоханес Тоги. Осужденный по 58-й статье. История человека, прошедшего уральские лагеря. Перевод с финского. СПб., «Библия для всех», 2001, 271 стр.

Автор и герой книги Йоханес (Иван Адамович) Тоги² — ингерманландский финн, чье детство прошло в местах, где мирно перемежались русские и финские поселения. Юный Тоги жил словно на ожившей лубочной картинке и воспитывался в традициях евангельских христиан-баптистов. В те годы граница с Финляндией была прозрачной, и семьи свободно навещали родственников, живущих за кордоном; к середине 30-х дружному семейству Солоневичей пришлось проявить феноменальную смелость и выдержку, чтобы ее преодолеть; позже — столбы, колючка, взрыленная зона и не знавшие иных времен молодые пограничники с недобрыми псами на поводках.

Первый раз Ивана Адамовича Тоги арестовали в Ленинграде по обвинению в участии в убийстве Кирова. Второй арест был непосредственно связан с его проповеднической деятельностью. Пытали его и в первом, и во втором случае — держали сутками в несгораемом шкафу, били.

В промежутках между арестами произошло чудо: Йоханесу вернули отобранную у него мамину Библию — в конце 1936-го он получил ее в Большом доме на Литейном — самом страшном здании Ленинграда. При следующем аресте он уже не возьмет ее с собой, и Библия, казалось, пропадет во время войны безвозвратно... И все-таки лет через десять таинственным образом вернется к Тоги, найденная соседкой в полуразрушенном доме.

Лагерная жизнь Йоханеса также полна чудес, как будто посланных ему Богом: портняжное дело, которому он случайно научился в детстве, привело его впоследствии в кресло директора швейной фабрики. Чудом уцелела и жена Лиина, работавшая в печально известной психиатрической клинике в Сиворице, зверская расправа с персоналом и больными которой пополнила список кровавых преступлений другого страшного режима — нацистского.

Тоги удивительно ясно отвечает себе на вопрос, за что он попал в лагеря: жаловался на жизнь, винил Бога. Столь же ясен ответ на вопрос, почему вышел оттуда здоров и невредим, — Бог помог. Но, охраняемый Господом, Йоханес считал, что жизнь можно облегчить и самому, если к этому стремиться. Отсюда и старание Тоги приносить людям радость в самых страшных условиях. Так, в лагере он печет на костре «пирог» для своего друга-именинника Магги, по договоренности с конюхом ежедневно откладывая для праздничного блюда немного овса.

Йоханес Тоги знал, что, «если все время горевать, волосы будут седыми». Он и не горевал, думая, что ему повезло: намного хуже — финским коммунистам, поверившим сказкам о советском рае и добровольно приехавшим в СССР. Подчас они были готовы на все, чтобы бежать обратно. У Тоги мыслей о побеге никогда не возникало. Он во всем полагался на волю Господа.

К моменту выхода настоящей книги в свет Йоханес Тоги проживал в Таллине, пожиная плоды национальной независимости Эстонии.

² Второй автор книги — Улла Риутта, финская журналистка.

Поживши в ГУЛАГЕ. Составитель А. И. Солженицын. М., «Русский путь», 2001, 408 стр. («Всероссийская мемуарная библиотека». Серия «Наше недавнее». Вып. 7).

Главная правда о сталинских лагерях уже сказана; сравнение их с фашистскими уже не кажется кощунственным, но время свидетелей еще не прошло.

В книге собраны воспоминания семи советских людей: инженера В. М. Лазарева, военного радиотелеграфиста Н. М. Игнатова, моряка А. П. Буцковского, музыканта Н. Р. Копылова, студентов Н. Н. Болдырева, В. В. Горшкова и А. Е. Кропачкина. Написаны они разным языком (среди авторов и потомственные дворяне, и крестьянские сыновья), но читается книга как единое целое.

Отличие от Йоханеса Тоги, авторы и персонажи этой книги не знают, за что получили свою долю испытаний (официальные обвинения, естественно, просто выдуманы). Допустим, маленький Буцковский помогал отцу-крестьянину хоронить трупы замученных в райотделе НКВД. Что, за это? Неужто выходишь из дворянской семьи Болдырев несет ответственность за деятельность своего предка-петрашевца? А мальчик, в семилетнем возрасте наклеивший записку на двери правления колхоза и арестованный десять лет спустя? А Копылов, голодавший в немецком плену, а потом наблюдавший пленных немцев, получающих белый хлеб, сахар, молоко?

Какая может быть в этом экономическая целесообразность: готовить заключенных к работам на «стройках коммунизма» — и бить их сапогами по почкам; возить в холодных вагонах и душных трюмах; сажать в собачники, кондеи, карцеры, РУРы, ШИЗО. И даже освобождение далеко не всегда тождественно свободе: вольных могут везти как з/к и встречать автоматчиками с собаками, а солдаты стройбата могут голодать сильнее арестантов.

Жизнь есть жизнь, и даже за решеткой иногда бывают праздники. Если Влас Дорошевич был неприятно потрясен работой каторжан в Страстную неделю, то Горшков еще в большей степени удивлен празднованием Пасхи во внутренней тюрьме на Лубянке. Оно воспринимается, в том числе и мной — читателем, как чудо. Да, чудеса все-таки случались — мир не без добрых людей. Любопытна история подростков, убежавших из лагеря и укrywшихся в ближайшей летной части. Летчики накормили горе-беглецов и вернули их обратно под честное слово не наказывать. И требование было выполнено.

Лагерь часто обнажает худшие свойства человеческой природы. Но авторы книги прошли адвы испытания с честью — выручали сила духа, выдержка, смекалка, физическая подготовка. «Осталось чувство вины, что вел себя недостойно, малодушно, может быть, даже подло» — это слова Горшкова, которому по большому счету не в чем себя упрекнуть.

«Шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменные лица, лоскутные платья, все — обруганное, ошельмованное... да, живуч человек! Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение», — писал в «Записках из Мертвого дома» Достоевский. Авторы этой книги, как и миллионы их соотечественников, находились в условиях, не приспособленных для существования человека, но все-таки выживали, привыкая к тому, к чему нельзя привыкнуть.

Александр Бирюков. Колымское триединство. Часть первая. «Последний Рюрикович». Магадан, «МАОБТИ», 2001, 206 стр.

Первая часть трилогии Александра Бирюкова посвящена Царю-Диме (так называл его Юрий Олеша) — известному литературоведу и критику Дмитрию Петровичу Святополк-Мирскому.

Князь, чей род, возможно, происходит от Рюриковичей; сын последнего до рокового Манифеста 17 октября царского министра внутренних дел; офицер царской армии и дезертир белой; член английской компартии и один из основателей евразийства; обладатель членского билета № 53 Союза писателей; заключенный, — трудно найти более причудливую биографию (ну разве что жизнь Ивана Солоневича может с ней посоперничать).

Имя это к тому же успело обрасти и лагерными легендами. Кто только не встречал (якобы) Мирского в пространстве ГУЛАГа. Автор собирает по крупицам и классифицирует по степени правдоподобия все печатные упоминания о князе. Между прочим, Святополк-Мирский дважды фигурирует в книге «Поживши в ГУЛАГЕ»: и в воспоминаниях В. М. Лазарева (известный литературовед — преподаватель Оксфорда, читающий лекции о Пушкине и Байроне в транзитном лагере Владивостока), и в воспоминаниях Н. Н. Болдырева («оборванный лагерный фитиль», привезенный с воркутинского направления, переданный польскому консульству).

Так ли закономерны арест и последующая гибель Святополк-Мирского? Его *sigillum vitae* был более чем достаточен для немедленного ареста по прибытии в СССР и последующего расстрела. Мирского же долго держали на свободе, несмотря на тотальную подозрительность 30-х. Иван Гронский, главный редактор «Известий» и «Нового мира», писал по поводу князя: «Чем больше он пил, тем делался осторожнее... узнаешь работу разведки — «Интеллидженс сервис». Я сказал о своих сомнениях Ягоде и попросил его заняться Мирским — подозрительный тип!» Не менее любопытен и ответ наркома: «Ты всех подозреваешь!» Как тут не предположить работу героя на НКВД? Это объяснило бы многие шаги Святополк-Мирского, в том числе его неожиданную для белоэмигранта статью «Почему я стал марксистом?». Но история пока не дает ответа на этот вопрос.

Вообще, книга Бирюкова насыщена загадками и тайнами. Так, судьбы многих героев будущей трилогии, как заявлено автором, переплетутся с судьбой Эдуарда Багрицкого. В первой книге поэт предстает восхищающимся кавалерийскими навыками белого офицера Святополк-Мирского, которые тот демонстрирует, сидя на табурете с шашкой наголо в квартире красноармейца Багрицкого. Багрицкий должен появиться во второй книге в связи с делом пяти московских литераторов — Нарбута, Зенкевича, Штеймана-Карабана, Поступальского и Навроцкого, и в третьей — о деле студентов Литинститута (Валентин Португалов и др.). Все эти люди так или иначе были связаны с Багрицким.

Для меня мир всегда был прозрачной воды.
Шарлатаны — я думал — ломают комедию.
Но вчера допотопного страха следы,
словно язвы, в душе моей вскрыл этот медиум.

(Владимир Нарбут, «Сеанс»)

Стихотворение Нарбута написано по иному поводу, но, на мой взгляд, оно подходит к нашей теме...

Николай Куприянов. ГУЛАГ-2СН. СПб., 2001, 680 стр.

Название книги кавторанга Н. Куприянова расшифровывается как «ГУЛАГ второй, Совершенно Неизвестный». Речь в ней идет о советской репрессивной психиатрии.

Книгу предваряет предисловие покойного Анатолия Собчака, читавшего только первую часть, а выход в свет полного варианта ознаменовался пышной презентацией в Санкт-Петербурге с участием верхушки движения «Единство». Серьезность темы, которую затронул Куприянов, того заслуживает.

Только в 1988 году, после перевода в ведение Минздрава из системы МВД шестнадцати больниц и ликвидации восьми, было снято с учета 800 тысяч пациентов. Никто сейчас не может сказать, сколько из них было психически здоровыми. Особенно практиковались дела по фабрикации психической ненормальности в Советской Армии. В конце книги, можно сказать, в виде приложения приведена история прапорщика Чеснокова, попытавшегося помешать преступной сделке, совершенной военными психиатрами, и оказавшегося на принудительном лечении. И такие случаи были отнюдь не единичными.

«ГУЛАГ-2СН» — беллетристическое произведение. Это история честного и принципиального офицера-политработника, секретаря партийной организации ВМБ, вставшего на пути «дядей в больших погонах» и вследствие этого прошедшего через горнила репрессивной психиатрии. Олитературенность придает повество-

ванию увлекательность, но несколько мешает ощущению достоверности происходящего. Впрочем, в честности автора сомневаться не приходится.

Alter ego Николая Куприянова кавторанг Николаев предстает человеком с очень непростым характером: фантастически упрямым и неуживчивым, смелым до безрассудства. Так, на собрании политотдела тыла Краснознаменного Северного флота он восклицает: «Беззаконники вы — вот кто!.. Вы нарушаете не только Конституцию, но и Устав партии. Блюстители!» — или бросает в лицо главному кадровику флота, что тот обыкновенный подхалим. Не случайно один из сослуживцев героя утверждает, что Николаев «помешан на законности и справедливости». И на Николаева ополчается «адмиральско-офицерская мафия», чтобы убрать его с дороги, нисколько, впрочем, не сомневаясь в его психической нормальности.

Куприянов рассказывает об издевательствах, которым он был подвергнут в психиатрических отделениях больницы Северного флота и Военно-медицинской академии имени Кирова — заведениях, мало чем отличающихся от тюрьмы. Читатель получает подтверждение, что репрессивная психиатрия пустила корни не только в военной среде, но и в гражданской жизни: в лечебнице академии Николаев знакомится с профессором Малининым, бывшим директором НИИ, отстраненным от должности влиятельными завистниками с помощью врачей-психиатров.

Кавторанг Куприянов по праву гордится тем, что его книга — первая, посвященная репрессивной психиатрии в армии.

Л. М. Млечин. КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы. 3-е изд., доп. М., «Центрполиграф», 2001, 861 стр.

Книга Леонида Млечина описывает историю органов безопасности начиная с декабря 1917 года, рассказывает обо всех их двадцати шести руководителях — от Феликса Дзержинского до Николая Патрушева, касается всего спектра внутренней и внешней деятельности ВЧК — НКВД — КГБ — ФСБ, — таким образом, мы имеем ни много ни мало историю нашей Родины с 1917 по 2001 год под определенным углом зрения.

Млечин отвергает многие мифы, утвердившиеся в наши дни: о возможном сменщике вождя мудром Сергее Мироновиче Кирове («Каждый член партии должен сейчас любого оппозиционера бить в морду» — реплика Кирова); об убийстве Сталина; о пагубности бериевской амнистии и т. д.

Подчас неожиданные сведения заимствованы из многочисленных архивных и мемуарных источников, в том числе почерпнуты в беседах автора с Николаем Егорычевым, Александром Яковлевым, Егором Лигачевым, Владимиром Семичастным, Николаем Ковалевым; министрами советского и российского правительств; генералами и офицерами госбезопасности.

Кто они — руководители советских органов? Млечин старается оживить текст книги нетривиальными фактами их биографий: Феликс Дзержинский выбрасывает в окошко сестрины олады, испеченные из спекулянтской муки; Вячеслав Менжинский, будучи тяжело больным человеком, таскает чемодан своего веселого и равнодушного патрона — Ленина. Автор понимает, что выработанные в общественном сознании оценки тех или иных деятелей весьма условны, и методично ломает стереотипы. Ягода вовсе не был «усердным ничтожеством», каким окрестил его Троцкий, — он был отнюдь не лишен человеколюбия: например, в бешенстве обозвал мерзавцем начальника лагеря, в наказание выведшего на мороз женщин; а в Николае Ивановиче Ежове действительно было что-то от бухаринского определения (см. книгу Жуковского-младшего). К тому же он был демократичен в общении, любил выпить и писал стихи...

Впервые узнал я о драматургических способностях Всеволода Меркулова — автора пьесы «Инженер Сергеев» (под псевдонимом Рокк); о жестокостях Семена Игнатьева, дававшего указания бить арестованных врачей; о страшной, после отставки, судьбе Сергея Круглова. О проигранной битве за пост номер один Железного Шурика — Александра Шелепина — напротив, написано немало. Противоречивая фигура Шелепина, которому еще во время войны, когда ему было чуть более двадцати лет, посвятила поэму Маргарита Алигер, Млечину особенно уда-

лась: это и человек, до последнего поддерживающий шарлатана Лысенко, и один из немногих руководителей органов безопасности, которого, как говорили, совсем не изменила большая власть. Насыщена интересными подробностями судьба руководителя соседнего ведомства — главного милиционера 70-х Николая Щелокова; он, в частности, защищал Солженицына и заключил договор о сотрудничестве советской милиции с финской полицией. А из уст Юрия Андропова, оказывается, звучало: «Держи ты этих гэбистов в руках!» Но что особенно неожиданно — Юрий Владимирович показан неуверенным в себе, слабым человеком.

В книге Леонида Млечина, рассчитанной на массового читателя, но при этом умной и увлекательной, представлена история нашей власти и история сопротивления ей. Автор приводит слова академика Александра Панченко: «Лакеи и холопы говорят: „Такое было время“. Время всегда плохое, а справляемся мы с ним или нет — зависит от нас».

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО

Такого еще не было. Чтобы театральные мемуары открывали рубрику «10 лет без СССР» в общенациональной газете. Чтобы под воспоминания театрального критика она отмеряла одну за другою шесть или семь полос. Чтобы потом там же появилась целая полоса на «тему дня» под общей шапкой «Деграданс» и с подзаголовком: «Статусная интеллигенция не хочет приспособливаться к новой реальности», на деле же — снова посвященная все той же, но уже наконец вышедшей книжке. И смысл большинства публикаций на этой полосе сводился бы к тому, что по реакции на «методологически-новаторскую книгу» о театральной жизни последних двадцати — тридцати лет можно судить, новый интеллигент перед нами или же законченный ретроград, с неврозами и претензиями советских шестидесятников. Ну а спустя несколько месяцев книга эта получит премию «за талант» (такова объявленная формулировка). И, по слухам, в Министерстве образования уже лежит предложение придать ей статус учебного пособия для последующего переиздания и распространения.

Что же это за книга? И что за такая особая величина? Впрочем, уже, кажется, понятно, что речь — о книге Анатолия Смелянского «Уходящая натура» (М., «Искусство», 2001).

Да, по специфическому резонансу книга Анатолия Смелянского уступает разве что другим скандальным мемуарам последних лет: политическим — Александра Коржакова, литературным — Эммы Герштейн и еще одним театральным — Татьяны Егоровой. Все они — разоблачали. Коржаков написал «всю правду» о Ельцине, Герштейн — о нравах в семье Мандельштамов, Егорова — «всю правду» о Театре сатиры времен Валентина Николаевича Плучека.

Книга Смелянского тоже претендует на «всю правду». Недаром же во вводной главе — «Как сочинилась эта книжка» — автор сообщает, что замысел родился из амбициозного американского проекта — создать многотомную энциклопедию «Советская цивилизация». Потом идея энциклопедии рассосалась, но маховик воспоминаний уже был запущен. В итоге родились «не мемуары, не театральный роман, не документальная повесть, а что-то вроде театрального амаркорда». Звучит красиво, но последствий не объясняет.

Вот передо мной лежит вышедшая недавно книга Сергея Юрского — очередной том из серии «Мой XX век» издательства «Вагриус». Называется «Игра в жизнь». Хорошо написана, местами — даже очень. Разоблачения? И они есть. Но шумных споров о ней не слышать. А разве не было за последние годы других замечательных книг о театре? Издан многолетний труд Ольги Радищевой, написавшей историю творческих взаимоотношений Станиславского и Немировича-Данченко.

Труд жизни, пример научного подвижничества. Или — книга Людмилы Стариковой, грандиозный по красоте и цене том, посвященный старинному театру Москвы. Но обошлось без общественных дискуссий, газетных полос, кулуарных стычек. И хвалили их без такой отчаянной страсти, как книгу Смелянского, которую и не хвалили, а скорее за щ и щ а л и.

Впрочем, самых первых своих оппонентов — «двух бывших мхатовских авторов» Михаила Рошина и Михаила Шатрова — Смелянский миролюбиво останавливал просьбой не судить по отдельно опубликованным главам, а подождать выхода книги. И вот она напечатана.

Краткое личное предупреждение. Я считаю Смелянского одним из первых театральными критиков и шире — одним из первых среди тех, кто пишет о театре сегодня, хотя и не причисляю себя к поклонникам его таланта. Но Смелянскому тесно в таком амплуа. В связи с чем существует некая «история отношений» между автором «Уходящей натуры» и автором этих строк. В конце 90-х в «Независимой газете», где я тогда работал заведующим отделом культуры, вышло интервью американской студентки, приехавшей в Москву, чтобы учиться в никому не ведомом (в России) колледже МХАТ. Девушка, заплатившая за несколько недель обучения одиннадцать с лишним тысяч долларов, считала себя обманутой — ни по месту обучения, ни по составу преподавателей колледж явно не имел права называться «мхатовским». Ни художественный руководитель театра Олег Ефремов, ни ректор Школы-студии Олег Табаков, ни в Министерстве культуры, ни в Министерстве образования, ни в Комитете по образованию Москвы о проекте под названием «Колледж МХАТ» не слышали. Одним из его руководителей был А. Смелянский. На публикацию он сильно обиделся и даже провел пресс-конференцию, на которой попытался представить историю как попытку оклеветать честного предпринимателя... И вот теперь даже удостоил меня отдельного упоминания в своей книжке: журналист Г. Заславский дает Т. Дорониной уроки... антисемитизма.

Так что легко будет представить нынешний мой отзыв как попытку свести старые счеты. Но, видит Бог, это не так. Будь книга хороша, я непременно признал бы это. Однако она не такова. Претензии же до сих пор не были высказаны (поскольку дело, на мой взгляд, совсем не только в главе, посвященной Ефремову, о которой дискутировали). И я взял этот труд на себя.

В уже упомянутых воспоминаниях Сергея Юрского есть такой пассаж: «Что делаешь — любой мемуарист рискует либо сорваться в пропасть мстительных (а потому недостоверных) разоблачений, либо разбить себе морду о скалу неумеренного (а потому недостоверного) самовыпячивания... Определенный круг читающей публики как раз и любит эту хлесткую надсаду, эту запоздалую расправу над обидчиками, это сковыривание доброжелательной маски с лица мнимых благодетелей и даже, поверьте, неумное прямое хвастовство — всем я, дескать, хорош, всем я люб, а кому не люб, тот сам дурак! Если не разоблачать и не хвастаться, так про что же тогда, собственно, и писать-то, а?» И в другом месте: «Успех мемуарной книжки тем более велик, чем обширнее круг оскорбленных и разоблаченных в ней лиц».

Но не «разоблачения» и тем более не «неумное прямое хвастовство» (в этом смысле автор как раз сдержан, и чуть ниже мы попробуем проанализировать то, как Смелянский преподносит сам себя) — то, на что сразу обращаешь внимание. А обращаешь внимание на то, что книга Смелянского написана небрежно. Кажется, не написана — наговорена. Наговорена человеком, поднаторевшим в устных выступлениях, чтении лекций, произнесении вступительных или заключительных слов. Легкая разговорная интонация. Ошибки, которые проскакивают в стремительной разговорной речи, так и не выправленные, ложатся на книжную страницу, «за плечами его было секретарство в „Известиях” у Бухарина <...> и перебитый позвоночник», «Суркова <...> отлучили от когорты официозов». И т. д.

Простительная по нынешним временам вкусовая разболтанность в рассказе о первой встрече с начальником Академического театра Советской Армии полковником Понько: «Меня ввели к полковнику, как новобранца приглашают на медкомиссию. Разве что брюки не попросили снять».

Для людей не театральных — забавные анекдоты из театральной жизни (для людей театральных почти все эти истории и анекдоты — с бородой). Для людей неискрушенных — сокрытые, тайные стороны советского и высокопартийного быта.

Для быстрого чтения. Карманного формата томик как бы и не подразумевает иного, неспешного, внимательного, вчитывания, «остановок в пути». Эпоха «итожится» так поверхностно, что автор запутывается сам и запутывает читателя в подробностях этой «уходящей натуры».

В глаза бросаются вроде бы мелочи. Вот одна из них, типичная, — в рассказе на тему «как меня принимали в Киргизии»: «Комендант, молодой человек лет двадцати пяти, несмотря на сорокаградусную жару, всегда был одет с иголки от того же „четвертого управления“». Четвертое управление отвечало за медицинское обслуживание партийного и советского аппарата. Велюровыми пиджаками и импортными туфлями оно не ведало.

Из рассказа о том, как Смелянский ступил на путь булгаковедения, как получил благословение Елены Сергеевны Булгаковой, можно заключить, будто статья Смелянского о «Мастере и Маргарите», вышедшая в «Литературной газете», стала чуть ли не единственным и все меняющим откликом на опубликованный, но никем не отрецензированный роман. Тут с опровержением поспешил Евгений Сидоров. В заметках, напечатанных уже в нынешней «Литературке», он напоминает «булгаковеду Смелянскому», что первый отклик на «Мастера и Маргариту» вышел в майской «Юности» за 1967 год и принадлежал ему, Сидорову, а через несколько месяцев появились статьи И. Виноградова, В. Лакшина, И. Бэлзы, М. Чудаковой и других. «Так что не только Смелянский стоял у истоков», — заключает Сидоров.

Можно возразить: автор вправе писать лишь о том, чему сам был свидетелем, и здесь как раз — рассказ о своем участии. Но ведь в других случаях Смелянский легко доверяется чужому пересказу то эффектной сцены, то целой истории (правда, как правило, не указывая, что пишет с чужих слов)...

Человек рассказывает о себе, о своем детстве, видимо, что-то сокровенное. А ты ловишь себя на том, что не веришь. Почти ничему не веришь из складного и даже красивого рассказа. В театре «не верю» куда понятнее. Мы знаем, что актер — не тот человек, за которого себя выдает, которого он сейчас играет. И у нас как бы даже право такое есть — ему не верить. А здесь?

Мальчик из Лягушатихи, как сам себя аттестует Смелянский, мальчик из города Горького рассказывает, что «русских в нашем дворе звали кацапами, украинцев — хохлами, грузинов и всех кавказцев именовали исключительно черножопыми, евреев и воробьев обзывали жидами». Бытовой антисемитизм — особенно в описываемые годы (речь, как я понимаю, идет о конце сороковых — начале пятидесятых, времени борьбы с космополитами) — был явлением распространенным. Но что «грузинов» и всех кавказцев можно было безбоязненно именовать черножопыми (тем более *исключительно*)? Ох, не верится. Может быть, еще и потому, что это воспоминание следует за *общим* умозаключением: «„Новая общность людей“ формировалась на уровне идеологии, названий улиц и формировалась практически вокруг главной помойки, где беспрерывно выяснялись и шлифовались национальные отношения».

В моем детстве, совершенно московском (так сказать, в нескольких поколениях, поскольку наша — большая — семья жила в Москве даже в годы «черты оседлости»), тоже была своя помойка, но без национальных проблем. Видимо, общность все-таки существовала, если сегодня так часто можно услышать голоса — то с одной, то с другой национальной окраины бывшего СССР — тех, кто по ней тоскует. Не верю, хоть бы и потому, что — будете смеяться — знаю, что такое цимес. А Смелянский, описывая собрания родственников, пишет, что «в обязательном ассортименте был студень и цимес — отвратительное, надо признаться, тушеное месиво из моркови, чернослива, изюма и черт-те знает чего еще».

Кажется, «еврейский вопрос» давит автора не только снаружи, но и изнутри. В рассказе про Михаила Шатрова мимоходом сообщается «Он начал в середине 50-х. Именно тогда студент Горного института Миша Маршак бросил звание горного инженера, стал драматургом Шатовым и оказался на „ленинской вахте“. Там он трудился многие годы, рано поседел, успев выдать „на-гора“ „Шестое июля“ (пье-

су и фильм), потом „Большевики”, а затем уже в 70-е годы пьесу „Синие кони на красной траве”».

Про «ленинскую вахту» Шатрова — чуть ниже. Здесь — о псевдонимах. Поскольку я уже удостоен в книге Смелянского упрека в разжигании антисемитизма, продолжать не страшно... Смелянскому важно открыть правду: Шатрова, оказывается, звали когда-то Маршаком. Напомню, что нарочитое раскрытие такого рода псевдонимов носило в прежние годы уничижительный, а порою уничтожительный оттенок. Ну а для чего это понадобилось Смелянскому? Свободно и долго он рассуждает о чужом еврействе. И хотя не раз ему приходится возвращаться к собственной биографии и собственному «пятому пункту», нигде он не пишет о том, что ближе ему и лучше известно: то есть о себе, о том, что по приезду в Москву сам сменил фамилию «Альтшулер» на «Смелянского» (фамилию жены).

Что же тут особенного? Таковы были обстоятельства. Легенда говорит, что этот совет дал Смелянскому Марк Захаров... Может быть. В книге есть такой момент: в поисках работы в столице «хотел пойти к Марку Захарову, разговаривал в Центральном детском, Московском ТЮЗе — в ответ печально разводили руками: сам, мол, понимаешь». При общей разговорчивости автора это умолчание не выглядит случайным.

Это черта книги: говорится о метаниях и компромиссах других и умалчивается о собственном поведении в тех же обстоятельствах.

Смелянский вспоминает, как в Австрии мучился фронтовик Н. (фамилия названа). И завтрак несытный, и платные туалеты: «Зайти или нет? Дискуссия на этот счет двух народных артисток: „Лучше ..., но не пойду”. Позор нищеты. Мальчик у Христа на елке. Из глубины позора надо еще убедить Европу, что именно товарищ Ленин открыл для нас и для них новую эпоху процветания».

В другом месте — о поездках по странам социализма: «Бывалые артисты знали, в какой части лагеря что покупать: из Праги тащили хрусталь, из Монголии — кожу... На промтоварных базах (советских войск в Восточной Европе. — Г. З.) проходили беседы философского плана. „Федь, поди сюда. — Нина Афанасьевна подзывала товарища. — Посмотри, какие рейтузы чудесные. — Шло ошупывание и нахваливание чудесных рейтуз. — Ну, возьми для матери, ведь чистый хлопок, все дышит”. Федя брал».

Взгляд сверху подразумевает, что Смелянский совершенно был далек в Австрии от мук, связанных с платными услугами, а в социалистической стране обходил все базы и промтоварные рынки стороной. Но если слышал только что приведенный диалог, значит, был рядом? Значит, тоже что-то такое подыскивал жене, дочке или себе что-нибудь приличное собирался прикупить?

Сергей Юрский в уже процитированных записках не стесняется рассказать, как мучительно выбирал в Хельсинки, что ему купить, — выбирал между кальсонами и альбомчиком Сальвадора Дали. Смелянский рассказывает о других — как мучительно выбирали они. Он — насмешливый наблюдатель. МХАТ давится в очереди за чешскими паласами, Ангелина Степанова не знает, надо ли платить за щедрый завтрак в партийной резиденции... Он все запомнил и вот теперь веселит читателей подробностями советского быта.

«Уровень приема соответствовал уровню театра. „Контора” (верхушка МХАТа. — Г. З.) сияла от удовольствия, от желающих пойти на прием не было отбоя — все хотели посмотреть живьем на одного из могучих мира сего», — дело происходит на родине Кунаева, в Казахстане. Судя по дальнейшему рассказу, Смелянский допущен. Судя по только что отмеренной дистанции, не сиял, идти не желал, смотреть не хотел, но... пришлось. По обязанности.

Скажут, что это все — безобидные мелочи. Да, более или менее. Но вот — о Маркове: «Он был уже развалиной, на спектаклях часто засыпал»; «Он был, конечно, „серым кардиналом”, это входило в завлитовскую профессию, но все его кардинальство длилось несколько лет, пока обстоятельства благоприятствовали». И наконец — «он лежал в урологии в больнице ВТО». К чему такая подробность?

«Замечательно, что о живых автор свидетельствует осторожно и достаточно благобно. О мертвых, вопреки известной максиме, весьма свободно и раскованно», — написал о мемуарах Смелянского Евгений Сидоров. Так и есть, с одной су-

шественной оговоркой. Весьма свободно и раскованно мемуарист пишет о тех, с кем при жизни его отношения были сложными или совсем плохими. По всему выходит, что недоброжелательный автор теперь воспользовался их физическим отсутствием. Эти люди предстают неисправимыми детьми Совдепии, трусливыми, смешными, их портреты карикатурны. Ангелина Степанова, Софья Пилявская, Виталий Виленкин...

Побуждения их — суетные, мелкие. Пилявская не желает сидеть на «Славянском базаре» (юбилейное собрание во МХАТе к столетию знаменитой встречи его основоположников) в восьмом ряду, хочет — «со Степановой вдвоем в ложе». О Прудкине: «Многие годы он хотел получить Героя Соцтруда». Степановой — особое внимание (особыми были и отношения). На встрече с министром культуры Демичевым «иссохшая, но всегда элегантная Ангелина Осиповна производила свои еле заметные фирменные пассы шеей и головой, которые когда-то навеяли ее партнеру и другу Ливанову образ „змеи чрезвычайного посла“ (после премьеры пьесы „Чрезвычайный посол“, где Степанова играла Коллонтай)». Страницу спуска — «Ангелина Осиповна чуть изогнула шею и выдвинула вперед голову в знак согласия». На следующей странице — «головка Ангелины Осиповны совершенно исчезла в глубине туловища». И — на следующей же: «Ангелина Осиповна выглянула из самой себя и изогнула изумленную шею в сторону О. Н.».

Роняя язвительные замечания в адрес Степановой или Пилявской, Смелянский не считает нужным хотя бы вскользь упомянуть, что та и другая его на дух не переносили. Степанова не скрывала, что отказалась сниматься в юбилейном фильме о Художественном театре только потому, что ведущим выступал Смелянский. Ее уговаривал Ефремов. Отказать Ефремову ей было непросто, Ефремова она очень уважала. Тем не менее — отказала.

Жесткость мемуариста стала бы достоинством, когда хотя бы однажды обратилась «внутрь своей души». Но — нет. Тут-то Смелянский вспоминает, как помогал другу-критику Михаилу Швыдкому достать и доставить до дома чешский палас. Или как помог Александру Калягину получить квартиру: после премьеры «Так победим!» Калягин «горестно рассказал мне о своих жилищных условиях. Минуты за две сочинили письмо Гришину... Через пару недель новоиспеченному мхатовскому Ленину предложили четырехкомнатную квартиру недалеко от Центра международной торговли на берегу Москвы-реки». Как обменивался ночными факсами с Бруком. Плохо — о ком-то, о себе — только хорошее... Это как раз мало выделяет воспоминания Смелянского из общего тона мемуарных книг. Мемуары для того и пишутся. Но избирательная и причудливая память нашего автора в ином свете предлагает взглянуть и на саму жизнь Художественного театра, причем не только последних двух десятилетий. «По памяти» он переписывает историю театра.

В «Уходящей натуре» Смелянский пишет о некоторых спектаклях Художественного театра. Подробнее — про «Так победим!» и «Перламутровую Зинаиду», между прочим — о «Серебряной свадьбе». Михаила Рощина, автора «Перламутровой Зинаиды», называет «советским Тригоринным»: «любил писать ночные пейзажи с осколком разбитой бутылки, в которой отражается свет луны». О самом спектакле — «был скривучий провал». «Серебряную свадьбу» автор «рекомендует» словами Олега Борисова — тот вспомнил, как после похожих представлений один великий актер низко кланялся публике и просил прощения.

О «Так победим!» М. Шатрова («отставного литератора, привыкшего некогда побеждать на ленинской ниве»): «Михаил Филиппович был на эпоху старше Михаила Афанасьевича. Поэтому квартирный вопрос он решил до начала работы над пьесой. В обмен на свою кооперативную квартиру у метро „Аэропорт“ он получил при помощи МХАТ пятикомнатное жилье в „доме на набережной“».

И еще: «К Ленину во времена создания спектакля „Так победим!“ у Ефремова, как и у Шатрова, претензий не было. Идея революции и ее вождь не подвергались ни малейшему сомнению». А что же он сам? Имел претензии?

После посещения Брежневым спектакля «Так победим!» «что-то сломалось» в Ефремове, «после визита Брежнева продолжать самообман и льстить себе иллюзией некой „борьбы“ и противостояния „стене“ было невозможно». А Смелян-

ский? Опять выше? Зачем же тогда не раз и не два, сначала — в горьковском ТЮЗе, потом — в Театре Советской Армии, подавал заявление в партию? И вступил он в КПСС — выходит, долгожданно — в «беспросветно тухлое время», когда в партию по идейным соображениям уже (и еще) не вступали... Ничего не написано об этом в «Уходящей натуре».

«Сотня страниц голой публицистики», «чудовищный по объему массив документально-публицистического текста». Справедливо, если только не знать реальной истории отношений Смелянского и Шатрова, например, и того, как многим обязан Анатолий Миронович Михаилу Филипповичу, который в те и последующие годы тянул Смелянского за собой.

А вот разговор Ефремова с Горбачевым в 1985-м: на лбу Ефремова выступила испарина, и, «обнаружив эту испарину, я вопросительно взглянул на Ефремова, а он ответил на мое удивление чеховской фразой, как никогда уместной: „Трудно выдавливать из себя раба“». Не верю в «вопросительный взгляд» и с отвращением отношусь к высокомерному «как никогда уместной».

Кстати, возьмите двухтомник, вышедший к столетию Художественного театра и отредактированный Анатолием Смелянским. Про «Так победим!», про «Серебряную свадьбу», про «Перламутровую Зинаиду» там написано совсем иначе. «Так победим!» и вовсе глядит шедевром. Думается, такая высокая оценка имела основание. Игра Калягина была событием общественной и театральной жизни. Это была выдающаяся роль очень большого актера. Монологи Ленина из пьесы Михаила Шатрова звучали откровением для очень многих. А для других было важно, что это, известное им прежде, доносится теперь со сцены... Так что сегодняшняя переоценка выглядит еще и как совершенно неисторичный подход ученого-театроведа.

Короче, автор не пишет о том, что два или три года назад совершенно иначе оценивал те же спектакли — в разной степени, но всегда с положительным знаком. Ни слова о том, когда, где, почему, при каких обстоятельствах случилась переоценка ценностей, почему так резко он разошелся с собой прежним... Но такого рода автокомментарий был бы возможен только в случае прежнего самообмана и последующего прозрения. Отсутствие комментария, увы, исключает самообман. Повторюсь: пока я читал эту книгу, меня неотступно преследовал вопрос: а где же был автор? Тем более, что взгляд постороннего ему не слишком удастся: все время приходится упоминать, где останавливался в разъездах, куда приходилось ходить по вызову, какие «выпадали» льготы...

Похоже на взгляд эмигранта, которому срочно и во что бы то ни стало нужно заверить новое окружение: я, конечно, там был, мед-пиво пил, но не был «с ними», не был своим среди «них». Моя сегодняшняя «правда», мои нынешние оценки — тому порукой и подтверждение!

Глава о Ефремове вызвала наибольшие споры еще до выхода книги. Выше я пытался показать, что претензий хватает и без нее. И все-таки нескольких слов — в дополнение к уже сказанному — она заслуживает.

«Когда разгуляется...» называет главу о Ефремове Смелянский и тут же предусмотрительно закавычивает эти два слова. Ссылается на Пастернака. Умело цитирует!

В очередной раз процитируем Смелянского и мф: «„Завязал“, „развязал“, „выходит“ — это употреблялось гораздо чаще, чем „куски“, „сверхзадача“ или „сквозное действие“»; «Его „критические дни“ не были жестко цикличными. Он их как-то регулировал, сдвигал».

Вместе с другими, решившимися возмутиться, я настаиваю: автор не уважает Ефремова.

Во время очередной «развязки», рассказывает Смелянский, в присутствии высокопоставленной дамы из ЦК Олег Николаевич будто бы подошел к одной известной актрисе и внятно произнес: «Сейчас пойдем с тобой е...» Но вряд ли Ефремов относился к острякам, любившим не по одному разу разыгрывать перед новыми зрителями старые свои шутки. Наличие реальных свидетелей схожей истории позволяет усомниться, что автор мемуаров пишет по собственной памяти, описывает события, которым сам был свидетелем. А не пересказывает и здесь, и прежде, и потом с чужих слов театральные анекдоты и легенды.

Подмены, подмены...

«Когда Ефремова не стало, по всем телевизионным каналам прежняя Дорони-на по-русски, по-бабы, белым звуком оплакивала уход партнера: „Опустела без тебя земля”...» Но ведь это не она (хотя Доронина тяжело переживала и его смерть, и невозможность нормального разговора). Это — телеканалы воспользовались одной и той же «картинкой», что ж, ставить и *это* ей в вину?! Про юбилейный вечер у Дорониной: «судя по газетам», «перед входом в театр публику встречал плакат: „Жида, вон из России”». Газеты могли и наврать. Стоял перед входом минут сорок, ждал своих спутников — не видел. Спорить не стану: мог пропустить, но как можно ставить выходку хулиганистого зрителя или даже случайного прохожего в вину целому театру, упоминать эту деталь среди других немногих как чуть ли не главное событие пятичасового юбилея?!

О разделе Художественного театра мемуарист пишет в уже знакомом нам ключе: «С самого начала О. Н. совершил непоправимую ошибку. Он не продумал человеческих последствий своего предложения о разделе... Он импровизировал там, где импровизировать было нельзя». Но до того: «Я был не наблюдателем раскола МХАТ. Я был его участником». Почему же ошибки — только Ефремова? Ведь в предисловии обозначено: «Двадцать наших совместных лет, венчавших век Художественного театра». «Наши совместные годы» — и только его ошибки.

То и дело автор подчеркивает свою близость с Ефремовым. До самого его конца, когда, как пишет Смелянский, «мы были на пороге какого-то важнейшего в нашей совместной жизни разговора, несколько раз, вплоть до самых последних его дней, улыбаясь, он обещал: надо мне с тобой обязательно поговорить про все дела, в том числе и про книгу твою, я ведь внимательно прочитал, до последней строчки. Так и не поговорили».

...В 1996 году Ефремов, по словам Смелянского, попросил его: «„Ну хватит наукой-то заниматься. Впереди столетие театра. Помогите мне”». И улыбнулся так, как только он мог улыбаться. Отказать ему было невозможно». (А как он мог отказать, если работал тогда во МХАТе?!) Помог? Судя по книге — не очень: «В канун столетия жизнь в Камергерском застыла, как в каком-то кошмарном стоп-кадре. Будущий репертуар не обсуждался, пустой стояла большая сцена, театр позволял себе неделями не играть спектакли». Юбилейный сезон был совершенно пустой. Сплошные отпуска и репетиции. «Ощущение тишины и пыли», — написала тогда критик Вера Максимова. На нее набросились «защитники» Ефремова. И первым, кто тогда же обрывал любые недоумения по этому поводу, был Смелянский. А ведь он, заместитель Ефремова как раз по творческим вопросам, ни пьес, ни режиссеров к юбилею подобрать не смог. Марину Райкину, обозревателя газеты «Московский комсомолец», на юбилейный вечер во МХАТ имени Чехова не пустили за то, что она намекнула в одной из статей на известный недуг... А года не прошло — и вдруг оказалось, что так и нужно писать.

Смелянский припоминает слабости и недостатки, но почти нигде не показывает силы Ефремова, его великих умений. В книге совсем нет Ефремова-художника. Подчеркивая близость, почти дружбу, он демонстрирует опять-таки взгляд сверху: Ефремов *не понимал, допускал ошибки, не смог реализовать*. Друзья говорят о себе «мы», деля удачи и поражения. Так что были они не друзьями, а... сослуживцами. Ефремов обращался к Смелянскому, нуждаясь, например, в подходящей цитате (Смелянский, как замечено выше, умеет цитировать и вычлнять цитату). И Смелянский, по собственному признанию, не подводил — помогал «словом, аргументом из истории, текстом»...

Так в чем же образцовые качества книги, ее «методологическое новаторство»? В том, что ради красного словца не пожалел родного отца (в буквальном смысле)... В том, что история театра предстает как свод закулисных анекдотов, среди которых теряются два серьезных и глубоких замечания об Олеге Борисове и Иннокентии Смоктуновском? Но анекдотами из жизни великих актеров и знаменитых политиков сегодня и без того полны книжные и газетные развалы. В том, что автор выдает с разницей в два-три года совершенно противоположные оценки ныне уже неизменным, то есть отошедшим в историю культуры, явлениям и не стесняется того, что эту перемену могут заметить?

Все просто. В театральную критику, в область, еще недавно сближавшуюся, даже пересекавшуюся с театроведением, пришли та самая круговая порука, тот пиар, которые давно уж правят бал в политической журналистике. Что теперь говорить... Потерявши голову, по волосам не плачут.

Мне представляется, что некоторые упреки Григория Заславского, обращенные к книге Анатолия Смелянского, можно было бы, как он сам понимает и подчеркивает, адресовать к мемуарному жанру вообще, жанру лукавому, двусмысленному, пристрастному, за что, собственно, мы его и любим (те, кто любит). Подобные претензии, чего таить, можно было бы предъявить многим воспоминаниям, опубликованным и на страницах «Нового мира». Более того, некоторые справедливые упреки нашего театрального обозревателя было бы более справедливым отнести к самой человеческой природе, а не к исключительным качествам автора «Уходящей природы». Люди, некогда вполне вписанные в «старорежимный» истеблишмент, уже не первый раз вспоминают и описывают себя не вполне такими, какими они были когда-то и какими их запомнили коллеги, и разве это, опять-таки, не одна из досадных слабостей нашей грешной природы? Но именно типичность ситуации заставляет с особенным вниманием отнестись и к мемуарной книге известного театрального деятеля, и к нелицеприятным суждениям о ней.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

ВОЙНА БЕЗ МИРА

Алексей Балабанов снял фильм о чеченской войне в пику всем правозащитникам и пацифистам. Разброс критических мнений о его новой работе ошеломляет. И добро бы речь шла об идеологических несогласиях: патриотам и милитаристам фильм нравится, а либералам и сторонникам общечеловеческих ценностей — нет. Ничего подобного. Идеология больше никого не шокирует. Все знают, что Балабанов при слове «политкорректность» хватается за пистолет, и его «расистские» эскапады воспринимаются ныне едва ли не с уважением — каквольный эстетический жест, как проявление свободы художника: «Он так видит».

Разброс мнений обнаруживается в сфере художественных оценок. Сам режиссер в немногословных интервью говорит, что хотел сделать предельно достоверную, реалистическую картину, для чего тюрьму снимали в тюрьме, чеченские эпизоды — в Чечне и (лишь в порядке вынужденного компромисса) в Кабардино-Балкарии. Акторов сознательно томили вдали от цивилизации, чтобы они прониклись военным экстримом, и т. п. Это не помешало отдельным критикам оценить «Войну» как глянцевоый, элегантноый образчик жанра наподобие эпопеи о Джеймсе Бонде. Правда, другие увидели в ней недостатки, объяснимые тем, что близость реальной войны психологически помешала режиссеру безоглядно предаться радостям мифотворчества. Кто-то хвалит картину за «полифоничность», кто-то ругает как лобовую агитку... Такое ощущение, что на первых минутах просмотра Балабанов погружает зрителя в сон и каждый смотрит свое собственное кино. Так, вероятно, и есть. «Война», говоря условно, воздействует не на головной, а на «спинной» мозг, и смутный, размытый сигнал, идущий из глубин коллективного бессознательного, каждым критиком рационализируется по-своему, в зависимости от устройства его критического аппарата. Простое же сознание реагирует просто: народ валом валит в кино и аплодирует в самых скандальных местах. Народ доволен: фильм проливает бальзам на раны ущемленного национального самолюбия. Русские тут лучше и круче всех и к тому же в финале одерживают победу. Правда, победитель, как водится, «не получает ничего».

Моя инстинктивная реакция на «Войну» была странной. После просмотра мне хотелось, чтобы этого фильма не было. Вообще. Хотелось стереть его из памяти, как кошмарный сон. И не потому, что на экране показывают какие-то кошмары; да, там режут пальцы и головы, но отстраненно, на общем плане, без намерения до смерти запугать. Скорее для сведения: это война и на этой войне подобные экссессы — заурядная повседневность.

Желание вытеснить картину, забыть о ней не было обусловлено и тем, что она плохая. Скорее неровная, с массой провальных эпизодов, но в батальной части сделанная не без профессионального блеска. Профессионализм в нашем кино — вещь настолько уникальная, что за него Балабанову можно простить все, в том числе и сомнительную идеологию. Тем более, что режиссер, безусловно, честен; а это сегодня редкость не меньшая, чем способность превратить в осмысленный артефакт неосвоенное месиво современности.

Да, балабановское кино провокативно. Но провокация в искусстве — вещь, в принципе, допустимая. Иногда даже полезная, поскольку разрушает комфортную картину мира и навыки автоматического его восприятия. Другое дело, что результат иной раз бывает непредсказуем. Когда балабановская провокация, открывшая шлюзы и впусившая в пространство культуры энергетику низовых, коллективных эмоций, оказалась связанной не с мифическими похождениями богатыря Данилы в баснословной Америке, а с реальной войной, идущей в нашей стране, — стало вдруг очевидным, что положение наше безнадежно. Раковая опухоль — неоперабельна, во всяком случае, с использованием тех инструментов политики, идеологии, национального самосознания, которыми мы на сегодня располагаем. Это ощущение отчаянной безнадежности и всплыло, когда усилием воли я заставила себя понять, почему же мне инстинктивно захотелось «закрыться» от фильма.

Рекламный слоган картины гласит: «Это не „Брат-3“, это „Война“!» Мол, игры кончились; пора обсудить военное положение и планы мобилизации. И впрямь пора. В мире идет война — странная, непонятная, осмыслить которую цивилизация покуда не в силах. Все прежние договоренности, внешнеполитические конструкции, организации, санкции и резолюции — вся система мировых отношений, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно разрушается и тонет в пучине множащихся локальных конфликтов. Что с ними делать — не ясно. Такое ощущение, что они являются кровавой изнанкой глобалистской экспансии цивилизации. Те, у кого есть все, мечтают о бесконечном расширении сферы влияния и, естественно, о безопасности. Те, у кого нет ничего, урывают свой кусок пирога, бесконечно транслируя угрозу этой самой безопасности — физической защищенности благополучного, политкорректного белого человека с сотовым телефоном, глянцевым автомобилем и банковской карточкой. Такое вот «международное разделение труда». В подсознании цивилизации накапливаются растерянность, страх и агрессия, и выхода из этого тупика не видно.

Чечня — не просто наша внутренняя война. Чечня — одно из звеньев этой кровавой цепи. И на примере Чечни Балабанов выстраивает свою модель глобального общемирового конфликта; не случайно отправной точкой в создании фильма послужили документальные кадры, на которых чеченские боевики отрезают головы англичанам; именно англичанам, а не нашим солдатам или захваченным в России заложникам.

Расстановка сил в «Войне» такова. С одной стороны — полевой командир Аслан Гугаев (Г. Гургулия), огромный, черный, бородатый и волосатый, который со своими головорезами держит в яме двух пленных российских солдат и «коммерческого» еврея из Владикавказа. Потом к ним прибавляется пара английских актеров, похищенных в Грузии, во время гастролей, и героический капитан Медведев с перебитой спиной. Бандиты Аслана лишь в первых кадрах — где они хладнокровно отрезают головы пленным, палят в воздух и вопят что-то на непонятном языке — кажутся дикой ордой. На самом деле у Аслана есть Интернет, подключенный через спутник, три ресторана в Москве, разветвленный криминальный бизнес и проч. Он вполне встроен в «международное разделение труда» и англичан похищает отнюдь не случайно, а надеясь срубить с них два миллиона фунтов (о том, что фунт больше доллара он, правда, не знает). Так что бизнес поставлен на широкую ногу. «Коммерческий» еврей — так, мелочь, и пальцы ему режут в основном,

чтобы произвести впечатление на богатеньких иностранцев. Однако не забывают при этом зачитать ему бумагу, где сказано, что законы шариата не запрещают использовать деньги евреев в войне против неверных.

Вообще Аслан в фильме охотно занимается пропагандой и любит демонстрировать не только силу, но и «правду». Пленного солдата Ивана (А. Чадов), который заведует у него Интернетом, он наставляет, что все люди делятся на «пастухов и баранов», что он, Аслан, воюет за свою землю, а Иван — потому что его пригнали; что он помнит своих предков до десятого колена, и вообще русские — белые и должны жить у «Белого моря», а чеченцы — черные, и море у них — Черное. И пока ни одного русского не останется на чеченской земле, Аслан будет резать их, как баранов. Помнится, декларировать свою любовь к Родине и читать мораль, поигрывая огнестрельным оружием, любил настоящий русский герой Данила Багров в «Брате-2». Так что «сила и правда» Аслана, оскорбительные для всякого русского патриота, становятся в картине идеологическим вызовом, на который должен ответить наш Иван. Что он и делает.

С другого боку Ивану противостоит англичанин Джон (Иен Келли), который пребывает в постоянном ужасе, оказавшись в этом аду, и нелепо выкрикивает чеченцам, что они «попирают права человека».

Иван хорошо понимает чеченцев. В закадровом монологе (по фильму Иван рассказывает свою историю, сидя в «Крестах») он постоянно комментирует их привычки, действия и намерения. С другой стороны, он немножко говорит по-английски, и потому между ним и Джоном возникает своего рода симпатия. Так что Иван посредине — между Западом и Востоком. А над ним в качестве морального абсолюта высится фигура капитана Медведева, которого играет заросший и изнуренный, как древний аскет, Сергей Бодров-младший. «Настоящий командир, — говорит про него Иван, — вот он лежит в яме, пошевелиться не может, а рядом с ним все равно спокойно». Небольшая, но значимая роль Бодрова в картине сводится к тому, что он является «иконой» подлинной, то есть русской, «силы и правды» — той самой, которую с невозмутимой уверенностью нес его герой Данила Багров в «Брате-2».

Обстоятельно развернув всю эту идейную диспозицию, Балабанов переходит, собственно, к действию. Аслан отправляет англичанина, чтобы тот собрал выкуп, и оставляет в заложницах его невесту Маргарет (И. Дапкунайте). Маргарет в фильме — живые мощи. Знаковая сцена — ее купание в горной реке, когда, надев англичанке веревку на шею, бедняжку бросают в холодный горный поток и она с криком бьется о камни — хрупкая, беззащитная белая женщина во власти азиатской стихии.

Заодно с Джоном Аслан почему-то отпускает Ивана. Иван до последнего не верит и ждет решения своей участи, преданно держась за дверцу Асланова джипа. Превращение бесправного пленника в настоящего русского мачо еще впереди. Оно произойдет, когда Иван обстрижется, на лице его обнаружатся шрамы, а во взгляде — стальной, уверенный блеск. Когда же он снова вернется в Чечню, отлично экипированный и с оружием в руках, — Аслану выйдет полный «кирдык».

Но до этого еще далеко. Пока же Джон, прибывший в Англию, мечется в поисках денег по богато обставленным кабинетам чиновников и банкиров, везде наталкиваясь на стену тупого и сытого равнодушия. А Иван тем временем навещает в Петербурге семью капитана Медведева. Эпизод словно из «Боевого кинесборника» советских времен: верная жена, стиснув зубы, героически пытается хранить самообладание; интеллигентная мама — «божий одуванчик» суется и задает нелепые вопросы: «Так почему же они его не меняют?» (Аслан держит Медведева в яме, надеясь обменять на своего брата, приговоренного к пожизненному заключению); дочка с завязанным горлом: «Мой папа — герой. Он скоро вернется», — заявляет она голосом истинной пионерки.

Сцены «мира» на родине Ивана в Тобольске тоже поражают несвойственной Балабанову графярностью. Все, что не касается войны, он снимает, кажется, «вполноги»; то цитирует самого себя, озвучивая проходы героя по Питеру музыкой В. Бутусова, то и вовсе перестает стараться: снял, да и ладно. Батя-алкоголик (лопающийся от здоровья и силы актер В. Гостюхин) на больничной койке вещает, что жить ему стало «скучно»... Мама-библиотекарша в меховой кацавейке бросается на шею с восклицаниями: «Ванечка! Вернулся!»... Друзья-приятели с водкой си-

дят у костра и бренчат на гитарах. А красавица одноклассница предлагает в постели: «Ваня, давай поженимся»... Что во всем этом интересного? Работы нет. Денег нет. Смысла нет. Адреналин на нуле. То ли дело — война!

И когда Джон, приехавший в варварскую Россию и убедившийся, что и здесь на содействие официальных структур ему рассчитывать нечего, находит Ивана и предлагает вместе отправиться на войну вызволять Маргарет, Иван соглашается практически без раздумий. Тем более, что Джон предлагает деньги. Да и судьба Медведева Ивану небезразлична.

Дальше кино становится интересным. Приобретение разных нужных для похода вещей: компас, командирские часы, высокие ботинки, классная мужская одежда в стиле «милитари»... Путешествие в поезде до Владикавказа, где героям сопутствует колоритнейший мафиози Александр Матросов (Ю. Степанов), перевозящий чеченский геройин. В столице Осетии — зловецкий «фээсбэшник» с неприятным, лисьим лицом, которого Джону рекомендовали в качестве посредника для передачи денег. Он сразу же вызывает у Ивана самые нехорошие подозрения. Ясно, что с «фээсбэшником» связываться не надо, в логово к Аслану придется идти самим...

Нелегальный переезд через блокпосты на армейском грузовике под брезентом. Блуждание по горным пещерам, где сквозь расщелины видно, как по дороге медленно ползет колонна военных машин (документальный кадр — один из немногих, создающих ощущение абсолютной подлинности). Иван расправляет плечи. Иван выходит на тропу войны и принимается воевать по всем правилам принятого в Чечне боевого искусства.

Пункт первый — засада на дороге с целью завладеть автотранспортом. Дорогу заваливают камнями. Со второй попытки (в первый раз проезжал автобус с чеченскими тетушками, которые сноровисто и быстро раскидали завал) им повезло — удалось добыть навороченный джип «лендровер». Джон, увлеченный строительством завала, джип не заметил, и хозяин, утративший чувство опасности, вышел взглянуть на этого лоха, возводящего посреди дороги сооружение из камней. В этот момент Иван застрелил и его, и всех, кто был с ним в машине, включая молодую чеченку. Тело женщины без сожаления сбросили в пропасть...

Это знаковый кадр, очень важный для Балабанова. Ведь он мог бы показать, как сбрасывают тело не женщины, но мужчины. Мог бы вообще этого не показывать: захватили машину, сели, поехали. Могло быть так, что в джипе вообще не было женщины... Но для Балабанова этот провокационный момент — своего рода инициация, которую должны пройти и герои, и зритель, чтобы быть готовыми существовать по законам войны. «Ты их убил!» — истерично рыдает Джон, сидя у костерка. «Да, я их убил, — жестко наставляет Иван, — а сделать это должен был ты. Это — твоя война. Ты сам сюда пришел, по собственной воле. А война — это когда убивают. Это не shoot (в смысле «снимать» — Джон по ходу дела снимает все происходящее по заданию Би-би-си), а shoot («убивать»). Потому что иначе — убьют тебя». Иван думает, что, если англичанин будет распускать сопли, он бросит все и уйдет к своим. Но на следующий день Джон, оставив рефлексии, принимается вновь воевать как миленький.

Пункт второй — захват заложника. Где-то на автобусной остановке они замечают одинокого «мирного» чабана (Эвклид Кюрдизис) с автоматом и, избив до полусмерти, запугав тем, что выполняют секретное задание НАТО (русских бы чабан не испугался, но НАТО для него — организация с неведомыми возможностями) и что, если он будет вести себя «неправильно», дома у него вырежут всю семью, заставляют несчастного вести их через перевал в логово Аслана Гугаева. Они идут по горам налегке, погрузив на «раба» всю поклажу. (Наследство от хозяина джипа досталось немалое — подробная карта, рация и целый арсенал оружия. Сам же «лендровер» Иван с Джоном сбросили в пропасть, что на чабана Руслана произвело совершенно неизгладимое впечатление.) Как уверенно и упруго ступают армейские ботинки по горным кручам, по жухлой траве, по снегу на перевале! Как красиво отражается альпийское солнце в фирменных темных очках! Джон, правда, не понимает, почему Иван беспрестанно бьет вполне покорного, связанного заложника. «Это другой язык, — говорит Иван. — Не английский. Это тот язык, который он понимает». (Англичанину остается только делиться своими гуманитарными соображениями с видеокамерой.)

Пункт третий — бой. Дойдя до места, герои сосредоточенно готовятся к битве. Оружие дают даже Руслану; можно не опасаться, что он выстрелит в спину, — ведь вся его семья «в заложниках». Джон старательно приматывает видеокамеру к каске, чтобы ничто из предстоящих событий не пропало для английского зрителя.

В предрассветной мгле они беззвучно и четко передвигаются короткими перебежками. Глухими одиночными выстрелами ловко снимают часовых... На линии огня стадо баранов бьется о загородку — понятно, кто теперь «пастухи» (в первой части фильма бараны отождествлялись с пленными; их перевозили вместе со связанными людьми и хладнокровно резали у них на глазах). И вот уже Иван пружинящим движением вскакивает на поросшую травой крышу сакли. Раз — и граната летит в дымоход. Там, внутри, среди обломков домашней утвари корчится с развороченными кишками старик; простерся на кровати убитый мальчишка... Ничего, нормально — «это война». Зато Аслана удалось взять теплым, прямо с постели. «Ты повел себя как настоящий горец!» — хвалит Аслан. «Я на равнине живу», — гордо отвечает Иван. Но на равнине так воевать не учат. Свою «науку побеждать» Иван позаимствовал у чеченцев. Его сила — зеркальное отражение их дикой и варварской силы. Это не встреча двух цивилизаций — это их полное уподобление.

Джон тем временем, забыв обо всем, в истерике бьется о запертую крышку зиндана. Когда приносят ключи и извлекают из ямы голую, грязную, покрытую синяками, изнасилованную Маргарет, Джон, не помня себя, выхватывает пистолет и стреляет в связанного Аслана. Мирный чабан воровато спешит отрезать у поверженного кровника ухо (у них старый конфликт: их семьи столетиями воровали друг у друга баранов). А Иван в отчаянии опускается на землю: Аслан, который был их прикрытием, — мертв, а без него им из этой ловушки не выбраться. Остается одно — уходить по реке; это, понятное дело, капитан Медведев придумал. Эффектнейшая сцена, которая, безусловно, войдет в разряд культовых: горная река, по ней скачет плот, связанный из деревьев и старых бочек... Параллельно по берегу несется автобус с боевиками; пальба, музыка, клубы дыма, выстрелы из гранатометов... Война!

Выбравшись на берег, герои занимают огневую позицию в старой каменной башне. Чеченцы наступают со всех сторон. Иван, англичанин и заложник Руслан отстреливаются из автоматов, Маргарет подносит патроны, а бездвижный капитан Медведев с олимпийским спокойствием изучает карту (в первую минуту вообще кажется, что под выстрелами он читает газету). Поняв их местоположение, командир по «спутнику» (спутниковый телефон Иван, понятно, прихватил у чеченцев; «Нам бы такую связь!» — вздыхает Медведев) связывается с другом из штаба и вызывает пару «вертушек». И бой заканчивается великолепнейшей вертолетной атакой. Две тяжелые машины, отстреливая в синее небо белые тепловые ракеты, утюжат землю огнем. Чеченцы валяются как снопы... Победа — за нами!

Сцена вертолетной атаки — очевидная рифма не столько к «Апокалипсису» Ф. Ф. Копполы, сколько к финалу «Кавказского пленника» Сергея Бодрова-старшего. Там самолеты, летевшие бомбить мирный аул, откуда старый чеченец по доброй воле отпустил героя Бодрова-младшего, были символом катастрофы, тупой инерции войны и убийства, готовой растоптать слабые ростки человеческого мирного единения. Здесь, в «Войне», вертолеты — символ спасения, символ победоносной и несокрушимой силы «наших». Это первая картина о Чечне, где война изображается без всяких пацифистских рефлексий. В традициях жанра «военных приключений», где зрителю положено почувствовать своему человеку с ружьем, а не тому, кто находится в рамке прицела.

Но война заканчивается, и каждому достается свое. Несчастной Маргарет, влюбившейся в капитана, — разбитое сердце. Капитану — деньги на операцию (Иван отдает ему все, что англичанин заплатил ему за участие в освобождении невесты). Джону — слава, он не только снял фильм, но и написал книжку. Руслану — две тысячи «от НАТО», жизнь в Москве и учеба детей в Московском университете. А Ивану — тюрьма «за убийство мирных российских граждан». Его все «сдали» (кроме капитана, конечно: «Он один за меня заступается», — говорит Иван).

Итог несправедливый, но абсолютно закономерный. Когда война кончается, начинается мир; и всякий человек возвращается к законам своего роя. Плохи они или хороши, но они скрепляют то или иное людское сообщество. Законы его мира диктуют Руслану по возможности отомстить русскому. Джону — сохранить вер-

ность базовым нормам своей цивилизации, то есть рассказать обо всем «по-английски» (с позиций «прав человека»), а не на том языке, который единственно понимают чеченские боевики. Тот язык он постарался поскорее забыть.

У Ивана же «своего» мира нет. Его мир — как разоренный улей: пчелы еще летают, жалят, жужжат, но внутренний, скрепляющий все порядок утрачен. В этом мире словно бы поврежден цивилизационный генотип, который определяет поведение людей и на войне, и в обычной жизни. Недаром идеальный капитан Медведев лежит с перебитой спиной. Отец героя — тоже сломался, пьет, потерял любовь к жизни. Что стоит за Иваном? Предавшее его государство, сверстники, бессмысленно погибающие без всякой войны? Русский патриот Александр Матросов, перевозающий чеченский героин?.. Герою остается только война, и воевать на ней он учится у Аслана. Причем с поразительной легкостью усваивает эту чужую науку.

Трудно представить себе, чтобы подобная заимствованная у врага модель военного поведения питала русский патриотизм в эпоху Лермонтова или Толстого. Даже красноармеец Сухов, воевавший с басмачами на советском экране, был носителем иной, более высокой по сравнению с ними, цивилизации. Цивилизация та была имперской и теперь — рухнула. Но внутри ее существовала какая-никакая культура, отказавшись от которой мы вообще перестанем быть нацией. И будет Россия не мостом между Западом и Востоком (о чем так любят говорить наши политики), а каким-то провалом, дырой, «прорехой на человечестве».

Балабанов в своих смелых, провокационных проектах предлагает благодарному зрителю жить и поступать так, словно бы никакой культуры у нас сроду не было, словно мы только вчера поднялись с четверенек. Мораль «Брата» и «Брата-2» очень точно охарактеризовал С. Бодров-младший в беседе, опубликованной журналом «Искусство кино» (2002, № 5): «„Брат“ — это некое состояние первобытности. Состояние, когда сидят люди возле пещеры у огня, вокруг первобытный хаос — твердь и небо еще не устоялись. И вот встает один из этих людей и говорит: „Да будет так — мы будем защищать женщину (как показывает фильм 'Война', речь только о 'своей' женщине. — Н. С.), хранить вот этот костер, защищать 'своего' и убивать врагов. И всё!“. На фоне абсолютного этического беспредела это воспринимается как светлое рождение «правды и справедливости». Однако надо отдавать себе отчет, что такого рода «племенная» мораль делает русских практически неотличимыми от чеченских бандитов. А это значит, что Россия в перспективе будет Чечней. Правда, для этого она слишком велика и, следовательно, распадется на кучу маленьких, воюющих между собой бандитских республик.

Веселая перспектива! Представишь себе такое — и понимаешь, почему фильм «Война» хочется поскорее стереть из памяти, как дурной сон.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

Проект Михаила Эпштейна «Дар слова»

17 апреля 2000 года Михаил Эпштейн — филолог, философ, эссеист — начал свой проект «Дар слова» (<http://www.emory.edu/INTELNET/dar0.html>). Теоретическое обоснование этого проекта было сформулировано Эпштейном в работе «Слово как произведение: о жанре однословия» (опубликована под заглавием «Однословие как литературный жанр» в журнале «Континент», № 104 (2000); главы 1, 4, 8 — в журнале «Новый мир», 2000, № 9). Полностью текст работы доступен в Сети (<http://www.russ.ru/antolog/intelnet/ds.odnoslovie0.html>). В этой работе Эпштейн, в частности, пишет: «Самым кратким литературным жанром считается афоризм — обобщающая мысль, сжатая в одном предложении. Но есть жанр еще более краткий, хотя и не вполне признанный и почти не исследованный в качестве жанра: он умещается в одно слово. Именно слово и предстает как законченное произведение, как самостоятельный результат словотворчества. Подчеркиваю: слово не как единица языка и предмет языкознания, а именно как литературный жанр, в котором есть своя художественная пластика, идея, образ, игра, а подчас и

коллизия, и сюжет. ОДНОСЛОВИЕ — так я назову этот жанр — искусство одного слова, заключающего в себе новую идею или картину. Тем самым достигается наибольшая, даже по сравнению с афоризмом, конденсация образа: максимум смысла в минимуме языкового материала».

Можно вспомнить и гораздо более раннюю публикацию Эпштейна, где он уже обращался к сходному жанровому определению, но еще не ставил перед собой непосредственную задачу словотворчества. В книге «Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX — XX веков» (М., «Советский писатель», 1988) Эпштейн ввел понятие «кенотипа» (от греч. «кенос» — новый), обозначающее (в отличие от архетипа) устойчивое семантическое новообразование, клише, образец, сложившийся в конкретных исторических условиях. (Примером кенотипа как раз и является само слово «кенотип».) И вот спустя более чем десять лет Эпштейн к своим идеям вернулся, но вернулся совсем иначе вооруженный, не только теоретически, но и технически.

Слово как жанр (однословие) требует контекстной интерпретации. Причем этих контекстов должно быть неограниченно много, иначе однословие не реализуется как произведение словесного творчества (в данном случае «словесное творчество» нужно понимать буквально, как создание *слова*, а не произведения из слов). Слово становится словом только тогда, когда оно входит в язык. Если для книги достаточно нескольких читателей, чтобы она существовала, то для отдельного слова читателей совсем не надо, но необходимо неограниченно много носителей этого слова — носителей языка, это слово употребивших хотя бы однажды. В качестве удачного словотворчества Эпштейн приводит слово Карамзина «промышленность». Здесь с ним можно только согласиться. Но таких удач действительно мало. Практически никому, даже Далю, Велимиру Хлебникову или Солженицыну, ставившим перед собой задачу создания слова, не удавалось создать много новых общеупотребимых слов, тех, которые вошли бы в язык на равных правах с уже существующей лексикой. Удачи скорее сопутствовали творчеству непреднамеренному, как в случае с Карамзиным. Если стихи «случаются», то слова и подавно.

В чем тут дело? Ведь, действительно, можно только согласиться с Хлебниковым, утверждавшим, что мы используем много приблизительных по значению слов, вместо того чтобы создать одно новое, точное. В языке много реальных словесных лакун. Как написал Эпштейну один из его читателей, в английском языке нет слова «сутки», а в иврите нет слова «горячий». Нам трудно себе это представить, и это впечатляет. Мы сегодня испытываем сильное давление американизированного английского языка, который очень активно внедряется в словарный запас русского, образуя грамматические формы, адаптируясь, становясь своим. Например, прилагательное «эксклюзивный», который вообще-то просто «исключительный», но, как выясняется, не совсем. Прилагательное синонимично, но оно не совпадает с русским аналогом по сфере своего употребления: газетные, телевизионные новостные полосы и программы явно предпочитают именно его. «Эксклюзивное интервью» — речевой штамп, а вот «исключительный разговор» — совсем о другом. Но дело не только в новых реалиях нашей жизни, которые мы впитываем вместе с языком, дело еще и в том, что любой живой язык — и современный русский в том числе — это губка, а губка-то состоит на девяносто процентов из воздуха, из пустоты, если бы было иначе, язык окаменел бы и умер. А он способен развиваться — в частности, принимать в себя и создавать новые слова. Язык способен принимать слова не только из другого языка, но и от творца слов — от Эпштейна, например. Но почему так редко новые слова, нарочно созданные тем или иным автором, закрепляются в языке? А может быть, не так уж и редко? Может быть, просто лишь на немногих словах остается авторское клеймо? Может быть, чаще всего сотворенное случайно, но точно слово уходит в свой долгий путь, забыв о том, кто его создал? Не исключено.

Работа Эпштейна совсем не кажется сегодня бесперспективной. Более того, именно сегодня она имеет все шансы на успех. И успехи есть уже. И мы можем это видеть, читая и анализируя тексты проекта.

Повторю: для того чтобы слово жило, оно должно употребляться, и употребляться оно должно не только и не столько автором слова. Автор создает очень небольшой начальный импульс, и этого импульса почти никогда не хватает, чтобы слово вошло в язык, — язык-то ведь сопротивляется, он новое выталкивает, устра-

няет, он стремится к определенной оптимальности своего словарного запаса и динамически ее поддерживает. Место нового слова обычно занято не словом же, а словосочетанием. Вот его-то и надо победить. И победа придет только в том случае, если носители языка, которые используют это словосочетание, согласятся устранить его из своей речи и заменить одним новым словом. Это может случиться, а может — и нет. И чаще всего нет. Как англичане живут без слова «сутки»? Да нормально живут: *day and night* — и все дела.

Человек создает слово. Оно кажется ему необыкновенно удачным. Что с ним делать? Книгу-то с одним словом не издашь. Что же, ждать, пока слов этих накопится тыщи полторы, а потом издавать словарь? Да, может быть, я больше вообще ни одного не придумую. Оказывается, выход есть. Очевидный, но сегодняшний — еще три-четыре года назад этого выхода не было. Человек создает рассылку. «Дар слова. Еженедельный лексикон Михаила Эпштейна» (<http://subscribe.ru/catalog/linguistics.lexicon>). И начинает рассылать свои новые слова тем, кто захотел подписаться. Согласно статистике рассылки, на сегодняшний день у нее 1300 — 1400 подписчиков, это не запредельно много, но это стойкие бойцы — их количество неизменно уже почти год.

Каждое новое слово приходит адресно. Это важно, потому что оно приходит письмом к человеку, которому это словотворчество интересно. Этот человек будет над новым словом думать или в любом случае примет его к сведению, а возможно, даже использует. Со мной было именно так. Я взял слово «журнет». Эпштейн так его объясняет: «журнет» (от франц. «jour» — день и англ. «net» — сеть) — сетевое периодическое издание, как правило, однопрофильное и многожанровое. Так, «Русский Журнал» и есть типичный журнет. Я принял это слово не без внутреннего сопротивления, я бы предпочел, чтобы оба корня восходили к одному языку — были либо английские, либо французские. Но, воспользовавшись этим новым для меня словом раз и два в частной переписке, я, возможно, включу его и в собственные публичные высказывания или тексты. Действительно, «журнет» — это сигнал еще и о том, что возникло новое явление, которое требует собственного наименования.

На примере «журнета» виден один из принципов, которые использует Эпштейн в своем словотворчестве. Это звуко-смысловая близость уже существующим лексемам. Он не отрывается от существующей языковой ткани, а чуть-чуть, по возможности почти незаметно, приподнимается над ней. Человек, не знающий нового слова, его все равно поймет — поймет, может быть, не на все сто процентов, но слово не разрушит смысла высказывания. Слово не будет отвергнуто сразу, а наступит некоторое секундное замешательство, которое его оттенит и подчеркнет. И тогда оно, может быть, запомнится и плотно сядет в свою единственную языковую нишу. Новые слова Эпштейна не требуют перевода, и в этом смысле их рождение естественно. Они только немного сдвигают уже имеющиеся слова, перестраивают их таким образом, чтобы они, притягиваясь друг к другу, закрыли существующий (или только что образовавшийся, как в случае с «журнетом») разрыв языковой ткани. Эта работа требует не только хорошего знания филологии, но тонкого поэтического, в прямом смысле, слуха. Однослова — это минималистская поэзия.

Но почтовая рассылка — еще полдела. В конце концов, ее можно организовать и безо всякой Сети. Хотя, конечно, чуть не полторы тысячи писем ежедневно — это серьезная цифра. Но вот чего совершенно нельзя сделать без Интернета — это выяснить, используется созданное тобой слово или нет. А ведь это и есть та обратная связь, без которой словотворцу нельзя эффективно работать. Он ведь только человек и не может представить себе всей суммы языковых контекстов: принципиально она бесконечна, реально — бесконечно порождаема. Удачно ли мое открытие? Отвечает ли оно действительной языковой потребности? Или это пусть замечательный, но хлебниковский «бабр», употребление которого ограничено моим собственным. Читатель пишет Эпштейну: «Все это очень мило и остроумно, но, увы, у слова „глокальный“ нет ни малейшего даже шанса выжить! Дело в том, что в быстрой речи слова „локальный“ и „глокальный“ неразличимы на слух (даже на самый тонкий и изощренный!), соответственно, повторяю, у такого слова нет шансов на существование». На что получает довольно язвительный и абсолютно неопровержимый ответ: «„Ни малейшего шанса выжить“». Попробуйте проверить по

искалке, например Яндекс, как я сам только что сделал, — и обнаружите, что выражения „глокальный конфликт”, „глокальные войны” не только употребляются, но и становятся устойчивыми словосочетаниями в русском языке.

Я тоже решил проверить, и вот что у меня получилось. Яндекс дает 19 страниц, 13 сайтов, 19 словоупотреблений слова «глокальный». Слово есть в языке. Например: «современный глокальный (термин, соединяющий противоположные аспекты архитектурной практики — глобальный и локальный) модернизм работает более широко» («Сквознячок глобализма». Интервью с голландским архитектором Рэмом Коолхаасом. — «Независимая газета», 2001, 19 октября). Но самая интересная ссылка на статью М. А. Пивоваровой (кандидата экономических наук, доцента МГУ, Института государственного управления и социальных исследований) «Маркетинг во внешнеэкономической деятельности» (<http://www.business.mk.ua/post.php?file=/marketing/article2/p1>).

Автор статьи пишет: «Для характеристики рынка, когда действуют одновременно сильные глобальные и локальные тенденции, многие авторы используют неологизм „глокальный”. (Clock — колокол, ограниченное пространство. При этом звук распространяется на большие расстояния.) Данный неологизм очень точно передает суть этой наиболее сложной ситуации, требующей сочетания определенной централизации, координации с локальными экономическими интересами, сохранения самостоятельности и автономии деятельности отдельных структур».

Домашняя этимология, которую здесь приводит автор статьи, не выдерживает критики. Если бы слово действительно образовалось от английского «clock», то получилось бы «клокальный», что в русском невозможно из-за существования слова «клок» — «клок волос», «клок шерсти» и т. д. Так откуда, интересно спросить, «многие авторы, использующие слово „глокальный”», его взяли? Может быть, из рассылки Михаила Эпштейна все-таки? Но словотворец, как всегда, забыт. Увы.

Возможность обратной связи, возможность анализа и оценки собственной работы, работы, которую другие носители языка используют безо всякой ссылки на источник, была совершенно неизвестна до Сети. Но это возможно сегодня. И Эпштейн замечательно это почувствовал и начал, и продолжает свой интереснейший проект. Вообще, эта легкодоступная обратная связь говорит о тесноте сегодняшнего мира. Если «в кафе удачно брошенная фраза» распространяется быстро, то и новое слово может распространяться в нашем оплетенном сетью или заплетенном в сеть мире так же быстро. И когда, например, доцент М. Пивоварова повторяет его за дальним столиком, автор слышит ее, улыбается иронически и покачивает головой. Но он должен быть доволен. Слово живет. А именно этого он и хотел.

В заключение я хочу сказать несколько слов о выпусках «Дара слова», которые и сделали этот проект если не знаменитым, то очень известным. Это выпуски № 8 — «Корень мужского действия -яр- (ярить)» (49 слов) и № 9 — «Корень женского действия -ём- (ёмить)» (30 слов), в которых автор бросает вызов не чему-нибудь, а русскому мату, предлагая замену целого пласта обцененной лексики. Борьба с русскими «сильными выражениями», конечно, невозможно. Этот лексический пласт, по моему, непобедим в принципе, настолько он въелся в язык. Но тем достойнее и интереснее попытка Эпштейна. Он совершенно прав в том, что на самом-то деле обцененная лексика совершенно пуста внутри — эти лексемы не имеют ни прямо семантического, ни даже эмоционального значения. Важно, *как* это говорится, а *что* говорится, несущественно — можно вообще издавать бессмысленные звуки. И тут-то оказывается, что говорить о сексуальных отношениях, называя вещи своими русскими именами, мы не умеем, мы вынуждены говорить практически исключительно заимствованиями, прошедшими русскую грамматизацию. Я не берусь пересказывать находки Эпштейна (тема все-таки слишком рискованная), но прочитать это взрослым людям безусловно следует. Эта затея Эпштейна достаточно безумна, чтобы ею имело смысл заниматься и чтобы она содержала крупинцы истины.

Проект «Дар слова» продолжается. В пределе он вечен, как вечно обновление языка.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Уильям С. Берроуз. Мое образование. Книга снов. Роман. Перевод с английского М. Немцова. М., «Глагол», 2002, 300 стр.

Последний роман Берроуза (написан в 1995 году за два года до смерти) представляет собой композицию разрозненных фрагментов прозы, содержащих отрывки воспоминаний, как бы утопленных в сны.

Андрей Геласимов. Фокс Малдер похож на свинью. Повесть и рассказы. М., «О.Г.И.», 2001, 128 стр., 3000 экз.

Литературный дебют, сразу же замеченный критикой, — первая книга еще малоизвестного прозаика попала в «шорт-лист» Литературной премии имени И. П. Белкина.

Лоренс Даррел. Александрийский квартет. Жюстин. Бальтазар. Романы. Перевод с английского В. Михайлина. СПб., «Симпозиум», 2002, 590 стр., 3000 экз.

Лоренс Даррел. Александрийский квартет. Маунтолив. Клеа. Романы. Перевод с английского В. Михайлина. СПб., «Симпозиум», 2002, 734 стр., 3000 экз.

Второе книжное издание одного из самых значительных в европейской литературе XX века произведений. Для русского читателя текст тетралогии стал доступен только на рубеже 80 — 90-х годов по публикациям в журнале «Волга», в 1996 — 1997 годах «Александрийский квартет» вышел в издательстве «ИНАПРЕСС». В новом издании доработан перевод и обширные комментарии, написанные многолетним переводчиком, исследователем и пропагандистом творчества Даррела Вадимом Михайлиным. (См. также подготовленную им подборку текстов Даррела и материалов о писателе в журнале «Иностранная литература», 2000, № 11). В «Новом мире» о Дарреле писал Михаил Бутов (1998, № 5).

Кирилл Ковальджи. Тебе. До востребования. Избранная лирика. М., «Когелет», 2002, 256 стр., 500 экз.

Составляя книгу избранных стихотворений 70 — 90-х годов, автор сделал упор на философской и любовной лирике. «Чтоб любовь не дошла до беды, / отношения должны быть простыми. / Просто: как выпить стакан воды... / — В пустыне, в пустыне, в пустыне...»

Михаил Кураев. Приют теней. Повести, рассказы, роман. М., «Центрполиграф», 2001, 605 стр., 6000 экз.

В новую книгу известного писателя вошли роман «Зеркало Монтачки», повести «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Золотуха по прозвищу Одышка», рассказы последних лет.

Ханиф Курейши. Будда из пригорода. Роман. Перевод с английского Д. Крупской. М., «Иностранка», 2002, 464 стр., 5000 экз.

Роман популярного в Англии англо-пакистанского автора — история молодого человека, выходца из сегодняшнего лондонского пригорода; написан в жанре романа воспитания (отчасти напоминает нашу исповедальную прозу 60-х), становление героя происходит в его взаимоотношениях с любовью, дружбой, сексом, наркотиками, театром, рок-музыкой и т. д.

Игорь Померанцев. Семейное положение. М., «О.Г.И.», 112 стр.

Новый сборник стихов Померанцева: «...сидя над новыми и старыми кубиками стихов, я сделал еще одно открытие: семейная и околосемейная жизнь, отношения с отцом и матерью, с женой и подругами, сыном и братом... — тема, нет, даже не тема, а материя моих стихов»; «морская прогулка / на катере. / не хватает только / папы, мамы / и старшего брата. / старшего? / я теперь / старше всех!»

Сергей Соколовский. Фэст фуд. Повесть. М., «АРГО-РИСК» — Тверь, «Колонна», 2001, 44 стр., 300 экз.

Первое книжное издание прозы московского прозаика, получившего известность благодаря своим публикациям в Интернете, в частности, на сайте «Вавилон»; журнал об этой повести писал в «WWW-обзрении» (2001, № 7).

Александр Солженицын. Из «Красного Колеса». Извлечения сюжетных линий. Столыпин. Ленин. Февральская революция.

Своеобразная авторская редакция эпопеи «Красное Колесо», вместившаяся в четыре компактных и при этом достаточно емких томика, сделанная с упором на «историко-хроникальную» сторону содержания эпопеи; жанр дайджеста в данном случае отнюдь не предполагает обеднения историко-философской тематики повествования.

Александр Солженицын. Столыпин и царь. Главы из книги «Красное Колесо». Екатеринбург, «У-Фактория», 2001, 448 стр., 20 000 экз.

«Полная выемка из „Красного Колеса“ глав о Багрове, Столыпине и императоре Николае II».

Александр Солженицын. Цюрих — Петроград. Главы из книги «Красное Колесо». Екатеринбург, «У-Фактория», 2001, 416 стр., 20 000 экз.

«...выемка из „Красного Колеса“ глав о Ленине, а также косвенно относящихся к Ленину, и глав о Троцком».

Александр Солженицын. Наконец-то революция. В 2-х книгах. Главы из книги «Красное Колесо». Екатеринбург, «У-Фактория», 2001, 20 000 экз. Книга 1 — 496 стр. Книга 2 — 448 стр.

«...подборка глав, передающая главные события и воздух Февральской революции (за дни 3 — 18 марта 1917 года)», то есть главы из 1, 2, 3, 4 томов «Марта Семнадцатого».

Павел Улитин. Разговор о рыбе. Предисловие Зиновия Зиника. Комментарии М. Айзенберга, И. Ахметьева при участии А. Ожиганова. М., «О.Г.И.», 2002, 208 стр., 500 экз.

Первая в России книга одного из самых закрытых для широкого читателя писателей — Павла Павловича Улитина (1918 — 1986), студента предвоенного ИФЛИ, затем — арестанта, пациента тюремной психиатрической больницы, писателя-авангардиста, выученика русской и европейской классики (Джойс, Беккет и другие), показывавшего свои тексты только узкому кругу близких знакомых, «посвященных в культуру», не дождавшегося при жизни публикации своих книг на родине. Поток прозы, организующий книгу «Разговор о рыбе», оформлен как внутренний монолог и отчасти дневник. Книга написана в 1967 году (в тексте упоминаются реалии 1966 года), публикуется по авторской машинописной рукописи. Из предисловия З. Зиника: «Тюрьма, сумма и сумасшествие — самые запятые мотивы русской литературы, и главный вопрос — как от них отвязаться, если забыть их окончательно невозможно. Павел Улитин сумел уйти от тюрьмы, имитируя невменяемость, изъясняясь со следователями цитатами из английской поэзии и переняв стиль тюремных допросов как авангардную литературу... Признанный невменяемым, он спасся от лагерей, но не от инсулина... он выпутался из самого страшного биографического клише, уготованного ему историей, — судьбы хрестоматийного героя советской литературы».



Фернан Бродель. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. В 3-х частях. Часть первая. Роль Среды. Перевод с французского М. А. Юсина. М., «Языки славянской культуры», 2002, 496 стр.

По этому изданию русский читатель начинает знакомство с классической работой знаменитого ученого (первое издание книги — в 1949 году), обобщившего в своем подходе к истории опыт нескольких поколений историков разных стран, включая новаторские исследования школы «Анналов».

Казус 2002. Уникальное и индивидуальное в истории. Выпуск 4. Под редакцией Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. М., «О.Г.И.», 2002, 368 стр. 1000 экз.

Четвертый выпуск альманаха, выходящего под эгидой Института всеобщей истории РАН. Концепция издания представлена составителями в нескольких slogанах: «У нас свой взгляд на историю. Он различает в ней не столько общее, сколько индивидуальное. Не столько массовое, сколько уникальное. Не столько необходимое, сколько случайное», «Необычный поступок, неожиданный поворот судьбы, странное стечение обстоятельств, удивительный случай — вот о каких казусах прошлого этот альманах». Несмотря на эссеистский «литературный дизайн» альманаха, перед нами вполне научное издание. Очередной выпуск содержит разделы: «О счастье и несчастье во все времена» (статьи И. С. Свенцицкой «Счастье и горе у древних греков», Ю. Л. Бессмертного «Странное счастье рыцаря», И. Н. Данилевского «Холопское счастье Даниила Заточника» и др.), «О беспокойных подданных и обеспокоенных властях» (М. А. Бойцов, «Ограбление мертвых государей как всеобщее увлечение»; Л. А. Пименова, «О том, как поспорили его светлость герцог д'Эгюйон с мессиром Лашалоте» и др.), «О людях,

попадающих в историю» (М. Л. Абрамсон, «Четыре истории, рассказанные флорентийскими купцами о самих себе»; О. Е. Кошелева, «Один из Иванов в эпоху Петра. (Опыт персональной истории)»). Альманах завершается статьей О. В. Гавришиной «Опыт прошлого: понятие „уникальное“ в современной истории», где автор обозревает и комментирует явления, имевшие место в исторической науке на том «дискурсивном поле», которое выбрали авторы «Казуса». Четвертый выпуск открывает Слово прощания с историком и вдохновителем этого издания Юрием Львовичем Бессмертным.

Пленник эпохи. Памяти Л. Э. Разгона. Сборник. Составление и вступительная статья Марлена Кораллова. М., «Звенья», 2002, 334 стр., 1000 экз.

В книгу, посвященную писателю и многолетнему узнику сталинских лагерей Льву Эммануиловичу Разгону (1908 — 1999), вошла его мемуарная проза (из книг «Плен в своем Отечестве», «Позавчера и сегодня»), статьи и очерки последних лет, интервью и воспоминания современников Даниила Данина, Лидии Либединой, Анатолия Приставкина, Кирилла Ковальджи, Юлия Крелина и других.

Михаил Рыклин. Пространства ликования. Тоталитаризм и различие. М., «Логос», 2002, 280 стр., 1500 экз.

Исследование знаковых систем двух тоталитарных режимов, фашистского — в Германии и советского — в СССР; в частности, анализируются порожденные этими режимами язык изобразительных искусств, архитектура, принципы градостроительства.

Сны и видения в народной культуре. Мифологический, религиозно-мистический и культурно-психологические аспекты. Составление О. Б. Христофорова. Ответственный редактор С. Ю. Неклюдов. М., РГГУ, 2001, 382 стр., 1500 экз.

Сборник составлен на основе материалов круглого стола «Сны и видения в народной культуре», проходившего в октябре 1998 года в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ. Рассматриваются различные аспекты темы снов и видений — культура «народной мистики», структура, семантика и парадигматика порождаемых ею текстов, а также ее связи с религиозными и философскими учениями и с соответствующей проблематикой литературы и искусства. Наиболее подробно анализируются традиции толкования снов (символика сновидений, принципы их истолкования, бытование сонников), сохранившиеся в современной русской крестьянской среде (статья С. М. Толстой, М. Л. Лурье, А. А. Панченко, М. М. Валенцовой и других); отдельная тема — включение топики сна в тексты фольклора и искусства (А. Б. Мороз о снах в сербских обрядовых песнях); а также — тема сна в философских учениях (И. А. Протопопова — о сновидениях в античной литературе, Л. А. Софронова — в трудах Г. Сквороды).

П. С. Стефанович. Приход и приходское духовенство в России в XVI — XVII веках. Ответственный редактор Б. Н. Флоря. М., «Индрик», 2002, 352 стр., 1200 экз.

Работа молодого историка об общественном положении приходского духовенства в допетровской России, об отношениях с прихожанами, вкладчиками, духовным и светским начальством и более широко — о становлении духовного сословия в Русской церкви.

Ричард С. Уортман. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого до смерти Николая I. Авторизованный перевод с английского С. В. Житомирской. М., «О.Г.И.», 2002, 608 стр., 3000 экз.

Монография американского историка, посвященная символике придворных церемониалов при дворе русских государей. «Чтобы понять устойчивость абсолютной монархии в России и неизменную верность дворянства, необходимо исследовать способы, которыми возбуждались и поддерживались эти чувства. ...Хотя императорский двор представлял собой непрекращающееся театральное действо, театр власти, мы не должны смешивать происходившее там с тем, что мы сегодня понимаем под словом entertainment (развлечения)... участники этих мероприятий... предпринимали сознательные и старательные усилия представить правителя как верховное начало и наделить его сакральными качествами. К русской монархии как нельзя более подходит замечание К. Кэннэндайна: „Ритуал — это не маска силы, а тип власти“» (из «Введения»).

Татьяна Чередниченко. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 592 стр., 2000 экз.

Новая книга одного из ведущих отечественных музыковедов и культурологов, постоянного автора «Нового мира». Журнал надеется ее отрецензировать.

ПЕРИОДИКА



«Агентство русской информации (АРИ)», «Верность Ленину», «Время MN», «Время новостей», «Газета», «Даугава», «День литературы», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Зеркало», «Знание — сила», «Иностранная литература», «Интеллектуальный Форум», «Искусство кино», «Итоги», «Коммерсантъ», «Лимонка», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Московские новости», «Московский литератор», «Наш современник», «Независимая газета», «Независимая издательская группа», «Новая газета», «Новый Журнал», «Общая газета», «Огонек», «Отечественные записки», «Правое дело», «Русский Вестник», «Русский Журнал», «Спецназ России», «TextOnly», «Труд», «Эра России», «Я — русский»

Михаил Айзенберг. Вакация поэта. — «Время новостей», 2002, № 43, 13 марта <<http://www.vremya.ru>>

Сто литераторов назвали для «Русского Журнала» (колонка «Курицын-weekly») по десять лучших/любимых современных поэтов, пишущих на русском языке. В итоге — более двухсот пятидесяти имен. «Есть, воля ваша, что-то пугающее в небывалом количественном росте „лучших поэтов“. Такой рост подходит только призраку. Похоже, что большинство людей, участвовавших в опросе, так и считают: поэзия — призрак. Упраздненная реальность, условность. Им кажется, что это *просто так*. Что стихи — это буквы на бумаге: все черненькие, все прыгают. Все приблизительно одинаковы. <...> Но в такой толкучке и неразберихе успех не обязательно завоевывать: его можно *распределить*. По взаимной договоренности (а желающие, поверьте, найдутся — уже нашлись)...

«В полном списке 276 человек. Но если мы отбросим те имена, которые упомянуты 1 — 3 раза (как и положено отбрасывать ошибку эксперимента), то останется 73 имени — вполне приемлемое количество», — замечает **Владимир Губайловский** («Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>).

Михаилу Айзенбергу отвечает **Вячеслав Курицын** («Курицын-weekly от 18 марта» <<http://www.russ.ru/krug/news>>): «<...> лучших поэтов не бывает так много (а именно — 274). И вот именно этот тезис вызывает у меня активное неприятие. Если бы он прозвучал из уст менее прекрасного человека, нежели Михаил Айзенберг, — а звучит недовольства девальвацией поэтического слова очень нередко — я бы назвал его поэтическим, м-м... пусть расизмом (слово довольно нелепое и потому не обидное, но суть ясна). В нем сквозит не имеющая метафизического основания уверенность в том, что поэзия бывает истинная, а бывает не очень. Что существует каста Избранных, ударенных в грудь льдом, всамделишно живые...»

Курицыну снова отвечает **Михаил Айзенберг** («Уловка 274» — «Время новостей», 2002, № 58, 3 апреля): «Мне кажется, что искусство (ведь мы сейчас говорим об искусстве) подтверждает *возможность* реальности. Реальность — его природа. Трудно не почувствовать, как в каждой удаче, в каждом шедевре жизнь (по Хармсу) „побеждает неизвестным способом“. Но происходит это, право же, не всякий раз. Даже не слишком часто. Так нечасто, что появляется желание дезавуировать и в конечном счете просто отменить такие победы. Сделать это, как выясняется, не так сложно: нужно только положить запрет на какую-то *уверенность в себе*. Нет победы — нет и поражения. Подобная эстетическая практика (или система суждений) удобна тем, что у художественных начинаний нет риска провала. <...>»

Кстати, наибольшее число голосов собрали (в порядке убывания): **Сергей Гандлевский**, **Тимур Кибиров**, **Лев Лосев**, **Дмитрий А. Пригов**, **Елена Шварц**, **Лев Рубинштейн**, **Вера Павлова**, **Дмитрий Воденников**, **Елена Фанайлова**, **Шши Брянский**, **Виктор Соснора**, **Всеволод Некрасов**, **Михаил Айзенберг**, **Иван Жданов**, **Ольга Седакова**, **Александр Анашевич**, **Александр Еременко**, **Александр Кушнер**, **Светлана Кекова**, **Бахыт Кенжеев**, **Алексей Парщиков**, **Мария Степанова**, **Ярослав Могутин**, **Геннадий Айги**, **Владимир Гандельсман**, **Сергей Стратановский**, **Аркадий Драгомощенко**, **Станислав Львовский**, **Михаил Еремин**, **Виталий Кальпиди**, **Евгений Рейн**, **Владимир Строчков**, **Олег Чухонцев**... См. в Сети страницу этого курицынского проекта: <http://www.guelman.ru/slava/10/10p.htm>

Василий Аксенов. Чудо или чудачество? Роман: путь к помойке. — «Московские новости», 2002, № 11, 19 — 25 марта <<http://www.mn.ru>>

«Чем лучше я пишу, тем хуже продаю на американском рынке».

«Мы не должны бояться уменьшения своей аудитории, как раз наоборот, надо стремиться к тому, чтобы читательский круг стал уже».

А случилось вот что: «<...> мой недавний труд „Кесарево свечение“, который я считаю своей вершиной, был отвергнут моим долголетним издателем, Рэндом-Хаус». *Конец романа.*

Юрий Архипов. Не годится русский в инородцы. К выходу в свет романа Владимира Личутина «Миледи Ротман». — «День литературы», 2002, № 3, март <<http://www.zavtra.ru>>

«„Куда там Павичу или Фаулзу!“ — восхищается в газете „Завтра“ бывалый критик В. Бондаренко. Да еще и подталкивает писателя-друга: „Вперед, Владимир Личутин, выпусти их из снов и видений — чарующих зверушек и таинственных мертвецов...“ Да ставит в пример Гоголя с Булгаковым. Ах, ребята, ребята... А вроде и с крестом на груди...»

Нил Ашерсон («Prospect»). Когда же существовала Британия? Перевод Виктора Гольшева. — «Интеллектуальный Форум». Международный журнал. Выходит раз в три месяца. Издатель Глеб Павловский. Главные редакторы Елена Пенская и Марк Печерский. 2002, № 8, февраль <<http://if.russ.ru>>

Возрождение собственно английского — подобно шотландскому, валлийскому — самосознания внутри «британского».

Андрей Ашкерев. Татьяна Толстая и власть интеллигенции. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Благостные академические „хранители языка“, легкокрылые творцы литературных стилей и трендов, критики, хитроумно выдающие сущее за должное, — все эти профессионалы изящной словесности вовсе не такие безобидные люди. Конечно, им не дано в точности определять, что мы думаем, но можете быть уверены — они оказывают далеко не самое последнее влияние на то, как мы это делаем».

Дмитрий Бавильский. Как сделан «Опыт» [Марины] Вишневецкой. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Именно авторская субъективность открывает форточку для выхода текста за собственные рамки. Понятно, почему подобное движение в современном „женском дискурсе“ зародилось и поползло из поэзии — Ольга Седакова, Елена Шварц, Светлана Кекова, Вера Павлова невольно расширили рамки повествовательных приемов прозы, создавая яркие примеры *модернистской* поэтики. Теперь в это „движение“ включились и рассказчицы».

Ирина Белобровцева. Поэт R-13 и другие Государственные Поэты. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 3 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>
Маяковский в романе Замятина «Мы».

Поль Берман («The Wilson Quarterly»). Переосмысливая судьбу человечества: история морали и мораль истории. — «Интеллектуальный Форум», 2002, № 8, февраль <<http://if.russ.ru>>

Гегель. Дарвин. Фукуяма.

Владимир Бондаренко. Три лика русского патриотизма. — «День литературы», 2002, № 3, март.

«Восхищаюсь их [красных и белых] героизмом, но вижу, что и та и другая — правда прошлого, а сегодня Россию необходимо спасать, используя любые обломки любой идеи, все, что годится, как костыли для раненого бойца. И я присоединяюсь к текучей третьей правде...»

Среди прочего: автор завершает статью известным лозунгом лимоновских национал-большевиков: РОССИЯ — ВСЁ, ОСТАЛЬНОЕ — НИЧТО. Несмотря на очевидную и, видимо, сознательную — антибуржуазную? — пародийность (все помнят рекламный слоган «имидж — ничто, жажда — всё»), эта формула национального «солипсизма» *невероятно энергетична*. К тому же тезис в своем роде уникальный: такого раньше не было и не могло быть в русской истории, политике, философии никогда. Как бы ни сложилась судьба НБП и ее руководителя (к слову сказать, французского гражданина), эти четыре слова, обретающие, как мне кажется, автономное существование, уже не будут забыты.

Владимир Бондаренко. Либеральный лохотрон. — «Завтра», 2002, № 13, 26 марта <<http://www.zavtra.ru>>

«Отрицаю либеральный лохотрон, не поддерживаю я и наше православное литературное рапповство».

Дмитрий Быков. Быков-quickly: взгляд-31. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«В „бродском” номере „С[тарого] Л[итературного] О[бозрения]” целый трактат посвящен коричневому цвету у Бродского. Тема важная, ответственная...»

«Пожалуй, из всех больших русских поэтов Бродский менее всего пригоден для интерпретации: интерпретировать — нечего. Очень скоро начинаешь скрести дно».

«Дорога Бродского уводит в тупик: такой поэт необходим был в русской литературе, но такой поэт должен быть один».

Р. В. Бычков (Опричное Братство св. преп. Иосифа Волоцкого). В поисках национальной идеи. — «Эра России». Всероссийская общественно-политическая газета. 2002, № 6 (74). [В выходных данных читаем: «Этот номер газеты очищен от приставки „БЕС”».]

«<...> следует сделать вывод о том, что единственный „-изм” с приставкой „национал-”, согласный с „нашими народными понятиями”, есть национал-социализм». И знаменитую уваровскую триаду автор обновляет соответственно: *Православие. Самодержавие. Национал-социализм.*

«В России нет профессиональных интеллектуалов». Беседу вела Виктория Шохина. — «Время МН», 2002, № 51, 23 марта <<http://www.vremyamn.ru>>

Говорит соредатор «Интеллектуального Форума» **Марк Печерский** (Сан-Франциско): «Прошлой осенью мне довелось беседовать в Москве с двумя группами умных и серьезных людей. В процессе разговоров всплывали названия разных [российских] журналов — и никто из присутствующих, кроме упомянувшего конкретный журнал, никогда о нем прежде не слышал! Я насчитал около дюжины таких изданий...»

Алексей Варламов. Погост. Рассказ. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 226 (2002 г.) <<http://magazines.russ.ru/nj>>

«Это было в мое первое лето на Севере. Мы жили тогда в деревне на берегу Белого моря и реставрировали церковь».

Верность Ленину. 2002, № 1 (64).

Есть такая газета: *на встречу с Ильичем, люди советской закалки, не пора ли повзрослеть марксистам...*

Валентин Воробьев. Друг Земного Шара. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, № 17-18 (140) <<http://members.tripod.com/~barashw/zerkalo>>

«Ровно в полночь, под бой Кремлевских курантов, известивших начало Нового [1968] года, из угла выполз поэт Губанов, ловко прыгнул на стол с объедками и завыл как ненормальный: „Ой, Полина, Полина, полынья моя!” Его прервал пьяный голос снизу: „А воспеть женщину ты не умеешь!” Самый молодой гений затрясся как припадочный, опрокинул ведро с капустой и с криком „Бей жидов!” прыгнул на обидчика Каплана. Под дым, звон и гам смогисты покатались по полу, кусая друг друга. <...> Пьяный португалец выл от восторга русской драки. Мистик Мамлеев закрылся в уборной, сославшись на боль в животе. Сапфир заказал такси и смылся с возлюбленной...»
Друг Земного Шара — это Игорь Холин.

Алан Вулф («*The New Republic*»). Революция, которой не было. Перевод Г. Маркова. — «Интеллектуальный Форум», 2002, № 8, февраль <<http://if.russ.ru>>

«<...> от настоящего консерватора требуется немалая толика сердечного жара при соответствующей дозе трезвомыслия <...>».

Лидия Гинзбург. Из записных книжек (1925 — 1934). Публикация и вступительная заметка А. Кушнера. Подготовка текста и примечания Д. Устинова. [К 100-летию Л. Я. Гинзбург]. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 3.

«Ужас в том, что в 30-х годах [XIX века] прав был не Пушкин, а Булгарин» (1930).

Здесь же: письмо **К. И. Чуковского** к Л. Я. Гинзбург от 8 февраля 1965 года; воспоминания **Елены Кумпан** и **Елены Невзглядовой**, статья **А. Машевского** «Преодоление прозы?».

См. также: **Алексей Машевский**, «Мысль, разомкнувшая круг» — «Новый мир», 2002, № 3.

О. Гранитов. Битва Масленицы и Поста. — «Я — русский». [Газета Народной национальной партии]. Тираж 7500 экз. 2002, № 5 (87), март.

«Исторические дни Российской Федерации сочтены».

«<...> а вступают в Русский Орден и принимают обет отречения от благ демократической Масленицы, чтобы в будущем, под руководством Магистра — Защитника Людей

начать Крестовый Поход, чтобы освободить гробы своих предков от азиатского нашествия и построить светлый величественный Храм, в котором русский народ будет служить Богу Русизма».

«Пресловутые иудео-масоны в настоящее время более приемлемы для нас, чем правые масоны из Техаса».

В апреле нынешнего года Мосгорсуд признал руководителя Народной национальной партии Александра Иванова виновным в возбуждении национальной вражды на митинге в Москве в 1996 году и в партийных газетах «Эра России» и «Я — русский» («Коммерсантъ», 2002, № 59, 5 апреля <<http://www.kommersant.ru>>).

Владимир Губайловский. Пятый постулат. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Я хочу сформулировать аксиому литературной критики, да простят мне коллеги такую самонадеянность (ведь не простят): „Всякое суждение литературного критика либо субъективно, либо неточно“. Или другими словами: точное суждение всегда субъективно, а объективное — неточно...»

Виктор Гуминский. Гоголь, Александр I и Наполеон. К 150-летию со дня смерти писателя и к 190-летию Отечественной войны 1812 г. — «Наш современник», 2002, № 3 <<http://read.at/nashsovr>>

«Мы, конечно, далеки от мысли видеть в повести о двух Иванах какую-то аллегорию к истории ссор и примирений, а затем великой войны между Россией и Францией...»

Девичья память. Вера Павлова: «Я научила говорить мужчин?» Беседу вел Глеб Шульпяков. — «Ex libris НГ», 2002, № 10, 21 марта <<http://exlibris.ng.ru>>

«Насколько голос Цветаевой или Гиппиус мужественнее, скажем, Маяковского!» — говорит лауреат премии имени Аполлона Григорьева **Вера Павлова**.

Сергей Демидов. Плебскратия. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«В реальности же Америка является аристократической республикой, в которой представители наиболее древних родов англосаксонских и ирландских первопоселенцев играют ключевые роли в политической жизни страны (на юге это потомки крупных плантаторов-землевладельцев). <...> Чем выше чувство превосходства, всевластия и уверенности в своей избранности, тем больше внешней демократии и либеральной мишуры».

«**День литературы**» — за и против. Обсуждение газеты в Центральном доме литераторов 18 февраля 2002 года. — «День литературы», 2002, № 3, 4.

Говорит **Николай Дорошенко**: «<...> Мы уже полемизировали с Бондаренко, Володя говорит: а давай мы для большей нашей живучести объединим либерализм и консерватизм, наши русские полюса. Вот и Александр Андреевич [Проханов] сказал: два полюса. А вы представляете, что значит — два полюса взять и объединить. Взять, сломать планету и объединить... Это полный бред».

Говорит **Михаил Лобанов**: «<...> В журнале „Наш современник“ в связи со смертью Кожина Палиевский писал, что Кожин соединил меня с Битовым. Но что общего у меня с Битовым? Это Кожин хотел нас объединить, но ничего не получилось. Вот и у Владимира Григорьевича [Бондаренко] тоже это есть, этим он схож с Вадимом Кожинным. <...> Есть победители: либералы, не случайно их нежат, и есть оппоненты: почвенники. Где вы в истории видели, чтобы объединялись победители и побежденные?»

Говорит **Александр Проханов**: «<...> Мы знаем, кто такой Владимир Григорьевич. Это красно-коричневый, это маховый мракобес красно-коричневый. Вот кто такой Владимир Григорьевич. <...>»

Игорь Джедан. Культ Добра. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>
«Властелин колец» — учебник ксенофобии?

Гейдар Джемаль. Всемирный тупик. Первый глобальный кризис XXI столетия. — «Завтра», 2002, № 11, 12 марта.

«По сути дела, мы являемся свидетелями третьей, после Наполеона и Гитлера, попытки европейцев объединиться и выступить как центр силы, дающей ось и содержащую планетарному историческому процессу».

Андрей Дмитриев. «Пытаюсь увести человека в сторону трезвого отношения к себе и к реальности». Беседу вела Елена Калашникова. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

Говорит лауреат премии имени Аполлона Григорьева, прозаик **Андрей Дмитриев**: «Сейчас славное общее время. <...> И я согласен с [Андреем] Немзером: 90-е замеча-

тельны в литературном отношении. Была ли когда-нибудь такая литература в России? Я говорю не о вершинах, а о процессе: почти ни одного пустого номера журнала... <...> В 60 — 70-е казалось, что до американской или латиноамериканской литературы нам не допрыгнуть, да и до европейской не дотянуться, не говоря уже о великих тогдашних японцах, — а сейчас нам предлагают какого-то хилого Мураками!..»

Он же (в беседе с Николаем Александровым): «<...>я убедился, что снижение интереса к серьезной литературе есть только в тех городах, где книжные магазины забиты хорошими книгами. А чуть дальше отъедешь — сталкиваешься с пустыми книжными магазинами, где нет даже Акунина (что совсем несчастье для такой страны). <...> Встречаешься с абсолютно голодным читателем, который не смотрит телевизор, стоит в очередях за толстыми журналами в библиотеках (спасибо Соросу) и на встречу с писателями приходит не потому, что хочет увидеть именно этого писателя, а потому, что хочет увидеть хоть какого-нибудь писателя» («Газета», 2002, 14 марта <<http://www.gzt.ru>>).

Евгений Евтушенко. «Слово о полку Игореве» — жертва политической цензуры. Размышления переводчика поэмы. Беседу вел Григорий Заславский. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«И я позволил себе кое-что добавить...»

Сергей Есин. Отпускной дневник. — «День литературы», 2002, № 3, 4.

«Всем нам рядом с Прохановым надо заткнуться. Под Томаса Манна, под Фолкнера, под Солженицына, под Пруста мы можем писать, а под Проханова — нет, не сможем».

Михаил Завалов. Воздух подполья, или Призыв к прогулке. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/razbor>>

«<...>Порфирий — это физрук, он и противен, как физрук (да еще — с бабьими чертами), но и прав, как физрук. Он хочет спасти Раскольникова от гиповентиляции<...>».

Иллюзии века Просвещения. Кто боится новейшей истории? Беседу вела Светлана Кириллова. — «Московские новости», 2002, № 12, 26 марта.

Говорит декан факультета истории, политологии и права РГГУ, профессор **Александр Логунов:** «Даже среди первокурсников есть желающие как „окончательно похоронить“, так и „очистить образ“ Сталина».

Александр Казинцев. *Big boom.* Взрывы в Америке, разрушившие Россию. — «Наш современник», 2002, № 3, 4.

Среди прочего: Мировое правительство против США (как сильного национально-государства).

Алексей Кара-Мурза. В российской истории либералам есть на что опереться. — «Правое дело», 2002, № 11 (29), 15 — 21 марта <<http://www.sps.ru>>

«Я — почвенный либерал, или либеральный почвенник, или либерал-консерватор, ибо опираюсь на особый пласт русской почвы, на определенную — либеральную — отечественную традицию».

Среди прочего: «А на мой взгляд, мифу о том, что войну эту выиграла большевики и Сталин, вполне способна противостоять другая интерпретация: войну выиграл народ вопреки Сталину. И победили в войне не принципы большевизма, а коренные ценности либерализма — стремление защитить свою честь и достоинство, любовь к родине, семье, культуре, языку, истории...»

Составителю «Периодики» всегда хотелось узнать, каким образом армия может выиграть тяжелейшую четырехлетнюю войну *вопреки своему Верховному Главнокомандующему?* Я же не спорю. Просто интересно — как.

Ср.: «Действительная заслуга Сталина была в том, что за первый год войны он создал практически из ничего новую армию, новую военную промышленность взамен практически полностью утраченной — СССР вышел из войны совсем не той страной, какой в нее вступил», — пишет **Егор Холмогоров** («Спецназ России». Газета Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». 2002, № 2 <<http://www.specnaz.ru:8101>>).

Капитолина Кокшенева. «Элите захотелось портвеша». — «Литературная газета», № 11, 20 — 26 марта.

«Для либерала „других“ попросту нет. <...> Сознательное избегание диалога (то есть использование замалчивания как самого распространенного приема нынешних пиаровских технологий) — это была всем очевидная либеральная установка минувших лет».

Максим Кронгауз. О высоком и вечном, низком и сиюминутном. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki>

«Школа и должна отставать от жизни. Она должна быть консервативнее жизни, особенно такой стремительной, как сейчас. Иначе порвется связь между жизнью и

культурой и между поколениями, что, впрочем, сейчас отчасти и происходит. Кроме того, надо помнить, что актуальным знанием дети и взрослые овладевают не только и не столько в школе. Оно приходит из разговоров с друзьями и родственниками, из телевизора, из газет. <...> Вечное же существует постоянным фоном, оно есть, но про него почти не говорят». См. также: **Максим Кронгауз**, «А был ли кризис?» — «Новый мир», 2002, № 4.

Феликс Кузнецов. Неразгаданная тайна «Тихого Дона». — «Наш современник», 2002, № 4.

«Если судить по „Журналу регистрации посетителей Сталина в Кремле“, с 1931-го по 1941 год у Сталина было 11 встреч с Шолоховым. В действительности встреч было больше, так как далеко не все встречи — как, например, на даче у Горького — фиксировались в этом журнале...» См. также: **Феликс Кузнецов**, «Шолохов и „Антишолохов“». Конец литературной мистификации века» — «Наш современник», 2000, № 5, 6, 7, 11; «Осторожно: профанация!» — «Литературная Россия», 2001, № 16, 20 апреля <<http://www.litrossia.ru>>

Игорь Кузьмичев. Стойкость. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 3.

«Годы спустя Вадим Сергеевич [Шефнер] рассказывал, как, перечитав попавшиеся в госпитальной библиотеке „Войну миров“ Уэллса и „На Западном фронте без перемен“ Ремарка, обнаружил: окопные ужасы Первой мировой, правдиво описанные Ремарком, трудно сравнить с бедствиями нашей войны — вселенским размахом зла она под стать зловещим миражам Уэллса».

Сергей Кургинян. «Правда — почти как смерть». — «Агентство русской информации» (АРИ). Русский национальный ресурс <<http://ari.ru>>

«Войти в мировое сообщество можно только в том случае, если это сообщество хочет принять тебя туда на какой-то роли. Тогда оно и определит роль. Сейчас эта роль определена прежней формулой: „Хороший русский — это мертвый русский“. <...> Реальность в том, что контекст-то именно такой, ликвидаторский. И рано или поздно это придется признать. И тогда уже не пожимать плечами по поводу патриотической нелепости квазисоветских жестов, а либо участвовать в ликвидаторстве и знать — с кем, как и о чем будешь говорить по ту сторону здешнего земного существования, либо бороться по-настоящему. Настоящая борьба невозможна, пока не посмотришь правде в глаза. А правда ныне — почти как смерть. Она в том, что миру твоя страна не нужна. И самой себе страна тоже нужна лишь очень условно. <...> Правда же состоит в том, что вся реальность, созданная за последние многие годы, весь этот „парад-алле“ коттеджей, „мерседесов“, холуев и братков — все это гроб повапленный, а не сила. Все это и есть раскрученный маховик самоликвидации. Все это и есть, по сути, коллективное похоронное бюро, которое даже внешне похоже на агентов, приходящих, дабы пристойно похоронить ваших родственников. <...> Так и скажите себе, что это не новая Россия, а ликвидационное бюро в особо крупном размере».

Статья публикуется со ссылкой на Агентство Росбалт (5 марта 2002 года).

Михаил Лобанов. На передовой. Опыт духовной автобиографии. — «Наш современник», 2002, № 2, 3, 4.

«В Союзе писателей России отмечался в феврале 1997 года юбилей Валентина Распутина. Выступления. Тосты. И вдруг объявляют, что получена телеграмма от Солженицына. „Цээршник!“ — вырвалось у меня произвольно, даже не под влиянием выпитого, а как бы от естественной реакции на это имя. Показалось мне, что не все слышали (! — А. В.), — и я крикнул еще раз и еще громче. Сидевший со мной за одним столом Станислав Куняев только улыбнулся своей умной понимающей улыбкой, молчали и другие — за соседними столами — сенаторы, важные чиновники, поглядывая с любопытством на наш стол. Никто не остановил меня. И даже юбиляр, которого мог бы оскорбить этот выкрик, не только не оскорбился, а в своем заключительном слове назвал меня своим в некотором отношении идейным предшественником».

См. также: **А. Солженицын**, «Слово при вручении премии Солженицына Валентину Распутину 4 мая 2000» — «Новый мир», 2000, № 5.

Юрий Лоциц. Папараццизм. — «Наш современник», 2002, № 3.

«Папараццизм, если рассматривать его в онтологической перспективе, безусловно, есть функция атеизма, причем как раз агрессивно-богоборческого <...>».

Джефф Мадрик («*The New York Review of Books*»). В ожидании компьютерной революции. Перевод Г. Маркова. — «Интеллектуальный Форум», 2002, № 8, февраль <<http://if.russ.ru>>

Компьютерной революции не произошло: увеличение расходов на компьютеризацию (в США) не сопровождается соответствующим ростом производительности труда.

Виктор Мануйлов. Гибельный восторг. Рассказ. — «Наш современник», 2002, № 4.
«Товарищ Лютый (то есть Исаак Бабель. — А. В.) сплюнул голодную слюну на убегающий снег, с головой завернувшись в вольчью доху, притих, свернувшись в комок. И не поймешь, что это лежит в розвальнях на сене — оборотень-волк, куль с мукой или человек». См. также: **Давид Маркиш**, «Стать Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Бабеля» — «Октябрь», 2001, № 1, 2 <<http://magazines.russ.ru/October>>

Обращение к Партии. — «Лимонка». Газета прямого действия. 2002, № 191, март <<http://www.nazbol—limonka.narod.ru>>

Рубрика «Слово вождя». Эдуард Лимонов, обращаясь из Лефортово к товарищам по партии, требует *чистки*. Работать, а не тусоваться! Обращение заканчивается партийно-ритуальным восклицанием: *Да, Смерть!*

В этом же номере в рубрике «„Лимонке” пишут»: «Здравствуйте, товарищи! Пишет вам начальник Юных Бериевцев оренбургского отделения НБП. <...> Бериевцев у нас в городе много, и их число постоянно растет (только в моем дворе 7 членов НБП и много сочувствующих). <...> Я считаю, что всем Юным Бериевцам всех отделений НБП надо бить уродов. А за Партию — голову отрывать... (Валентин Т.)».

Олег Павлов. Остановленное время. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Современная проза — это не рассказ о современности, а разговор с современниками, новая постановка главных вопросов о жизни». См. также полемику **Кирилла Анкудинова** и **Евгения Ермолина** — «Новый мир», 2002, № 5 — об армейской трилогии Олега Павлова.

Письма к Игорю Чиннову. Публикация Ольги Кузнецовой. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 226 (2002 г.).

Поэт первой эмиграции Игорь Владимирович Чиннов, скончавшийся в 1996 году во Флориде на восемьдесят седьмом году жизни, завещал свой обширный архив ИМЛИ РАН. «Прикиньте следующее. Н[овый] Ж[урнал] — будем выражаться довольно громкоподобно (но, увы, правильно) — противостоит всем советским журналам (толстым), всей этой макулатуре (на 99%), он борется (да-да, именно борется!) за какие-то культурные, политические, человеческие ценности. И в своей борьбе он должен быть очень осторожен — дабы „не подставляться врагу”» (из письма Романа Гуля от 9 июля 1967 года).

См. также подборку «Письма о „Новом Журнале”» — деловую переписку Романа Гуля и Михаила Карповича 50-х годов (публикация Веры Крейд — «Новый Журнал», № 226). См. в этом же номере юбилейную «Нашу хронологию» — к *шестидесятилетию* «Нового Журнала».

Пишу и сжигаю. [К 150-летию со дня смерти Гоголя]. Беседу вел Александр Щуплов. — «Независимая газета», 2002, № 50, 16 марта <<http://www.ng.ru>>

«И в этом преображении героя должен был принимать участие... сам царь», — говорит **Юрий Манн** о гипотетическом просветлении Чичикова в ненаписанном третьем томе «Мертвых душ». А также: «С Гоголя снимали посмертную маску. Это невозможно было бы сделать, если бы он был жив...»

Против стиля. [К 65-летию Владимира Маяковского]. Беседу вела Екатерина Варкан. — «Ех libris НГ», 2002, № 9, 14 марта.

«Когда я просто говорю — за свои слова не отвечаю. Я отвечаю только за то, что написано моим пером», — утверждает **Владимир Маяковский**.

Ольга Прохорова. Богатая Лиза. (А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Метель»). — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/razbor>>

«Так что незачем читать „Космополитен”. Читайте Пушкина, он тоже феминист и космополит».

Борис Равдин. Бремя Михаила Красильникова. (Кенотаф). — «Даугава». Литературно-художественный и публицистический журнал. Главный редактор Жанна Эзит, соредатор Борис Равдин. Рига, 2001, № 6, ноябрь — декабрь.

Вступительная статья к большой мемориальной сплотке материалов, посвященных поэту М. М. Красильникову (1933 — 1997), осужденному в 1957 году за то, что на демонстрации в Ленинграде 7 ноября 1956 года выкрикивал антисоветские лозунги. Среди прочих материалов: **Вадим Крейд**, «Футурист пятидесятых годов»; **Лев Лосев**, «Тулупы мы»; **Алексей Волосников**, «Синдром Пер Гюнта» и др. А также 30 стихотворений **Михаила Красильникова** 1955 — 1963 годов и его беседа с сотрудником «Мемориала» **Софьей Чуркиной**.

Ален Роб-Грийе. «Каждый писатель идет своим путем и проходит его до конца». Интервью еженедельнику «Фигаро литтерер». Перевод с французского И. Радченко. — «Иностранная литература», 2002, № 3 <<http://magazines.russ.ru/inostran>> Издается над Уэльбеком.

Анатолий Романовик. Отречения Государя не было. — «Русский Вестник». Еженедельная газета, 2002, № 10-11 <<http://www.rv.ru>>

«Как подчеркивалось выше, права на отречение от престола, согласно Основным законам [Российской империи], он не имел. Это понимали и те, которые требовали от него отречения».

«Таким образом, и с юридической точки зрения, и с точки зрения Церкви и после 2/15 марта 1917 года Николай II оставался носителем царского сана».

«Единственной законной формой верховной власти в России продолжает оставаться и поныне Самодержавная Монархия».

Людмила Романова, Наталия Ростова. Новое телевидение [Евгения] Киселева. Его этико-эстетический принцип — интеллигентность без снобизма и ханжества. — «Независимая газета», 2002, № 61, 29 марта.

В распоряжении газеты оказалась концепция телевещания, с которой команда Евгения Киселева одержала победу на конкурсе. Цитата: «<...>Заранее готовы заявить и о том, что не будем конкурировать с кем-либо на огромных и многолюдных маргинальных (курсив мой. — А. В.) пространствах общества. <...>»

Какое же телевидение могут делать эти люди, имея такое представление о нашей стране?

Омри Ронен. Март. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 3.

«Эренбург сочинил стихотворение о Хрущеве, оправдывая его тем, что он „никого не вешал“. Вешал. Среди них одного премьер-министра — Имре Надя, двух журналистов — Гимеша и Лошонци, одного настоящего революционера и рабочего вожака, человека очень смелого и страшного, — Дудаша. Я лично знал Гимеша, Лошонци и Дудаша: Дудаш 1 ноября 1956 года подписал мой мандат на ношение оружия».

«Россию без поэзии не мыслю». Беседу вел Владимир Коробов. — «Труд-7», 2002, № 48, 21 марта <<http://www.trud.ru>>

Говорит **Юрий Кублановский**: «В наши дни происходит такая же порча языка, как и после Октябрьской революции. Только место марксистского волапока занимает интернациональный жаргон технократии и как бы узаконенная уже матерщина, жаргон. Ну и богемный язык клипов, слогов и прочих рекламных прелестей „рынка без берегов“. <...> [Литературная классика] многим стала уже недоступна не только в силу высокого строя своих проблем, но и просто в силу своего по-настоящему русского языка...»

Ср.: «Язык нормально развивается, если он нормативен. Но если он живет нормально, то нормативность эта постоянно нарушается» (**Николай Скатов** — «Литературная газета», 2002, № 11, 20 — 26 марта).

Вадим Руднев. В компании с толстяком: реклама и текст. — «Отечественные записки», 2002, № 2 <<http://www.strana-oz.ru>>

«В русской телерекламе <...> как подавляет что. История рассказывается не для того, чтобы купили, а для того, чтобы было забавно смотреть. <...> Речь провоцирует не действия — речь провоцирует речь».

Нина Садур. «Я еще помню, как мыла в театре полы...» Беседу вела Евгения Ульченко. — «Труд-7», 2002, № 53, 28 марта — 3 апреля.

«Я бы женскую прозу оценила как некое сведение счетов с мужчинами и вымещение комплексов».

«Мне почему-то никогда не дают никаких премий».

Составитель «Периодики» (раздумчиво): «И мне почему-то...»

Геннадий Сазонов (Вологда). Последнее письмо поэта. — «Труд», 2002, № 42, 13 марта.

Областная газета «Красный Север» поместила воспоминания о поэте бывшего партработника Виктора Грибанова. Впервые он полностью опубликовал одно из неизвестных писем **Николая Рубцова** (ориентировочно — декабрь 1970 года). Цитирую: «Секретарю обкома КПСС тов. Грибанов В. А. от писателя Рубцова Н. Уважаемый Виктор Алексеевич! <...> Тогда, на приеме у Вас, я неважно чувствовал себя, поэтому был рассеян, плохо понимал, что происходит, а это привело меня к какому-то легкомыслию в разговоре. Теперь же, в совершенно хорошем состоянии, я глубоко сознаю всю серьезность и справедливость Вашего замечания насчет того, что мне необходимо упорядочить бытовую сторону своей жизни. <...>»

Евгений Сидоров. Записки из-под полы. Из новой книги. — «Литературная газета», 2002, № 12, 27 марта — 2 апреля.

«С Риммой Казаковой хорошо в два голоса петь популярные советские песни...»

Илья Смирнов. Затянувшееся десятилетие. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

«Я не считаю повесть [Романа] Сенчина [„Минус“] шедевром — средний уровень того, что называли в XIX веке „натуральной школой“ (хотя на современном фоне тогдашний средний уровень вздымается в гималайские выси). Но главное: в повести присутствует осознание ненормальности происходящего, равно как и „тоска по лучшей жизни“, и стремление доискаться до той „невидимой руки“, которая превратила людей (честно работавших, читавших книжки, растивших детей) в рыночный субстрат и пьяную скотину...» См. также: **Мария Ремизова**, «К вопросу о классовом антагонизме» — «Новый мир», 2002, № 2.

Сталин ругал Ленина, а Есенин испугался своей болезнью. Публикация Веры Кондратович. Вступительное слово Инны Борисовой. — «Новая газета», 2002, № 21, 25 марта.

Из «Новомирского дневника» **А. И. Кондратовича** (не публиковавшиеся ранее фрагменты): «19/VI — 69 г. <...> Теперь произведена новая реформа, по которой ссылаться на Главлит нельзя под угрозой административного взыскания. Но этот параграф с угрозой не зачитывался даже на совещании в ЦК. О нем не упоминалось ни на одном из совещаний. Он существует как секретный только в сферах работников Главлита. Но существует ли он? Иезуитство нашего времени. А пошло от Хрущева.»

Олег Сулькин (Нью-Йорк). Фандорин в Голливуде. — «Итоги», 2002, № 11, март <<http://www.itogi.ru>>

Режиссер **Пол Верхувен** готовится экранизировать роман «Азазель»: «Я прочитал его в четырех переводах: на французском, голландском, немецком языках и немного на итальянском. <...> Этот стиль я не встречал уже много-много лет. Новаторский подход к детективу, типологически вырастающему из Агаты Кристи. <...> Некоторые писатели работают грубовато, резко, а у Акунина перо мягкое, словно фетровое. <...>»

«Я бы не хотел быть таким, как Фандорин. Я бы хотел быть счастливым, а Фандорин, в общем, несчастлив — каким романтический герой и должен быть. <...> [Этот] герой, с моей точки зрения, воплощает не типические национальные черты, а дефицит этих черт. Это как отношения инь и ян — тянешься к тому, чего в тебе нет. В Фандорине есть то, чего нет в русском человеке, — соединение британского джентльмена и японского самурая», — говорит **Григорий Чхартишвили (Акунин)** в интервью «Новой газете» (2002, № 23, 1 апреля).

«Возьмусь утверждать: произведения Акунина — агитпроп, это заново возникающая на постсоветском пространстве жестко идеологизированная литература. Предмет обличения — Россия и русские. Предмет восхищения — кодекс либеральной чести господина Фандорина, потомка крестоносцев. Поскольку Фандорин разных исторических эпох един во всех своих обличиях, не стоит обращать внимания на разные имена (Эраст и Николас. — *А. В.*) — не в них суть», — пишет **Юрий Самарин** («Фандорин как представитель Гаагского трибунала» — «Литературная Россия», 2002, № 14, 5 апреля).

«А Фандорин — просто козел», — считает режиссер **Алексей Балабанов** («Итоги», 2002, № 11 <<http://www.itogi.ru>>).

Григорий Тельнов. Суд нашел в ИНН «число дьявола» — 666. — «Русский Вестник». Еженедельная газета. 2002, № 10-11.

Перепечатка из газеты «Жизнь» (2002, 4 марта). «Федеральный суд [города Приозерска Ленинградской области] впервые официально признал, что штрихкод каждого идентификационного номера налогоплательщика содержит три шестерки. <...> Более того: именем Российской Федерации суд обязал налоговую инспекцию признать недействительными ИНН тех истцов, которые ранее получили индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, и обезличить выданные им ИНН».

«<...>Что касается проблемы ИНН, сопутствующих номеров, личных кодов, мы считаем, что такой личный код — это нарушение прав человека», — говорит **Александр Чуев**, заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций («Время МН», 2002, № 50, 22 марта).

Виктор Топоров. Несуществующий водораздел. — «День литературы», 2002, № 3, март.

«В каждой литературе наряду с национально ориентированными имеются космополитически настроенные писатели, гуманисты соседствуют с человеконенавистниками, люди набожные — с атеистами и агностиками, представители коренного этноса — с

инородцами и иммигрантами, — но все это в своей совокупности и является национальной литературой, нравится это кому-то или нет».

Виталий Третьяков. Воссоединение Европы (со своей частью Россией). Тезисы выступления на коллоквиуме в ФРГ. — «Независимая издательская группа» <<http://www.nigru.ru>>

«Я рассматриваю Европу (Западную) и Россию как „разделенную нацию”».

«<...> перед лицом исламского и американского фундаментализмов пора вспомнить о некоторых традиционных, а не только либеральных ценностях Европы».

«Действовать нужно стремительно и радикально».

Федерико Феллини, Шарлотта Чэндлер. Мой трюк — режиссура. Перевод с английского В. Бернацкой. Рисунки Федерико Феллини. — «Искусство кино», 2002, № 1, продолжение следует <<http://www.kinoart.ru>>

Фрагменты книги «I, Fellini». См. также фрагменты книги — «Иностранная литература», 2002, № 3; «Новая газета», 2002, № 16, 7 марта. См. также: **Федерико Феллини, Шарлотта Чэндлер**, «Я вспоминаю». Перевод В. Бернацкой, Н. Пальцева (М., «Вагриус», 2002, 443 стр.).

Фрэнсис Фукуяма («*The Wilson Quarterly*»). О моральном возрождении современной Америки. Перевод Юрия Колкера. — «Интеллектуальный Форум», 2002, № 8, февраль <<http://if.russ.ru>>

«Сегодня религиозные консерваторы могут возразить [Ницше], что нигде в мире (кроме самой Европы) Бог не умер».

Алексей Цветков. Человек стиля и его лефортовский год. Заключенный Лимонов. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

«Мы имеем дело не с политической, а с экзистенциальной оппозицией, своеобразной версией социального гностицизма, что отнюдь не означает ее несерьезности и безопасности для системы, в отдельных ситуациях — скорее наоборот».

«<...> В этом смысле Лимонов — западник, тут крайне правые со своим „нюхом” правы как никогда. Просто он не западник НАТО, МВФ, экономики Фридмана — Хайека и повсеместных Диснейлендов, а западник традиций гражданской самостоятельности — вспомним Паунда, Бретона, Пазолини, поголовную „левизну” сюрреалистов, поголовный „фашизм” футуристов, да и нынешних: Чака Паланика, Стюарта Хоума, Бена Элтона, Наоми Кляйн и прочих литераторов, скопом записываемых в „антиглобалисты”».

«Меньше всего [национал-большевистская] партия [Лимонова] похожа на фэн-клуб и больше всего — на армию без оружия».

Ср.: «Министру культуры Михаилу Швыдкому. <...> То, что я сижу в тюрьме, — позор правительству, которого Вы, господин Министр, являетесь частью. <...> Помимо всего я еще гражданин Франции, и в январе о моем аресте стало известно президенту Жаку Шираку (курсив мой. — А. В.). <...> С уважением, Эдуард Лимонов (Савенко)» (из открытого письма заключенного «национал-большевика» — «Литературная газета», 2002, № 13, 3 — 9 апреля).

Андрей Чернышов. Вечные мифы России. Почему захлебнулась антисталинская кампания. — «Знание — сила», 2002, № 2 <<http://www.znanie—sila.ru>>

«Представим себе такую ситуацию: главный противник тирана Ивана Грозного князь Андрей Курбский доживает до начала XVII века и вместе с польскими войсками прибывает в Москву. Кремль занят поляками, на русском престоле утверждается самозванец Дмитрий. А престарелый князь денно и нощно собирает народ на Красной площади и рассказывает ему об ужасах тирании Грозного, несправедных казнях бояр, безумии бывшего царя...»

Ольга Шамборант. Я этот день люблю, как День шахтера... — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Я и сейчас убеждена, что дьявол, к примеру, не страшен, а омерзителен. Не ужас, а тошнота».

Яков Шаус. Уравнение без неизвестных. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, № 17-18 (140).

«Создание этой книги [„Двести лет вместе”] Александром Исаевичем Солженицыным не удивляет. Не потому, что лауреат Нобелевской премии по литературе давным-давно пишет не прозу, а слегка беллетризованные исторические трактаты, претендующие на исчерпывающее объяснение российских катаклизмов XX века, — и новый труд находится в том же жанровом русле...» Стоп. Во второй половине 90-х годов Солженицын напечатал в «Новом мире» кроме мемуаров и крохоток «Два рассказа» — «Новый мир», 1995, № 5; «Двучастные рассказы» — «Новый мир», 1995, № 10; «На изломах».

Двучастный рассказ — «Новый мир», 1996, № 6; «Желябугские выселки. Двучастный рассказ» — «Новый мир», 1999, № 3; «Адлиг Швенкиттен. Односубъектная повесть» — «Новый мир», 1999, № 3. Далее читать статью Шауса почему-то не хочется.

См. также: Валерий Каджая, «„Дело Бейлиса” и Александр Солженицын» — «Новое время», 2002, № 2936, 24 февраля <<http://www.newtimes.ru>>; Лазарь Шерешевский, «Еврейские глаза Петра Чаадаева» — «Общая газета», 2002, № 11, 14 марта; Петр Калинин, «О русско-еврейском тождестве или абсурде» — «День литературы», 2002, № 3; Валерий Каджая, «Те, которые во всем виноваты» — «Общая газета», 2002, № 13, 28 марта; Юрий Арабов, «Место, где нет еврейской проблемы» — «Общая газета», 2002, № 13, 28 марта; Валентина Твардовская, «За и против истории» — «Общая газета», 2002, № 14, 4 апреля; Борис Альтшулер, «О книге А. И. Солженицына „Двести лет вместе”» — «Русский переплет» <<http://www.pereplet.ru>>

Роман Шебалин. На грёбе скучного успеха. — «День литературы», 2002, № 3, март. «Хоббитам [в фильме „Властелин колец”] повезло. Они, правда, все почему-то оказались слегка похожи на евреев (особенно Фродо)».

«[Монтаж] еще более ужасен, чем гном, прыгающий на могиле собственного предка».

«Хочется спросить: зачем спасать такой скучный мир (с тряпичными задниками на общих планах)?»

Вячеслав Шептуха. Не «священная» и не «народная». — «Общая газета», 2002, № 11, 14 марта <<http://www.og.ru>>

«Тем интересное соотношение повесть [Аркадия Бабченко „Алхан-Юрт” — „Новый мир”, 2002, № 2] с другими произведениями, продолжившими в свое время в русской литературе традицию „военной прозы”...»

Олег Шишкин. Анна Каренина II. Драма в двух действиях. — «TextOnly», 2002, № 9, февраль <<http://www.vavilon.ru/textonly/issue9/index.html>>

«Дома у Карениных. Алексей Александрович Каренин входит в комнату, где спит в специальном кресле-коляске перебинтованная Анна. Она уже имеет несколько меньше бинтов. Отчетливо видны: правая рука, заканчивающаяся культей, левая нога, заканчивающаяся культей, и перебинтованный черной лентой глаз».

Алексей Шмелев. Нужен ли новый «Свод правил правописания»? — «Отечественные записки», 2002, № 2.

«Дело осложняется еще и тем, что в настоящее время значительно меньше стало рычагов, которые позволили бы навязать людям правописание, вызывающее у них протест. Даже если новые правила будут утверждены самыми высокими инстанциями, это приведет к тому, что правила станут обязательны для преподавания в школах России. Но заставить издателей или корректоров следовать этим правилам можно только в том случае, если они будут внутренне убеждены в том, что это „хорошие” правила. А ведь следует учитывать, что русский язык имеет официальный статус (и преподается в школах) и за пределами России (например, в Белоруссии, Киргизии, Молдавии). Для тамошней системы образования российские органы власти не указ, так что и в школьное преподавание новые правила можно будет ввести только при условии, что они не будут вызывать неприятия с самого начала».

См. также: Владимир Лопатин, «Русская орфография: задачи корректировки» — «Новый мир», 2001, № 5; Максим Кронгауз, «Жить по „правилам”, или Право на старописание» — «Новый мир», 2001, № 8; Лев Скворцов, «„Одежда языка” или запечатленный „образ слова”? К нынешним спорам о реформе русской орфографии» — «Русский Вестник», 2001, № 38-39 <<http://www.rv.ru>>; Сергей Волков, «Стране нужна орфографическая конституция» — «Известия», 2002, № 18, 1 февраля <<http://www.izvestia.ru>>; Людмила Ахременкова, «Певец Давид и резвушка Маша» — «Московский литератор», 2002, № 7, апрель; а также тематическую подборку статей в журнале «Отечественные записки» (2002, № 1 <<http://www.strana-oz.ru>>).

Василий Шульгин. Мистика. Предисловие Андрея Воронцова. — «Наш современник», 2002, № 3.

«Щетка», «Три цыганки» и другие короткие мистические истории из жизни легендарного В. В. Шульгина (1878 — 1976). Цикл рассказов печатается в журнальном варианте, с сокращениями.

Владислав Шурыгин. Война, брат! — «Завтра», 2002, № 13, 26 марта.

«Фильм [Алексея] Балабанова [„Война”] — это <...> ведро ледяной воды, которым с утра брезгливо окатывают загулявшего и уснувшего под забором мужика. Приди в себя! Протрезвись! Вставай!»

Ср.: «Кино Балабанова [„Война”] — абсолютно бесчеловечно, в самом нейтральном, безоценочном смысле слова: человека в нем нет» (Дмитрий Быков — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovt>).

«Я считаю, что наш народ хороший: мощный, сильный, — говорит режиссер **Алексей Балабанов**. — Мне нравится. Мне нравится русский язык, мне нравится моя страна. Мне нравится жить здесь. <...> Я люблю Фолкнера» («Итоги», 2002, № 11 <<http://www.itogi.ru>>).

«**Это европейская культура призывает вас умереть**». Беседа Ирины Врубель-Голубкиной с математиком Михаилом Дезой. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, № 17-18 (140).

«**М. Д[еза]:** Я считаю, что враждебность по отношению к еврейству больше всего идет от католического мира и его современных последователей. <...> Да, был и Лютер, и есть страшные жидоненавистники в исламе, и все-таки я не чувствую в них такой страшной ненависти, как у католиков, я, который любил Францию и который сейчас ее не любит, потому что увидал, что у нее в глубине».

Кирилл Якимец. Поднебесная Россия. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Речь здесь идет, таким образом, не об идеологической модели („Россия — Евразия”), а о свойственной большинству россиян модели восприятия, согласно которой Россия находится в центре мира. И если американцы за статус „пупа земли” активно борются, мы этот статус за собой *чувствуем* — точно так же, как чувствуют его за собой китайцы».

Игорь Яковенко. В чем ошибся Хантингтон? Монолог культуролога. Записала Галина Бельская. — «Знание — сила», 2002, № 1.

«Православие прямо создано для коммунизма, одно соответствует другому. <...> Мы стали свидетелями интереснейшего и драматического процесса — ухода с исторической сцены православной цивилизации. Она полностью проиграла». См. также: «Россия, как это ни больно, проиграла XX век. Не „холодную войну”, хотя и ее тоже, она проиграла весь XX век!» (беседа с **Игорем Яковенко** — «Огонек», 2002, № 11, март).

Ср.: «Если мы будем сидеть сложа руки, то через поколение никто не вспомнит, что была такая Россия, — говорит политолог **Михаил Делягин** («Огонек», 2002, № 10, март <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>). — <...> Боюсь, наше будущее весьма недемократично. Общество уже дошло до такой степени деградации, что демократические методы управления недостаточны. Проблема в том, что мы входим в мировую конкуренцию полностью деморализованными. Попытка Путина — последняя попытка цивилизованной мобилизации общества».

Ср.: «Современной боеспособной военной организации в России попросту нет. <...> Конечно, банальным было бы ожидать, что завершение „холодной войны” может быть зафиксировано, скажем, подписанием акта о перемирии в железнодорожном вагоне (Компьен, ноябрь 1918 г.) или подобием унижительной процедуры капитуляции (другой не могло быть по определению) в актовом зале военного училища (Карлхорст, 1945 г.). Тем не менее дату окончания „холодного” противостояния уже сегодня можно определить достаточно точно — 13 декабря 2001 г. Напомним, именно в этот день президент США Джордж Буш заявил о предстоящем выходе Америки из Договора по ПРО 1972 г.», — пишет **Михаил Ходаренок** («Участь побежденных» — «Независимая газета», 2002, № 48, 14 марта).

Ср.: «<...> Как выяснилось, значительный [российский] ядерный потенциал оказался <...> великолепным гарантом проведения Россией назревших реформ политической и экономической систем, не позволив Западу решить окончательно этот самый острый для него вопрос онтологической борьбы. Дальнейшее развитие России преворачивает радикальнейшим образом весь тезис западного пиара о якобы победе в „холодной войне”. Победой в онтологических поединках может считаться только окончательное исчезновение противника с „большой доски” (если пользоваться терминологией Бжезинского). Получили же они — динамичную, быстроразвивающуюся, „зубастую” и изголодавшуюся по успехам Россию», — пишет **Игорь Джадан** («Данилевский о глобализации» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>).

Алла Ярхо. Пруст среди моря дерьма. — «Знание — сила», 2002, № 2.

«Доктора наук переквалифицировались в бизнесменов не только потому, что у них не было вариантов выживания. Вернее было бы сказать, что, живи они в других обстоятельствах, они вообще не стремились бы в науку, а сразу выбрали бы бизнес».

«Арион», «Вопросы истории», «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь»

Михаил Айзенберг. Не плотнее ветра. Стихи. — «Знамя», 2002, № 3 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

Неспроста от зеркала отпрянешь ты.
Посмотри: ты сам какой-то пряничный.
Мы и сами пряники печатные,
каждый каждому племянники внучатые.
Затвердели речи, как пословица,
так и ждешь, когда они обломаются.

В конце номера, в рубрике «Конференц-зал», публикуются *речи* лауреатов премии журнала «Знамя» за 2001 год. Первым говорил Михаил Айзенберг: «На мой взгляд, „поэзия“ — одно из тех слов, значения которого никак не определены заранее и порой несовместимы. При знакомстве с новым автором мы узнаем еще одно значение этого слова. Видимо, в моем случае для этого понадобился как бы второй динамик, и им стал текст, условно прозаический. Но если это упрек, то обратиться с ним я могу только к самому себе».

Рыгор Бородулин. Письма в Хельсинки. Стихи. С белорусского. Перевод Ивана Бурсова. Предисловие и *рисунки* (курсив мой. — П. К.) Василя Быкова. — «Дружба народов», 2002, № 3 <<http://magazines.russ.ru/druzhiba>>

«Пастух небесный — ветер кочевой, / Дай тучам хоть на миг остановиться, / Дай насладиться / Светлой тишиной, / Которая в изгнание / Другу снится».

Написаны эти строки (а это действительно письма в стихах) в 10-й больнице города Минска...

Василь Быков. Короткая песня. Рассказ. С белорусского. Перевод автора. — «Дружба народов», 2002, № 4.

Се мастер. *Ecce homo*. У кого там «литература умерла»? Или, может быть, это просто из серии «про войну»? Что нам напишут господи критики?

«Женщина, что некогда была твоей и стала не твоей, снова твоей не будет». Это из рассказа.

Дмитрий Быков. Достоевский и психология русского литературного Интернета. — «Октябрь», 2002, № 3 <<http://magazines.russ.ru/October>>

Публикация, завершающая подборку из шести докладов на Международном юбилейном симпозиуме «Достоевский в современном мире. 1821 — 2001». Перед Быковым были — И. Волгин («Ничей современник»), И. Золотусский («Записки сумасшедшего» и «Записки из подполья»), П. Николаев («Амбивалентность художественного сознания Ф. М. Достоевского»), А. Цветков (*не «мл.»*. — П. К.) («Достоевский и Эйн Рэнд»), И. Виноградов («Религиозно-духовный опыт Достоевского и современность»).

Из Быкова: «Напоследок зададимся вопросом: как отнесся бы к Интернету сам Достоевский? Вероятнее всего, он начал бы размещать там „Дневник писателя“, стал бы объектом разнуданной травли, вязался бы в некоторое количество сетевых перепалок и написал бы о сетевых нравах замечательный роман „Юзер“. Не исключено, что после первых же выпусков сетевого „Дневника“ он запаролит бы свою гостевую от особенно яростных оппонентов и тут же соскучился бы со своими адептами. Возможно, почувствовав себя голым, доступным для всеобщего обсуждения и обозрения, а заодно серьезно разочаровавшись в умственных способностях читающей России, он испытал бы затяжной творческий кризис, на который жалуются многие постоянные посетители Интернета. Так или иначе, трудно сомневаться в том, что в самом скором времени Рулинет стал бы для него таким же нарицательным термином, как „абличительная литература“ <...>»

Роман Волков, Сергей Чугунов. Сказ и сказка. Предисловие Андрея Дмитриева. — «Знамя», 2002, № 3.

«Возможно, русский литературный язык последнего и, на мой взгляд, очень плодотворного десятилетия при всей своей изощренности и относительном разнообразии стал понемногу окостеневать. Сказ в какой-то степени может его размять и встряхнуть» (из предисловия).

Авторы — молодые люди. Обоим по 23 года, живут в Пензе, служат отнюдь не скomorохами: Волков — в Минфине, Чугунов — в Исправительной колонии. Участники Форума молодых писателей России (2001). Сочинения у них вышли прелюбопытнейшие.

Геопозтика и географика. — «Октябрь», 2002, № 4.

В рубрике «Путевой Журнал» (ведущий Андрей Балдин) восемь человек... как бы это поточнее... музицируют, что ли? За пюпитрами: медиевист, журналист-путеше-

ственник, географ, писатель, художник, эссеист, эколог. От Волги до Амура, от слова ДИНАМО до ГРАДОРЕЧИЯ.

«Не будет преувеличением сказать, что книга есть географическое произведение текста <...> География России: расширение сердца, напряженная пустота, пневма. <...> Меня интересует география жизни» (Дмитрий Замятин, географ).

«Понятно, что академическая метафизика строится по преимуществу на материале средневековья — как эпохи, преподнесшей Богу солидарный адрес. Эссеистическая метафизика — в равной мере на материале Средних и Новых веков, ибо Бог не перестает адресоваться к человеку и тогда, когда человек перестает адресоваться к Богу» (Рустам Рахматуллин, эссеист).

Владимир Губайловский. Поверх барьеров (взгляд на русскую поэзию 2001 года). — «Арион», 2002, № 1 <<http://www.arion.ru>>

«В сегодняшней поэзии нет андеграунда, потому что нет истеблишмента. <...> Писать и думать о поэте интереснее, чем о поэзии. <...> Поэзия не есть некая объективная данность — она представима только в творчестве отдельных поэтов. Она не объективируется даже в мифологеме. Парнас опустел».

Владимир Губайловский. Усиление смысла. Заметки о современной поэме. Максим Амелин. Глеб Шульпяков. Дмитрий Быков. — «Дружба народов», 2002, № 4.

Уточню, что зачином этих размышлений явилось припоминание поэмы Олега Чухонцева «Однофамилец. (Городская история)» (1976, 1980).

Завершая свой анализ, поэт и критик пишет: «О чем написаны эти поэмы? Зачем они? Это — попытка схватить ускользающее бытие и утверждение невозможности и необходимости этого. Это — попытка отыскать не слова, а исчезающе малые обертона, которые возникают между слов и которые можно удержать только поэмой. Это — попытка преодолеть распад <...>».

Георгий Дерлугьян. Мир на сломе эпох. Чечня и Татарстан в перспективе всемирной истории. — «Дружба народов», 2002, № 3.

«В этой статье я насколько мог избегал усложненного научного языка и при этом вводил необходимые, по моему убеждению, исторические сравнения, позволяющие читателю почувствовать фактуру длительной истории (броделевское *longue durée*) и мир-системный анализ (*world-systems analysis*). Такое структурно организованное и взаимосвязанное чувство истории — лучшее средство от нечистой силы, а следовательно, и основа для сознательного принятия решения. Это также альтернатива писанию патристических историй, которые обречены быть идеологическим жанром, подчиненным оправданию или обличению властей».

Елена Долгопят. Рассказы. — «Дружба народов», 2002, № 3.

Пять нежных, горьких, фантастических сцен-этиюдов, почему-то (вынужденно?) названных рассказами.

«<...>Когда я стану старухой, всякое может случиться. Уйду из дома и не вернусь, забыв, что у меня есть где-то дом. Войду в электричку, сяду с краю и поеду в Загорск.

Войдет нищий или просто пьяный, развернет гармошку или проведет по струнам дрожащей рукой, и звук всех встревожит.

„По дороге в Загорск...”

И я буду слушать, как все. Заплачу, наверно.

Ничего во мне не останется под старость, ничего, кроме нескольких песен, из которых только и состоит человек» («Песни»).

За поклон покойному Евгению Блажеевскому — спасибо. «По дороге в Загорск» — это ведь его «блудная дочь», песня, давно ставшая народной.

Леонид Дранько-Майсюк. Характер Армении. Поэма. С белорусского. Перевод Викторией Соколовой. — «Дружба народов», 2002, № 4.

«<...>Всюду по отрогу соломенно золотела верблюжья колючка, скромно хвастались зелеными иголками маленькие елки.

Оплетенные низкорослым шиповником, громоздились почти кубические, синеватого оттенка базальтовые глыбы.

Казалось, из последних сил держалась за обрывистый склон дикая слива, и так же натужно напрягал свои древесные мышцы густолистый орех.

А тем временем в Макраванк шел человек с мешком за плечами; шел красиво и важно неслышной поступью апостола.

Человек запасал на зиму груши<...>»

Это Дружба народов. Снимите шляпу и приложите ее к груди.

Даур Зантария. «Все стало чуждо, и роднее звездный купол». — «Знамя», 2002, № 3.

Несколько чудесных новелл. «<...> Но что он знает о рае, малограмотный пастух? Дверь в рай, она совсем невообразима для меня, прочитавшего так много книг. Разве что дверь в рай — это моя усталость. Потому что, как говорят эти книги, там повсюду журчит вода, как и тут, внутри свирельной трели. Лежу на альпийском лугу, обняв одесную овцу, а волка — ошую, и вместе мы внимаем пастушьей свирели» («Свирель»).

Следом «Знамя» публикует пронзительные воспоминания **Марины Москвиной** «Житие Даура Зантарии, колхидского странника».

Р. С. Мы познакомились с Дауром за неделю до его финального инфаркта. Уходя от нас, он забыл длинный зонт. Очень похожий на хозяина: красивый, *благородный* и, если присмотреться, очень изношенный.

Елена Иваницкая. Утверждение высоты. — «Дружба народов», 2002, № 4.

Рецензия на двухтомник Лидии Чуковской, включивший в себя четыре неизвестных читателю книги, в том числе — «Дом поэта» (полемика со «Второй книгой» Н. Мандельштам).

«„Несчастья дают людям определенные права“, — писал Вольтер, подразумевая, что это права на помыслы, слова и действия не самого лучшего плана.

Надежда Мандельштам — ими воспользовалась, это нередко вызывает шок, но вместе с тем и какое-то растравленное понимание. Лидия Чуковская такими правами не воспользовалась. Это вызывает безоговорочное уважение».

Наталья Иванова. Циклотимия. Поверженный рай. (Олег Чухонцев. «Фифа». — «Новый мир», 2001, № 11). — «Арион», 2002, № 1.

«Сейчас, как мне кажется, время поэтических циклов».

Бахыт Кенжеев. Оберег против века. (Рецензия на книгу Юрия Кублановского «Дольше календаря», 2001). — «Знамя», 2002, № 3.

«В книге главенствует нечто, что я бы назвал грустной мудростью. Пугающее своей откровенностью смирение. <...> Все мы в конечном итоге „неизвестные солдаты“ <...>».

Бахыт Кенжеев. На букву «ы». — «Октябрь», 2002, № 3.

.....
 Давно ли тихий Франц — изгоем в сбритых пейзажах —
 скитался в пиниях и кирхах европейских,
 где не с кем переспать и спирта выпить не с кем?
 Ему бежать бы к нам, Толстым и Достоевским,
 где кляча рыжая бежит в предсмертном мыле —
 вот расписался бы, покуда не убили...

Анна Кузнецова. Роман с цейтнотом. — «Знамя», 2002, № 3.

Очень познавательно. Многим *обозревателям* досталось. Главный упрек: оперативная критика (в том числе наша «Периодика») чаще всего неизбежно поверхностна. Цитирую: «Может, действительно, жизнь интереснее художественных вымыслов и колумнистам стоит ограничивать обзоры тем, что их радует и раздражает на самом деле? А романы им лучше вообще не замечать. Лучше потом, когда будет время читать (если будет), посвящать им отдельные обзоры — или вовсе оставлять без внимания, без поверхностного внимания».

Может быть. Только этого не будет. Кто-то же должен замечать. А что до поверхностности, то тут легко ошибиться и стать «читателем в сердцах». И потом: разве художественный вкус критика так уж прямо пропорционален жанру (мини-рецензия, аннотационный отзыв, впечатление etc.)?

Л. Б. Красин. Письма жене и детям. 1917 — 1926. — «Вопросы истории», 2002, № 1, 2, 3-4.

Этот блок писем уже из России — в Швецию, где нарком путей сообщения Красин держал свою семью «до лучших времен».

«Кто бы мог думать, что баварцы, пивные баварцы, учредят у себя в Мюнхене советское правительство (речь идет о так называемой Баварской Советской Республике, просуществовавшей с апреля по май 1919 года. — *Л. К.*) и додумаются до столь большевистских методов, как взятие 30 заложников из буржуазии. <...> Поистине гениальную прозорливость проявил Ленин, увидавший события за 2 — 3 года раньше, чем кто-либо. Его уверенность в неизбежности подобного же развития для остальной Европы — также лишний аргумент в пользу высказанного <...>» («Вопросы истории», 2002, № 3).

А заложников советские баварцы тогда же и расстреляли.

В феврале 1923 года Красин (именем которого уже поназывали электростанции и заводы) писал из Москвы: «Тут либо надо быть в какой-то вечной противной охоте за

всякими случаями и способами, чтобы если и не улучшить, то хоть удержать на прежнем уровне автоматического ухудшающегося из-за растущей дороговизны положение, либо стоически вести спартанский образ жизни, вроде Фрумкина, который чуть-чуть не уморил жену, предоставив ей рожать в какой-то демократической лечебнице, не умея и не желая пойти в какую-то инстанцию, попросить несколько бумажных миллиардов<...> («Вопросы истории», 2002, № 4).

Леонид Костюков. Абсолютно всерьез. О поэзии Кирилла Медведева. — «Дружба народов», 2002, № 3.

«И тогда я поставил еще один [опыт], потребовавший от меня всей моей фантазии целиком.

Сойдемся на том, что метр и рифма — не корневые признаки поэтического текста, а лишь его оперение. Как медведь в перьях не становится птицей, так и нечто, снабженное метром и рифмой, становится лишь рифмованным нечто. В лучшем случае статьей в стихах или рассказом в стихах, если уже были статьей или рассказом. Подытожим, что метр и рифма не добавляют поэтического содержания к *исходнику* (курсив мой. — П. К.), а лишь помогают его выявить, как фермент помогает пищеварению. Так вот, стихи Кирилла Медведева, мысленно транспортированные в традиционную силлаботонику, становятся стопроцентными, сверкающими стихами. Стало быть, они были ими с самого начала».

Похоже на стопроцентное камлание, но вообще-то — здорово.

Георгий Кубатьян. Не насытится око зрением. Заметки о Параджанове. — «Дружба народов», 2002, № 4.

«Мне сдается, припела пора демифологизировать уникального кинематографиста. Пусть он и любил карнавные наряды, грим и маски, нынче важнее мало-помалу снять их с него».

Илья Кукулин. Прорастание отдельных слов в задымленных руинах. — «Дружба народов», 2002, № 3.

Над текстом, по правому краю, курсивом: «*Посвящается Андрею Сен-Сенькову, Даниилу Кислову, Хамдаму Закирову, Шалве Бакурадзе и всем другим живущим в разных странах мира писателям — беженцам и переселенцам, а также памяти писателя-беженца Даура Зантарии.*

Из текста: «Еще есть авторы, пишущие на том или ином языке, которых в СССР никто никогда особенно не воспринимал как „национальных“. Самый яркий пример — Василь Быков. <...> Это теперь, когда Быков оказался в оппозиции режиму Лукашенко и живет в Германии, его надо учиться воспринимать заново — не как „писателя о войне“ и не как „вообще писателя“, а как писателя белорусского и общечеловеческого — а не внутрисоветского».

Юргис Кунчинас. Передвижные Röntgen'овские Установки. История болезни и любви. С литовского. Перевод Г. Ефремова. — «Дружба народов», 2002, № 4.

Такой прибалтийской — густо-эклетичной, отвязанной — прозы я не читал со времен приснопамятного журнала «Родник».

Александр Кушнер. Заметки на полях. — «Арион», 2002, № 1.

Я воспринимаю эти заметки («Баратынский и грамматика», «Новая рифма», «Современники» и «Название для книги») как части будущего сборника, вроде любимого мной «Аполлона в снегу». В нынешней четверке маленьких эссе одно для меня особенно примечательно. Впрочем, о Чуковском-поэте, его уникальной звукописи, вобравшей в себя, в частности, русскую поэзию XIX века, Кушнер писал еще в «Аполлоне...». Писал прозой, вкрапляя примеры. Ставя рядом «Вдруг откуда-то летит маленький комарик...» (из «Мухи-Цокотухи») и эпиграмму Дениса Давыдова на Чаадаева.

Здесь — «Современники» — это маленькая поэма, открывающаяся полушутливым приглашением *расслышать эхо* ранней стихотворной сказки «Крокодил» (1917) — в поэме Блока «Двенадцать», — и завершающаяся стихом-вглядыванием в известную фотографию Наппельбаума («Фотография есть, на которой они вдвоем: / Блок глядит на Чуковского. Что это, бант в петлице?..»).

А посередине — то, о чем в свое время осторожно писали литературоведы (см.: например, Гаспаров Б. М., Паперно И. А. «Крокодил» К. И. Чуковского. К реконструкции ритмико-семантических аллюзий. Тарту, 1975). Кушнер монтирует стихи из двух поэм так убедительно, что поневоле хочется найти (пока их нет) какие-нибудь документальные свидетельства влияния поэзии Чуковского на Блока.

Гуляет ветер. Порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Через болота и пески
Идут звериные полки.

И так — на полторы страницы. Это, на мой взгляд, самый *чукский* подарок к 120-летию писателя, дня рождения которого, как справедливо написал **Дмитрий Быков** в «Русском Журнале» («Быков-quickly: взгляд-33»), «почти никто не заметил».

Л. С. Леонова. Владимир Иванович Вернадский. (Из серии «Исторические портреты»). — «Вопросы истории», 2002, № 4.

Ох и метался же В. И. между молотом событий и наковальной впечатлений! Леонова пишет в финале своего очерка: «Желание покинуть СССР охватывало Вернадского, когда он сталкивался с насилием над свободной мыслью, с бюрократизмом: „Вчера чувствовал унижение жить в такой стране, где возможно отрицание свободы мысли. Ярко почувствовал, что помимо всего прочего хочу прожить и кончить жизнь в свободной стране. Я подумал в этой печальной обстановке — надо ехать в США”. Это он фиксирует у себя в дневнике в мае 1944-го. Но потом как будто головой встряхнет и, по Леоновой, заметит «огромные достижения в СССР — рост экономического и культурного потенциала, успехи в развитии науки, вовлечение всех народов многонационального государства в строительство нового общества, независимость великой страны, ее международный авторитет». И — раз! — напишет, впечатленный, своему сыну в Штаты, что пора бы тому приехать, увидеть «новую Россию». Все в том же мае 1944-го.

Инна Лиснянская. Вдали от моря. — «Арион», 2002, № 1.

...Тут-то и слышится времени перегон
В новый потоп на быстром нашем веку.
Глупая мысль приходит к тем, кто умен,
Что же приходит в голову дураку?

Ну для чего мне вообще какой-либо ум,
Если я вижу потопной воды круги?
Под дождевой, почти барабанный шум
Я безусловно встала не с той ноги.

Читая подборки Лиснянской, опубликованные в толстых журналах в этом году, ясно видишь новую книгу, один из лучших ее сборников. См. о ее поэзии статьи **Дм. Полищука** и **В. Цивунина** в шестом номере «Нового мира» за этот год.

А. Б. Миндлин. Проекты Объединенного дворянства России по «еврейскому вопросу». — «Вопросы истории», 2002, № 4.

«В течение почти всех десяти лет существования Объединенное дворянство в лице его комиссии по еврейскому вопросу, Постоянного совета и съездов уполномоченных дворянских обществ выдвигало антиеврейские законодательные предположения вплоть до полного изгнания евреев из страны. И ни один из десятков высказывавшихся дворян ни разу не поднял свой голос против таких проектов. Более того, любое предложение, возникавшее в Думе, направленное на облегчение участи евреев, дворянская организация встречала в штыки». К слову, в августе 1915 года шесть думских фракций объединились в Прогрессивный блок, поставивший целью «устранение розни между национальностями и классами». Дворянин Крупенский по поводу отмены ограничений для евреев высказался так: «Я прирожденный антисемит, но пришел к заключению, что теперь необходимо для блага родины сделать уступки для евреев. Наше государство нуждается в настоящее время в поддержке союзников. Нельзя отрицать, что еврей — большая международная сила и что враждебная политика относительно евреев ослабляет кредит государства».

И все это публиковалось в газете «Речь».

Анатолий Найман. Б. Б. и др. Роман. — «Октябрь», 2002, № 3.

Части 1-я и 2-я были опубликованы в журнале «Новый мир», 1997, № 10. В интервью Ирине Барметовой, следующем тут же, за его новой прозой, Найман недвусмысленно дает понять, что теперь вещь закончена.

Из прозы: «Я не испытывал к нему неприязни: от начала, от дней творения, жизни известно, что кому хорошо, что плохо, этому — это, а другому прямо наоборот, а ни этот, ни другой ничего про себя не знают и знать не могут, и, например, то, от чего Наймана и меня в Б. Б. с души воротит, то Б. Б. с его уникальной конституцией, с установкой органов восприятия на зеркальность, с огнеупорной задницей и челюстями, которые не берет кариес, — спасение, причем единственное».

Из интервью: «Я бы никогда не стал ничего писать о том человеке, которого суют в прототипы Б. Б. Мне это неинтересно, это меня не волнует, не заводит. Но относительно»

но моего героя — Б. Б. — я могу сказать: это личность довольно нечеловеческая и в отличие от многих „др.“ вызывает во мне не только симпатию, но и сердечное чувство».

Александр Неклесса. Момент истины. Заметки на полях постсовременной истории. — «Дружба народов», 2002, № 4.

«Я убежден, что для нас единственный способ войти в Современность — это вырастить в России современное сознание. Не бытие определяет сознание, а сознание — бытие. Не оттого у Макара мысли убогие, что живет он в грязной избушке. Наоборот, он не выстроил себе хороший дом (или хотя бы не прибрал в комнате и во дворе, не посадил рядом дерево) только по той причине, что думает убого».

Петр Образцов. Так бывает. Рассказы. — «Октябрь», 2002, № 4.

Дебют в прозе. Петра Образцова дотошный читатель может встретить среди персонажей романа Сергея Гандлевского «Трепанация черепа» и еженедельно — на страницах «Известий» (все, что касается науки, плюс «фирменная» вкладка «Экспертиза»). Не забудем и талисман домохозяек — выдержавшую многие переиздания книгу «Чепуха на прилавке» (М., 1998). А рассказы — емкие и лиричные, с терпеливо заведенной *пружинной* и с холодком наподобие того, какой остается во рту после утренней чистки зубов. Вероятно, это потому, что они о *жизни без любви*.

Евгений Попов. Мастер Хаос. Открытая мультиагентная литературная система с послесловием ученого человека. — «Октябрь», 2002, № 4.

Шрифты, кегли, выделения, цифры, схемы, пробелы. И ходы, ходы.

В общем, что поклонникам писателя хорошо, то компьютерным наборщикам... Шучу. И неужели конструктор «Лего» — тоже изобретение Попова?

«Автор благодарит за доброту и предоставление возможностей **Baltic Center for Writers and Translators** (Sweden, Visby), **Open Society Archives** (Hungary, Budapest), **Администрацию Самарской губернии** (т/х „Семен Буденный“), а также любого, кто прочитает эту книгу и передаст ее товарищу».

Л. Н. Пушкирев. Н. Бошковска. Русская женщина в XVII столетии. — «Вопросы истории», 2002, № 3.

«Заключает книгу анализ духовно-нравственных проблем в жизни женщины. Здесь рассматриваются образы писательниц, воспитательниц и ведьм».

Мария Ремизова. Мерзкая плоть. (Николай Кононов. Физиологический очерк). — «Дружба народов», 2002, № 3.

«Повесть „Источник увечий“ („Знамя“, 2001, № 11) представляет собой донельзя характерный образец литературы, *какой она не должна быть*. И дело даже не в том нравственном безобразии, каковое составляет сущностную основу текста. Дело в том, что текст абсолютно пуст — не фигурально, а в самом что ни на есть прямом, буквальном смысле. Но это не только вождельная постмодернистская пустота, служащая главной идеологемой направления, это пустота *par excellence*, пустота *нечистого* листа бумаги, открытого бессмысленными значками, лишь фиктивно означающими что бы то ни было».

Закопали кузнечика.

Борис Романов. Кентавр на Невском. (О творчестве Геннадия Алексева). — «Арион», 2002, № 1.

«Метафорические ходы его стихотворений иногда сюрреалистичны. В наши теряющие чувство стиля виртуально-постмодернистские дни они кажутся обычными. В шестидесятых — семидесятых, когда написаны, звучали небывало».

Ржавый танк, выползающий на gobелене из кустов рядом с пастушкой и пастушкой. Озеро, покрывающееся трупами солдат, как ряской».

А. Г. Сацкий. Федор Федорович Ушаков. (Из серии «Исторические портреты»). — «Вопросы истории», 2002, № 3.

От легендарного адмирала (1744 — 1817) не осталось ни мемуаров, ни дневников, ни записок. Только служебная переписка. Этого вполне хватило на драматический очерк. Надо только перетерпеть мириады цифр.

Стенограммы очных ставок в ЦК ВКП(б). Декабрь 1936 года. Публикация подготовлена Ю. Г. Муриным. — «Вопросы истории», 2002, № 3.

Очные ставки начали проводиться по требованию Н. И. Бухарина, после доклада Ежова «об антисоветских троцкистских организациях» — на пленуме ЦК ВКП (б), проходившем 4 и 7 декабря 1936 года. Кроме оговоривших Бухарина Е. Ф. Куликова, Л. С. Сосновского и Г. Л. Пятакова в этих «круглых столах» участвовали товарищи: И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, А. А. Андреев, Г. К. Орджоникидзе, А. А. Жданов и А. И. Микоян. О своем *последнем слове* (12 марта 1938 года), одном из самых поразительных *художественных текстов* в истории мировой

литературы, Бухарин тогда, естественно, не мог предположить даже в самом страшном сне.

«КУЛИКОВ — Николай Иванович, помните, у Кремлевской больницы, когда я передал вам, что ходят слухи о болезни Сталина, вы мне прямо сказали: ничего страшного, Сталин здоров как бык. Я совершенно откровенно об этом говорю. Вы даже говорили: напрасна вся ваша гуманность. Сталин сам никогда не уйдет. Сталина надо устранить. Это было в 1929 году.

БУХАРИН — Из чего складывается эта террористическая версия? Во-первых, как видите, из того, что я говорил: Сталин здоров как бык, и что я говорил: где же ваши крепкие люди.

Я это действительно говорил, потому что на меня углановская группа все время нажимала: что вы занимаетесь болтовней, или это чепуха, или нужно действовать.

ЕЖОВ — Бухарин, нельзя ли конкретнее о разговоре в 1932 г. с Куликовым?

БУХАРИН — Я действительно встретил в 1931 г. Куликова в переулке, где жил Угланов. Он взял меня под руку. Правильно и то, что я страшно субъективно эту историю переживал и даже плакал. Я разводил руками и говорил: что делать? Он говорил: ничего, нужно действовать. Я действительно спрашивал: где же у вас крепкие люди? Мы никогда не произносили слово террор, а говорили о твердых людях.

МОЛОТОВ — А что значит действовать? Ты в каком смысле это говорил?

БУХАРИН — Я ничего не говорил относительно действий».

Ольга Сульчинская. Найденные ключи. — «Знамя», 2002, № 3.

Дебют в прозе. Среди четырех «рассказиков» один — про метро. «На переходе с „Марксистской” на „Таганскую” на лестнице разбрызгана вареная вермишель. Побольше на нижней ступеньке, вверх по убывающей. Этот бедняга, которого вырвало на лестнице, мало того что пил какую-то скверную водку, так еще и закусить ему было нечем, кроме вареной вермишели. Какая скучная у него жизнь! У меня желудок сжимается от жалости к безвестному идиоту».

Кажется, эпизод допускает и варианты. Такие же непосредственные и «жизненные».

О. Л. Шахназаров. Старообрядчество и большевизм. — «Вопросы истории», 2002, № 4.

Самый фантастический текст (и по фактуре, и по интонации) из читанных мной в этом журнале. Автор — директор Компании социальных технологий и экспертизы (СОТЭКО), кандидат исторических наук.

«На смену основополагающему противоречию между РПЦ и старообрядчеством пришло противоречие между обновленной Русской православной церковью и Русской коммунистической церковью (РКЦ). В первой объединились верующие в Справедливость и Спасителя на небесах, во второй — в Справедливость и Спасителя на земле». Нет, еще, еще: «Принципиальное отличие политической партии от церкви заключается в том, что партия руководствуется настроениями в обществе, а церковь, наоборот, насаждает в обществе идеологию. Партийный курс непостоянен, зависит от многих переменных. Курс церкви неизменен, определяется догматическим учением. Партия озбочена преходящим, церковь — вечным. Политической партии как таковой уже не было в советской России 30-х годов. Существовали РКЦ и формировавшееся из ее иерархов правительство. Выполнившие свою миссию советы выродились в малозначимый придаток новой структуры власти».

Кто были эти люди во плоти? Рассмотрим в качестве примера человека, родившегося в 1902 г., — он по возрасту представлял поколение, пришедшее в 30-е годы на смену ортодоксальным марксистам<...>».

Тут директор СОТЭКО очень красиво подводит нас («В семье крестьянина <...> родился мальчик. <...> Жил скромно, говорил тихо <...> Его служебный лимузин передвигался со скоростью 40 км/час<...>») к товарищу... Суслову Михаилу Андреевичу.

Нет, все-таки Ленин — гриб.

Составитель Павел Крючков.



ЛИКБЕЗ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным

воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



АДРЕС: открытый литературный конкурс «Российский сюжет»: <http://konkurs.palmira.ru>



ДАТЫ: ок. 20 июля (1 августа) исполняется 180 лет со дня рождения поэта, критика, переводчика, драматурга Аполлона Александровича Григорьева (1822 — 1864).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июль

5 лет назад — в № 7 за 1997 год напечатана статья Татьяны Чередниченко «„Время — деньги” как культурный принцип».

10 лет назад — в № 7 за 1992 год напечатана повесть Людмилы Улицкой «Сонечка».

40 лет назад — в № 7 за 1962 год напечатана повесть Чингиза Айтматова «Первый учитель».

50 лет назад — в № 7, 8, 9, 10 за 1952 год напечатан роман Василия Гроссмана «За правое дело».

75 лет назад — в № 7, 8, 9, 10, 11, 12 за 1927 год напечатан роман Ал. Толстого «Хождение по мукам».

SUMMARY



The issue offers «The Angel of the Dead Sea», a short novel by Galina Shcherbakova, a selection of stories by Maria Loseva under the general title «The Gardening Cooperative Society», as well as «Down in the Pit» — a story by Mikhail Butov.

Poetry section contains new poems by Maksim Amelin, Sergey Vasilyev, Tatyana Voltskaya and Konstantin Mozgalov.

The other sectional offerings of this issue are as follows:

Close and Distant contains an essay by Dmitry Shevarov «The Life with the Windows Looking into the Garden», commemorating the curator of Chekhov's House in Yalta.

Philosophy-History-Politics presents an article by Renata Galtseva «The Debates over Russia. On the Border of Centuries» (Part 1).

Time and Morals offers an article by an Ukrainian author Vladimir Boreyko «Wild Nature. Love or stay away. Nature protection as a cultural practice and religious experience»

Essays contains a piece by Anatoly Naiman titled «The Poetical Immutability».

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novy_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.02.2002 г. Подписано к печати 29.05.2002 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9 300 экз. Зак. 2223. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

**В 2002 году исполняется 75 лет со дня рождения
и 20 лет со дня смерти замечательного прозаика
Юрия Павловича Казакова.**

**Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года
автору, живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России
(циклы и сборники рассказов, рукописи
и сетевые публикации не рассматриваются).**

**Премия за 2000 год была присуждена ИГОРЮ КЛЕХУ,
за 2001 год — ВИКТОРУ АСТАФЬЕВУ (посмертно).**

**Правом выдвижения произведений на премию
обладают критики, издатели и творческие организации.**

**Жюри формируется из сотрудников «Нового мира»
и независимых экспертов.**

**Состав жюри 2002 года и денежное содержание премии
будут объявлены дополнительно.**

**Объявление лауреата и торжественное вручение премии
состоится в начале 2003 года.**

**Контактные телефоны:
(095) 209-57-02, 209-91-81.**

E-mail: newworld@newtimes.ru, new_world@mail.cnt.ru